



РОССИЯ ДЕРЖАВНАЯ

Нестор Кукольник

ИОАНН III,  
СОБИРАТЕЛЬ ЗЕМЛИ РУССКОЙ

МИР КНИГИ

Нестор Кукольник. Иоанн III, собиратель земли Русской: Роман // Мир  
книги, Москва, 2010  
ISBN: 978-5-486-03528-9  
FB2: , 23.09.2015, version 1.0  
UUID: 006B1E79-332B-432F-B836-4ADE29BE4484  
PDF: fb2pdf-j.20180924, 29.02.2024

Нестор Кукольник

# Иоанн III, собиратель земли Русской

Творчество русского писателя и общественного деятеля Нестора Васильевича Кукольника (1809–1868) обширно и многогранно. Наряду с драматургией, он успешно пробует силы в жанре авантюрного романа, исторической повести, в художественной критике, поэзии и даже в музыке. Писатель стоял у истоков жанра драматической поэмы. Кроме того, он первым в русской литературе представил новый тип исторического романа, нашедшего потом блестящее воплощение в романах А. Дюма. Он же одним из первых в России начал развивать любовно-авантюрный жанр в духе Эжена Сю и Поля де Кока. Его изыскания в историко-биографическом жанре позднее получили развитие в романах-исследованиях Д. Мережковского и Ю. Тынянова. Кукольник является одним из соавторов стихов либретто опер «Иван Сусанин» и «Руслан и Людмила». На его стихи написали музыку 27 композиторов, в том числе М. Глинка, А. Варламов, С. Монюшко.

В романе «Иоанн III, собиратель земли Русской», представленном в данном томе, ярко отображена эпоха правления великого князя московского Ивана Васи-

льевича, при котором начало создаваться единое Российское государство. Писатель создает живые характеры многих исторических лиц, но прежде всего — Ивана III и князя Василия Холмского.

# Содержание

Часть I . . . . .	0007
I МОСКВА В ИЮЛЕ 1487 ГОДА . . . . .	0007
II КОШКА С СОБАКОЙ . . . . .	0038
III СВАТОВСТВО . . . . .	0059
IV НОЧНОЕ . . . . .	0098
V ТРЕВОГА В ТЕРЕМАХ . . . . .	0134
VI РАБОЧАЯ ПАЛАТА . . . . .	0155
VII ТРИ ПОСОЛЬСТВА . . . . .	0197
VIII ЕРЕСЬ . . . . .	0244
IX СМЕРТЬ . . . . .	0283
Часть II . . . . .	0322
I СТЕПИ . . . . .	0320
II ВАСИЛИСА . . . . .	0368
III НАЧАЛО ИСПЫТАНИЙ . . . . .	0416
IV СЮРПРИЗЫ . . . . .	0448
V ОТКРЫТИЯ НЕ НА РАДОСТЬ . . . . .	0469
VI ДВОЙНАЯ ИГРА ВНИЧЬЮ . . . . .	0503
VII НОВЫЕ ИСПЫТАНИЯ . . . . .	0543
VIII НЕВЕРНЫЙ РАСЧЕТ . . . . .	0572
IX ПЕРЕВОРОТ . . . . .	0606
X РАДОСТЬ И ГОРЕ . . . . .	0638
Часть III . . . . .	0657
I УДАЧА, ДА НЕ СОВСЕМ . . . . .	0657
II КОШКЕ ИГРУШКИ, МЫШКЕ СЛЕЗКИ . . . . .	0679
III СТАРОЕ ПЕПЕЛИЩЕ — НОВЫЕ ТРЕВОГИ! . . . . .	

0701

IV ПРИМИРЕНИЕ . . . . .	0715
V РАЗУВЕРЕНИЕ . . . . .	0737
VI В ЛИТВЕ . . . . .	0771
VII ВОЙНА . . . . .	0822
VIII КАЗЕННЫЙ ДВОР . . . . .	0859
IX СУДЬБА . . . . .	0880
ЭПИЛОГ . . . . .	0889

**Нестор Кукольник**  
**Иоанн III, собиратель земли**  
**Русской**

# Часть I

## I

### МОСКВА В ИЮЛЕ 1487 ГОДА

*Как зачиналась каменна Москва, Тогда  
зачинался в ей грозный Царь.*

Старинная песня

**Н**а двадцать пятом году государственования Иоанна III Москва уже не гляделась татарским пепелищем; веселые слободы /данными лентами сплошь тянулись к каменному Кремлю, выросшему на том же месте, но в другом, лучшем виде: не острог деревянный, а стройные кирпичные стены с зубцами изящного профиля вывели фряги, все под правило да в меру, так что любо-дорого смотреть. А уж гладь какая! — так и соборы не строились в старину.

Афанасий Силыч Никитин[1], тверской купчина, ночью воротился из дальнего, многолетнего странствования в индийскую сторону, за три моря. Впотьмах ища ночлега, не до Кремля ему было; и как пустили — с доро-

ги заснул сном богатырским. Звонили к обедне уже, когда Силыч протер глаза и по привычке, не долго думая, вскочил, помылся, перекрестил лоб и вышел на улицу. Суета необычная озадачила путешественника с первого шага. Добравшись до базара, он, однако, нашел, что у купцов лавки позаперты. Народ бежит куда-то, и Никитин направился вслед за другими. На повороте — вдруг заблестели кресты золоченые, за какою-то стеною словно; а перед нею поле гладкое, бархатный луг. Силыч невольно попятился и принялся, крестясь, протирать глаза, не доверяя себе.

— Что за притча, — подумал он вслух, — на Москву ли я, полно, попал?

— А то куда же? — отозвался с неприятным хохотом оборванец нищий, покойно рассевшийся на муравке и собираясь утолить голод без дальних разносолов. Перед ним стояла берестяная кружка с водою, подле увесистого каравая хлеба.

Никитин невольно, не без тревоги, посмотрел на хохотуна, и ему стало как-то неловко. Выражение лица нищего было таково, что могло поразить всякого и часто с ним сталки-

вавшегося, не только увидевшего случайно. Представьте полное лицо без бровей, с острой рыжей бородой; глаза точно оловянные, кажется, не глядят, хотя зрачки у оригинального субъекта и находятся на месте. Искривленные злобой губы в постоянном движении, как будто бы никогда плотно не сходились, выказывая глазные резцы, похожие на волчьи клыки. И при этом на невзрачной образине бродит улыбка, не предвещающая ничего доброго. Никитин хотел было уйти, но его удержала рука нищего.

— Видно, приезжий? — продолжал тот каким-то птичьим голосом, в котором многие звуки были чисто гортанные, резкие, хотя и хриплые. — Жаль, с виду глуп, по одеже — богат. Поумнеешь — обнищаешь! Поверстаемся!..

— Что ты мелешь, рыжая борода?..

— Отваливай! Есть хочу; обед стынет, а утроба тужит.

— И не ребенок, кажись, а потерпеть не хочешь; до обедни недолго, кажись, — ответил Никитин.

— У меня моя обедня отошла, а ты ступай

голодать в Кремль, коли пропустят.

— Так это Кремль?

— А то что же? Он самый, со всеми фряжскими затеями... Стрельниц, стрельниц, а ведь со всеми ими не спасется!.. Стены были в Содоме и Гоморре! Куды крепок и Иерихон считался — да свалились сами... и ограды, и забрала... И этим не уцелеть!

Никитин посмотрел на нищего еще с большим изумлением, но тот не обращал уже никакого внимания на наблюдателя. С выражением злобного любопытства смотря на толпы волновавшегося народа (который старался протесниться в Кремль), он бормотал несвязные слова.

— А вы, скимны рыкающие! — вдруг вскрикнул нищий, и лицо его еще страшнее искривилось. — Поделом вам, поделом. Да вон и он! Легок на помине. Под ним лошадь пляшет, а у самого небось душа в пятках, чтобы набольшего не прогневить, неравно опоздаешь. А жезл у него здоровый, впору с ним на медведя ходить; на то у тебя кличка собачья: ты не Щёня, дружок, а Щенй...

— Где, где? — спросил торопливо Никитин.

— А вон — видишь, золотой витязь на вороном аргамаке[2], что поднялся на дыбы, ровно на стену иерихонскую скочить собирается. Да он еще меньшей сокол; старшой под Казанью: золотую гривку себе татарскими головками зарабатывает. Вон едет и князь Иван Юрьевич... Ольгерду праправнук, говорят, да родной племянничек московского князя Великого — Патрикеевым прозывается. За то у его и чин московский: первый боярин! Все коршуны слетаются в свое каменное гнездо. Видно, Большак с золотой головой сон ночесь видал неладный, всю дворню и собирает. Глянь-ко, таперича к воротам князь Федор Пестрый подъехал; глянуть не на что, а бают, Пермь взял. Во как у нас?! А тамо что аще делается?

Нищий вскочил и, заслоня рукой свои оловянные глаза от жгучего июльского солнца, стал присматриваться к толпе, которая, окружив кого-то, провожала к воротам. К толпе этой со всех сторон подбежали люди, и она росла, ширилась и волновалась.

— Ничего не разберу! А должно быть, московским зеворотам занятно что ни есть, —

ворчал про себя странный нищий, убирая свой обед и посуду. — Не хотелось сегодня в Кремль ходить, да надо: видно, там новинка есть... Не скупись, поделись и с нами своими новостями, Иван Васильевич! — И на безобразном лице хохотуна-ругателя явилась какая-то неопределенная загадочная улыбка.

Закинув котомку за плечи, нищий схватил костыль свой и скорым шагом направился к воротам...

— Тут не пройдешь, — сказал Никитин, невольно следуя за нищим.

— Где наши не проходили!

И правда, народ расступался и давал нищему дорогу. Никитин тоже воспользовался случаем, примкнув к своему непрошеному чичероне московских замечательностей. Они беспрепятственно вошли в Кремль, где невиданное великолепие совсем ошеломило путешественника в Индию.

Бывало, к деревянному собору Богородицы с немногими боярами подходил пешком тщедушный Василий Темный, своею неровной походкой не привлекая и зевак. Дорожка шла извилистая, узкая; из садов и за палисадами

торчали ветхие деревянные избушки, если еще не высовывались докучно обгорелые трубы да кучи угля. Самые великокняжеские хоромы отличались от обывательских разве большей обширностью места, занятого хозяйственными пристройками. А то в жилище государя, так же как у соседей, окна да двери стояли зачастую наискось и между потемневшими тесницами зеленел влажный мох на крыше.

Куда все это прибралось? Словно вымели, как сор, наросшие здесь хоромцы, церквицы и кладбища. Вместо всего хлама этого величественный Успенский собор поднялся из земли как по щучьему велению, вытягивая за собою и игрушку-храм Благовещения, с его затейною узорчатою лепкою пилястр, распиленных яркими красками и золотом. За ним воздвигался новый деревянный дворец государев, а направо красовалась только что оконченная Грановитая палата — предмет гордости и удивления Москвы. На широком Красном крыльце гранитового чертога государева стояла теперь сотенная толпа царедворцев в пышных нарядах, залитых золотом.

Никитин, пораженный великолепием двора Иоаннова, оглянулся, чтобы расспросить кое о чем загадочного нищего, но его уж и след простыл.

А народ все прибывал, хотя в Кремле не было места упасть и яблоку. Волны народа словно закаменели: ни вперед, ни назад. А тишина царствовала такая, что слышно было жужжанье комара в воздухе.

— Какая ужасная скука стоять в этих тисках, — сказал кто-то позади Никитина по-итальянски. — Пойдем лучше на террасу, где стоят московские нобили!

— Ваше высочество любит говорить и смеяться, а там ведь нельзя; тут же никто нас не поймет.

— Да теперь и неловко будет высовываться вперед. Добрый завтрак, я думаю, предательски изукрасил наши лица, — отвечал другой голос вкрадчиво, венецианским наречием.

— Оно, пожалуй, и так! Да, я думаю, нам и тут-то нечего делать. Чужая радость нам не торжество, да и смотреть на этих медведей, право, не находка. Если бы еще были красот-

ки вместо мужей, братьев и отцов. А на таких холопов нагляделся я и в прихожей моего друга Магомета Второго. Пойдем лучше к Зое! Только и добра в этой Москве, что она да Хайм Мовша!

— Во всяком случае, надо дать знать кастеляну[3], что ваше высочество не совсем здоровы: иначе приятель нахмурится, пожалуй, не даст жалованья. Он ведь рад всякому предложению зажилить деньгу...

— Конечно! А все ж пойдем к Зое... С извинением послать можно и Мовшу, — прибавил главный из собеседников решительно.

— Вы забываете, что Мовше и на Москве быть не совсем теперь ловко, а послать еще его в Кремль — значило бы погубить верного союзника навсегда. Я пошел бы сам, да проклятый завтрак... Я чувствую, что на лице моем...

— Восхождение солнца, ты хочешь сказать, — истинно! Веселый Дионис прикрыл щедро багрянцем лик своего подражателя. Но ты и в этом виде еще сносен. Вот я?..

— Ваше высочество изволите шутить!.. А послать все-таки некого.

— Позвольте предложить мои услуги, — отозвался Никитин по-итальянски, и собеседники смутились не на шутку.

Тот, которого собеседник называл высочеством, прошептал по-гречески с досадой: «Лазутчик!»

— Ошибаетесь, — подхватил Никитин также по-гречески. — Я много странствовал по белу свету, как необходимость заставила научиться многим чужим языкам... индийскому даже. А кстати, у меня поручение к вашей милости из Кафы; смекаю, что ты господин деспот морейский? Очень рад, что случай доставил мне видеть высочество твое сегодня же. Кафийские паши уверяли меня, что письмо эго весьма важно...

— Где же оно?

— Представить готов где и когда угодно.

— Через час, у Зои!

— Да я не знаю, кто госпожа эта и где искать ее?

— Постойте, ваше высочество, я объясню ему все, но пусть прежде сходит к кастеляну и объявит, что мы не здоровы...

— И такого чина, опять же, не знаю я на

Руси...

— Синьор Патрикио, — отвечал собеседник деспота морейского, его переводчик Рало.

— То есть князь Патрикеев! Понимаем, да пропустят ли к нему? Видите, какая давка...

— Это уже мое дело, — отвечал переводчик. — Ступай за мной, я и проведу тебя до крыльца... А ваше высочество? — обратился он к деспоту.

— Я пойду потихоньку к Зое.

И они двинулись в разные стороны.

Народ, видно, знал своих гостей: Рало провёл Никитина сквозь толпу без большого труда. Площадка перед собором была ограждена рогатками, но как только сторожевому воину Никитин объявил, от кого вдет, рогатку отодвинули и Силыч не без страха стал подходить к Красному крыльцу. Тут стояли два рынды[4] в атласных одеждах, с позлащенными секирами на плечах. С подходом Силыча к крыльцу секиры опустились и загородили ему дорогу. Никитин заявил, что он послан от деспота и зачем даже, но рынды только улыбнулись.

— Тут посланцам не дорога, — сказал один

из них, — да боярину теперь и не время. Если он не у государя в рабочей, так князей и бояр в думу вводит.

— А может, и в теремной палате дела рядит, — заметил в свою очередь Никитин.

— Быть может! Так вот, дружок, видишь, за Благовещением калитка, за калиткой — дворик, спроси там — укажут!.. Только этим путем не ворочайся: мимо собора вашей братии не дорога.

Никитин уже не слушал попечительных предостережений. Он спешил, чтобы застать князя, но немало дворов и двориков прошел он, пока добрался до теремной палаты. Князь еще был там, посланца от деспота не задержали, и вот он в палате Патрикеева. Чертог, впрочем, был не по сановитому обладателю: низок, длинен и темен.

Князь Иван Юрьевич жил уже шестой десяток, но борода и усы были без малейшего признака седины. Живые глаза сыпали еще искры, и высокий рост еще не скрадывался согбенным станом, напротив, боярин держался прямо, сохранив величавую осанку. Патрикеев, стоя у окна, глядел на черный двор, а

князь Федор Ряполовский что-то с живостью ему рассказывал; по выражению лица Патрикеева нельзя было догадаться, приятен ли был ему этот рассказ или нет. Только шаги чужого человека, хотя и почтительные, прервали княжескую беседу. Патрикеев живо оборотился и спросил:

— Что надо?

— Его высочество, Андрей Палеолог, деспот морейский...

— Да ты-то кто?.. Таких холопей у него я не видывал, — прервал Патрикеев, озирая Никитина с ног до головы.

— Я и то не холоп, а тверской гость, Афанасий Никитин... И не на послугах у его милости, а так, случаем, попросил он меня доложить княжей твоей чести, что во дворец, по государеву указу, за недугом быть ему невозможно...

— Верно, пьян! Я и без посланца догадался бы! Так кланяйся, честной гость, деспоту и скажи, что, мол, о тяжком недуге его государю доложим! Прощай, батюшка!

— Позволь, боярин, мне и свое челобитье...

— И опять до меня? Посмотрим. Говори, да

проворнее...

— Да вот Москва забрала Тверское великое княжество, своего наместника там поставила; тот наших людей не знает, мой дом своим людям на житье отдал, а меня в Твери не было.

— А ты где же был?

— В Индии.

— Где?

— В Индии.

— Князь Федор Семеныч! Что это он бает? Ты, видно, тоже трапезничал со своим деспотом и со сна несешь околесную... Индия! Было такое царство в Библии, да теперь-то откуда ему взяться, чай, его потопом снесло. В наше время об нем ничего и слышно не было; отколь же явилось? Вот мне говорил жидовин Хази Кокос, когда приезжал в Москву из Кафы, что есть Хинское большое царство, и еще совет подавал послать туда его с войском... Да я и этому не поверил. Такого царства по всей Библии не найдешь, и его, кажется, новая мудрость сочинила. Дивлюсь, что жидовин ей поверил.

— Хази не обманул тебя, боярин: жидовин-то он жидовин, но честный, притом же

он караимского закона. Не будь хан Менгли-Гирей его другом, так ему в Кафу и носа не дали бы показать, теперь турки хуже генуэзцев. Да и добро бы один турок, а то трех пашей поставили, обобрали они меня, нехристи; почитай, половину товаров оттягали; слава те Господи, что другую оставили. А то нечем было бы государю и его боярам поклониться, и за то спасибо Хази Кокосу и хану — отстоять поспособили. И грамотами к твоей боярской милости снабдили меня. Нехристи хошь, а дай Бог им здоровья...

— Коли грамоты — подавай...

— За пазухой во весь путь берег! Изволь, ваша честь, получить.

Патрикеев с живостью сорвал висячую печать, развязал толстый шелковый шнурок, развернул хартию и стал читать.

По лицу заметно было, что чтение очень занимало князя, и, дочитав до конца, он приветливо посмотрел на Никитина.

— И здесь пишут, что Индия есть! Недаром свет велик, говорят, — заключил боярин, неохотно отступая от своего прежнего убеждения. — А все же потопом могло отнести ее и

за море, — как бы про себя промолвил он еще раз. — Надо про тебя государю доложить, — прибавил Патрикеев в заключение и поспешно ушел из палаты.

Ряполовский, вероятно, не был расположен продолжать беседу, а Никитин не смел, и они проиграли в молчанку добрую четверть часа, пока воротился дворецкий великого князя.

Осмотрев Никитина с головы до ног испытующим взглядом, он сказал ему тихо:

— Государь верит, так моя вера в сторону, а все, голубчик, я тебя велю обыскать. Гей, Самсон! Обшарь-ка этого купчину, нет ли у него чего запретного...

Дюжий сын боярский, лет сорока пяти, с окладистой бородою, в опрятном чекмене, отороченном золотым галуном, бесцеремонно запустил руки за пазуху Силыча, потом в карманы и вытащил оттуда ящичек из драгоценного дерева, расписанный довольно искусно яркими красками.

— Это что? — строго спросил Патрикеев, принимая из рук Самсона досканец.

— Вещь, драгоценнейшая из всех моих то-

варов! Если удостоюсь счастья побить челом государыне великой княгине, то хочу поклониться ей этим клейнодом[5]... Это четки самоцветного камня, каких нет ни у турецкого султана, ни у крымского хана, ни у самого персидского шаха; подарила мне их вдова, шахиня, за то, что я ее от злой болезни вылечил...

— Так ты знахарь еще?

— Признаться тебе, боярин: лечебного дела не знаю, а меня индийские мудрецы кое-каким тайнам наставили; так, умею избавлять от злой трясовицы, от камчуга[6] иль зоб уничтожить и...

— А это что? — спросил Патрикеев, подозрительно поглядывая на гостя и раскрыв сафьяновую коробочку, вынутую Самсоном из-за голенища у Никитина. Сильный запах мускуса до того ошиб князя, что он уронил коробочку, и по полу рассыпалось несколько черных сердечек и крестиков...

— Это — мускус! — спокойно отвечал Никитин. — Полезное благовоние: уничтожит всякую тлю, а платье от него приятно благоухает...

— А возьми-ка ты сердечко в зубы да слушай!

— Князь-боярин, да ведь этого не едят.

— А! — гневно рявкнул боярин. — Понимаем — как съешь, так с Авраамом повидаешься раньше срока. Отрава, значит, коли есть нельзя, а не отрава, так почему не съесть?..

Никитин махнул рукой, промолвив:

— Погань христианину! Пожалуй, если не веришь, возьми, спрячь у себя мускус.

— Сгинь он, пропади, коли поганый!

— Да держать-то не претит вера, а только есть нельзя. А вот те Бог, нету ничего худого, на Востоке дети на шее носят, не токмо что...

— Ну, пожалуй, — сказал Патрикеев, видимо смягчаясь, но значительно взглянув на Ряполовского, — только собирай сам твое зелье да сложи в коробку; Самсон, дай ему какую ни есть ветошку завернуть да отопри этот ящик. Положи и замкни сам, а ключ подай сюда... У нас, брат, есть свои знахари, рассмотрят, не на неучей напал...

— А что, Самсон, ничего нет больше?

— Мошна! Да к поясу пришита.

Никитин развязал пояс и высыпал на стол

немало золотых монет, все восточных.

— Возьми свои деньги, на, пожалуй, и четки. Они для Елены Степановны, ты молвил?

— Нет, князь-боярин, для государыни Софьи Фоминишны!

— Так ты грек?.. — вскрикнул Патрикеев с приметной досадой.

— Тверитянин!..

— Врешь! Грек окаянный, недаром гречанам посыльщиком и служишь... ты... — Но сам вдруг мгновенно опомнился и, вперив испытующий, строгий взор в Никитина, долго всматривался в него. Испытание, кажется, успокоило его недоверчивость, хотя он и молчал.

Никитин со вздохом заговорил:

— Ну, боярин, я твоему норову не завидую; вспомни, что говорит апостол: сомнения подобны волнению морскому, ветрами воздымаемому и возметаемому. Тебя так и кидает из подозрения в подозрение. Мне, купчине, ваши дворовые тайности неведомы; я простой человек, воротился в дом родной, да не нашел дома; Москва все забрала; пришел челом бить первому государеву боярину и срод-

нику, а он...

— А он видит, что от тебя Литвой пахнет. Видно, младший брат государев еще не угомонился? Ваш тверской великий князь Михаил защитить своего престола не мог, так уж литовской хитростью его не воздвигнет.

— Дивлюсь разуму и воле Иоанна, соблезную о несчастий нашего доброго Михаила, но как человек — не больше. А как русский, радуюсь Иоанновым успехам. Только мелкий ум не видит в трудах его блага Руси и общей пользы. А я то смекаю, что в одном народе праведно быть одному пастырю и одному стаду. Не верится ушам, что совершил Иоанн до дня моего приезда на родину... Оставил я Великий Новгород истинно великим... Реки золота чужеземного текли там, три Москвы уместилось бы в нем. Наложил государь державную руку, и — нет Новгорода! И вечевой колокол замолк...

— Ты не глупи, парень! Не будь грек... так...

— Полно, князь! Все грек я у тебя, а за что, спроси? Что хотел чествовать государыню? Мне даже становится обидно. Я не целовал

еще креста на верность Иоанну, был далече, когда князь Михаил Холмский отворил вам врата Твери, стало, не присягой связан. А за дела полюбил уж московского владыку. Дела его для меня еще виднее, как двадцать лет не был на Руси. Я оставил ее всю чересполосную, вотчиной татарскою; возвращаюсь — нет княжений дмитровского, можайского, серпуховского; роды ярославских, ростовских, муромских князей — служилые! Кончилось великое княженье тверское, как и своя воля у Новгорода. Теперь, почитай, одно: вся Русь — Москва! Только Псков да Рязань, да и те не надежны...

Горячая речь умного купца Патрикееву была совсем по душе, и сдвинутые брови боярина незаметно разошлись по своим местам.

Никитин, не замечая этой перемены, продолжал с прежним жаром:

— Нелицеприятна и не пуглива твердая воля Иоанна. Повелел, и — отец гонит сына. Да какого сына? Князь Василий Михайлович Верейский недаром прозван Удалым! И на богатырство его не посмотрели! Хотел себя укрепить и оградить женитьбой, взял в жены

племянницу государыни Софьи Фоминишны, царевну греческую, и свойство не спасло. Сын бежал, отец умер; Русь стала цельнее! Дивно, ей-же-ей, дивно! Но главное, — продолжал с одушевлением развернувшийся путешественник, — мы уже не рабы татарвы некрещеной! Уж ханы их поганые не ставят нам кого хотят на княжество; князья наши не кланяются, да и некому кланяться! Юрт Батыев в развалинах; Золотая Орда что тень бродит по волжским степям, ест полынь горькую... Одна Казань...

— Взята в прошедшую субботу!

— Что? Правду ли я слышу?.. Кажись, не ослышался?

— Патрикеев тебе сказал правду, — отозвался сам Иоанн, вступивший в это время в палату. — Князь Иван, я позволяю купчине Никитину на большом нашем выходе видеть царя казанского Алегамы в цепях.

Хотя Никитин во время продолжительного своего странствования видел немало государей могущественных, дивился восточной роскоши, привык, кажется, к блеску и пышности восточных властителей, но при звуках речи

Иоанна пробежал у него по коже невольный трепет. Перед ним стоял тот, чьи подвиги с таким жаром он исчислял за мгновение; тот, чей взгляд подкашивал колени у князей и бояр крамольных, извлекал тайны из очерствелой совести их и лишал чувств нежных женщин. Иоанн был в полной силе мужества; ему шел сорок седьмой год, и все в нем дышало строгим, грозным величием. Он был в парчовой ферязи[7] и в шапке большого наряда, опушенной черной куницей и разукрашенной дорогими самоцветами. На застежках риз сияли многоцветные изумруды и лалы[8]; головка у длинной трости как будто была слеплена из бирюзы, и на этой бирюзовой горке сверкал тысячью цветов огромный алмаз. Иоанн, как известно, любил пышность, вполне постигая ее нравственное значение на неразвитый народ. На приемах послов, в соборах и торжествах народных, с самого занятия отцовского престола, он являлся окруженный великолепием, в сонме братьев, князей и бояр. Теперь уже братьев не было; Андрей, меньший, и Юрий, Васильевичи, покоились сном вечным; Андрей-старый и Борис боя-

лись показываться при дворе, проживая в городах. Не было и князей самостоятельных, некогда сопутствовавших Иоанну в походах и путешествиях. А те, что остались, были мелкопоместные, сами добивались чести быть только боярами московского двора и не без труда получали этот вождеденный сан, принявший при Иоанне новое и важное значение.

Никитин, взысканный милостивым словом государя, скоро ободрился и на благосклонное дозволение видеть торжество отвесил земной поклон. Иоанн, опершись на трость, отдал приказ, по обычаю своему, лаконично.

— Проводить гостя на крыльцо! Князь Иван, открывай же большой выход... Пора!

Тот же дюжий Самсон помог теперь Никитину приподняться с полу и повел его ближайшим путем на Красное крыльцо. Там заметно уже редела толпа сановников; Патрикеев открыл так называемый большой выход, то есть отворил врата Грановитой палаты и впускал в нее князей и бояр по московскому их чину. Последним вошел Никитин. Рында, в

горлатной высокой шапке, с золотой секирой, указал ему на заднюю скамью, где сидело несколько просто одетых иностранцев. То были зодчие и врачи великокняжеские; Никитин, взволнованный неожиданным представлением своим государю, впечатлениями и встречами утра, усталый, измученный, добрался до скамьи не без удовольствия. Несколько мгновений он сидел совсем зажмурившись, и тишина, господствовавшая в палате, погрузила его было в дремоту. Легкий шум разбудил его, когда князя и бояре повставали с мест своих, увидя Иоанна. Медленно прошел он к своему престолу. Князя и бояре низко кланялись. Воссев на трон свой, государь молча окинул своим орлиным взором собрание, пока старший сын его — Иоанн-младший — и княгиня занимали свои обычные места. У подножия трона встали Патрикеев и Федор Ряполовский. Никто не знал причины созыва собрания, и на всех лицах написано было ожидание. Царь недолго томил. Встал и голосом твердым и звучным сказал:

— Верные мои князя и бояре! Господь Бог благословил войско наше победою великой! В

четырнадцатый день июля наш воевода и боярин, князь Данило Холмский, взял Казань, гордую столицу Мамутекова царства, и мятежного царя казанского Алегама прислал к нам, к великому государю, на Москву...

— Здрав будь, государь, князь великий! Господин всея Руси, Болгарии и Казани! — загремел сонм голосов, и этот клик подхватила дружно толпа, стоявшая на площади. Иоанн махнул рукой, и все замолкло.

— Утверждаю за собой титул, но не хочу царства! Мы повелели Холмскому на казанский престол поставить Махмет-Аминя за великие заслуги, оказанные ханом крымским и супругой его, царицей Нур-Салтан, матерью Махмет-Аминя. Князь Федор, — обратился Иоанн к Ряполовскому, — ты привез нам сегодня радостную весть — жалуем тебя в бояры наши. Князь Иван! Читай отписку казанскую.

Патрикеев выдвинулся со своего места и, остановясь на ступеньках трона, развернул столбец, где описывал Холмский взятие им Казани, и прочел его четко и внятно. Когда замолк он, еще раз палата огласилась торжественными кликами.

— Славное дело великая победа! — Иоанн поднялся снова, и все смолкло. — Князь Данило Дмитриевич достоин милостей, и как достойно наградить его, нашего желанного, подумаем. А теперь ты, Русалка, сходи и спроси о здоровье супружницу покорителя Казани — княгиню Холмскую. Скажи ей от нас, что князь Данило прославляет державу нашу победами, а княгиня, добрая сродница наша, пестует детей и внуков наших, что мы, великий государь, все сие памятуем и на сердце держим.

— Князь Данило Васильевич, — обратился затем государь к маститому Щене, — много подвигов добрых на твоей седине; ты друг и сподвижник Даниле Холмскому, будь и ты здоров и благополучен в сей радостный нам день.

Князь почтительно поклонился челом к земле.

— И ты, боярин, князь Федор Данилович, — затем заговорил Иоанн Ряполовскому, — не одну победу одержал, и тебе, казанский мой богатырь, друг и сподвижник, привет наш. И тебе равная честь. А где мой Афоня Ники-

тин! — громко произнес Иоанн, оборотившись назад и ища глазами недавнего своего знакомого путешественника, которого рынды вывели на средину трепещущего. — Ты купечествовал довольно. На старости бодрой ты можешь быть полезным государству нашему своим досужеством и опытностью. Пройдя от нашей Твери до пределов индийских, ты многое видел, многому научился; жалуем тебя в московские дворяне наши и повелеваем тебе быть дьяком в Посольском нашем приказе. Знаю, что ты принес мне в дар многоцветные четки казымбальские и хранишь их при себе. Бояре сведут тебя от имени нашего после выхода ко княгине нашей в терема, и тебе, Афоня, будет честь поднести ей от лица нашего твои многоцветные четки, ими же ты хотел нам поклониться в день сей радостный... — Тут снова государь сел на престол свой и крикнул: — Алегам!

Наступила мертвая тишина. Никитин был совершенно смущен и милостью, и поручением, тем более что на него обратились глаза всего собрания, и он не знал, куда деваться от щекотания завистливых взоров. К счастью,

двери палаты с шумом растворились, и двое дворян ввели низвергнутого царя казанского. Он казался еще бледнее в пышном наряде, носимом владыками Казани в торжественные дни: на голове, сверх чалмы, сиял у него еще венец царский, на плечах мамутекова парчовая шуба, а на ногах и на руках звенели цепи. Лицо Иоанна, дотоле спокойное, даже веселое, приняло теперь выражение гневное, грозное. Алегам затрепетал, взглянув на Иоанна, и на князьях и боярах отразился страх побежденного. За Алегамом шли, также в торжественной одежде и также в цепях, его братья, за ними вели мать, сестер и двух жен низверженного. Давно ли еще татарские ханы называли великих князей наших своими рабами, давно ли сам Иоанн посылал в Золотую Орду дань многоценную? А теперь?..

— Раб дерзкий! — загремел Иоанн в гнев, так что все собрание вздрогнуло. — Клялся ты жить с нами, как грамоты между нами уставлены, а сам ни в чем не стоял, не прямил. Принудил нас к войне, так кайся же теперь в Вологде! Снять с него венец и мамутекову шубу... Я — государь всея Руси и Болгарии, даю

Казань пасынку крымского друга своего — Махмет-Аминю. Князь Федор Ряполовский, наш нареченный боярин, отвезет этот венец и шубу князю боярину-воеводе Даниле Холмскому, да возложит он царский сан на сына Нур-Салтан-царицы...

— Брат Иван... — начал было, заминаясь, смущенный Алегам, но тяжелая трость с бирюзой поднялась, гневный взгляд Иоанна сверкнул, и голосом, полным горечи, торжествующий собиратель земли Русской прервал речь пленника:

— Я не брат лицемеру! Прославь милость нашу за то уже одно, что не велим мы посадить тебя на кол, как сажал ты невинных гостей наших, угождая своим распутным уланам да злым наложницам. Князь Федор, скажи князю Даниле, пусть разыщет бережно уланов Алегамовых да казнит из них виноватых. А жен твоих, злых советчиц, дарю тебе, Алегам, — на потешку на Вологде! Мать же и сестер его, — изрек грозный властитель, указав на татарских принцесс, — на Белоозеро!

— За что так? — с дерзостью спросила надменная царица — мать Алегамова.

— За то, что родила злодея нам, — с горечью ответил Иоанн, побагровев, и выпрямился во весь рост свой. — Показать изменников народу, — загремел он в заключение. — А мы, бояре и князья наши присные, пойдем принести благодарение Господу, да спасет и помирует он рабов своих, — и перекрестился...

Закрестилась вся палата, и государь, сойдя с престола об руку с сыном, медленно пошел к выходным дверям на крыльцо.

Оглушительный звон во все колокола покрыл вопли татарок, и только перебаты народных возгласов на площади, вперерыв колокольного звона, глухо проникали в оставляемую Грановитую палату.

## II КОШКА С СОБАКОЙ

*Нашла коса на камень.*

Тяжелое впечатление и неожиданность громовой развязки сцены представления пленного семейства казанского царя — причем весь интерес сосредоточивался в лице самого Иоанна — до того овладели всеми собранными в Грановитой палате, что при выходе из нее бывший во все время обок отца наследник не привлек к себе ничьего внимания.

Нечего прибавлять после этого, что никто не подумал даже и бросить взгляд на сидевших позади мужей своих княгинь: Софью Фоминишну и Елену Степановну. Между тем эти две особы, далеко не ничтожные по своему влиянию на дела, были помещены на том же троне, с которого раздавалась громовая речь собирателя земли Русской.

По перипетиям беспощадной, хотя и скрытой, войны, давно уже веденной невесткой и

сверковью, обе они могли бы дать — даже раньше времени начатого нами рассказа — много драгоценных подробностей такому поэту, как Шекспир, если бы таковой в Москве имелся, для создания идеала соперниц по власти, равно искусных в нанесении одна другой болезненных ударов самолюбию под личиною наивности и даже наружного расположения. До сего дня Софья была, впрочем, реже торжествующей и, следовательно, глубже за-таивала свою ненависть. Счастливая же соперница стала, по мере успехов, более заносчивою и отважною. К несчастью, всякое неосторожное движение в подобных ролях соперниц может дать перевес противной стороне. Но кто же представляет себе, в упоении полной победы, немедленное поражение, хоть это и бывает сплошь и рядом? Во все продолжение сцены в Грановитой палате на холодном лице супруги Иоанна III не дрогнула ни одна фибра. Тонкие черты ее умного лица были, пожалуй, время от времени оживляемы мимолетной улыбкой, как солнышко в ветреный день за тучами бесследно исчезающею. Смоль волос резко выделяла белизну

лица княгини, на котором при ярком отблеске золотого парчового платья едва приметно обозначались бледные губы самого изящного ротика. То была красота, поражающая в облике, который время и обстоятельства только и сохранили из очаровательной картины, когда-то дышавшей полнотой жизни и страсти. Цветок этот расцветал в благословенной Италии, среди общества, уже стряхнувшего с себя тяжесть и неуклюжесть средневековья. Взамен старинного грубого варварства в годы расцвета Софьи царила утонченность приемов, напоминая цивилизованное общество, недоросшее только до человечности. Грубое убийство громко осуждалось, а изысканное тиранство из мести, по самому ничтожному поводу, считалось не только простительным, но возбуждало еще похвалы и подражание, как признак хорошей породы и умения поддерживать достоинство.

С такими правилами можно отлично воспитать так называемую *благородную гордость* и дойти до бесчувствия к людским страданиям. Можно дойти до выдерживания жесточайших пыток и до полного презрения

вообще к человечеству, но мудроно чувствовать что-либо похожее на кротость и снисходительность... Таков и был в действительности характер урожденной деспотицы морейской, княжны Софьи Фоминишны, обученной всем хитростям придворного быта мелких тиранов Италии. Для развития же нравственных качеств снисходительный законоучитель этой принцессы находил необходимым и все заменяющим строгое и безусловное подчинение обрядности да заучивание молитв. Оттого и вышла она примерно исполнительницей наружного этикета. Подчиненность супругу считала долгом, но находила всегда лазейки обходить удобно, стороною, все, что ей не нравилось, не доходя до прямого сопротивления.

Соперница этой гордой государыни, тоже мать (Дмитрия, меньшего внука Иоаннова), была не менее прекрасна. И если в изящности очертаний частей лица должна была она уступить классической красоте Софьи, зато на стороне Елены была молодость. Ей было с небольшим двадцать лет, и смуглый цвет кожи не вредил нисколько миловидности моло-

дого личика, придавая живой, пламенной Елене какую-то особенную увлекательность. Блеск огневых глаз ее брал в плен всякого, кому только доводилось счастье видеть эту красавицу княгиню без фаты.

Не только муж баловал свою прихотницу [9] Елену, но и сам суровый свекор таял при ее заискиваньях и все ей спускал ради молодости и затейничества — к немалому горю супруги, чувствовавшей превосходство невестки в глазах общего их повелителя.

На представлении Алегама, сидя почти рядом, свекровь с невесткой метали только друг на друга молнии скрытого гнева, но церемония кончилась, и развязка такой натянутой чинности не замедлила разразиться грозой.

В Грановитую палату княгиням пришлось идти рядом, и, хотя Софья занимала на месте своем правую руку, всем приметно было, что первенствовала как здесь, так и при дворе не она. Елена всех дарила победоносной улыбкой, тогда как бледное лицо Софьи подернуто было облаком кручины. Сомкнутые уста ее приветствовали тоже, но веяли холодом. Искусно сыграть свою роль в этот день ей уда-

лось не вполне, и утомление от бесконечности предстоящего притворства ожесточило надменную супругу Иоанна. Она уже кипела гневом, когда совсем затихли шаги последних царедворцев, вышедших из Грановитой, и княгиням нужно было двинуться к себе.

— Пойдемте! — сказала с живостью Елена, откинув фату. — Мне ужасно надоели эти тарки, и ризы-то эти точно пудовики висят, совсем плечи оттянуло... Пойдем!..

— Изволь, государыня, Елена Степановна, прибождать маленько; государыня Софья Фоминишна, по уставу, пойдет первая... Присядь, пожалуй! — сказал Образец. Елена гневно взглянула на боярина Василия Федоровича и снова присела на свое место. Софья оглянулась на нее гордо, и улыбка, значение которой поняла только невестка, проскользнула мгновенно по ее бледному лицу. Величаво оправив свою фату, княгиня медленно пошла с боярином из палаты. Елена тоже с живостью встала, но на втором шагу, в поспешности, наступила на конец платья Софьи, так что великая княгиня должна была остановиться... Софья оглянулась и вопросительно

посмотрела на Елену, не скрывая уже своего гнева. Елена отвечала на эту вспышку насмешливой улыбкой и сама отвернулась: казалось, тем и кончилось; княгини пошли чинно на свою половину.

Иоанн жил в верхних теремах, где была и опочивальня Софьи, но днем она редко там бывала, разве государь приказывал. В первые годы после женитьбы Иоанн любил, чтобы прекрасная и умная Софья, по связям и пребыванию в Риме ознакомленная с современными политическими обстоятельствами Европы, рассказывала, как и что на Западе делалось. Но прошло уже пятнадцать лет счастливого супружества, и участие царевича Иоанна в государственных делах совсем заглушило речь советчицы мачехи. Софья не без горести убеждалась также, что власть Елены над мужем готовит ей еще более грустную будущность, потому хитрая принцесса с умыслом начала отдаляться от вмешательств во внешние дела и проводить время в кругу только детей своих. Первых двух дочерей, Елены и Феодосии, уже не было на свете, скончались они во младенчестве. Заменили их все другие

одноименные, и они да три сына составляли земной рай великой княгини. Дети и внуки Иоанна пестовались на руках боярыни-княгини Холмской. Частые военные тревоги удаляли постоянно князя Даниила из Москвы; княгиня его, бросив дом свой и взяв с собой малолетнего сына Васю, уже шестой год проживала с ним в нижних теремах, служа второй матерью и своему, и государевым детям. Государь с переездом княгини в терема никогда не входил в детскую половину, не желая беспокоить доброй своей воспитательницы, всюду величая ее сродницей, хотя это родство, как говорится, было восьмая вода на киселе. Дети каждое утро приводились княгинею к государю. Иногда же и днем звал он их к себе, а вечерами проводил с ними постоянно час-другой в разговорах, испытывая детский ум и подмечая характер да нравственные свойства. Жилье в подклете верхних теремов было отдельным миром, куда не смела показываться дворцовая администрация, действительно уже никак там не применимая, где и без нее было три правителя: Софья, Елена и княгиня Холмская.

Роль княгини Авдотьи Кирилловны Холмской была при соперницах в высшей степени трудной. Только ангельской доброте ее удавалось, хотя не всегда, мирить противниц, и то в редких случаях, несмотря на привязанность к ней обеих. Одно слово княгини Авдотьи Холмской заставляло баловня общего — свое нравную Елену — сохранять почтительность к мачехе-свекрови. К несчастью, день, с которого начинается наш рассказ, был первым явлением драмы, где благодушная примирительница увидела вполне свое бессилие помочь горю.

В темном переходе, разделявшем теремное царство на две области, были две двери, одна насупротив другой. Одна вела на детскую половину, другая — в покой Елены. Тут надо было княгиням остановиться и проститься. Софья первая встала у дверей и ждала почтительного слова невестки, но Елена, остановившись у своих дверей, казалось, ожидала, чтобы начала мачеха. Изумленная этим вызовом на объяснение, Софья вспыхнула не к месту.

— Дочь моя! — сказала она с гордостью. —

Не люблю мне напоминать тебе твою обязанность...

— Да и не трудись. Я сама ее знаю...

— Этого я не замечаю...

— Да и не просят! Я настолько выросла, что нянек, кажется, не требуется. Уж свой дядька есть...

— Только плохо жену в руках держит.

— В руках не держат того, кого любят. Ваня знает, что у Алены нет греческой хитрости...

— Зато волошское невежество, что гораздо хуже...

— Не всякой же быть греческой кралей! Лисьего норова перенимать не к лицу мне и не стану; не буду заводить соборов и не умею прельщать души лестью лукавой.

— Куда тебе!

— Чем богата, тем и рада! — поддразнивая свекровь, ответила Елена, прибавив: — Да мы на этом еще не кончим... Ужо кое-кому можем порассказать... кое про что!

— Плюю я на твои рассказы бессовестные да на ложь... злобную...

— Господи! — всплеснув руками, вступилась княгиня Холмская. — Ну что из этого

выйдет?.. До государя дойдет!..

— Да... Он все узнает... — прервала Елена.

— Нам правды нечего бояться! — с живо-  
стью откликнулся Вася Холмский.

Его выходка, как неожиданный поток во-  
ды, залил начавшийся пожар. Обе княгини  
опомнились и поняли свои ошибки. Не ска-  
зав слова, каждая бросилась в свою дверь; в  
переходе остались только посланные госуда-  
ревы с приветом к великой княжне и княгине  
Холмской.

— Ну, притча! — сказал Русалка, обра-  
щаясь к боярину Василию Феодоровичу Образ-  
цу. — Промолчать нам нельзя, а дело нелад-  
но. Государь шутить не любит. А государь без  
Патрикеева, Ряполовского и без нас, своих бо-  
яр, домашней смуты судить не станет. А у од-  
них из нашей братьи лисьи шубы, лисьи умы  
и речи... Как думаешь, боярин?..

— Чего тут думать? — ответил с неохотой  
Образец хитрому врагу своему. — Стояли мы  
твердо перед лицом смерти — не пятились. И  
теперь — тоже... Ложью нашей службы не за-  
пятнаем.

— Все то правда, боярин! Да час не ровен.

— Да если вам, бояре, не любо смутить государево сердце тяжкою правдой, повелите мне, своему холопу, — отозвался Никитин, — я такой же свидетель; я человек двору чужой и крамолам дворским не причастен.

— Незнамы, как тебя зовут, купчина! Видно только, что ты муж разумный и ученый и душою непорочен, — ответил благодушный Образец.

— Нет у нас крамол-от, — отозвался Русалка, — да и ладу нету между себя... Так, зацепки да перетрухи старого, какие ни на есть. Да за нами, слышь, коли правду молвить, и за слуг-то нет; по десятку побед за каждым, так это случайное вено, Божий дар, с его святой воли удача.

— Вот князь Данило Холмский, тот другого поля ягода, — ответил Образец. — У того и разум и меч одинаково остры.

— В чести да в знати опять есть: Руно московский, богатырь и палатный ум; примерно князя Оболенские: Стрига да Нагой — польское дело и ратное поле у них в мошне, — перебивая Образца, заметил Русалка. Образец взглянул на выскочку и продолжал: — За ни-

ми князя Шуйский, Беззубцев, Пестрой Звенец. А мы, друг сердечный, одно слово: Образец мы только. И не княжьего рода. Да у всех тот, вишь, недостаток, что у нас честность не пенязь какой разменный, язык не о двух остриях, мы стоим и ходим по правде, — смиренно закончил обиженный герой, давая знак глазами Афоне, чтобы он остерегался Русалки, ничего не замечавшего. Верный себе, Русалка между тем вкрадчиво стал чернить свою партию, без сомнения ожидая, что выскажется Образец и брякнет непригожее слово.

— Что, к примеру, сказать, — начал хитрец, скорчив вполне откровенное и искреннее лицо. — Что нам такие люди, как Патрикеев, государев сродник, первый боярин, да какая-нибудь Ощера аль Мамон, грязь золоченая, на словах загоняет... Боевого слугу государева, — и сам с злой улыбкой подмигнул Никитину на Образца. — Да что тут толковать. Пойдем свое дело исправим, а про сегодняшней случай, чай, прежде нас до государя уж дойдет. Наушников немало, видишь, про сбор-то уж художница сведала.

— И как не сведать, когда на соборах вся греческая сволочь бывает...

— Пойдем, пойдем! Никто, как Бог, авось все это пустельгой рассыплется... — заключил Русалка и бережно отворил двери.

Посольство вошло в передний покой, в котором на полавошнике[10] сидел наклонившись старый истопник, богато одетый...

— Поди, — сказал ему Образец, — и доложи...

— Да ступайте без доклада, — отвечал старик, не поднимая головы и не смотря на вошедших. — Кому нельзя, тот и сам в терем не пойдет...

Трое посланных двинулись дальше. Двери в следующую палату были отперты, так что видно было, как великая княгиня в слезах сидела в креслах, на коленях у нее сидела двенадцатилетняя Елена. Десятилетний Василий и Феодосия целовали руку матери и, заливаясь слезами, утешали ее: «Не плачь, мама, не плачь!..» Княгиня Авдотья Кирилловна сидела у другого окна и строго выговаривала своему сыну Васе за неуместную, дерзкую горячность.

— Что же, матушка, — отвечал он покойно. — Так мне, по-твоему, надо было молчать? Я что знал, то спроста и сбредил; коли дурно — виноват.

— Перестань, повеса.

— Перестану, а все едино люблю Софью Фоминишиу, не дам в обиду хотя бы самой покойной Марфе Инокине.

— Спасибо, Вася, — сказала Софья, улыбаясь сквозь слезы. — А за что ты меня любишь?..

— За привет да за ласку, да еще... Как бы тебе сказать?

— Ты подумай, Вася, — отозвалась Софья, — а пока матушка княгиня примет государево посольство. Они шли к тебе. О, как жаль, что наша глупая ссора уменьшит твою радость. Но, Бог свидетель, не я виновата...

— Радость! Какая радость!

— Радость великая! — сказал Щеня, вступая в палату.

— Здравствуй, князь! — воскликнула княгиня Холмская. — Уж и эго радость, что тебя, друга нашего, вижу в нашем монастыре.

— Да сюда к тебе нет дороги, кроме ближ-

них сродников.

— Нет, князь! Кому государь разрешит, те у нас бывают, а уж кому-кому, а льву своему Иван Васильевич не откажет. Ведь допустили же теперь...

— Теперь мы от лица государя...

Княгиня встала, почтительно преклонив голову. Щеня продолжал:

— Повелел государь объявить радость великую и достославную, радость на всю Русь крещеную. Доблестный супруг твой, изволением Божьим, взял Казань крамольную и пленил царя Алегама!..

Княгиня обратилась к иконам и перекрестилась.

Вася подбежал к ней, встал на колени, и слезы засверкали на голубых прекрасных глазах юноши. Не одни они молились, Елена прыгнула с колен матери и, встав возле Васи, повторяла за ним слова молитвы; невольное чувство торжественного благоговения увлекло всех, встала и Софья и воздела очи к небу, а дети, едва ползавшие по полу, глядя на пестуншу свою, складывали нежные пальчики и усердно осеняли себя знамением кре-

ста. Княгиня едва могла встать от преизбытка радостных чувств, и то с помощью Василия и Елены.

— Государь, — молвил теперь Щеня, низко кланяясь, — приказал у тебя, княгиня Авдотья Кирилловна, спросить о здоровье...

— О, я больна, друг дорогой, но всякая же на позавидовала бы моему недугу... По делам великим возвеличивает Господь государя великого! Луч славы его пал на моего господина мужа, а на твоего отца, Вася. Не умрет наше темное имя... Дайте мне наплакаться благодарными, сладкими слезами... Вы видели их, послу любезные, поведайте о них моему и вашему отцу государю. Жаль, что не знаю посла третьего.

— Я, государыня княгиня, коли знать желашь, тверской купчина, возвратился вчера из Индии, из-за трех морей; государь не по заслугам взыскал меня сегодня великою своею милостью, удостоил чести поднести государыне от его великого имени дар редкий и многоценный...

Софья взяла четки и, не рассматривая их, обратилась к Никитину:

— О, довольно! Довольно! Государь, видно, забыл, что я немощная старуха, у меня неостанет сил перенести столько милостей! Мне ли держать в руках такое сокровище!

— Боже мой, как это хорошо! — вскрикнула Елена, взглянув на персидские четки. — Как жар горят! Вася, не правда ли, из этого лучше бы сделать ожерелье?

— И надеть на твою шею! Тогда бы эти четки стоили вдвое дороже...

— А ты бы любил меня вдвое?

— Ну уж это трудно!.. Дунечка ненаглядная, родимое мое солнышко. На что тебе эти четки? Подари их Ленушке!

— После моей смерти я завещаю их княжне Алене Ивановне!

— Ай да Дуня, моя самоцветная! Сердись не сердись, а поцелую...

— Простите, дорогие послы, моему резвому недорослю. Шалун он большой, но сердце доброе, таким, говорят, был отец его...

— Да буду ли я таким на старости, как отец мой? — спросил юноша, задумавшись...

— Лишь бы добрая воля...

— Воля-то моя вся тут, да будет ли Божья?

— Молись...

— И за этим дело не станет, но что моя молитва — у Бога таких, как я, много.

— Вася, мы все молиться будем, — сказала княжна Елена, положив ему на плечо руку. — И я, и мама, и тетка Дуня, и Федосья...

— Разве тогда... — и юноша развеселился. — О, да как же я служить буду? Что мне Казань! Что мне рябой Алегам! Царь-град возьму, привезу салтана турецкого на Москву в клетке. Только, как ты себе хочешь, государыня Софья Фоминишна, а уж братца твоего Андрея Фомича на царьградский престол не пущу...

— Не напоминай мне об нем, батюшка! Это... горе мое. Подумай, княгиня, сегодня опять на выходе не был; Иоанн все видит, пустое место его как мне глаза и кололо... И где он пропадает?

— Я могу тебе донести, матушка государыня, — запинаясь, вмешался в разговор Вася. — Но не знаю, порадуешься ли...

— Хоть и больно, а все лучше знать... — грустно промолвила княгиня.

— Он каждый день у нашей хозяйки в го-

стях.

— У какой хозяйки?..

— А у которой отец Мефодий академию занимает... у вдовы Меотаки.

— Довольно... Довольно! Я одного боюсь — рано проговорится; и если правда — беда! Признаюсь, я в таком положении, что не смею и разведывать: Елена Степановна не пропустит случая сплести страшную повесть...

— Поручи, государыня, мне, — с поклоном произнес Никитин. — Обманывать тебя, ма-тушка, не буду, а к Андрею Фомичу мне и без того есть надобность.

Софья недоверчиво посмотрела на Никитина и, помолчав, сказала:

— Как же ты челобитствовал нам от него... а сам... мне слышалось... не близок к нему. Благодарю. Я хотела бы только узнать, правда ли, что он готов жениться на этой женщине?

— Ого! Греческий император на греческой купчихе! — воскликнул Вася.

— А ты как знаешь?

— Как же мне не знать про нашу хозяйку. Вот вчера еще мне про нее говорил молодой

Ласкир, когда я был с ним на учении у отца Мефодия... Там их много, греченят, ходит. И другие ее знают.

— Что же про нее рассказывают?

— То есть, как бы это тебе доложить. — Вася замялся. — Я то не в доклад и понял. По моему толку, она баба злая, много шалит, только шалости у нее не такие, как мои, дурные шалости; вот говорят, сребролюбива, да признаюсь, так как я Андрея Фомича не жалую, так и рассказы мимо ушей пропускал; притом же я боялся, что войдет отец Мефодий, спросит урок, а у меня на этот раз не совсем было готово, так я только крайчиком уха слушал, а памятью весь в греческую мудрость освободил Зою из-под турецкого гаремного ярма.

Вошел Патрикеев, и беседа прекратилась.

— Государыня Софья Фоминишна! — сказал он весело. — Государь просит.

— Буду!

— Государь теперь же просит...

— Иду!

— Не изволишь ли приказать проводить?

— Я дома, князь! Дорогу знаю.

«Погоди же, — подумал князь, уходя и по-

дозрительно поглядывая на послов. — Эти сидят, а мне и места не предложили. Погоди! Погоди!..»

— Вы догадываетесь? — спросила Софья, приподнимаясь с места. — Вы были свидетелями всего, так вы вместо меня и отвечать будете государю. Надеюсь, вы не забыли ни одного слова и повторите, как все было. Больше я ничего не требую. Пойдем!

### III

## СВАТОВСТВО

**Б**лиз того места, где теперь Нескучное, на Москве-реке, на городской стороне, красовалась Греческая слобода. Деревянные домики, как в кудрях, укрывались в темной июльской зелени лип и кленов; хотя она и называлась Греческою, но тут жили также итальянцы, немцы и даже жидаы. Брат великой княгини Софьи, Андрей Палеолог, проживал на государевом дворе за Москвой-рекой, или, по крайней мере, так полагали, потому что с тех пор, как он выдал дочь свою Марию за князя Верейского, он почти не бывал в своем жили-

ще, а проживал у греков, перебравшихся в Московию из Рима вместе с Софьей и более из самолюбия, нежели по чувству показывавших вид почтительного уважения к последнему потомку владык византийских, наследнику имени царьградского престола. Дорого стоило им это уважение, потому что Андрей не только для себя, но и для гостей требовал царского приема, обильных угощений, поздних пиров; надоедал своим мнимым подданным до того, что доходило до ссоры. Поссорясь сегодня с Ласкиром, он переезжал к Ивану Рало; поссорясь с ним, отправлялся к Меотакки, богатому купцу, и так далее. Перессорясь же со всеми, начинал очередь снова, мирился и опять ссорясь; он наезжал было и на итальянские дворы Фиораветти Аристотеля Алевиза, Петра Антония Фрязина, придворных зодчих, пушкарей, Дебосиса и Петра Миланского, но тут, угостив сытным столом, умели наскоро выживать гостей из дому, извиняясь, что хозяину предстоит срочная работа. За огромным пушечным двором Дебосиса, который стоял уже за слободой, тянулась узкая, темная и грязная улица; тут жили немцы и

жиды, само собою разумеется, тайные, потому что, кроме Новгорода и Пскова, нигде они не жили на Руси открыто. В этой слободе, или отделении Греческой слободы, были только три порядочных дома, но один из них, лекаря Антона, был наглухо заколочен; уже третий год никто не решался купить этот дом у наследников: имя несчастного хозяина наводило ужас на слободян. Врач Антон не вылечил Даниярова сына, тот умер, а врача выдали головою сродникам, которые и зарезали его на Москве-реке под мостом. Другой красивый дом принадлежал мистру Леону, тоже врачу, а третий — немецкому гостю Хаиму Мовше. И врач и гость были жиды, но первый называл себя итальянцем, последний — любчанином... Андрею Палеологу было уже далеко за пятьдесят, но крепкое сложение и беззаботный нрав были поводом, что в волосах у него не было седины, а на лице ни морщинки; лицо его было правильно, приятно и свидетельствовало, что в молодости он был знаменитым красавцем. Любимейшим местопребыванием Андрея был дом Аристарха Меотаки, старого и весьма богатого купца; у него была

молодая жена ослепительной красоты, и хотя осторожный и ревнивый Меотаки употреблял все предосторожности, чтобы никто ее не увидел, но, на беду, Андрей догадался, отчего Меотаки так тщательно ее скрывает, и принял свои меры. Меотаки скоростижно умер. Андрей распорядился похоронами и освободил Зою из-под турецкого гаремного ярма.

Возвращаясь из Кремля с Леонидом, сыном Иоанна Рала, своим молодым наперсником [11], Андрей у самых ворот Греческой слободы повстречал мистра Леона, который, в богатой одежде, на великолепно убранном коне, ехал в Москву; за ним двое слуг везли походную аптеку и хирургические инструменты.

— Принчипе! — сказал по-итальянски мистр Леон, удерживая своего коня и слезши с лошади. — Я рад, что тебя вижу.

«А я очень не рад», — подумал Андрей, с приметным отвращением и боязнию взяв за руку жидовина.

— Кого едешь морить?..

— Спасать, следовало бы сказать; по крайней мере, заплатят. Позволь, принчипе, на одно слово... Меотаки на кладбище...

— Знаю.

— А где же сто златниц?..

— Безумец, да разве я обещал?..

— Когда я лечил его, не ты ли сказал Хаиму: «О, я дал бы сто златниц, если бы мой друг Аристарх переселился на двор отца Мефодия».

— А! Так ты убил его?.. Ты отравил несчастного?.. А я думал, что мой бедный Меотаки умер естественною смертию. Постой же, поганый жидовин! Я раскрою твое скверное дело, не то подумают, что я твой сообщник... Я мог сказать, я мог желать смерти Меотаки, но сулить, подкупать... О! Да ты злодей, и находишься при дворе сестры моей, — это опасно...

Мистр Леон побледнел.

— Принчипе, — сказал он, оглядываясь. — Ты хочешь погубить меня и очернить себя, а я был тебе полезен, могу и еще быть тебе полезным...

— Едва ли! Откровенно говорю тебе, что, если бы я встретил смерть лицом к лицу, уж тебя бы не позвал... Но помириться с тобой я, пожалуй, готов...

— И поверь, что я буду тебе союзником лучше многих.

— Согласен! Но скажи, куда ты это так разрядился?

— В Кремль! Ездовой прискакал: Елена, царская невестка, занемогла...

— Елена! — воскликнул Андрей, задумчиво посмотрев на врача. — И ты не спешишь? Болезнь, видно, не опасна...

— Да, дурнота, — отвечал жид, принужденно улыбаясь. — У нее это часто бывает...

— То есть, когда надо повидаться с мистром Леоном и расспросить у него о том да о другом...

— Неблагодарные! Откуда же вы все узнаете про придворные дела? Вы знаете, что затевают противу вас Патрикеевы и Ряполовские, владеющие умом молодого князя и Елены. Уж не Мовша ли твой сидит мухой на теремных обоях и подслушивает? Если бы не... Да что говорить! Неблагодарность — идол человечества. Если я умою руки, вас всех живыми съедят Ряполовские. Сегодня по закате солнца соберутся ко мне добрые люди; приходи — увидишь, услышишь!

И Леон не без труда влез в седло и поспешил в Москву со своими помощниками. Андрей задумчиво смотрел ему вслед.

— Ваше величество! Кажется, беседа с мистром Леоном была не совсем приятна? — сказал Рало, подойдя.

— Ты угадал, Леонид! Я боюсь этого жидовина; напрасно вы привезли его из Италии.

— Государь московский нам поручил привезти врачей и художников; мы могли залучить охотников, а кому охота ехать в Москву, особенно после смерти Антона. Удивляюсь, как нам удалось привезти и этих семерых; правда, из них только один грек, наш сродник, и один итальянец, оружейник, — все остальные жиды. Впрочем, мистр Леон и в Италии был в славе...

— Рало! Я боюсь его! Он кует противу нас злое дело.

— Я слышал, что у него собираются многие бояре, противники Патрикеева и Ряполовских; странно, что в то же время он в чести у Елены, а ты знаешь, как любит Елена мою сестру, ее детей и всех нас... Поверь, что он служит двум господам и с обоих берет боль-

шие деньги.

— Такой предатель не страшен. Важной тайны он ни тут, ни там не проболтает; он мелочной и фальшивый торговец, и должно надеяться, что скоро попадется, как попался Антон. Одно мне не по сердцу: это то, что ему очень нравится Зоя.

— Моя Аспазия! Это ты с чего взял?..

— Моя! Ох, эта Аспазия пока ничья; беда в том, что многие могут считать ее своею...

— Ты с ума сошел, Леонид; если она не сдастся мне, так, надеюсь, другие...

— Другие. Я не хочу сердить твое величество.

— Вздор, говори, я требую...

— Другие моложе... Другие богаче... Хотя положительно я и не смею сказать про Зою, что она отдалась уже кому-либо, что уже есть счастливец... Нет! Но Зое хочется замуж; она сманивает не любовников, а женихов, чтобы было из кого выбрать...

— И ты знаешь хоть одного из них?..

— Всех!

— И ты молчал, и ты мне друг!

— Я жалею даже, что теперь проговорился,

я боюсь нрава твоего; ревность...

— К кому? Неужели к мистру Леону?..

— И этот недурен, но Ласкиров сын Митя — красавец; живописец Чеколи богат и наружностью, и способностями; ты сам восхищался портретом Зои; а когда Чеколи поет, Зоя тает, млеет; этот из жениха легко может поступить в любовники, если захочет. Я люблю тебя, Андрей, и потому не свожу глаз с Зои; у меня свои лазутчики; ты знаешь, что у нашего отца Мефодия теперь довольно большое училище, туда ходят учиться не только наши, но и дети многих бояр и князей; я видел между учениками князя Холмского, сына знаменитого полководца, видел Тютчева, Образца, детей важных московских бояр; для своей академии Мефодий нанял еще у покойного Меотаки большой сад и там философствует со своими учениками. По смерти Меотаки Зоя, по твоей милости, получила свободу, и это с твоей стороны большой промах; Зоя проводит иногда целое утро в плетеной беседке, разделяющей большой сад от малого; она видима тут и невидима, по воле; тут ее видал Ласкир, здесь она с ним познакоми-

лась; она знает имена всех учеников, расспрашивает о достатке и значении их родителей. Ну, и я знаю всех ее женихов...

— Кроме одного...

— А именно?..

— Тише! Это, кажется, Зоя мелькнула между цветами...

Андрей не ошибся: они проходили мимо Мефодиевой академии. В саду гуляла Зоя, и, к особенному удивлению Андрея, одна; она была одета роскошно, по-восточному: дорогая ткань на платье, ценный жемчуг и камни на шее, пальцы в перстнях; наряд много возвышал очаровательную красоту Зои; в глазах Андрея она никогда не была так хороша, как сегодня. Академические решетчатые ворота не были заперты, и Зоя порядочно испугалась, когда Андрей и Леонид поравнялись с нею и первый проговорил:

— Зоя, верно, нас не ожидала!..

— Признаюсь, — отвечала красавица, — я полагала, что вы далеке, за царским столом, в царских чертогах... Мне стало завидно; я нарядилась во все то, что у меня было лучшее, вышла в сад и стала мечтать, будто я царица.

О, так мечтать весело...

— Мечты — сны наяву, Зоя, а они иногда сбываются!..

— Андрей, я знала, что ты насмешник, но не думала, что захочешь обижать бедную вдову...

— Неправда, милая Аспазия...

— Постой, не повторяй более этого ненавистного имени! Ты пользовался моим невежеством и называл меня унижительным именем, Андрей! Кто дал тебе на это право! Разве то, что я умела отвергнуть твои требования, и за это я Аспазия! Верю, что предки твои были нашими царями, но не ты, Андрей! Я уважаю в тебе твоих предков и потому только не жаловалась на тебя московскому государю. И не пожалуюсь, если дерзость твоя к тому не принудит... Но я имею право требовать и требую, чтобы ты оставил дом мой и уволил меня от обидных посещений!.. Я сказала свое! Прощай!

Зоя вспорхнула в плетеную беседку, и дверь захлопнулась.

— Вот тебе раз! Кто это так искусно растолковал ей про Аспазию?..

— Молодые академики! О! Они не тому еще научат Зою. Впрочем, ист худа без добра. Я знал, что в этой интриге ты ничего не выиграешь, только истратишь много денег и времени. Благо, что все кончилось...

— Кончилось? Ты ошибся, Леонид, — начинается! Конца ты никак не ожидаешь, но все равно. Надо поспешить, чтобы господа академики не предупредили. Их мудрость опасна...

— Что лее хочешь делать?

— А вот увидишь.

— Я знаю, что ты хочешь делать, — прошептала тем временем Зоя, лукаво улыбаясь. За густою зеленью своего трельяжа она была невидимый зрительницей всего, что происходило в большом саду... Но едва только Палеологи ушли, как лукавая улыбка сменилась грустным выражением лица; Зоя присела и, отодвинув густую зелень акации, с приметным нетерпением глядела в сад.

— Уж не ошиблась ли я? — опять прошептала Зоя. — Академии поутру не будет, так сказал вчера Константин, зато ввечеру они хотели собраться пораньше, солнце склонилось, а никого еще нет...

— Мир дому, счастье и веселие прекрасной хозяйке, — сказал женский голос в малом саду или, правильнее, в цветниках Меотаки...

«Ведьма, ты опять здесь!» — подумала Зоя и отвечала:

— Милости просим.

Вошла женщина лет сорока, приятной наружности. Хотя она была в немецком платье, но по лицу и выговору нетрудно было догадаться, что это была жидовка. Кивнув весело Зое, она без чинов уселась на низенькой софе возле хозяйки и лукаво спросила:

— Кого высматриваешь?

Зоя покраснела, но отвечала с притворным спокойствием:

— Мистра Леона! Мне что-то нездоровится...

— Зоя, от твоей болезни Леон не вылечит. Только дивлюсь я и тебе, Зоя, ведь тебе уже двадцать лет миновало, ты не ребенок; какого ты найдешь себе приятеля между этой безбородой молодежью, ведь это все дети...

— Я люблю детей больше, чем стариков...

— Знаю, на что ты намекаешь. Только ты, по-моему, несправедлива, Зоя! Андрей не

стар; что это за старость? Мой муж, Хаим Мовша, десятью годами старше царевича, а все еще молодец; и Палеолог, на мой глаз, красавец.

— Может быть, для иных и так. Да не в том сила, соседка! Ты умная и ловкая баба, а не можешь понять, что кто бы твой Палеолог ни был, но никому не охота быть его наложницей...

— Ты, Зоя, всегда на свой лад перетолкуешь. Ведь он тебя не в гарем посадить хочет, ведь он тебя на замке и на привязи держать не станет. Ты будешь знатной боярыней, сама по себе хозяйкой, подругой...

— Видишь, соседка, я и без того боярыня, потому что муж мне кусок хлеба оставил, я и без его милости хозяйка сама себе, а уж если иметь поклонника, так лучше — в муже, чтобы смело всем в глаза смотреть...

— Мещанская мудрость! Ты, чай, слышала про маркизу Кастелли, она гордилась званием любовницы Палеолога.

— Слышать слышала, но видеть не видела; слышала я еще и то, что маркизе твоей нечего было есть, а у Андрея водились деньги; я

его не виню: как ему моей любви не добиваться; хороша ли я, нет — в сторону, а заплатить долг надо; Меотаки без расписок в долг не давал, все целы...

— Что? Расписки?! Вспомни, что Андрей...

— Ты хочешь сказать, брат московской государыни? Да ведь московский царь на их византийскую спесь не смотрит. Жену любит и чувствует, а нашему Андрею жалованья все-таки не дает, когда нашалит. Вспомни, что князь, верейский князь, сам по себе государь, на Андреевой дочери женился; не посмотрели — как холопа вон выгнали, и вот помяни мое слово, пожалуйюсь Патрикеевым завтра — и завтра же Андрея, как всякого другого, позовут к расправе.

— Но чем же он заплатит?

— Если маркиза — без денег — могла по квитаться с ним любовью и стыдом, то Палеологу без денег — тоже гордиться нечем...

— Одумайся, Зоя! Да ты затеваешь такое несбыточное дело, что тебя вся слобода на смех поднимет.

— В таком случае я и буду смешна... Извини, соседка! Ты посол, что ли?

— Помилуй, Зоя! Ты знаешь, как я тебя люблю; одно участие...

— Благодарю и постараюсь заплатить тем же, но только в другое время, а теперь, соседка...

— Понимаю, понимаю! Ты хочешь послушать греческой мудрости...

— Ты угадала! Родная мудрость. Весело...

— Да я тебе не помешаю, Зоя, и так как я тебя люблю, притом же мы с Хаимом люди бедные, а ты, Зоя, можешь помочь нам... Нам все равно, кому служить, а я тебя за кого хочешь высватаю...

Зоя затрепетала; хотела что-то сказать, но, подозрительно взглянув на жида, как будто онемела; та заметила впечатление последних слов своих и продолжала:

— Хочешь за молодого Ласкира, он у нас самый знатный жених...

Зоя повела головой отрицательно.

— Хочешь за Чеколи... Ты любишь его беседу.

Зоя сделала то лее движение...

— За кого же?..

Зоя отвела зелень акаций и указала на

улицу. У ворот академии на конях три всадника о чем-то разговаривали. Один был Никитин, другой молодой Холмский, третий был дядька, или приспешник[12], или как угодно назовите приставника Васи, мы будем называть его так, как называли его в самом деле — Алмазом. Зоя указала на всадников в то самое время, когда князь Холмский указывал Никитину на нее или на беседку, в которой она сидела. Зоя смутилась и опустила зеленые ветви. Жидовка привстала с удивлением и любопытством.

— Губа не дура, говорят русские, — сказала она, присев на софу. — Тут надо приложить много ума и много труда, Зоя!

Ведь это князь Василий Холмский, сын первого и знаменитого московского полководца, ты, верно, слышала, что он уничтожил Новгород; я помню это страшное время, мы тогда только приехали из Любека и хотели там купечествовать. На реке Шелони Холмский скопил все новгородское войско; горожан как овец забрали; он ходил противу Ахмата и прогнал Золотую Орду так далеко, что теперь про нее и не слышно; он же побил и

железных орденских немцев; а сегодня, ты знаешь ли, отчего в Москве так звонили в колокола? Князь взял Казань и татарского царя в Москву пленником прислал. Московский царь без него ни в какой поход не ходит. Мало того. Жена князя царю сродница. Он ей поручил воспитание детей... Так видишь ли, Зоя, сын таких родителей Ивановой дочери — чета... Да не все же князья на княжнах женились... Велико, Зоя, твое богатство, но красота твоя больше; скажу правду, между русскими боярышнями и тени твоей не увидишь...

Зоя молчала; глаза ее сквозь зелень деревьев впились в юношу, который, простясь с Никитиным, соскочил с лошади, отдал ее Алмазу, а сам, взяв от него большую кожаную суму, шел мимо к уединенному садовому домику, который вмещал одну довольно обширную палату, или академическую залу... Зоя трепетала и горела; схватилась было уже за ручку дверей, но голоса в малом саду удержали ее.

— Говорю тебе, старик, здесь нет никакого Палеолога...

— Так будет, — отвечал Никитин по-гречески. — Доложи своей госпоже, а об остальном

не беспокойся...

Смущенная, испуганная, Зоя взглянула в малый сад и тотчас узнала в Никитине княжьего собеседника у академических ворот. Обольстительные догадки заблестали в воспаленном воображении: «Уж не от него ли? Может быть, судьба посылает случай!..» И тому подобные мысли толпились в горящей голове. Зоя с немым вопросом стояла на лесенке, поразив старого Никитина зрелищем истинно ослепительной красоты. Но старик скоро опомнился.

— Ты вдова Меотаки? — сказал он тихо. — Извини, государыня моя, если беспокоил моим приходом. Друг твой, Андрей Палеолог, приказал мне быть сюда...

— Мне не друг этот старый развратник! Нет тут никакого Андрея! Ступай, откуда пришел...

— За что же ты серчаешь, красавица! Не знаю, чем он досадил тебе, а я человек приезжий; привез ему от брата Мануила грамотку и подарки; встретил его на улице, и он велел мне быть сюда... Вот мы и приехали...

— Кто «мы»? — спросила Зоя торопливо.

— Князь Вася да я... Князь мне и дорогу к тебе указал...

— Князь! Много чести! Я никогда не имела счастья его у себя видеть...

— Недоросль еще, зелен, хоть и умен не по летам; ему учиться надо, а не в гости ездить...

— Да что же, гость дорогой, я тебя так невежливо принимаю; пожалуй в хоромы, а я пошлю за Андреем...

— Соседка, — шепнула Зоя жидовке, — где хочешь, отыщи Андрея и приведи сюда...

— Милости просим...

— Глядя на твои цветы, окна, стены, — так начал Никитин, — мне сдается, что я не в Москве, а в Царьграде...

— А ты был там?

— Недолго.

Зоя ввела гостя в приемную палату; она вся была выложена дубом и расписана масляными красками; было видно, что живопись новая и хорошей кисти; на средних дверях красовался портрет Зои работы Чеколи. Никитин посмотрел на портрет, потом на оригинал и сказал:

— Хвалю художника, но и солнце в зерка-

ле вод всех лучей не имеет, так и красота твоя многое в живописании утерьяла. Не дивлюсь теперь слухам, что ходят по Москве.

— Какие слухи?..

— А ты ничего не знаешь?

— И догадаться не могу, на что намекаешь...

— Я утверждал, что клевета невозможное выдает за истину, а теперь, увидав тебя, убедился, что зависть красоте твоей могла создать и рассеять несбыточную сказку...

— Ради бога, скажи! Злые языки на все способны...

— Говорят, будто ты метишь в родство великой княгине...

Зоя смутилась, но ослабевшие от лет и трудов глаза Никитина не могли этого заметить; тем временем Зоя успела скоро собраться с мыслями и отвечала:

— Вот что! Это очень понятно. Вдовья жизнь, ты знаешь, беззащитная; я говорю с тобою откровенно, потому что твой почтенный вид внушает доверие. Я не скрyla от многих, что, если бы нашелся жених, такой, какого бы я желала, я почла бы себя вполне

счастливою. Андрей был знаком с мужем, после смерти его стал навещать меня прилежно; люди знают мои правила и заговорили...

— Аспазия! Ты простила меня! — с этим восклицанием вбежал в палату Палеолог, с непокрытой головой и вообще с признаками некоторого расстройств. Видно было, что он уже успел пообедать. Зоя имела повод испугаться такого неожиданного нашествия и спряталась за Никитина. Палеолог, наткнувшись на него, отступил шага на два, посмотрел на гостя и расхохотался...

— Уж и ты не жених ли? — сказал он со смехом, небрежно бросаясь на софу. — А кто сватает?

— Твоя милость, верно, забыл нашу встречу у кремлевских соборов?

— Да, да! Ну садись, рассказывай!

— Рассказ мой короток. Был я в Царьграде, видел...

— Остальное я знаю. Видел Мануила, дорогого братца, холопствует Магомету и десяти тысячам жен его...

— Нет, он живет тихо и скромно на своем подворье! Султан осыпает его благодеяньями.

— Благодетель! Нечего сказать! Назови лучше вор, который подает милостыню из той же кисты, которую украл у того же нищего. Мануил не гнушается этою милостыней, я его знаю: он сам себя называл человеком точным и добропорядочным. Скряга!

— Однако же он через мои руки посылает эту грамоту и этот ларец.

— Грамоту после прочтем, а ларец. Покажи. Вот это дело! Вот это на брата похоже: камни, жемчуг, золото. Вот это так, пригодится для нас с Аспазией...

— Ты правду сказал, Андрей, — сказала Зоя, выхватив ящик из рук Палеолога. — Пригодится, будет служить закладом, пока ты не уплатишь мне долга по записям. Прощай!

— Зоя! Ты смеешь!

Но Зою уже не было, дверь отворилась и захлопнулась, вместо Зою Андрей силился схватить ее живописное изображение, с насмешливой улыбкой глядевшее на него с дверей.

— Зоя! Отвори! Я выломаю двери!

— Не трудись! — отвечала она со смехом. — Я уже послала за моими слугами. Пришли деньги, я отдам клейноды, — а пока про-

щай и уволь меня от твоих посещений. Почтенный гость расскажет тебе, какие слухи ходят по Москве...

— Какие слухи?

— Я исполнил поручение Мануила; не думал, что оно кончится так неприятно... Теперь я должен исполнить тягостное поручение Патрикоева...

— Что? Не хотят платить жалованья? Хотят даром у меня выманить наследство Греческой империи?..

— Напротив того. Патрикоев поручил передать твоей милости, что государь изволил много смеяться твоей грамоте, в которой ты предлагал уступить право на восточную империю за две тысячи пудов серебра.

— Смеяться!

— Патрикоев наказал сказать, что если Бог поможет выгнать турок из Царьграда, так у государя на тот престол все права есть и по единой вере, и по супруге... Что права те уже в великокняжеском гербе означены; а если покупать за деньги, так никакой казны не станет, потому что права те надо скупать у всех Палеологов, а их больно много.

— Врет Патрикеев; я старший сын Фомы, старший племянник императора Константина! Я один наследник! А если не хотят, так жалеть будут, потому что я продам мое право Фердинанду испанскому; сами будут жалеть, что империя достанется латинцам! Я не виноват: меня принудили; довели до разорения, не платят жалованья...

— И об этом Патрикеев просил сказать, что жалованье твоей милости выплачено вперед до конца года, а теперь еще июль месяц; что до первого сентября ничего не дадут; а если ты захочешь из Москвы уехать прогуляться, то на подъем дадут тысячу рублей и казенные подводы...

— Выживают! Не любо, что я этим золотым холопам, что у них боярами зовут, не кланяюсь? Скажи им, пускай дают деньги, завтра лее уеду...

— Деньги-то отдадут приставу, который тебя, для почета, провожать будет...

— Не хочу никаких почестей, презираю этим нарядным величием; я философ, смеюсь над суетою; независимость и любовь моей Аспазии — вот чего я добиваюсь на этом свете...

— И об этом толковали бояре...

— А им какое дело?

— Не знаю; только рассуждали о том, что тебе на Зое жениться нельзя...

— Ого! Что же? Уж не бояре ли мне запретят? Так поди же и скажи этим боярам, что я их завтра же прошу на свадьбу сюда в дом Меотаки, в дом моей невесты, а завтра жены.

— Твоя милость шутит...

— Холоп! Ты слушай, что тебе велят! Слышишь ли, завтра, как Бог свят, как люблю дочь мою Марию, загнанную, сосланную в ненавистную Литву с ее знаменитым мужем теми же подлыми боярами, клянусь Христом и Пречистою Матерью — завтра я женюсь на моей Аспазии, а вы себе толкуйте и рассуждайте, сколько вам угодно. Аминь!

— Ради самого Бога, вспомни, Андрей Фомич, что этим браком ты раздражишь и так уже гневного Иоанна...

— Да он-то мне что? Я ему благодетель, что позволил татарскому даннику жениться на моей сестре, племяннице императора; я его осчастливил и возвеличил, а он из благодарности велел от щедрот своих выдавать мне на

харчи по полтине в сутки! Царское содержание! А сам-то любит блеск и пышность. Ты у него не обедал. Последний раз за трапезой больше трех сотен было; все ели с серебряных, а многие с золотых блюд; вино пили из таких тяжелых стоп, что если бы одну продать Хаиму Мовше, то месяц можно прожить. Знаю, что все это он наградил в чужих городах. Мало своей казны, так он казну новгородских богачей и разных больших и малых князей к своей приписал... Так не трудно разбогатеть; да что я? Он был рад от меня избавиться: родство для него паутина, знай сметает. Деспота Верейского, деспота тверского, близких родных, смёл; ты не слышал, что поговаривают про родных его братьев Андрея и Бориса? Говорят, и на них острит зубы... Так чего мне ожидать от великих щедрот Ивановых?

— Но государыня Софья Фоминишна?

— Сестра? Было время — она вела себя как следовало и нас в обиду не давала... С тех пор как сын его женился, как эта чернявка стала ногой в теремах Иоанновых, все пошло наыворот; вот четвертый год исходит; ни подарка

не пожаловал ни супруге, ни мне, а невестку то и дело одаривает, даже сестриными вещами... Теперь у него советники — Елена, Патрикеев, Ряполовский, Ощера, Мамон... Все хороши! Видно, что ты, брат, с нового света приехал. Ты ничего не знаешь про московские тайные дела...

Палеолог подошел очень близко к Никитину и сказал тихо:

— Старик! Не верь Патрикееву! У него злое сердце; кто не хочет быть орудием его подлой воли — тот ему враг... Ты, сколько вижу, старик добрый, да на Москве новый! Тут теперь такой содом, что беда; давно бы уехал, да проклятый долг меня мучил и связывал, и денег не было. Благо, что за ум взялся. Конечно! Женюсь — и уеду... Вижу, что ты хочешь спорить. Не трать слов попустому. Я решился...

В это мгновение дверь с портретом отворилась. Вошла Зоя и с нею несколько греков и гречанок; Андрей знал их всех; не раз уже эти люди угощали его по неделе и более; Андрей посмотрел на них с досадой и сказал:

— Напрасная предосторожность, Зоя! Ты, верно, слышала наш разговор и не поверила

истине слов моих. Ошиблась, Зоя! При всех прошу руки твоей! Будь моей женой! Не требую ответа, вот мое кольцо; поменяемся и поцелуемся...

Греки и гречанки раскричались от удивления и зависти, но Зоя, бледная, дрожа, сняла кольцо, подала Андрею; холодными устами коснулась горящих губ его и лишилась чувств...

— Дадим покой моей прекрасной невесте! Она не ожидала такого счастья, пусть успокоится, а мы пойдем.

Андрей вышел из дома Меотаки вместе с Никитиным; июльское солнце пышно пылало на закате, вечер дышал упоительной прохладой; все было тихо на улице, только у академической ограды переминались с ноги на ногу дорогие кони да раздавалось храпение слуг, почивавших у забора. Андрей шел рассеянно; казалось, он весь был занят своей женьитьбой. Никитин хотел проститься, но первое слово приветствия как будто разбудило Палеолога...

— Куда? — спросил он сухо. — Верно, к Патрикееву!..

— К таким большим боярам без зову не ходят. Он наказал мне быть к нему послезавтра, после обедни...

— И ты исполнишь?

— Не могу ослушаться приказа...

— Что же ты будешь делать теперь?

— Поеду домой, запишу все, что видел и слышал, помолюсь Богу и лягу спать.

— А! Так ты летописец!..

— Нет, привычка! Многие без того забудется...

— Это и есть история! Если так, то я желал бы, чтобы ты меня узнал покороче. Я уверен, что летописцы многое на меня наклеветают. Знаю, что я ветрен, шаловлив... но сердце у меня не патрикеевское. Хотел бы я... Да вот, кстати! Я всегда избегал придворных крамол и сплетен; я любил жизнь независимую, беззаботную, веселую, с кипучим вином, с лихой песней, с жарким поцелуем... Я не ходил никогда туда, где могли толковать о делах дворских или ковать какой замысел. Но теперь все равно, я уезжаю из Москвы... Эта статья кончена... Теперь я могу себе позволить послушать, что толкуют на сходбищах у мистра

Леона... Пойдем!..

— Но...

— Что за «но»! Пойдем! Ты летописец — беседа мистра Леона тебе пригодится... Жалеть не будешь. Пока дойдешь, солнце сядет и совы станут слетаться... Вероятно, некоторые, что посмелее, уже там...

— Но кто же этот мистр Леон?..

— Увидишь сам и запишешь как очевидец...

Никитин нехотя повиновался, отвязал своего коня и разбудил Алмаза...

— Не ждите меня! — сказал Никитин и пошел за Андреем, держа поводья.

— Куда же это он? — протирая глаза, спросил Алмаз. — Ого! Да уже и не рано. Заучились! Пора бы и домой; княгиня, чай, в окно глаза высмотрела... Ну, слава те Господи, расходятся...

Действительно, вся академия, то есть отец Мефодий и десятка два юношей от пятнадцати и до двадцати лет разбрелись по аллеям. Учитель и многие юноши ушли или уехали, некоторые доканчивали диспут в саду, к числу последних принадлежали князь Василий

Холмский и Дмитрий Федорович Ласкир, сын важного греческого выходца, который был почтен Иоанном и пожалован в бояре. Холмский из всех греков любил одного Дмитрия; образованный, по-тогдашнему даже ученый, Ласкир с познаниями соединял приятную наружность и светскую любезность... Диспут молодых людей был ненаучного содержания, он велся насчет очаровательной хозяйки...

— Ты должен ее видеть! — говорил Ласкир, самодовольно улыбаясь. — Отец считает меня ребенком, а мне уже двадцать второй год; она моложе меня, она богата...

— Но ты сам говорил, что шалости ее непозволительны и противны александрийскому учению...

— Василий! Я не рассудил об одном, что она тайно беседовала со мной, тайно ездила в государевы сады на прогулку со мной, и только со мной... Ветреница, конечно, но я не знаю соперника.

— А Палеолог, Андрей?..

— Вчера я все узнал! Он насильно хочет быть ее другом... А она не сдается...

— А она, любезный Митя, она хочет быть

его женою — и он сдаётся...

— Бабушки сказки! Чего не выдумает подозрительность Софьи Фоминишны. У вас там в теремах, я думаю, каждый день новые вести. В день, я полагаю, сто человек переженят и разведут. Удивляюсь, как тебе не скучно в этой бабушкой клетке...

— Ах, Митя, если б ты знал, как там весело! Правда, маленькие дети иногда подымут такой визг и писк, что бежать приходится. Зато дети и спят много; тогда мы отличаемся. Я старший, всему начало; потом, у меня сподручица Елена. Такого другого ангела на земле нет. Разве Феодосия перецеголяет, но та еще мала... А уж как умна, никогда с детворой не возится, всегда с нами...

— Да что же вы делаете?

— Что? Играем в жмурки, после поем церковные песни; ну, Митя, если бы ты слышал этот удивительный голос, чистый-чистый, кажется, будто с неба льется; уж как придет время петь, смейся не смейся, а у меня в груди так душа и разболится; мутит, душно, пока не запоет наша Леночка. Недаром ее все сорок нянь теремным соловьем называют.

— Сорок нянь... Да это у вас бабий полк... А мужчин совсем нет.

— Как нет? Василий, он уже десяти лет; мальчик умный, мы с ним очень дружны; есть теремной дворянин, Строилов, у него помощники да прислуги; вот Алмаз, он, правда, наш холоп, но к дворской челяди приписан и окладом пожалован...

— И все вместе...

— Как можно? На мужской половине Строилов голова, а на женской няня Кирдина; утром к молитве все сходимся; помолимся, тут государыня придет, мы ей поклонимся и завтракать станем, если обедни нет, а есть — с нею к обедне идем; нас всех за золотой решеткой устави́т, там мы литургию и слушаем; потом с Софьей Фоминишной дети пойдут наверх, там недолго остаются; воротятся — давай учиться; отошло ученье — пошли игры или в сад поведут. Потом кушать усядемся, а там опять играть; вот эту пору я больно люблю, потому что на утренние игры не всегда успеешь, с вами засидишься. Зато вечером... Такой гром подыдем, что государь сверху присылает, наказывает, чтобы дети потише

играли... Ну да и этого скоро не будет; говорят, теремной каменный дом скоро поспеет, тогда государева рабочая палата от нас подалее будет...

— Вася! Вася! Да неужели ты хочешь навсегда в теремах оставаться?

— Как навсегда?

— Удивляюсь, что отец теперь уже не берет тебя с собой на войну...

— На войну! Да что ты это? С чего ты это взял? Оставить терема, матушку, моих друзей. Я умру с тоски...

Ласкир с нежностью смотрел на Васю; добродушная, невинная привязанность Василия обличала состояние сердечных дел его, но Вася сам не знал и не понимал, что таится в свежем сердце. Одно слово могло разрушить этот рай и тихо теплившиеся чувства обратить в страсть. Это разрушительное слово было уже на устах Ласкира, но ему как-то жаль стало Васю; не по расчету благоразумия, но из безотчетного сожаления, по какому-то инстинкту Ласкир смолчал и глядел на юношу с горькою улыбкой... Ласкир даже забыл про Зою. Задумавшись, оба шли к воротам, где Алмаз

ворчал за поздние диспуты... Но едва они вышли на улицу, из других ворот, которые вели на двор Меотаки, выбежало несколько мужчин и женщин...

— Помогите, — больше других кричала известная нам соседка, жена Хаима Мовши. — Умерла...

— Кто? — воскликнул Ласкир, и хотя получил ответ, но ничего уже не слушал; схватив за руку князя, он бросился в дом Меотаки...

Смеркалось. В вечернем сумраке они увидели Зою; она лежала на софе бледная и холодная, как мрамор; Ласкир схватил ее за руку и с ужасом опустил руку...

— Вася! Если ты меня любишь, посиди при ней, а я притащу мистра Леона! Я ничего не пожалею...

Ласкир убежал; князь Василий не знал, что ему делать с больною, он приподнял ее голову; умирающий день осветил лицо ослепительной красоты; юноша задрожал и в испуге едва не уронил чудной головки, но легкий вздох, вырвавшийся из полуоткрытой груди, ободрил его и порадовал. Он вскрикнул от удовольствия, когда томные, черные глаза

раскрылись и блеснули. Полагая, что причиною воскресения Зои было то, что он приподнял ее голову, Вася обхватил Зою обеими руками и, усадив ее на софу, хотел отступить. Как бы не так? Голова его была в руках Зои. Она повернула ее к свету, и руки ее задрожали, от них и от дыхания Зои стало жарко юноше...

Прошло мгновение, и Зоя осыпала юношу поцелуями, каких, конечно, не доставалось Васе испытать на своем веку; он обеспамятовал, голова его кружилась, он горел — и бессознательно, сам не зная, что делает, прижимал Зою, целовал ее как безумный... Крики и шум шагов заставили обоих опомниться.

— Я не пущу их, — вскрикнула Зоя и побежала к двери, но было поздно... В комнату с светильником вошли неотвязная соседка и какой-то мужчина...

— Сюда, сюда, мистр Иоганн, — сказала жидовка и едва не уронила светильник, увидев «покойницу» на ногах, с красными щеками.

— Так ты... — Жидовка не кончила, заметив князя. — Вот что! Ну, мистр Иоганн, изви-

ни; было так, как я тебе говорила, — стало иначе, сама выздоровела.

— Душевно рад, но после обморока я замечаю у этой госпожи горячку... Советую успокоиться... Верно, поразила ее какая-нибудь сильная нечаянность, испуг...

— Да, ее испугал Андрей! Объявил своей невестой...

— Что такое? — прошептал князь, и мысли его стали приходить в порядок...

Врач поздравил Зою, дал несколько полезных советов, взял приношение и ушел с жиловкой...

— Так это не сон?! — сказала Зоя печально, упав на софу, и рыдания заглушили ее голос...

Несмотря на то что Василий имел довольно времени прийти в себя и припомнить многое из прежних рассказов Ласкира, но рыдания женщины были для него совершенною новостью. Он опять забыл все и бросился к Зое...

— Что с тобой, Зоя?..

— И ты спрашиваешь? Да, я не скрываюсь, я люблю тебя; знаю, что это безумно, потому что я старше тебя. Но у меня есть к тебе

просьба; если не захочешь исполнить ее, то лучше убей. Я должна спешить: могут помешать. Слушай, я выхожу замуж...

— Слышал!..

— Не но любви.

— Этого я не знаю, но верю...

— Замужество это и почетно, и хорошо...

— Тебе знать...

— Жена Палеолога может принимать таких больших гостей, как ты, князь...

— Если матушка позволит...

— Не зову на свадьбу, потому что это может быть неприятно для теремов...

— Ну!

— Не забудь своей должницы... Ты придешь?..

— Если позволят, — проговорил князь.

— Разве ты дитя?

— Но я приду посмотреть на тебя, непременно, а пока прощай...

— Не пущу... Дай слово.

— Ну, приду!

И Вася вышел. Ему было как-то и весело, и легко. Выбежав на улицу, он вскочил на коня и, вместо того чтобы повернуть в Москву, по-

вернул на Жидовскую улицу.

— Князь Василий Данилыч! Куда ты это? — кричал Алмаз, с трудом догоняя Васю.

— К мистру Леону.

## IV НОЧНОЕ

Двор мистра Леона, не в пример другим дворянам Греческой слободы, был обнесен высокой каменной оградой и снабжен огромными железными воротами; за оградой дома не было видно; по всей улице раздавались удары камня в железные ворота и разносился звонкий голос Ласкира. Напрасно, на дворе будто все вымерли; измученный Ласкир заметил, что калитка не плотно примыкает к воротам, и усиленными ударами надеялся победить ее. В это самое время прискакал Вася...

— Что ты делаешь, Митя?

— А! Это ты? Слезай проворней, помоги мне скорее разбить калитку... Я знаю обычаи этого лентяя: ночью ни за что не поднимешь! Что же ты, Вася?

— Сижу себе на лошади и тебе советую сде-

дать то же. Все кончено.

— Умерла?

— Воскресла!

— Палеолог объявил ее при свидетелях невестой, и эта нечаянность была причиною, что она обеспамятовала...

— Сказки, князь!..

— Вся слобода знает и слышала! Мистр Иоганн при мне поздравлял Зою... Может быть, ты и теперь скажешь, что в теремах свадьбу сплели...

— Этому не бывать! Софья Фоминишна не позволит, будет бить челом государю...

— Эх, молодость зеленая! — с трудом удерживая коня, сказал Алмаз. — Бога ты не боишься, князь! Погубил ты тело мое грешное; Стромилову под плети отдал плоть мою старую; в терема и не показывайся, прямо ступай на конюшни государевы да перед Наумом-конюхом и ложись!.. Что у вас, глаз, что ли, нет? Ведь от солнышка уже и бахромки не видно, птицы спят, а вы тут ночью по чужим дворам шатаетесь... Как хочешь, князь, едем, а не то насильно повезу...

— Молчи, Алмаз! Чужие едут...

— То-то и беда, увидят, расскажут — поведут меня к Науму...

— Ну, ну! Едем, только молчи...

Ласкир поспешно вскочил на коня, и все трое тихо поехали по Московской дороге. Хотя и было уже довольно темно, но юноши могли рассмотреть всадников, ехавших к ним навстречу: их было двое. По всему было видно, что ехавший впереди был господин, а другой слуга. Еще можно было заметить, что оба были нерусские; первый был одет щегольски, перья развевались на его красивой шляпе; лошадь не шла под ним, а играла и, как животное разумное, сама остановилась у ворот мистра Леона. Всадник что-то сказал, ему отвечали из-за ограды, и он посмотрел на юношей, которые также наблюдали за этими ночными гостями...

— Я слышал, — тихо сказал Ласкир, — и не верил, но теперь начинаю подозревать, что у мистра Леона точно по ночам бывают недобрые сходбища...

— Ласкир, если ты мне друг, мы должны проникнуть к нему, узнать, что там делается. Может быть, там куют злое противу нас...

— Надо подумать!

— Чего тут думать — ясно, что тебя боялись пустить и что там сидят тайком. Видишь, ворота отворились, всадников впускают. За мной!..

— Ты с ума сошел. Тут надо иначе: надо бы перелезть через ограду с задней улицы, там, верно, сторожа нет, да пробраться садом под окна, или на крышу, или как ни есть вот так... Но что скажет Алмаз?..

— Да что, Алмазу теперь все равно, — сказал старик. — Все одно поведут к Науму, вздуют: а если заправду поганый жидовин затевает какое зло, так не мешало бы его отправить к покойному Антону, живого сжечь...

— Он на всякое зло способен, — заметил Ласкир. — У нас люди верные толковали, что он нарочито залечил Меотаки, чтобы самому на Зое жениться...

— Ласкир! Он с неделю тому назад давал Леночке какое-то снадобье... Он говорил и Софье Фоминишне, что ей надо от кашля лечиться... Нечего тут рассуждать и медлить! Что будет, то будет, а я иду...

— И я...

— И я, — сказал Алмаз. — Постоите же, птенцы мои! Коли так, надо стариной тряхнуть. Вот теперь двадцать лет тому назад ровно, я в Казань охотником лазил... Где бы только лестницу достать...

— Не надо, — сказал Ласкир, поворачивая в переулок, — без лестницы дело обойдется. Только ты, Алмаз, крепко уцепись за ограду; я влезу на тебя, перейду на стену, а на стену, видишь, облокотились липы. Как помосту сойдем...

— Вишь, молодцы! — сказал Алмаз. И действительно, юноши очутились на ограде...

— Ну, а я? — спросил Алмаз.

— А ты у нас засада... Только, ради бога, отведи лошадей подальше...

— Глупый зверь, правда; ни с того ни с сего заржет, пожалуй, — я им подвяжу морды... Конь — друг человека; а из дружбы всякий труд не труден... Ну, коники мои...

Старик продолжал речь свою у чужого забора; лошади внимательно слушали, но, может быть, не его слова, а далекий шелест листьев, пробужденных ночным путешествием Васи и Ласкира. Юноши благополучно по сон-

ным липам спустились в сад мистра Леона; действительно, с этой глухой стороны никто не ожидал посещения. Сад в этом месте простирался обширной липовой рощей, и по загложшему виду, густой и высокой траве, недостатку дорожек можно было заключить, что эта часть сада была совершенно заброшена; юноши, не без труда пробираясь, натыкались на заросшие пни или скользили по траве, увлажненной росой. Роща редела; показались хоромы; кое-где сверкали искорки, обнаруживая, что в хоромках не спят и что ставни с этой стороны не совсем плотны. В глубоком молчании юноши осторожно приблизились к самому дому. Тихий разговор коснулся их слуха, разговаривали на висячем крыльце, что ныне называется балконом, или, лучше, террасой, потому что с боковой стороны лестница вела в сад... Изредка на крыльцо отворялись двери, на светлом пятне показывалась черная человеческая фигура, и двери запирались, и опять не было никого видно, но зато слышно, что число собеседников постоянно умножалось...

— Рыцарь Поппель, — по-итальянски ска-

зал последний вошедший, и нетрудно было по голосу узнать Палеолога, — видел все земли христианские и всех монархов. Уверяет, будто бы теперь приехал в Москву, чтобы видеть Иоанна. Плут. Бьюсь об заклад — у него другая цель...

— Про то знают мистр Леон да Поппель, — сказал кто-то по-русски незнакомым голосом. — Мистр Леон не своим делом занимается; он не на двух, как говорят, а на десяти скамьях сидит, а все-таки провалится.

— Да, твоя правда! Мистр Леон и нас продаст, коли будет выгодно.

Двери отворились. Мистр Леон пригласил в комнаты, и тут только можно было заметить, что на крыльце было немало гостей. Все вошли в покой, и юноши, ничего не разведав, не знали, на что решиться. Но они зашли слишком далеко, чтобы воротиться. Отвага — спутница их возраста — повела их на лестницу. На крыльце никого не было, за дверьми ничего не было слышно. Князь Вася не вытерпел, отворил осторожно дверь: в этой комнате было пусто. Висячий итальянский светильник освещал софы и кувшины. Остаться тут

было бы опасно; идти вперед — неосторожно; так как тут было трое дверей, то князь, по какому-то инстинкту, повернул в правую. Такой же итальянский светильник освещал опочивальню Леона: роскошная постель, красивые шкафы, мягкие и низкие софы, ковры, вся утварь обличала в хозяине изящный вкус и расположение к неге... Не успели юноши осмотреться и ознакомиться с местностью, как послышался за дверьми разговор и громкий смех мистра Леона. Опасность изобретательна. Князь и Ласкир спрятались за кровать и совершенно закрылись шелковыми занавесками... Они не могли видеть, кто вошел с мистром Леоном.

— Рыцарь! — сказал по-итальянски мистр Леон. — Я не знаю, как благодарить тебя за честь, которую ты оказал бедному темному врачу...

— Кто врачует тело, у того в руках и разум больного... Я виделся с первым вашим боярином, но он столько же смыслит в политике, сколько я в новой кабале[13], которой теперь дурачат не только простой народ, но и людей знатных и ученых...

— Дурачат?

— Не о кабале речь, мистр Леон, а вот в чем дело: первый ваш боярин ничему не верит...

— И хорошо делает.

— Не знаю, хорошо ли, нет ли, только я привез письмо от Фредерика, боярин и этому письму не поверил...

— Смотря по тому, что там написано...

— Там написано, что я видел все христианские земли, хотел бы посмотреть и Московскую державу...

— И больше ничего не написано?

— Ничего! Дальше, как сам знаешь, император просит оказать мне покровительство и защиту.

— И ты хотел, благородный рыцарь, чтобы старая лисица молодой поверила? Может ли быть, чтобы одно любопытство привело тебя в Москву.

— Без сомнения! Европа полна именем Иоанна. При дворе венгерском московский монарх единственный предмет разговоров. Все дела его, особенно брак сына с принцессой, брак его самого с принцессой, — все это

заставляет думать, что Иоанн желает сблизить Москву с немцами.

— А император — приобрести могущественного и верного союзника.

— Может быть...

— Зачем же не объясниться без обиняков? Беспокоить благородного рыцаря таким дальним и опасным путешествием. Если я угадал мысль твою, то не буду подражать твоей хитрости, откровенно скажу, что я улажу это дело; Патрикеев... Но и эта причина одна как-то не удовлетворяет моих соображений. Его величеству понравились два брака двух Иоаннов. Не имеете ли в виду третьего?.. Елене уже двенадцать; пока станем переписываться и обсылаться посольствами, пройдет два-три года, созреет невеста; готов ли жених?

— Мистр Леон, не могу не дивиться твоей прозорливости и благодарю Небо, внушившее мне мысль повидаться с тобою... Но, мистр Леон, уговор лучше денег, я заплачу тебе откровенностью настолько, насколько могу. Я должен видеть ее... Я должен изведать, будет ли на то согласие Иоанна, если я предложу высокого жениха. Отказ может унижить тех,

от кого я послан, а жена невзрачная не окупается политическими и весьма отдаленными выгодами... В придачу ко всему, что я сказал, мне нужен портрет Елены... Что возьмешь за все?..

— Сто венецианских златниц и место врача при императорском дворе...

— Ты хочешь оставить Москву?

Мистр Леон встал и начал ходить по комнате. Ласкир понимал по-итальянски, но, к счастью, Вася не разумел ни слова, слушал он поневоле; имя Елены, несколько раз повторенное, заставило его затрепетать. Мистр Леон подошел к двери, запер ее изнутри и, воротясь, остановился перед Поппелем.

— Благородный рыцарь, ты мне не изменишь?

— Рыцарское слово, мистр Леон!..

— Рыцарь! Ты не знаешь двора нашего, не постигаешь, на каком вулкане стоим мы все, не исключая многих членов семейств нашего владыки. Ты намекнул про кабалу и справедливо сказал, что ею дурачат не только простой народ; поверишь ли, что жидовством заражен старший член московской церкви —

митрополит Зосима...

— Быть не может!

— Поверишь ли, что духовники государя, старшие каноники Успенской и Архангельской кафедр, тайно исповедуют жидовство...

— Я тебя не понимаю, мистр Леон! Кажется, все это должно тебя порадовать...

— Не потому ли, что отец мой был еврей, а я ни еврей, ни христианин... У меня своя религия... Но выслушай! Ты беседовал с дьяком Курицыным. Этот самый опытный сановник в посольском деле — жид! Ты видел сегодня у меня, да он и теперь еще здесь, — Иван Максимов, муж красоты редкой, с золотыми устами и хитрым умом, — это комнатный дворянин царевны Елены, царской невестки, — жид... И этот жид, по мнению моему, опаснее всех других... Наконец, оба Ряполовские и первый боярин Патрикеев... околдованы кабалою... Я должен быть их союзником, потому что без них на Москве никто ничего не значит... Но долго ли они сами сохраняют это значение?..

— Однако я видел у тебя Палеолога, греков, друзей Софьи, бояр, как я слышал, противной

стороны...

— Когда те надут, эти восстанут. Благородный рыцарь, эти и не жида, но опаснее; те при успехе слепы, эти и в счастья подозрительны... Это не все! У Иоанна есть врачи особой статьи — два брата, да еще князя тверской и верейский; последний женат на племяннице царицы, дочери Андрея, которого ты у меня видел. Иоанн сердит на отца, на дочь и ее мужа, а это укрепляет партию Елены, а ее невидимо опутывает жидовство... Понимаешь ли, как опасно мое положение?.. Друг всех партий, я не знаю, которая одолеет...

— А по твоему мнению?..

— Я сказал, что не знаю, и вот почему хотел бы вынырнуть поскорее.

— А если бы ты все рассказал самому Иоанну?

— А ты видел Иоанна?..

— Нет!

— Как увидишь, тогда скажешь, каково с ним беседовать. А пытка, рыцарь, — пытка! Без пытки моим словам не поверят. Я собрал на Москве довольно; пока разразится буря, соберу еще больше. Как бы только уйти до пер-

вого грома... Я должен был сказать тебе все; теперь суди сам, справедливы ли мои условия. Если ты согласен — по рукам, и я принимаюсь за дело...

— По рукам!

— Пока довольно. Скажи моим сотрапезникам, когда выйдешь из моей опочивальни, что я облегчил недуг твой неожиданно, и надеешься, что, если я совершу над тобою то же еще несколько раз — ты совершенно исцелишься, а это даст повод чаще видеться. Все гости мои страдают ложными недугами, но каждый думает, что только он один хитрит удачно...

— Когда же мы увидимся?

— Я дам знать или сам буду... Пора, благородный рыцарь! Сегодня мне, врачу крамол и козней, много дела! Пора...

Не успел мистр Леон выпустить рыцаря, как вошел Андрей и сам запер двери...

— Я исполнил твою просьбу, — также поитальянски сказал Андрей. — Посетил дом твой и, право, не понимаю, зачем было тебе угодно приглашать меня... Твое разношерстное общество так же скучно, как обед в хоро-

мах Иоанна. У всех замки на губах. Приметно, что все друг друга боятся, а хозяин то и дело запирается с больными, чтобы выманить златницу или сребреник. Но я не болен, и...

— Болен, принчипе... и я нарочно заманил тебя сюда, чтобы насильно вылечить...

— Уж не от женитьбы ли! В этом, наверно, не успеешь! Завтра, мистр, завтра Зоя будет в моих объятиях как законная жена.

— Что такое?

— А, так ты не знаешь, что я женюсь на Зое, как следует по всем правилам, на этот случай установленным, и женюсь завтра же...

— Позволь, принчипе, освидетельствовать состояние твоей крови...

— Осторожнее! Я тебе отвешу такое свидетельство, от которого и завтра сохранятся явные признаки. Подлый жидовин, я теперь понимаю, кто и что ты. Я могу погубить тебя завтра, но я щажу тебя, потому что ты мне нужен, а нужен вот для чего. Слушай и повинуйся! Во-первых, растолковать не сестре моей, ей и говорить ничего не надо, она спесива, матушка; к нашей гордости пришла московскую — и спесива, точно курица, на-

ряженная павой. Нет, надо растолковать Во-  
лошанке, что такому близкому сроднику  
Иоанна, как я, неприлично играть свадьбу на  
свой счет, понимаешь ли? Патрикеев, Ощера,  
Мамон — никто не вымолит у этого Иоанна  
ни алтына, одна Елена... Ну да тебя учить  
нечего... Так же было бы пристойно, чтобы  
жене такого близкого сродника от лица цар-  
ского послано было приличное поздравление  
мехами, парчой, камкой[14], а лучше деньга-  
ми. Я знаю, что, как только в теремах слы-  
шат про мою женитьбу, подымется буря; ста-  
нут уговаривать, пожалуй, пойдут на хитро-  
сти, а от них один шаг до злодейства... Так  
скажи и объяви, что все уже кончено...

— Но как же я обману Елену?..

— Не обманешь! Я буду мужем Зои раньше  
твоего свидания с принцессой. Можешь еще  
объявить Елене, что я не хочу больше ме-  
шаться ни в какие крамолы дворовые и хит-  
рости, а если дадут довольно казны, уеду, по-  
жалуй, завтра же...

— Уедешь?

— Ты чему обрадовался? Помни, что и в чу-  
жие земли ездят московские послы, и всегда с

ними я могу дать знать Иоанну, какую птичку райскую держит он и холит при своем дворе... Да черт с тобой, мне лишь бы выбраться отсюда... Резиденция моя теперь у Зои... Милости просим...

Палеолог ушел. Жид, дотоле бледный, побагровел, снял с себя бархатную скуфейку, бросил и стал топтать ногами.

— Зою! — шептал он, задыхаясь. — Зою! Для тебя ли я упрятал старика? Нет, Андрей! Я и тебя самого упрячу... Я знаю, что на один поп без государева указа не обвенчает их. Завтра! Нет, Андрей! Это — бесконечное завтра! Не дожدهшься!.. Палеолог женится на Зое и думает, что Иоанн позволит, что мистр Леон допустит!

Мистр Леон расхохотался; в это время вошел в спальню Иван Максимов и тоже запер за собою дверь.

— Еще болящий... — сказал он грустно.

Леон поднял поспешно скуфейку, отрянул, надел и покойно сел на софу.

— Поведай о твоём недуге...

— Мистр Леон! Никто о нем не знает и не узнает.

— Есть тайны что шило в мешке. Твоя тайна, Иван, такого же рода; гляди, чтобы тебя не закололи тем шилом.

— О, я не пожалею жизни... Что мне в этой жизни, когда я не только не смею сказать о моих чувствах, но боюсь чувствовать и самая дума веет ужасом. Страшная пытка...

— Что же, брат Иван, делать! Моисей творил чудеса; наука осталась, но многие ли ее знают...

— Да! Схарии не стало! О, я знаю, что великий учитель помог бы бедному ученику! Я горю, тлею в сиянии; я не звезда риз Соломоновых; та горела и не чувствовала, а я пылаю — и пламя тлит душу нестерпимо, нестерпимо... О, сегодня страшный день! Когда сонм нечестивых благодарил Бога сил за победу, я сидел в тереме царевны, один, я думал...

— Что же ты остановился, Иван? Со мною у тебя нет и не должно быть тайны. Ты думал про царевну...

— Змей! — вскрикнул Максимов. — Ты смеешь думать!..

— Иван, ты наш приемыш; ты не испил чаши тайного учения; ты даже не видел сокровищ...

венного сосуда мудрости и удивляешься, что я могу читать в душе твоей. Бедный Иван! Недуг ужасный, но вылечить можно...

— Ни за что. О, я люблю недуг мой пуще матери родной; он прирос к душе моей; оторвешь — изольется жизнь; я буду пусть как храмина без жильцов; оставь мне мою несравненную жилищу... Я не хотел рассказать; я сидел в тереме один; я знал, что воротится одна, и целый ад кипел в сердце... Слышу — идут... Я обеспамятовал, испугался мысли, что буду с нею один; я хотел броситься в девичью, позвать любимую татарку... Но в переходе слышу, разговор растет, закипела ссора; двери растворились, вбежала Елена. Я не видел ее такою. Уж тут не выдумка, не суесловие, нет; глаза заправду горели, бросали полымя; больно было от тех взоров, страшно, жалостно... Мистр Леон, так больно, что я завизжал как пес; сжав кулаки, я ждал слова, чтобы разломать весь терем в щепы... Елена заметила мою муку, схватила меня за руку и сказала: «Благодарю!»

Иван закрыл глаза руками и горько заплакал. Мистр Леон с насмешливой улыбкой гля-

дел на Ивана; наши юноши сквозь скважины занавесок могли видеть, что делается в комнате...

— Ну что же дальше, Иван? — спросил мистр. — Про ссору эту я кое-что слышал.

— Что дальше! Я лежал у ног царевны, как верный пес, притаив дыхание; но псы счастливее, те смеют смотреть в глаза своим господам... Я не смел...

— Тем и кончилось?

— Нет, Леон, она велела встать, я встал и сказал царевне: «Успокойся, Алена Степановна! Мы отомстим...» — «Кому?» — спросила она. «Этой гордой грецкой крале». — «Ей я и сама отомщу, но кто отомстит этому щенку, что при ней...» Я вспыхнул. Я не спросил, о ком речь. Я не хотел знать, кто он; я закричал: «Я, я, кто бы он ни был». Ну, подумай, Леон, этот комар, что так больно ужалил Алену, — еще ребенок, это Вася...

— Холмский? Хорош ребенок! Его женить пора, а у вас все ребенок да ребенок...

Если бы не Ласкир, приведенный разговор, вероятно, изменил бы не только характер, но и все наше сказание. По счастью, Вася сам

чувствовал необходимость до конца оставаться невидимкой.

— А как же это следует мстить! Научи меня, ради Моисея и пророков, у меня у самого есть теперь обидчик...

— Как мстить? Не знаю... Но месть сама скажется.

— Мой обидчик сделал хуже, — перебил мистр Леон. — Он хочет жениться на той, которую я себе приготовил в невесты...

— Кстати, мистр Леон, ты мне напомнил, зачем я к тебе послан... Сегодня великому князю Ивану Ивановичу донесли, что Палеолог решительно женится на вдове Меотаки. Царевна обрадовалась!

— Как обрадовалась?

— Поручила просить тебя, если Зоя будет упрямяться, так уломать. Этот брак нужен царевне...

— Брак Андрея с Зоей?

— Именно! Эта женитьба вконец уронит Софьиных клеветов[15], унизит Фоминишну; на Андрея падет опала, его выгонят, а с ним заодно прогонят и многих других опасных греков; это уже наше дело, мы уже столкнова-

лись с Патрикеевым и Ряполовским; направим, направим! Только ты, мистр Леон, не плошай. Зою уговори, Андрея подзадоривай, не то одумается...

— Нашли союзника! — проворчал Леон, бешено взглянув на Ивана. — Алена Степановна, видно, не знает, что она моя любовь, моя страсть...

— Знает!..

— Знает и требует такой жертвы!..

— Но ты не забудь, что этой жертвой ты положишь наповал врагов...

— Чьих? Ваших, а не моих! У меня нет врагов, у меня все друзья! Вам оказал я немало услуг; моими ушами вы слышали, моими глазами вы видели. Я вам принес на жертву честь, совесть, спокойствие, в надежде, что вы же мне поможете завладеть Зоей. Не дивлюсь ни тебе, ни Елене, но Патрикеев это знал... Вот благодарность! За службу, за страх, за жертвы... Она хочет первенствовать, вот ее блаженство, и для этого хладнокровно уничтожает счастье верного слуги. Да много ли после этого останется слуг-то у нее?

— Царевич предвидел, что ты нелегко со-

гласишься на эту жертву.

— И что же?

— Он даже не советовал тебе сказывать...

— Тайком?..

— Стой, мистр Леон! Я все скажу, если приколдуешь ко мне, мистр Леон, приворожишь... а?

Мистр Леон поправил скуфейку и презрительно улыбнулся.

— Да что мне Алена Степановна, я чужой человек, сегодня на Москве, завтра в Кордове; вот тебе слово, ну, рассказывай.

— Когда же, мистр Леон?

— Это скажут звезды и календари... А ты свое сказывай...

— Да что, я коротко скажу: царевич долго не хотел женить Андрея на Зое, но когда Елена настояла и он согласился, тогда велел из своей казны, тайком, отнести Андрею мешок сребреников. При этом царевич сказал: мистр Леон, по-моему, может все испортить, а деньги, наверное, помогут. Андрей будет рад случаю попить на своей свадьбе на чужой счет и поспешит с женитьбой... Ну, где же твои звезды, где календари?..

— Так вот он каков, Иоанн благодушный!.. Вон он, покровитель и защитник! И не бойся, говорит, никого! Живи у меня в холе и милости, я тебя не оставлю... И после этого... Нет, черт возьми, так не рассчитываются, нет, не дам Зои! А если вы у меня ее украдете, так...

Скверная улыбка искривила уста Леона, он встал, Иван приставал к нему с звездами и календарями...

— После, после! — отвечал Леон. — Сначала дай о себе подумать. Андрей, чего доброго, может сыграть такую шутку, что потом ничем не поправишь...

Кто-то постучался в двери, мистр Леон отворил — вошел Курицын.

— Вы оба с ума сошли, — сказал он сухо. — О чем хлопочете? Свадьба Андрея разошлась, а между тем голос Леона по всем хоромам слышно. Я поспешил предупредить вас, так не стряпают тайных дел. Положим, Иван — молод, но ты, Леон, зверь опытный...

— Зверь... Ты правду сказал, и я не знаю, до какого бешенства докипела бы моя кровь, если бы не весть твоя радостная; но от кого ты слышал?..

— Дело простое. Царевич думал ускорить брак Палеолога и послал ему денег, а тот из-за того и хотел только жениться на Зое, чтобы погасить долг свой Меотаки и покутить на его богатства... Деньги в руках, Палеолог смеется над своим сватовством. Вот, Алена Степановна, без Курицына-то и плохо хитрые дела справлять, а я и на совете не был...

— Конечно, конечно, — подхватил злобно мистр Леон. — Ты бы своего союзника и обманул и погубил искуснее...

— Ошибаешься, Леон! Я и теперь утверждаю, что брак Андрея нам вовсе не нужен. Государя не раздражит эта свадьба, помяните мое слово; Иоанн посмеется сумасбродству Андрея и станет утешать Софью, а вот это так опасно, потому что Софья хитра и воспользуется нежностью супруга...

— Вот это палатный разум! — вскричал мистр Леон. — А вы близорукие, с вашими мелочными расчетами, вы погубите и себя, и союзников...

— И религию, — тихо прибавил Курицын. — Неуместное усердие Ивана к царевне...

— Усердие? — вздрогнув, прошептал Иван, а Курицын продолжал:

— Может погубить все. Если бы ты мог снять завесу с глаз молодого Иоанна, о, тогда бы была великая польза. Рано, больно рано снять покров с истины. Хотя между нами много людей знатных, но мы слабы противу огромного большинства и всемогущего предвзвеса. Мы не должны верить тайн нашим женщинам, детям и скудным умам. Я не доволен, что вы допустили в общество Мамона и Ощеру, этих шутов. Теперь они, из лести Патрикееву, потакают нам; не станет Патрикеева, и мы приготовили только подлых доносчиков. Алена Степановна женщина живая, страстная; нетрудно внушить ей истину библейскую, но одно мгновение может взволновать ее совесть... Знаю, Иван, что тебе сладостно рассказывать ей такие мысли, которые возбуждают ее любопытство, знаю, что в эти мгновения черные очи блестят ярче и продолжительнее светят тебе. Безумец! Ты жжешь себя медленным огнем, и так неосторожно, что можешь и взаправду очутиться на костре... Ты побледнел, Иван! Подумай-ка сам

и размысли. Если мог угадать Курицын, то как оно может ускользнуть от взоров Иоанна? Я давно собирался остеречь тебя, но ты удерживался. Ради бога, перемените ваши неразумные пути. Вот, мистр Леон, случай привел к тебе старика умного, опытного, и, по моим догадкам, он будет у нас много значить... Государь мне говорил сегодня о Никитине и велел ему быть завтра к себе... Завтра же и решится его участь. Иоанн умеет глядеть в души людские... Вот такого союзника приобрести полезно. Он еще сидит у тебя за трапезой: вот пошел бы ты лучше, потолковал с ним, приворожил, употчевал, а то сидишь запершись и суетой занимаешься...

— Но Палеолог у Зои.

— Палеолог у Рало, считает деньги и радуется, что может не жениться...

— Кто сказал тебе...

— Меньшой Рало; он приходил сюда и вызвал всех Андреевых клеветов на пирушку; звал Никитина, но тот предпочел глупому пиру умную беседу с рыцарем Поппелем. Поппель восхваляет твоё искусство, это может расположить к тебе старика, а дальше учить

тебя нечего...

Жид улыбнулся. Курицын, кстати, по-  
льстил самолюбию Леона.

— Пойдем! — сказал он самодовольно. —  
Полонить разумного старца не легко. Это осо-  
бая наука...

— Ты дай нам в ней урок. Я многому учусь  
у тебя...

— И взаимно, — отвечал жид, уходя. Кури-  
цын удержал Максимова...

— Иван, — сказал он тихо. — Я поправил  
все только ради царевны Елены; умоляю,  
будь благоразумен. Помоги мне удержать  
Леона дома до утра, помоги упоить его, вы-  
бить из памяти, не то хитрость моя останется  
втуне... Пойдем, чтобы не подать повода к  
опасным догадкам.

Все ушли. Юноши, пораженные всем, что  
видели и слышали, несколько мгновений  
пролежали у постели мистра, не вымолвив  
слова.

— Господи! — сказал наконец Вася. — Где  
мы были? Вертеп еретиков и злодеев...

— Тише, тише, Вася, ты еще всего не зна-  
ешь! — Ласкир остановился; хотя и молод, но,

по врожденной хитрости, он расчел, что лучше не делать Васю участником итальянских тайн, тем более что уже догадывался о тайне самого Васи, и потому сказал тихо: — Как бы нам теперь выбраться отсюда подобиру-поздорову...

— А я так думаю совсем иначе. Если мы будем пробираться тайком, можем попасть на засаду и с нами могут разделаться как с ворюшками. Мой совет идти прямо в гридню[16], сесть за стол, перепугать хозяина и гостей; разойдутся, и мы с ними уйдем свободно через ворота, а путем-дорогой вволю посмеемся их страху и недоумению...

— Но если спросят...

— Будь нем, Митя, я буду говорить один...

— Но если они со страха захотят нас припрятать...

— Пустяки! Там Никитин, Поппель, не посмеют, а завтра не смогут... Пойдем...

Ласкир хотел остановить Васю — напрасно: князь был уже за дверью; голоса в гридне указывали дорогу; князь Василий вошел бодро и весело.

— Хлеб-соль, добрые люди! — сказал он и

остановился посреди гридни, любуясь неопи-  
санным удивлением хозяина и гостей.

Мистр Леон вскочил и, подняв руки вверх,  
стоял будто окаменелый; Иван Максимов,  
привстав, дрожал от злости.

— Мы вам помешали, да, признаться, есть  
захотелось, мы и зашли к мистру Леону; зна-  
ем его гостеприимство, слухом земля полнит-  
ся. Что же ты, жидовин, не рад, что ли, доб-  
рым гостям?..

— Я?.. Как же не рад... Но, право, не пони-  
маю, каким путем...

— Что тебе до путей! Кабала привела! Мы  
с Ласкиром недаром греческой мудрости учи-  
лись...

— Греческой дерзости, — заметил Иван  
Максимов злобно, поднимаясь со скамьи и за-  
сучивая рукава; он, видимо, собирался разде-  
латься с обидчиком Елены натуральным ору-  
жием.

— Ни с места! — сказал Вася повелительно,  
и Максимов, побледнев, действительно сел на  
место. — Попритих, голубчик, гляди, чтобы и  
про другую ересь не узнали, тогда плохо бу-  
дет...

— С чего ты взял, князь? — с улыбкой спросил Курицын. — Видно, у вас в теремах бабы такие диковинки вместо кружев плетут...

— Твоим языком, палатная мудрость! Не отнекивайся! А то я и тебя на чистую воду выведу... Ну что, хозяин! Попроси гостей сидеть; мы вашей беседе не помеха, а не то прощайте — мы пойдем к Андрею Фомичу на тот пир, что Курицын выдумал.

— Выдумал? — спросил мистр Леон и выскочил из-за стола.

— И хорошо сделал, что выдумал, не то ты бы помешал женитьбе, а теперь, верно, уж все кончено...

— Кончено! Нет, быть не может... успею... Хаим, шапку, трость...

— Напрасно трудиться изволишь! У Андрея царевна свахой. Зое царевич снарядил приданое; все покончено, выпьем за здравие молодых. Да и у меня сегодня день важный: я сегодня из ребят вышел, так дай впервые и сладость вина отведать...

— Тебе пить вино... дитяти...

— Вот вздор какой! Не ты ли сам женить меня советовал...

Жид, бледный, дрожал и не знал, на что решиться...

Курицын хотя был совершенно смущен разными намеками, но прежде других успел собраться с мыслями.

— Люблю, — сказал он, — удаль богатырскую, сейчас видно, что соколиное чадо! Не по летам богатыри растут, а по молодечеству... Князь Василий и двух десятков лет не насчитает, а уже мог бы два десятка голов зараз снять...

— И снял бы, если бы позволили, с тех тайных злодеев, что смущают совесть людей нетвердых, не щадят неразумных женщин, готовят и себе и им погибель!.. Ну что же, мистр Леон, вина!..

— Вина?.. — спросил Леон, от страха не понимая, что говорит, что делает...

— Для такого дорогого гостя, — сказал Курицын, — я не пожалел бы и заветной мальвазии...

Жид понял и ободрился...

— Есть, есть у меня столетняя! Но этого вина никому не дам, кроме молодых гостей, пусть всласть выпьют...

— Давай, давай, а мы пока присядем...

Вася подсел к Никитину, и разговор пошел шепотом; не прошло двух-трех минут, жид воротился с подносом, на котором стояли две чары и фляга, покрытая мохом и плесенью... Он хотел налить чары, но Никитин шепнул что-то Васе, и тот остановил Леона.

— Постой, мистр Леон, — сказал Вася. — Я раздумал! Хотя мне, по-твоему, и пора жениться, да все же у родительницы спроситься надо. Подарок твой я принимаю, — и с этими словами Вася схватил флягу. — А выпью завтра, если княгиня позволит!

— Нет, уж этого я не позволю, пей здесь, а в теремах вина пить не приходится...

— Пьют же другие, когда про ересь рассказывают. Ничего, и мы выпьем...

— Не выпьешь!.. — Жид схватил со стола нож, ударил по бутылке и разбил ее вдребезги — влага разбрызнулась и залила платье Васе и Никитину. В руках князя торчало только горлышко... Этот поступок жида поднял на ноги все общество...

— Эге! — сказал Никитин. — Видно, вино твое было точно заветное!

— Эх, — прибавил Вася. — Не искусен же ты, мистр Леон, кабалой своей только дураков морочишь; видно, греческая мудрость почище жидовской... Теперь, кажется, беседа у нас не сладится... Разойдемся лучше, добрые люди, и мистру Леону мы в тягость, его так и тянет в дом Меотаки. Он там хозяина заветным вином уже потчевал. Нет ли еще фляги?

Многие гости столпились около князя, другие окружили Курицына — все перешептывались...

— Сражение кончено! — наконец сказал Вася. — Дело идет к утру, светает; довольно потешились. Прощай, мистр Леон, авось успеешь Андрея Фомича поздравить; верно, у них пир еще не кончился...

— Прощай!..

Князь, Никитин, Ласкир и многие гости ушли, их никто не провожал; мистр Леон совершенно растерялся, он искоса бешено поглядывал на своих сообщников, которые стояли недвижимой группой, повеся головы...

— Притча! — наконец сказал Курицын. — Спасти нас может одна Елена. Надо действовать быстро — иначе мы погибем...

— Но как этот щенок, — спросил Максимов, — мог попасть сюда, каким образом мог узнать все!

— Как, что? Теперь не время об этом думать. Мы на краю бездны — надо думать, как вывернуться из беды. Иван, ты должен сейчас идти в терема, разбудить татарку, но лучше пойдём, я тебе скажу мысль мою дорогой; нас тут много, и, я вижу, тайны у нас плохо держатся. Скоро самого себя надо будет бояться... Пойдём, Иван.

— Куда, злодеи? — спросил мистр Леон, схватив за грудь Курицына. — Воры! Зою, отдайте мне Зою! Не для ваших происков, изверги гнусные, готовил я эту женщину, не для вас... Зою, Зою, Зою!

— Опомнись, мистр Леон! И тебе, и нам теперь не до Зои. Ты продал нас, ты впустил Холмского тайно в свою опочивальню и теперь хочешь обмануть нас припадком притворной страсти...

— Притворной! О, звери лютые! Вам все игрушка, кроме ваших крамол и козней.

— Мистр Леон! Мистр Леон! — кричал кто-то на крыльце...

— Еще! Что там случилось?

В комнату вбежал молодой Ласкир.

— Мистр Леон, — полушептал, полуговорил он, расстроенный. — Даю тебе слово за себя и за Холмского... Тайны твои умрут с нами, только спаси моего отца. Он смертельно захворал на свадьбе Палеолога...

— На свадьбе!.. Зоя вышла за Андрея...

— Сегодня ночью... Еще сидят за свадебным пиром, но мой бедный отец умирает в доме Меотаки, и домой не могли донести...

— В доме Меотаки?

— Мы встретили посланца; мистр Леон, клянусь за себя и за князя, мы не выдадим ни тебя, ни твоих сообщников, только спаси отца...

— Клянись! Но Холмский где?

— Он также в доме Меотаки, он поспешил к отцу, а я бросился сюда... Там он даст тебе свое княжье слово...

— Там! Там! В доме Меотаки! Они еще сидят за свадебным столом, еще... О, еще есть время!..

Жид исчез. Ласкир оглянулся: в комнате никого не было. Леон скоро вернулся в ман-

тии и шапке...

— Пойдем, Ласкир, — сказал он с живостью, глаза его сверкали злобною радостью. — Пойдем в дом Меотаки!

## V

### ТРЕВОГА В ТЕРЕМАХ

**В** нижних теремах никто не спал, кроме грудных младенцев. Отсутствие князя Василия, небывалое, непонятное, приводило в отчаяние не только княгиню Авдотью Кирилловну, но и великокняжеских детей. Елена и Феодосий то и дело выбегали в передний покой и спрашивали у сонного прислужника, не вернулся ли Вася, — сходи, погляди. И прислужник, в душе проклиная Василия, отправлялся на мужское крыльцо, где то же беспокойство мучило молодого Василия, сына Иоаннова, и дворцового дворянина Строилова. Он разослал всех, кого было можно, искать Василия, но и посланцы уже воротились с пустыми руками, а князя все еще не было. На другой половине, у Елены, также никто не спал; муж Елены стонал, покрытый шубами и

одеялами; Елена, накинув душегрейку, хлопотала с любимой своей татаркой около мужа, ожидая мистра Леона, за которым поскакало немало гонцов. При всем том, как ни велика была тревога на обеих половинах, но все ходили на цыпочках, говорили шепотом, боясь, чтобы шум не достиг до верху и не разбудил Иоанна... Вдруг в теремных коридорах раздалось слово «пожар»... Тогда шепот обратился в громкий крик: «Где?».

— Далече, зарево!

— Вася, ты, что ли? А что, мистр Леон приехал? — Все эти вопросы сливались в одно, и такой шум не мог не разбудить государя прежде, чем градоначальник князь Федор Петрович взошел наверх.

В предспальнике, при свете сонной лампы, освещавшей усыпанную самоцветными камнями икону, на обитой бархатом софе, во всей одежде сном крепким почивал комнатный боярин Мамон. Теремная тревога не возмутила бы богатырского покоя, если бы князь Пестрый не приложил руки к недвижим ногам Мамона.

— Вставай, боярин! Пожар на Москве, до-

ложи государю...

— Пожар! Туши! — закричал во все горло Мамон со сна так, что на Москве-реке, вероятно, было слышно...

— Что с тобой? Государя перепугаешь...

— Что за шум? — сказал государь, пробужденный тревогой, выходя из опочивальни в полушубке на собольем меху и в длинноносых татарских туфлях. — Где горит?..

— Греческая слобода!..

— В третий раз, а оттого, что бражничают поздно...

— Да ты, государь, не приказал в их дела земской управе мешаться, так мы там и сторожников не держим.

— После об этом. Мамон, одеваться!

Мамон уже стоял с платьем. Иоанн сел, чтобы надеть сапоги, но боярин, испуганный своим чрезмерным восклицанием, вместо сапог на ноги Иоанновы надевал охабень[17].

— Дурень! — сказал Иоанн грозно, и Мамон уронил охабень. По счастью, прибежали очередные дети боярские, одели Иоанна, подали ему шапку и трость.

— Мамон едет со мною! Туши пожар, туши,

не будешь вперед бояться!..

— Да я и так его не боюсь! Вольно же князю страдать невзначай. Пришел бы, сказал: Мамонушка, изволь открыть ясные очи.

— Изволь ехать.

И государь пошел вниз, пред ним дети боярские несли свечи и жезл. В главном переходе Иоанн остановился, заметив людей и шепот. Все приникли к стенам и, потупив глаза, онемели. Обратясь к князю Пестрому, Иоанн сказал грозно:

— Зачем детей пугать! Верно, проснулись и встали.

— Да и не ложились, надежа-государь! — отвечала одна из нянек.

— Как не ложились? — И государь спешно вошел на половину княгини Авдотьи Кирилловны... В переднем покое, дрожа от страха, стояли Елена и Феодосия. Рыдания княгини раздавались в другой комнате.

— Что тут случилось? — спросил тревожно Иоанн.

— Ах, государь родитель, — с плачем отозвалась Елена. — Вася пропал без вести.

— Какой Вася?..

— Наш Васенька, тетенькин сын. Перед вечернями уехал — ни слуху ни духу! Нигде не нашли! Пропала наша головушка!

— Васенька, добрый Васенька! — с плачем вторила сестре маленькая Феодосия.

— Да растолкуй, кто поумнее, какой Вася?..

— Сын княгини Авдотьи Кирилловны, — дрожа, сказал подоспевший на шум Строилов. — Поехал с Алмазом к Мефодию учиться, и ни тот ни другой не воротились...

— Послать искать именем моим! Приеду — доложить, что окажется.

— Боже мой! Ему хуже, — раздался в переходе голос другой Елены. — Что же мистр Леон?

— Там что еще?..

— Ах, государь! Спаси меня, — говорила, рыдая, царевна. — Муж мой.

Иоанн уже стоял у постели сына и расспрашивал о недуге.

— Это камчуга, — сказал Иоанн, — злая болезнь, если вначале нехватишь... Но сколько ни помню примеров, все выздоравливали. Вели, невестушка, теплым маслом ноги вытереть да погорячее бузины испить. Сын мой

милый! Не допускай черной думы; мысль дает недугу крепость, а воля наша должна и болезнь мертвить. На слободе греки, видно, лишнее выпили и пожар затеяли. Еду тушить; ворочусь — зайду!..

— Греки! Греки!.. — возопила Елена. — Сердце вещее говорит мне, что и Ваню моего греки испортили...

— Вот уж и испортили; простудное зло... Будь покойна!

Иоанн вышел и остановился в коридоре перед Стромилковым.

— Отчего врачей нет, ленивый раб?

— Все были, государь, но ни одного Алена Степановна не приказала пускать. Все, говорит, греками подкуплены. Велела сыскать мистра Леона...

— И вы не могли его сыскать во всю ночь!..

— Едет, едет, — кто-то крикнул с крыльца.

— Пусть обождет меня у сына!

Иоанн вышел и сел на коня.

Несмотря на ночь, несколько бояр и две сотни боярских детей в полной готовности ожидали Иоанна. Князь Федор Пестрый поехал вперед, за ним боярские дети с фонаря-

ми и царским жезлом, тогда уже государь с боярами и остальными боярскими детьми. Над Греческою слободою стояло небольшое зарево, на востоке светлело; Иоанн ехал рысью; возле, задыхаясь от тучности, на тесном седле подскакивал Мамон, но смешной вид боярина не обращал на себя внимания государя, как обыкновенно. Иоанн был приметно мрачен и погружен в тягостные размышления, он даже не заметил, как мистр Леон, ехавший во дворец, увидав государя, остановился, слез с лошади и отвесил земной поклон. Слобода была полна народом, большею частью зеваками; зрителей было много, но тушить никто не хотел, издалека был слышен шум разговоров; по едва заметили царский фонарь, все затихло; большая часть бросилась по домам, но не успели; царское слово, что сокол, облетело боярских детей, и те загоняли обывателей на пожарище, как уток, и принуждали тушить огонь. Когда государь подъехал к пожару, тушить уже было нечего: двор Меотаки представился сплошною громадою пламени; боярские дети оцепили пожарище, разломали заборы, чтобы не дать огню

возможности распространиться.

— Чей двор горит? — спросил громко князь Пестрый...

— Греческого царевича, — отвечала какая-то женщина.

— Чей двор горит? — спросил громко князь Пестрый.

— А этот он сам взял за женой!..

— Так он успел уже жениться! Пошел, ушел — проворно! — воскликнул Мамон.

— Сегодня в ночь. Воротился откуда-то, кажется от Леона — я тут была у невесты, — говорит: что их ждать, еще помешают; я послал к отцу Мефодию, позвал свидетелей, пойдем обвенчаемся и концы в воду. Ведь тогда уже не развенчают, а свадебный пир после справим. Зоя не отнекивалась, приделалась; пошли вон в ту церковь, там, видно, их друзья ждали, воротились гурьбой; не знаю откуда, только достали всякого кушанья и вина разного. Пировали долго, верно бы, до обедни за столом досидели, да старый Ласкир занемог. Откуда ни возмись, прибежал молодой князек Холмский и припал к боярину, давай его водой вспрыскивать, а тут и сын Ласкиров с ми-

стром подоспели. Гости видят — врач пришел, их дело сторона; разошлись, а хозяйева поскорее в спальню. Мистр Леон давай лечить Ласкира; всех с ног сбил: кого за горчишной лепешкой, кого за травой; когда я с горчицей прибежала, Ласкир уже шел домой, опираясь на князька и сына, а мистр Леон убирал в комнате снадобья... Ну, слава те Господи. Приказал мистр Леон двери запереть и спать идти. Я так и сделала — улеглась на кухне; вдруг крик, шум, я выбежала, гляжу — все в огне. Люди стоят кругом, да любуются, да толкуют, порочат мою боярыню. Ништо ей, говорят: пусть не лезет в крали. Вот тебе и царевна и царевич!.. «А они там?» — спросил князек. «Там!» Он туда стрелой, так по его платью огни и забегали. Пропал. А за ним старик какой-то тоже бегом. Кричит: «Постой, Василий Данилыч! Умирать, так вместе. Прощайте, добрые люди». И этот пропал...

— Спроси ее, — сказал государь тихо Мамону, — что ж они, и не воротились?

— Ну, матушка, пошел-ушел, что же они, и не воротились?

— Ничего не знаем. Видно, что сторели, а

не то воротились бы...

Иоанн не вымолвил ни слова, но на лице было написано сильное волнение. Деревянное строение Меотаки горело недолго; боярские дети с помощью обывателей скоро залили пожарище... Не без труда железными вилами разрыли пепелище, но нашли только уголь; огонь не оставил никаких других признаков своих жертв... Между тем рассвело. Государь воротился в Кремль, въехал во двор, взошел на крыльцо с лицом печальным; глубокая дума сделала его невнимательным ко всему окружающему; на последней ступеньке оступился и, вероятно бы, упал, если бы ловкие чьи-то руки его не поддержали. Иоанн взглянул на своего спасителя. Пред ним стоял Холмский-молодой: хотя и заплаканные, голубые очи сияли светом чистой, невинной души, русые кудри мягкими прядями в некотором беспорядке разбегались по молодым, но уже широким плечам. Он был в зеленом бархатном полукафтани, из-под которого видна была персидская шелковая рубашка, обшитая золотыми галунами. Хотя Холмский был сыном друга Иоаннова, хотя он жил вместе с

детьми царскими, но Иоанн не знал Васи, тем более что князя в терема привезли младенцем; наверх с детьми он не ходил, а в нижних теремах Иоанн не был с тех пор, как туда переехала княгиня Авдотья Кирилловна. Государь пристально смотрел на Васю; тот, к удивлению Иоанна, покойно и весело выдерживал взор его, тот взор, от которого не одна женщина падала в обморок.

— Кто ты? — спросил государь.

— Твой раб и подданный Василий, князь Данилов, сын Холмский, — ответил юноша.

— Так это ты, Вася?.. — спросил государь, нахмуясь.

— Я, великий государь, Вася...

— Ты, Васенька, малолетний?

— Не малолетний, великий государь, я недоросль, как говорит матушка.

— Так это не ты в Греческой слободе бросился в огонь...

— Я и Алмаз, великий государь, мы оба бросились. Да разве мы что ни есть этим дурное сделали...

— Напротив того.

— Я так и знал, что ты, государь, похва-

лишь, а спроси матушку да свою супругу, государыню Софью Фоминишну, спроси-ка ненаглядных твоих царевен...

— Гм! Ну что ж они.

— Мыли мне голову, мыли, душно стало, выбежал на воздух освежиться. Пусть они и умные, и высокие, а у меня свой толк. Бог меня любит, выбежал я от бабьей грозы, а Господь помог мне поддержать тебя.

Иоанн был тронут, а это с ним редко случилось.

— Добрый ты сын любезного мне мужа, — сказал он. — Разум твой столь же чист, как и сердце. Сохранишь ли их во всегдашней чистоте?..

— И на это, государь, у меня свой толк.

Государь улыбнулся, а это была еще большая редкость.

— Что же случилось с Андреем и его женой? — спросил государь.

— Бог помог! Алмаз вынес Андрея Фомича, а я Зою, благо, что окна в сад низки.

— Где же оба?

— Мы отнесли их к Ласкиру. Их дымом одурило. Да еще при нас стали приходиться в

память.

— Князь Федор! Пошли сейчас туда Саву-врача от моего имени.

— Вася! — сказал Иоанн, положив руку на голову юноши. — Я тебя не забуду.

Князь Василий не выдержал, залился слезами и, схватив руку Иоанна, стал целовать ее.

— До свиданья, Василий!

— Государь, коли так, — проговорил Вася, — то у меня есть просьба до тебя. Укажи государыне и всем нашим теремным, чтобы они перестали мне мыть голову и сердиться.

— Перестанут.

Иоанн вошел в коридор и спросил Стромиллова:

— Что сын Иван?

— Лучше!

— Я так и думал.

Невестка встретила государя с лицом веселым, мистр Леон почтительно преклонился.

— Лучше, государь родитель, совсем лучше. Боль в ногах поутихла, только слабость.

— Мистр Леон, жалую тебя корабельником и шубой... Что, выздоровеет?

— Ручаюсь головой твоему царскому величеству.

— Помни слово, а что до титла, то латинских не жалую... Мне с римским императором детей не крестить.

— Мне, подлому рабу твоему, противоречить не приходится, но долг совести велит, коли к слову пришлось, мне, верному и преданному слуге, не молчать, а говорить.

— О чем же говорить?

— Рыцарь Поппель здесь неспроста.

— Да это и каждый может догадаться.

— Прости дерзости гнусного раба твоего, но вряд ли думные твои советники смекают, зачем здесь Поппель... Он в Москве с женихом высоким.

Иоанн пристально посмотрел на Леона, но тот почтительно преклонился.

— Вот что! Далеко еще до свадьбы, а уж сватов засылают. Вот вчера была свадьба, так совсем без свах и сватов обошлись...

Все молчали, потупив глаза. Иоанн продолжал:

— Проказник Андрей женился на купчихе Зое. Вот вам и знатная сродница, а! Но дело

сделано, не развенчать же их; теперь надо подумать и о подарках, им же и помощь нужна — погорели, бедняги, чуть самих спас Вася-орленок.

— Они спасены? — торопливо спросила Елена.

— Бог помог! Спасены! Меня этот брак немало не удивил, но одно досадно. Это сильно огорчит Софью! Надо поспешить к ней на выручку. До свиданья.

Пока Иоанн сидел у сына, Вася с торжеством воротился к матери. Хотя Вася и отыскался, но тревога продолжалась по-прежнему. Софья Фоминишна в досаде ходила по комнате. Елена у окна плакала тихо, Феодосия, как и всегда, ей вторила, княгиня Авдотья Кирилловна ворчала.

— Срамник этакой! — сказала княгиня, увидав входящего Васю. — С хриstopродавцами и развратниками всю ночь провозился.

— Тетенька, — жалобно и со слезами перебила Елена. — Перестань!

— Перестань! — повторила и Феодосия.

— Пусть расскажет, пусть признается, где был, что делал, какому злу научался! Пусть

выдаст злых советчиков, что на такой соблазн уломали...

— Где был, что делал? — заметила Софья с презрительной улыбкой. — Из усердия ко мне спасал сестрицу Зою! Не дал сгореть стыду моему и посрамлению... Недоросль, а схватил Зою, а не Андрея!

— Слышь! Отвечай же, полуночник ты этакой, зачем Зою, а не Андрея?

— Ох ты Господи, Господи! Да где же мне поднять такого слона!

— Не увертывайся, потаскушка ты этакой! Ты отца и мать обесчестил, знаешь ли, если дойдет до государя...

— Государь знает, матушка!

— Пропала моя головушка — погубил навеки.

— Боже ты мой, боже! Не кручинься, ненаглядная моя родительница! Государь не в тебя. Он за все пожаловал мне царское спасибо.

— Ах ты греховодник! Лгать на государя! Язык отыметя.

— Здравствуй, княгиня Авдотья Кирилловна! — сказал государь, входя в палату. Княгиня быстро поднялась и почтительно прекло-

нилась. Софья с принужденной улыбкой подошла к Иоанну.

— Слава тебе Господи! — шепотом сказал Вася. — Авось государь уймет их...

— Редкий гость, но я в долгу пред тобою, дорогая сродница...

Княгиня отвесила земной поклон.

— Что это ты, княгиня, тебе такие поклоны непристойны.

Василий бросился помочь матери подняться, но та оттолкнула его, сказав шепотом: «Отойди, срамник, ты мне не опора!»

— Вчера еще хотел зайти, да дела задержали. Вчера хотел благодарить за Данилу, а сегодня приходится благодарить и за сына. Добрый, умный он у тебя юноша, честь матери.

— Ах ты государь-солнышко, — радостно прошептал Вася.

Радость Елены была еще искреннее. Она вскрикнула: «Ага!» — и, прыгая, захлопала в ладоши. Иоанн нахмурился.

— Ты чему обрадовалась?

— Ах, батюшка, если бы ты знал, как тут ему досталось, мы с Феней плакали, плакали... Может ли быть, чтобы Вася сделал что

ни есть дурное... Ведь не нарочно же он всю ночь не спал, видно, нужда была... Только и успел сказать, что двоих от огня спас; больше и говорить не дали...

— Прибавь еще, Леночка, что он спас и третьего от ушиба; а кто знает, что бы от того ушиба приключилось; в мои лета упасть с лестницы...

— Тебя! — вскрикнули все, а Леночка со слезами радости бросилась к Василию... — Ах ты, голубчик наш! Ну вот, тетенька, вот тебе!..

— Без упреков, дочь моя! — пуще и пуще хмурясь, сказал Иоанн и сел в кресла; все заметили грозу на величественном лице Иоанна и присмирели. Даже Леночка тихо отошла к окошку и стала смотреть на тесный дворик. Долго Иоанн сидел молча, размышляя сам с собою. Вздох Софьи, подавлявшей нестерпимую досаду, разбудил его; он посмотрел на нее, и тучи стали расходиться, взоры яснили; он вынудил себя улыбнуться, и улыбка явилась.

— Знаю, что огорчило тебя, но эта весть не стоит печали.

— Ох, государь, супруг мой великий! Все

эго дело рук врагов моих, чтобы унижить в очах твоих бедную Софью...

— Врагов твоих? — с удивлением спросил государь. — Я их не знаю. Но если бы даже и были, то ты мало ценишь и любишь меня, когда можешь думать, что я позволю клевете раскрыть уста на тебя, мою дорогую супругу, мать детей моих и всей Руси. Может ли свадьба Андрея унижить Софью? Он унижал тебя более своим вдовством. Если бы он женился на дочери императора римского, но без любви, то не исправил бы своего разгульного нрава. Эту он любит без памяти, как юноша, а любимая жена чего не сделает. Признаюсь, я рад за Андрея. Он сам поймет, что там, где все знают род жены его, оставаться ему неловко, а мы поможем его отъезду казною. Я не давал ему денег на пирушки и шалости, а на жизнь добрую и спокойную — дам охотно. Тем более что спокойствие Софьи для меня дорого...

— Государь! Сколько милостей...

— Пока ни одной, только должное! Василий, поди скажи казначею, чтобы пришел в рабочую палату... Леночка, возьми Феню, ступайте себе играть к няням... Княгиня, присядь

к нам! Сколько лет Василию?..

— Шестнадцатый в Петровку покончил...

— Пора на службу. Для теремов он уже стар. Разум его чист, сердце не испорчено, но возраст приходит, когда человеку одному станет скучно. И что за жизнь в теремах сыну богатыря земли Русской! Ратная доблесть — великое достоинство, но оно плод честной совести и телесного здравия! Дар Божий, возделывать его не надо. Но ратный ум должно воспитывать и развивать как правила добродетелей. Последнее ты совершила как нельзя лучше; сдай мне теперь сына на руки, да образуя из него мужа государственного, достойного преемника князю Даниле, достойного слугу моему Ивану...

— Мы все твои, государь, твори, что хочешь. Сама вижу, что он уж из недорослей вышел — только кто же за ним на Москве-то присмотрит.

— На Москве? Дорогая сродница, Москва не наука; Москву еще учить надо, и долго-долго, конца не вижу, а начинать надо. Пусть взглянет на государства соседние.

— Помилуй, государь-батюшка! Его убьют

нехристи; дитя не разумное, пылкое, изловят в латинском али в жидовском соблазне...

— Стыдно, княгиня! Значит, ты моей о нем заботливости не веришь. Я сам у него в долгу, не говорю уже о Даниле. Я ему дам опытного приставника, умного дядьку, который сохранит его яко зеницу своего ока. Доверься мне, княгиня!

— Государь! — встав на колени, сказала княгиня со слезами. — Я сберегла тебе детей твоих...

— Хочу воздать тебе мзду равную.

— Да будет по глаголу твоему...

— Аминь!

## VI

# РАБОЧАЯ ПАЛАТА

Иоанн встал; благовест призывал к обедне; государь поцеловал княгиню в чело, дал ей поцеловать свою руку и ушел вместе с Софьей. У обедни были и дети, за ними поодаль стоял и Василий.

Когда литургия кончилась, Иоанн, выходя из церкви, подозвал Васю...

— Ко мне, в палату! — сказал Иоанн, и Василий пошел за государем в числе сановников, шедших по обычаю в рабочую государеву палату. Все было ново для Василия. Вчера впервые он вкусил сладость поцелуя, вчера он был участником в событиях загадочных и странных, сегодня из беззаботного недоросля он стал юношей, лично известным государю, с какою-то заслугою, которой важности он не мог постигнуть. Все вчерашние тайны, которые так волновали его, пропали сегодня, будто пена с вина; глаза его разбегались, он не знал, на кого и на что смотреть.

Рабочая палата государя помещалась в осо-

бом деревянном доме, она была довольно обширна; по правую руку дверь вела в ту узкую, длинную комнату, где, как мы видели, Патрикеев принял Никитина; по левую — дверь от приемной палаты или, лучше сказать, от покоя ожиданий; на скамьях, обитых красным сукном и медными пуговичками, сидели священство, бояре, воеводы, окольниковы, дьяки, весь новый московский чин, который тогда еще не получил полного устройства. В главной палате огромный дубовый стол, обитый кожей, небольшой налой и шесть кресел с высокими спинками, также обитые кожей, составляли убранство; зато на столе — рукописные книги в кожаных переплетах, свитки, ларцы, окованные серебром и простые, чучело какой-то редкой птицы, наконец, глобус земного шара, походивший видом на грушу, — все это лежало в беспорядке и было покрыто пылью, потому что Иоанн сюда не допускал прислуги, запирал палату собственноручно и ключ носил при себе. Ключ этот был позолочен, и, вероятно, от этого палата называлась золотою, — впоследствии была действительно в том же Кремле Золотая палата;

может быть, первая подала мысль устроить последнюю. Вынув ключ, Иоанн подал его Мамону, тот отпер двери; Иоанн вошел в палату, обратился к иконам, осенил себя прежде знаменем креста, положил шапку на налож, жезл поставил в угол, разводя рукою густые кудри; Мамон в это время подошел к правой двери, что вела к Патрикееву, отодвинул железную огромную задвижку и тихо вышел. Государь сел на свое место. Возведя глаза на икону, Иоанн долго смотрел на лик Спасителя, наконец, вздохнув, сказал тихо:

— Трудно.

И снял печати со свитков, лежавших перед ним на столе. Прочитав несколько слов первого свитка, Иоанн изменился в лице.

— Мамон!

Боярин тихо вошел из приемной палаты.

— Кто там есть из священства?..

— Только Нифонт Суздальский.

— И благо! Проси сюда!

Нифонт давно стоял перед государем, но Иоанн так был увлечен чтением, что не заметил его присутствия. По временам только он шептал: «Господи, спаси и помилуй!.. Нече-

стивцы!..» Дочитывая уже свиток, Иоанн встал с места, и вид его стал страшен. «Как! Алексей, Дионисий... На дворе моем! Быть не может!..» Тут только Иоанн заметил епископа и, обратясь к нему, сказал:

— Присядь, владыко! Дело важное, дело страшное! Боюсь верить...

— Государь, и я получил грамоту, о которой пришел сказать тайно, зане писана мужем, в иерархии знаменитым, сияющим добродетелью христианскою, яко солнце...

— Угадываю! Отец Иосиф Волоколамский достоин такой хвалы... Пастырь добрый, ты знаешь труды мои на пользу церкви, ты ведаешь, как внимательно и осторожно избирал я для каждой епархии святителей. Вассиан Тверской, Тихон Ростовский, Геннадий Новгородский, Симеон Рязанский, Прохор, Филофей и другие святители не обманули надежд моих, но Зосима...

Государь нахмурился...

— Он нам глава, государь, — тихо сказал Нифонт, — но не мы его избрали на престол первосвятительский, на то была...

— Воля вашего государя! — гневно прервал

Иоанн. — Протопоп Алексей, духовник мой, всегда восхвалял добродетели Зосимы. Одна уже открылась к соблазну христианства; вся Русь знает, что он пристрастен к вину... Трещу, чтобы друг Алексея не разделил с ним и богоотступных мнений...

— Об этом-то пишет Иосиф...

Государь молчал, гневно глядя на Нифонта, тот потупил очи и сидел недвижно.

— Вот, владыко, — сказал он наконец голосом нетвердым, — Геннадий принялся за дело, как пристойно пастырю душ! В Новгороде началась жидовская ересь, тут и разгорелось сатанинское пламя; Геннадий, как пишет в этой грамоте, изловил и обличил всех сообщников; их везут на Москву, и горе богоотступникам!

— Нифонт, я избираю тебя моим помощником в этом трудном деле. Тайна и нелицеприятная правда — вот чего от тебя требую. На Зосиму не полагаюсь, но все указы должны идти от его имени. О каждом мне докладывай ежедневно вместе с Зосимой. Новгородских еретиков на Москву не ввезут, а придержат в Клину. А кто бы оттуда ни ехал, без моего ве-

дома на Москву не впускают. С Зосимою ты будь неразлучен, и с кем он видаться будет и беседовать — отмечай и мне говори. Тех всех московских еретиков, что тут написаны, не забирать, но протопопу Дионисию наказать от имени моего, чтобы ехал в село мое Рождественское вперед меня, а там его келейно допросить; а меж тем послать указ во все города быть собору на Москве всего священства, и чтобы епископы, архимандриты, игумены и старшее светское священство — чтобы все ехали на Москву неотложно, с поспехом, и кто приедет, сказать мне; ересь — древо о многих корнях, не изженешь всех, только труд потеряешь, а древу дашь высшую силу. Грамоту Геннадия пришлю к Зосиме, с указом чинить вам по сему делу с тобою сообща. Поймай!

Государь написал несколько слов и позвал Мамона.

— Пошли с надежным человеком указ и эту грамоту к митрополиту, да глади, чтобы тот, кого пошлешь, грамоты не умел разбирать; да не мешкая ни мига!.. По пути пошли ко мне Юрьича и Курицына... Прости, влады-

ко! Не оставь меня твоими молитвами. Теперь ступай прямо к Зосиме; указ будет там прежде, а грамоту прочтете вместе. Испытую взором и словом совесть Зосимы; мне удавалось тем путем обличать искуснейших лицемеров. Благослови!..

Не успел Нифонт оставить рабочей палаты, как туда же вошли Курицын и несколько мгновений спустя Патрикеев.

— Садись, Юрьич, — сказал государь, и первый боярин, поклонясь низко, сел на кресло по левую руку, Курицын стоял за его креслом. — Казанские дела отвлекли нас от других дел, и теперь работы понабралось довольно. Федька, ты как был у короля Матвея, про римского императора, сыновей его и сродников ничего не разведал?..

— Я не считал того для твоего царского величества пригодным.

— Как же ты, Федька, не расчел того, что Польша стоит между нами и немцами; союз наш с римским императором стеснил бы моего соседа Казимира; с полудня — король Матвей, господарь Стефан да Менгли-Гирей, и нам бы выгоднее и удобнее было двигаться по

Литовскому полю. Союз письменный, эта хранина из бранных и тленных грамот, — временная подмога; государственный муж теми союзами управляет, что веслами: сломается одно — другое возьмет. Сколько на белом свете было письменных союзов — вспомни, а скажи, который из них был исполнен?.. Есть союзы прочнейшие, и я для того хочу послать человека надежного, чтобы разведал и разузнал под рукою, что может нам быть выгодно. Дочери у меня подрастают. Выдать их замуж за кого из русских наших князей — значило бы поднять лежачих, которых повалить так много нам стоило. Я послал бы тебя, Федька, да ты мне здесь нужен... Есть ли у тебя на примете человек надежный?..

— Все слуги твоего царского величества надежны, но та беда, что чужеземных языков не понимают...

— Важное препятствие! На толмачей трудно полагаться. Я указал тебе набрать способных юношей и учить их...

— Государь великий, Иван Васильевич, я исполнил свято по твоему указу; двенадцать юношей прибраны и на посольском дворе у

меня живут; учатся они исправно у Мефодия в школе греческому языку, а итальянскому да немецкому... ходят с Греческой слободы серебряный мастер Лузо да пушкарь Майзер — хорошо учат; польскому и татарскому сам наставляю, а свейского учителя еще не приискал...

— Достань непременно. Свейское царство что туча, чреватая многими событиями для Москвы и Руси. Стен Стур плохой у них хозяин, он не разочтет, что для них полезнее бы было дружить с нами. Вижу его неразумие и готовлюсь. Я говорил князю Ивану Юрьичу, да и тебе, кажется, что не мешало бы послать кого сметливого в Копенгагу под таким образом, как у нас Поппель проживает: пусть, не будучи послом, посольское дело правит. Стен Стуровы замыслы теперь уже для меня не загадка. Лучше нам предупредить их быстрым походом в Гамскую землю, а датскому королю сказать, что мы то в угодность ему чиним, противу врагов его воюем. Теперь тому время. Посылай кого завтра же, только прежде покажи мне посланца...

— Не благоизволит ли твое царское вели-

чество отправить туда мистра Леона?

— Этого нельзя! Этот мне нужен и для сына, и для Поппеля...

— Поппелю, — отозвался Патрикеев, — я плохо верю. Что за посол, у которого двое слуг?..

— И двенадцать больших поместий в разных имперских странах. Он в личине странника, зачем ему посольский хвост. Ты, свояк, ничему не веришь; впрочем, я тебя за это и жалую... Я вам скажу, зачем здесь Поппель, вы оба должны знать — ваше то прямое дело; Поппель у нас сватом; меряет, придется ли Елена моя невестой жениху, но жениха, как вижу, не показал; твое дело, Курицын, подсмотреть того жениха: если римский король Максим — чета впору и польза не мнимая... Знаю я нравы западные, там женщины владеют правами, равными с мужчинами; по-человечески — оно и справедливо; на Москве того круто указать нельзя — соблазну будет много; пусть исподволь, если нужно. Изменять отцовских обычаев, безвредных, не хочу и не люблю. Показать открыто Поппелю дочь нельзя, а без того, знаю, жених будет опасать-

ся женитьбы! И тем паче, что Москва для них из-за Польши едва видна; считали нас татарами, а теперь все еще признают нас их данниками, или, как называют по-своему, вассалами. Знаю, что если бы римский король увидел Леночку, то дело бы пошло скоро, но этому быть нельзя; пишут итальянские художники лики женщин, а мне самому такой привезли с Софьи Фоминишны, и лик тот много меня успокоил; к тому же Леночка — дитя; пусть художник при мне и для меня снимет ее образ, вот так разве...

Государь замолчал и задумался.

— Федька, — сказал он наконец, — Поппеля на Москве продержат переговорами, обещать ему, что я допущу его к руке и трапезе, а к императору послать через Датскую землю Юрья Трахонита: он два посольства зараз справит, и казны меньше надо...

— Боюсь, государь... — отозвался Патрикеев.

— Того я и ждал от свояка. Ну, в чем же твой страх?

— Боюсь я греков...

— Не думал я, что и ты, старик,ходишь

на мою невестку, что сама себе пугалища изобретает. Вы мои верные, старые слуги. Я к вам привык, но если бы я усмотрел в вас крамолу хитрую, то, смотря по вине, лишил бы милости или казнил.

Оба сановника вздрогнули.

— Мы служим тебе попросту, — сказал Патрикеев. — Мы русские, дорогá нам земля Русская и ее славный владыка, а грекам что? Им нужно серебро наше...

— И справедливо, потому что теперь у них своего нет...

— И не русское — всякое, лишь бы чужое, кто больше даст... А ты, государь великий, не возьми во гнев мое слово...

— Ты хочешь сказать, что я скуп; неправда, свояк, — не расточитель, не больше; где надо — дам лишнее, где можно — даю скудно; вот и теперь другу моему Менгли-Гирею pošлю три шубы: меха любит, а таких у него нет, и деньгами один корабельник — у него денег своих много: а из скудного дара хан заключит, что казна моя в нужде, и доброе сердце его дружелюбно затоскует... Я ему посылаю дар великий и дружбе нашей пристой-

ный: посылаю целое царство Болгарское, ведь Мегмет-Аминь ему пасынок...

— Вот, государь, — заметил Патрикеев, — теперь, кажется, можно бы исполнить желание Менгли-Гирея: с дарами этими послать Нордоулата, брата ханского...

— Князь Иван, протри глаза, ты близорук, как Менгли-Гирей. Ни Айдара, ни Нордоулата не отпущу с Москвы: *добряки* — плохие сердцеведы. Менгли-Гирей пишет мне, что уступит Нордоулату полцарства, — значит, добровольно изгонит себя из другой половины; Нордоулат имеет хорошие качества, но в дружбе неизвестен, а Менгли-Гирей уже испытан. Не позволю другу учинить неразумного дела. Что вредно ему — вредно и мне... Вы знаете оба, как я опасюсь доброты крымского хана; я принужден читать все его письма, что пишет он к казанским и другим единоверцам... Что-то давно этих писем не было. Вот, свояк, ты говоришь, что я скуп. А зачем мне держать на большом жалованье шестерых ямских приставов на крымской границе?.. Хан думает, что я устроил эти ямы для его удобства, чтобы ему покойнее было с срод-

никами грамотами меняться, а того и не веда-ет, что все его грамоты большой круг через Москву делают, пока дойдут до своего места... Доброта Менгли-Гиреева много у меня времени отымает, а время мне дороже денег...

— А кому из бояр твое царское величество повелит с грамотами и дарами ехать? Не укажешь ли князю Василию Иванычу Косому?..

— Моему сыну?.. — с удивлением спросил Патрикеев.

— Когда весть печальная или неважная, — перебил Иоанн, — можно и нужно посылать великое посольство, чтобы блеском и степенью посла придать ничтожному делу значение, но с казанской победой можно послать простого гонца. Впрочем, на этот раз у меня есть особенные послы; ты, Федька, приготовь только сейчас грамоты, а имена я сам впишу, а какие дары — спроси у казначея, я ему дал уже роспись.

Курицын уже шел исполнить приказания, как государь воротил его.

— Федька! Ты имеешь учителей разным языкам; нет ли у тебя кого из светских, кто бы знал твердо язык еврейский?

Курицын невольно вздрогнул. Иоанн заметил это и подозвал его к себе поближе. Впери в него испытующий взор, Иоанн сказал:

— Давно слышу про тайное зло, которое быстро разливается во многих христианских странах. Зовут его жидовскою кабалою; рассказы очевидцев дивят и ужасают. Говорят, будто кабалой можно закобалить чью хочешь душу, умертвить без ножа и отравы кого пожелаешь, изъять всякий недуг из тела или вложить в него новый. Утверждают, будто те, что заражены кабалою, отрекаются от имени христиан, исповедуют старый закон иудейский; я вижу, что ты ведаешь про эту ересь, но сам не заражен этим злом. Радуйся, что устоял противу соблазна, не то я сжег бы тебя живого... Так нет у тебя такого человека на посольском дворе?..

— Какого, государь?..

— Скоро же ты позабыл, о чем я спрашивал. Вспомни и исполни. Ступай!..

Курицын ушел.

— Ничего! — как будто про себя, сказал Иоанн. — Будет осторожнее. Жаль, если я лишусь такого способного человека! Вот, князь

Юван Юрьич, пришли плохие времена. Такая зараза — страшнее моровых поветрий! Прискорбна душа моя... Много тяжелых испытаний упало на мою душу, и все вдруг. Тебе одному открою сердце мое, но, князь Иван, гляди, не покриви совестью! Знаю, сколько у меня недоброжелателей, а больно что? То, что никто за ними не смотрит.

Патрикеев встал и с видом упрека спросил:

— Как, государь? Разве мы?..

— Не перебивай меня! Ну, что же ты? Разве ты, например, знаешь, что Казимир выслал ко мне отравителя и что злодей уже третий день в Москве?

— Кто же это?

— Уж не меня бы о том следовало спрашивать. Не ты и не твои ленивые клеветы, а Бог любезной земли нашей сохранит и защитит Иоанна... Я всегда ожидал от Казимира подобного «подвига» и дождался. Но кого послал лукавый сосед, того никто не знает... Не боюсь смерти: она в руках Божьих; от Господа снисходит и ангел жизни, и ангел смерти; боюсь греха тяжкого, боюсь участия брата Андрея.

Борис на такой грех не пойдет, но к измене также способен. Разве ты, например, знаешь, что у Бориса в Волоколамске проживает, к общему соблазну, польская боярыня с сыном и дочерью? Когда братья мне изменили и бежали в Литву, Борис жил в поместьях этой боярыни. Теперь затеяли, будто мужа ее посадили в темницу, а он покойно посольствует в Немецкой земле; поместье будто отняли, а боярыня с детьми своими бежала, Борис будто из благодарности принял ее. Князь Иван! Эта женщина — посол Казимиров. Что же ты знал, свояк? Не упрекаю, но надо же подумать, что нам делать. К Успению хочу, пусть соберутся в Москву все родные. Посмотрим, кто приедет. Напиши к великой княгине Анне Васильевне, пусть и она, добрая моя сестра, для вида приедет; а знаешь ли ты еще, князь Иван, что тверской и верейский тайно были в Суздале у брата Андрея и прогостили у него на запасном дворе трое суток?.. То-то же, старик! — гневно заключил Иоанн. — Ты знаешь то, что все знают, а мне и знать бесполезно! Скажи мне еще, князь Иван, какой в Москве завелся нищий или юродивый, что

ходит по улицам и Кремль зовет Иерихоном?.. И это не знаешь! Гей, Мамон! Князь Федор!..

Князь Федор Пестрый вошел в палату.

— Что наш юродивый? — спросил государь.

— Бежал в Псков, да за ним посланы надежные сыщики. Как привезут, что повелишь чинить с ним?

— Отослать в кандалах на двор к митрополиту; пусть там сидит до указа... Теперь настает время трудное. Ересь разлилась, а мы с тобой, князь, ничего и не ведали. Тайные жида имеют в Москве свои притоны, где беседуют и совещаются ночью, а Патрикеев не знает, а Пестрый по ночам не запирает решеток, как я указал. Слышь, Пестрый, теперь уже и не вели на время по улицам запирать рогаток, но в темных местах расставь стражу и засады, чтобы примечали, где ночью бывают скопища, и доложи. Я указал, чтобы кабаки отворять только по воскресеньям, и то после обедни, а на многих улицах каждый день вином торгуют; теперь допусти везде, пусть каждый день пьют, да изволь только слу-

шать, что вино будет рассказывать; а где слышишь про кабалу или жидовскую ересь, вели тех вести на двор городской исправы. Да и самая-то неправда у тебя не в порядке, но этому я положу скоро конец. Патрикеев, ты наряди двух или трех опытных и надежных дворян, пусть и по Кремлю шарят, не завелась ли где чума. Допрашивать можете всех, кого зазрите, но пытаться без моего ведома не велите. Теперь ступайте, я не гневался на вас, но помните, что новое упущение будет гибельно для виновного. Пошлите мне Якова Захарьича и князя Данилу.

Призванные не замедлили войти в палату. Чело Иоанна, дотоле нахмуренное, разгладилось. Боярин Яков Захарьевич Романов был люб Иоанну своим прямодушием, примерной честностью и искренним желанием водворить в России на прочных основаниях единодержавие. Князь Данило Щеня, богатырь, украшенный многими победами, после Холмского справедливо почитался искуснейшим полководцем московским. Иоанн обоим указал сесть, они сели. Государь отер пот с чела и сказал тихо боярину:

— Что слышно о Вятке?

— Я вчера еще докладывал тебе, государь, — сказал Романов, — что дерзкие твои вятские ослушники отуманили воеводу твоего Шестака Кутузова...

— Вятчане богаты, не беднее своих братцев новгородцев.

— Не думаю. Взятки Шестак не возьмет, а на хитрых словах изловить его нетрудно. Я был в Вятке, знаю их лисьи души; а пуще других Иван Оникеев. Этот поумнее, чем Марфа и все Борецкие, о двух личинах ходит. Если есть гости из Москвы, да знатного сана, так поклонами измучит, голова заболит откланиваться; а нет, так не то что в-gridне своей — на улицах Москву поносит. А другой крамольник Пахом Лазарев. Этот уже и не хитрит, Москву на убой ругает, говорит, что Новгород ты взял как тать, а что вятчанам то пример и наука, чтобы словам твоим не верили, грамот бы не писали, а снаряжали бы полки; и что если увидят то соседи, на тебя встанут; что у тебя только и войска, что под Казанью, так теперь и пришло время вятскую честь и волю отстоять, не то рассеешь их по лицу земли

Русской, как племя жидовское.

— И рассею. Вятская держава дожила до конца своего. Напиши Коробову в Тверь, в Устюг Звенцу, на Двину князю Ивану Лыке, да царю Мегмет-Аминю в Казань тоже, пусть пошлет татар своих; да возьмите отряд Поплева, всего тысяч шестьдесят наберется; начало поручаю тебе, Щеня? Разгроми Вятскую землю, грамот с ними не пиши: покаются от страха, а там опять примутся за старое. Нет, Данило. Город взять, городскую казну и Лазарева да Онিকেева забрать и сюда прислать.

— Да уж и третьего злодея, Пашку Богоданщикова: он твоего вятского наместника с крыльца столкнул, из-за него поднялась резня и смута.

— И этого прислать, а горожан расписать и разослать в Боровск, Кременец и Дмитров — там жильцов мало, да так, чтобы в одну ночь разнять змея на части, а не то отчаяние доведет до лишней крови... А в сподручники себе кого похочешь взять?

— Я просил бы Гришку Морозова...

— Быть по-твоему!

— Великий государь, позволь слово мол-

ВИТЬ.

— Слушаю.

— Вятчан и я знаю. Хлынов взять труда не много, а что до людей, так эта вольница от одного твоего знамени разбежится; а места в той стороне пусты: трудно кормить рать, нарочито великую. Не укажешь ли дружине Полевой да Двинским полкам...

— Нет! Знаю, что для Вятки эта рать слишком велика, да там есть и земля Арская, и князя арские! С чего они взяли, что Москва не глава всей Руси; ни дани не шлют, ни сами на поклон не ездят, так пришли мне их в цепях, а землю вместе с Вятскою приписать к Москве. Этим годом и покончим. Когда не станет их, полков не распускай, а перейди со всею ратью в Двинскую землю; норови так, чтобы в две-три недели поспеть в землю Гамскую, под Выборг, дальше не ходи. А когда тебе туда идти, пришлю указ. Татар не отпускай в Казань: не надо ей лишней силы...

— По мне, — сказал Яков Захарьич, — и теперь надо было поставить в Казани не царя, а твоего наместника...

— Рано, Яша, рано. Такой казанский царь и

без того мой наместник, а между тем мы сделали угодное Менгли-Гирею. Казань по правде наша. Дани не платят, зато дары стоят больше, чем дань; ратными людьми служат мне точно так же, как Тверь и другие города. Что в Твери, тихо?

— Там про своего великого князя Михаила и забыли, а надо бы тебе туда ездить.

— Знаю, надо бы... Да времени нет...

— Всего не переделаешь, а по мне — пока везет, так не худо было бы достроить Русскую твою державу.

— Что ты разумеешь под этим?

— Разумею Псков и Рязань.

— Псков умнее Новгорода и Вятки. Повинуется слепо и рабски воле моей, исполняет свято тягостные указы, часто прихоти; они усерднее москвитян на службе, от них на Москву серебро ручьем льется — зачем иссушать источник? Наше дело не дать их силе окрепнуть; когда истомятся угождать Москве, тогда еще будет время уничтожить вече и переселить граждан, а теперь мне они нужны и против рыцарей. На свой счет немцев в страхе держат. Еще и то возьми в расчет, Яша, что

Новгород уже не ганзейский город, хотя Ганза еще там купечествует, но более во Пскове, куда, как слышу, перебираются многие чужеземные купцы; Новгород до конца опустеет; Псков пока мне нужен. Если же я построю город поближе к морю, о чем давно уже гадаю, тогда Пскову конец. А Рязань — удел любимой сестры Анны Васильевны... Пусть себе стоит Рязань... Это — дело моего сердца!..

— Государь, ты так не думал, когда добывал Тверь и уделы братьев твоих. Единство Руси было всегда твоею любимой мыслью. Не из жадности же все добыл ты умом великим!

— Ты прав, Яша; но Рязань что остров на Московском море; кругом наши земли — этого острова нечего опасаться; без смут, без крови сольется он в одну нераздельную державу. Я о Рязани не забочусь, я ее сестре будто на оброк отдал. Нет, Яша, если бы нам удалось вернуть города, что забрали у нас Гедимин, Ольгерд и Витовт? Это нужнее, это и труднее. Тут борьба долгая и упорная. Дай Бог на моем веку добратся до Смоленска, а Ивану моему угладить путь в Киев да в города курские и северские. Вот о чем я мыслю постоянно и при-

лежно. Об этом поговорить успеем, а теперь, Яша, пошли ты двух размыслов покуснее, пусть осмотрят поморье в земле Новгородской да поищут, где бы город поставить сподручнее...

— Да об этом не велишь ли сказать Патрикееву? Кажется, это его дело...

— Кажется! Слово твое истинно. Правда, нет устройства в наших приказах, нет порядка между сановниками. Дела однородные в разных руках. Пора заняться этим важным делом. Позовите ко мне Гусева, если он здесь. Яков Захарыч, останься!

На смену князю Даниле вошел дьяк Владимир Гусев и, переступив порог, ударил, в полном смысле, челом государю.

— Здравствуй, Володька! — сказал Иоанн. — Опять с пустыми руками?

— Нет, государь, в сенях твоих оставил я больше ста судных и других грамот.

— Скоро ли ты мне скажешь, что ты собрал все?

— Государь великий, трудно одному управиться. Государи, великие князья, державные твои предки, не на одной Москве уставляли и

судили дела судные и земские. И во Владимире, и в Суздале, и в Твери, и в Рязани, даже на Белоозере и Вологде чинили суд и расправу и грамоты записывали; и грамоты в тех городах почиют доселе, а из них многое делу было бы пригодно. Судебник повелениям твоим, великий государь, над всею Русью один стоять должен, а оттого одной стороне будет трудно, а другой льготно.

— Например?

— А вот, например, о полевых пошлинах скажу. Московский подлый народ весь списан и на боярских детей разверстан; знают они земскую и господскую службу и кому на войну идти. Указал ты им, сколько с трех коробей посева платить деньгой и сколько зерном, и казначей твой мне сказывал, что московский люд платит исправно, а в Двинской земле тех полевых пошлин и платить не могут — там денег мало, а прибыль главный не от сохи; а в Пермской земле — еще хуже.

— Пусть закон пока стоит как есть. А ты с казначеем да призови с городов наших приказчиков, или, чтобы от дела их не отнять, пусть пришлют по знающему сборщику, и

как все соберутся, так ты полевые и всяческие пошлины и поборы с ними размысли и примерно на вид положи, согласуя подать с произведениями земли и другими источниками прибытка. А что ты сказывал о грамотах, так Яков Захарьевич сегодня же укажет по всем городам обыскать тайники дворцовые и монастырские и на Москву к новому году свезти к тебе, Володьке, на двор. А что до разрядов, то быть тому, Володька, как я уже уставил. На деле мера хвалится. Теперь, с какой стороны война ни загорится, войско на первую нужду местное есть. По этой части разрядным порядком я доволен. Надеюсь, что Холмский, Щеня и Стрига поставят войско в такое устройство, в каком оно у брата Матвея венгерского еще не бывало. Те разряды совсем отставь. Что в Судебник об этом вписать, то тебе Холмский передаст в свое время. А вот, Володька, ты займись другим делом, пока с городов грамоты пришлют. Царство Белой Руси, изволением Господним, разрослось, а дворецкий и весь городской чин стоит по-прежнему, как бывало, на дворах малых и скудных, что государственному величию державы уже непристой-

но. Ты у Курицына спроси, как тот чин устроен у кесаря, у венгерского, польского королей и у других, и на вид положи сообща с Патрикеевым, Яшей и Курицыным, как быть и нашему государственному чину, дворецкому особо, а городскому особо; и о приказах, которому что ведать, а я рассмотрю и исправлю. И это, Володька, дело спешное. На новый год быть и новому чину. Ступай!

— Бью челом тебе, великий государь, дай слово молвить.

— Говори!

— Многого и в старых, и в твоих грамотах нет; а обычай тому закон, а другое ты на словах уставил, и по глаголу твоему исполняется. Так вносить в Судебник или нет?

— Например?

— Помнить изволишь ли, государь великий, был на Москве знатный боец, из ярославлян; где только поле, его и нанимают. Никто с ним уже и не единоборничал...

— А Моггявич Литвин его хитростью убил... Помню, так что ж?

— Посмотрев на того Литвина, ты, великий государь, соизволил плюнуть и указать: к по-

лю судному своих с чужестранцами не пускать...

— По найму и не пускать, а для Судебника ты все собери, что знаешь, слышал или услышишь.

— Так и про ямы, что ты указал построить для конской гоньбы под послов и гонцов...

— Сказал я тебе: все, а как соберешь, я рассмотрю и исправлю. Ступай, да позови ко мне Юрия Захарьича, если он здесь.

Брат Якова Захарьича, Юрий, хотя и носил звание боярина и дворцового казначея, но в существе он был уже государственным казначеем и управлял всеми доходами и расходами московскими. Он так же точно, как и брат, пользовался особенным доверием государя. Он вошел и по знаку Иоанна сел против брата.

— Я и забыл, дела помешали, а я вам еще не сказал, что Андрей Фомич, как слухи ходили, так и сделал. Сочетался с купчихой Зоей Меотакн законным браком сегодня в ночь. Надо поздравить; вели, Юрий Захарьич, приготовить ему ларец с казной в три тысячи гривен, без печатей, да две шубы: одну, ли-

сью, Андрею да кунью его супруге; да лунскую однорядку с лаловыми пуговками, шелковых тканей и сукна, шесть лошадей да бочку вина, а Зое яхонтовое ожерелье. Станет с него на путевые издержки.

— А с кем укажешь отослать?..

— Вели только приготовить, а посланца я к тебе пришлю. Что, нового у тебя ничего?..

— Ничего такого, что бы стоило твоего внимания. У тебя и без меня много дела. Не смею пустыми делами тебя, государь, утруждать. Но, виноват, забыл, есть одно дело: зодчие твои Марко, да Антон, и Петр говорят, что они теперь все покончили и им нечего строить, потому что палаты твои, что за Благовещенским собором, другой строит. Что укажешь делать этим трем?

— Прах отцов наших покоится в бедной Михайловской церкви — непристойно. Для того думаю воздвигнуть тут же собор во имя архистратига архангела Михаила, пусть составят чертежи и сметы. Скажи им, пусть не скучают; в голове у меня много зданий необходимых, да я на тебя, боярин, оглядываюсь, да на соседей, что грозят войною ежедневной;

много, много казны надо. Обнес бы я не Кремль один, а все посады московские стеною каменною с могучими стрельницами, если бы не Казимир, не Стен Стур, да ливонские немцы, да татары, что удалось растворить будто соль в воде, нельзя ей дать осесть... Куда ни глянь, везде большой казны надо... Но все-таки за Архангельский собор пора приниматься... У тебя все художники под рукою; есть у тебя и живописец фряжский Чекол. Пришли его ко мне сегодня после вечерни, когда я в садах ходить буду. А Павлу Фрязину, пушкарю, скажи, что, когда он будет лить большую пушку, пусть даст знать — хочу видеть. Еще тебе забыл сказать, что большое блюдо, которое вырезывал Иван Фрязин, так тонко, что, когда намедни стояло под кушаньем, края обтянуло. Так скажи ему, чтобы другие делал толще да украшал не мальчишками нагими, а цветами, плодами и листьями, а то непристойно. Им, развратникам, ни почем; они у меня в теремах вместо столбиков тоже нагишей болванчиков начертили; хорошо, что я чертеж рассмотрел. Юрий Захарьевич, ты все, что я сказал, исполни, а сам

после вечерни тоже ко мне в сады приходи.  
Гей! Мамон, кто там еще в сенях?

— Которые без дела на поклон приходили,  
пошли обедать, остались купчина приезжий  
да молодой князек...

— Зови сюда Никитина.

Никитин сменил бояр; он тремя земными  
поклонами приветствовал Иоанна, тот рукою  
дал знак подойти поближе.

— Присядь, старик!

— Великий и могущественный царь, госу-  
дарь, великий князь Иван Васильевич! Я, бла-  
годаря Господу, далек еще от хилой дряхлости  
и пред тобою, солнцем земли Русской, не сяду.

— Как волишь! А был ты у Курицына, по-  
знакомился с обязанностями дьяка Посоль-  
ского приказа?..

— Был, да он мне ничего не сказал.

— Так я тебя наставлю. Дьяков тех держу  
для того, чтобы посольское дело при госуда-  
рях чужеземных справляли, чтобы, проживая  
в городах благоустроенных, внимательно рас-  
сматривали городской и земский порядок и о  
том мне правдиво и докладно доносили. В

приказе у меня уже немало дьяков искусных, но нет ни одного, который бы знал так много языков, как ты, и умел так нравиться, как ты понравился другу моему Менгли-Гирею. Лета твои меня останавливают, но если бы не то, я послал бы тебя далече...

— Хоть на край света укажи, творец русской державы! Я видел многих государей, и мне виднее твое могущество и величие...

— Ты видел, значит, и великого султана?

— Видел, государь, и не один раз.

— И что ж?

— Как тебе донести... В Бедере видел я его; несли его на золотой кровати, а он себе лежал во всю салтанскую длину, а над ним, не во гнев будь сказано, четыре наложницы стоят и перьями диковинной птицы чинно в лад помахивают. Он больно молод и, да не будет тебе противно, от любострастия больно худ; неудивительно, потому что у него два войска; мужское войско одно, и огромное, огромное; триста тысяч с ним ходит на простую войну, а когда война поважнее, мильон людей с собой забирает. Правда, все это вольница, все вразброд, кто на слонах, кто на конях, кто пеший;

сами они вооружены ослонами с пикой, у иных мечи; а пуще у них слоны что подвижные твердыни. Уберут слонов доспехами, крылу привяжут длинные мечи, на слона сядет двенадцать — пятнадцать человек — земля дрожит, как это войско идет.

— А другое же войско какое?

— Женское, государь! Всех женщин-телохранительниц будет за тысячу; в сборе я их видел только в Бедере; за городом пир был, тут все они за столами сидели, не так, как в других магометанских царствах, где женщин прячут. Нет, тут все на воле, ели и пили они не хуже мужчин, к концу пира, видно, вино свое взяло, распелись и расплясались перед салтаном. Каждая старается выказать свою красоту и салтану понравиться, а он и ловит тех, что полюбятся больше, да на ковер к себе и посадит; я считал, насадил он к себе шесть таких плясуний да и махнул рукой. Челядь, богато одетая, подхватила его, уложила на золотую кровать; по краям те шесть женщин сели; их и понесли всех во дворец, а те, что остались, продолжали еще долго плясать и тешиться, не смею твой царский слух таким

соблазном оскорблять...

— Говори! Нравы и обычаи каждого народа любопытны и поучительны.

— Осмелюсь думать, что у хоросанских индийцев не многому можно научиться, разве соблазну и всякой скверне... Прости и помилуй, великий государь, а все эти женщины мужчинам на шею вешаются; я заподлинно узнал, что редкая из них не ведьма, оттого-то они при таком задорном поведении чарами салтана обольщают; тем более что и красота у них самая подлая; черно-бурые такие есть, есть и побелее, да те не в таком почете; у бояр тоже есть свои полки женские, да поменьше, а салтан и на охоту без того не ездит, чтобы с ним не было ста телохранительниц и ста обезьян. Бояр также носят, только не на золотой, а на серебряных кроватях они тоже лежат; есть кровати, что несут их сидя, только в этих носят во дворец да за делом быстрым. Коней у каждого много, кони отличные, только их ведут впереди перед кроватью, ради чванства; ни один на коня не сядет, если салтану не вздумается самому на лошадь сесть.

— Значит, народ богатый.

— Нет, государь, беднейший; еще хоросанцы, те военное дело справляют, грабежом живут, у тех еще деньга водится и одеты лучше, а индийцы — чуть не нагишом ходят и не плодятся совсем, потому что женщин больно мало; брак у них есть, да не женятся, потому что разные веры; всех вер я насчитал восемьдесят четыре; одни других чуждаются, не станут есть и пить вместе, не роднятся, не женятся, а так без брака хоросанцы индианками не брезгают и в наложницы, прости, государь, слову, охотно их берут; не приведи Господи, что деется; не видел бы — и не поверил.

— Какая же у них главная вера?

— У них бог — Буту али Брама, обезьяна с хвостом, а в руках копье; так я его видел вырезанным на одной стене в индийском Иерусалиме...

— А это что такое?

— Большое каменное здание, такое большое, что одно будет с пол-Твери; заплутаешься в переходах; и точно, больше на сказочной терем похоже, чем на хоромы. Когда я первый раз оттуда вышел, думал, что во сне все видел. Перед тою обезьяной бык стоит, да такой

великий, что с иную кремлевскую стрельницу будет. Кое-где позолочен, весь из черного камня; глупый народ бросает ему цветы, камню холодному, и целует в копыто.

— Чем же славится эта страна?

— По всему Востоку говорят, что Бедер — рай купечества. Я не могу того же сказать. Перец, краски, сахар, шелк — правда, хороши и дешевы, но все другие товары и дороги, и не лучшего разряда; пожалуй, еще лошади — да как их оттуда к нам привезти? А вот алмазная гора так диковинка. Гора эта будет от Бедера верстах в трехстах; она не салтанская, знатного одного боярина Мелекхана вотчина. Там алмаз рождается и множится; локоть земли на той горе продает Мелек за две тысячи фунтов золота и больше; и не диво, потому что одна алмазная почка на наш счет стоит рублей десять, а сколько таких почек на всей глубине народится — кто изочтет?

— И ты купил таких почек?

— Нет, государь великий, чищенных было у меня немало, да кафинские паши обобрали; из самоцветных вещей только одно ожерелье уцелело. А были такие камни, каких и во

дворце салтана бедерского я не видел ни на одной стене...

— Неужели и стены самоцветами убраны?

— Дворец салтана бедерского — велелепые хоромы. Камня простого али голого не увидишь. Кругом резьба, золото; самоцветных покоев три, узорами в стены камень вправлен; глядишь и слепнешь. А возле дворца, тут же торчат избы на курьих ножках, и бедность жильцов не спасает. Воровство и разбой народ разоряют; правда, факельщики всю ночь по городу разъезжают, да, по-моему, и глупо, что с огнем; от света вор бежит и видит, где темно и неопасно. Мы, купцы, товар берегли и на гостином дворе, и жили вместе, и свою стражу держали, и уж ездили вместе; один другого поджидаем, грузимся и едем гурьбой, обозом, это у них караваном зовут; все ж не один раз нападали на нас разного племени разбойники, да благо нас было много.

— Куда же поехали другие купцы?

— До Требизонта мы шли вместе, тут я сел с товарами на корабль, а их оставил: они в разные страны норовили. Не у всякого купца, великий государь, есть отечество. У многих у

купцов отчизна и семья один барыш. Торгобогачаеет достаток и развращает сердце. Говорят: честный барыш; какой же барыш честный, когда возьмешь две гривны на сто али десять и больше? А я знаю, что на самоцветах товарищи зарабатывали впятеро противу цены.

— Неразумно покупать у купцов драгоценные вещи, но по случаю можно и должно. В моем казначействе набралось этого добра немало, а денег я на него истратил самую малость. Много было у нас на Москве таких драгоценностей, но во время Дмитрия Донского Тохтамыш все расхитил; пуще всего жаль жемчужины, она теперь попала в руки к царице Нур-Салтан. Я подарил ее сыну царство; не думаю, чтобы она не уважила меня Тохтамышевой жемчужиной. Так вот, Никитин! Коли ты на свою старость не жалуешься и волю мою берешься исполнить, так я желал бы, чтобы ты отправился к Менгли-Гирею с дарами, грамотами и собственноручным письмом моим, ни дня не откладывая. Дам я тебе и людей, и казны, сколько нужно, да в придачу спутника для дороги нескучного, юношу мне

любезного, князя Василия сына Холмского. Береги его, яко зеницу ока, и доноси, что за ним доброго или худого заметишь. Похвально избирать для государственного дела к себе в помощники людей достойных, но еще полезнее, еще благоразумнее готовить им знающих и добродетельных преемников; тогда насаждай и семена таких растений, которые принесут плоды самые поздние, их же увидит внук, правнук. Тогда благо насажденное не испортит неискусная рука вертоградаря, и Русь, как труп, рассеченный на многие части изволением Божьим, сложенный ныне воедино, срастется, оживет и встанет исполином. Будет тебе наказ за тремя печатями: первую снимешь, когда приедешь к Менгли-Гирею и по наказу исполнишь, а когда исполнишь, снимешь вторую печать, так же сделаешь и с третьей. Князь Василий не посол, а в ученье тебе отдан, но для виду вторым послом будет в грамотах прописан. Гей, Мамон! Позови молодца нашего...

Вася вошел в рабочую палату и остановился; он не знал, что он должен делать, но государь его наставил:

— Поклонись, князь...

Тот поклонился почтительно...

— Не так, князь! Земной поклон! Вот теперь так! Ты кланяешься не мне, а моему сану... Подойди поближе... Это уж слишком близко, отойди от меня шагов на шесть, вот так! Руки не должны разгуливать, когда говоришь со старшими, тем паче с твоим государем; погляди, как стоит Афонька, так и ты стой...

— Да я, госу...

— Молчи! Когда тебя спросят, тогда отвечай, а теперь и твоего ответа не надо, теперь ты выслушай и свято исполни. Жалую тебя, князя Василья, князя Данилина сына Холмского, московским дворцовым дворянином... Смирно... Опять руки заходили? Приписал я тебя к Посольскому приказу и назначил вторым послом в Крым.

— Меня?

— Опять? Служить тебе верно, как крест целовал, а крест целовать тебе в Успенском соборе, по указу, сего же дня, а завтра в путь!..

— Завтра?

— Ступай теперь же к матери и простись,

да не мешкай; оттуда ступай к казначею, он тебе даст людей и дары, ты отнеси их к Андрею Палеологу, поздравь от меня; возвращаясь, ступайте в собор на крестное целование; потом переедешь к Никитину, к первому послу, там вас снарядят в путь и завтра в дорогу. Не желал бы я, чтобы весть о взятии Казани дошла к царю раньше послов моих. Надеюсь, что вы оба достойно исполните поручение, а теперь прощайте!

Когда Василий поцеловал государеву руку, Иоанн положил ее на плечо юноши.

— Ну, князь Василий Данилович! Ты ступил на поприще родителя.

Сказав это, Иоанн ушел в левую дверь, к Патрикееву.

## VII

### ТРИ ПОСОЛЬСТВА

В теремах уже пообедали, и не без грусти Васино место было не занято. У княгини несколько раз наворачивались слезы, но, видя, что обе царевны то и дело глядят на нее, она старалась пересилить тоску и казаться веселою. Софьи Фоминишны не было, она давно пошла в столовую гридню и там с невесткою Еленой Степановной и боярином Ощерой ожидала государя, которого, как мы видели, задержали дела; и Софья и Елена сидели молча и занимались рукодельем. Вязали что-то на палочках, а боярин истощал все свое остроумие, чтобы развеселить княгинь, но обе хранили вид совершенного равнодушия, изредка поглядывая на двери. Елена, озабоченная недугом мужа, два раза уже ходила к нему и возвращалась, казалось, покойною. Видя, что государь не идет, она пошла в третий раз; в коридоре она наткнулась на Васю, который, повеся голову, в глубокой задумчивости шел на роковое прощание. Князь Вася

почтительно отступил и сказал тихо:

— Государыня царевна, извини моему раздумью... Не видал...

— Не хотел видеть! А я так все вижу... Все... От меня не укроешься: не знает государь, а узнает...

— Что же он узнает? — спросил изумленный Василий. А если узнает про Ивана Максимова, точно рассердится и велит вместе с мистром Леоном на сковороде жарить. — Я уезжаю, государыня Елена Степановна, но глаз мой останется здесь... Желание твое уже исполнено, ты отомщена; Ивану Максимову и трудиться не надо, но теперь моя очередь!

Елена оторопела. Хотя она и не могла понять настоящего смысла этой речи, но ей нетрудно было догадаться, что в руках Васи есть тайны; добыть их из откровенного сердца юноши, казалось, так легко. Елена принудила себя улыбнуться и сказала ласково:

— Тебе мстить! Кому это может прийти в голову! Уж не вчерашнее ли твое слово?.. Нет, мой милый, на детей, да еще таких добрых, как ты, сердиться грешно; может быть, я и сказала что ни есть в сердцах, но тогда же и

забыла... Куда же ты, Вася, едешь?

— В Крым — послом!

— Послом!

Двери растворились с детской половины. Леночка, Феня, княгиня Авдотья Кирилловна, няни — все хором воскликнули:

— В Крым, послом!

— Поздравляю! — уходя, сказала с досадой Елена. — Желаю счастливого пути.

— Благодарю, государыня княгиня, это, как мне теперь сдается, твой подарок. Одолжила...

— В Крым! К татарам! — увлекая Васю, восклицала княгиня. — Да там просто Содом; там море соблазна, хан греховодник, и все, все... Погибла моя головушка; детище бедное и неразумное, что с тобой хотят сделать!

— Хотят меня сделать человеком, — с притворною твердостью сказал Вася, стараясь не смотреть на мать и царевен. — Хотят... Я не знаю, чего от меня хотят. Знаю только, что на то воля государя, поэтому и Божия тут.

Княгиня также припомнила беседу Иоанна и также старалась притвориться покойною...

— С кем же ты едешь, Вася?

— С Никитиным, тем, что четки тебе поднес.

— Муж опытный и разумный. Благодарю и за это. Когда же ты едешь, Вася?

— Я пришел проститься с тобою и принять твое благословение.

— Господи! Неужели?..

— Завтра, чуть свет! — дрожащим голосом продолжал Вася. — Родимая, ненаглядная, благослови...

Вася упал перед матерью на колени, зарыдал — и поднялся вой; даже няни плакали навзрыд, а уж о царевнах и говорить нечего. Сначала княгиня, ухватив обеими руками голову Васи, осыпая ее поцелуями, обливая слезами, кричала: «Не отдам, не могу». Леночка и за ней Феня кричали: «Не давай, тетка, не давай!» Но мало-помалу опомнясь, княгиня в самых нежных, умилительных словах стала призывать благословение Божие на драгоценного сына, сняла с себя крест с мощами, надела на Васю и осенила его несколько раз знаменем креста; он встал...

— Ты идешь? Нет, мой сын, еще, еще миг только...

И мать с нежностью обняла Васю... Голова юноши кружилась, сердце билось сильно; улучив мгновение, он вырвался из объятий матери и, закричав: «Прощайте», убежал без оглядки.

— А со мною, Вася, ты не простишься? — в слезах вскрикнула Елена.

— А со мною? — повторила Феодосия.

Напрасно. Васи уже не было; в казначейскую палату он вбежал запыхавшись и как вкопанный остановился перед столом, за которым сидел боярин Юрий Захарьевич. Вася опомнился, поклонился, оглянулся и, с трудом переводя дух, спросил:

— А где же подарки? Пора!

— Насилу мы дождались тебя, князь Василий! Откуда ты это так спешно бежал?..

— Спроси лучше — куда? Я замешкался, так спешил исполнить волю государя. Где же подарки?

— Вот Афанасью Никитину сданы на руки. Он тебе сподручник в этом посольстве по государеву указу, так как ты ему — в Крымском.

— Так можем ехать.

— Люди повезут сундуки и мешки за ва-

ми...

— Прощения просим, боярин!

— Василий, ты мне приходишься родственником, а по уважению к твоему знаменитому отцу ты мне больше чем родной: береги чистоту сердца, которою ты обратил на себя внимание государя, а прочее само придет...

— Боярин, у кого есть такие образцы, как ты, да брат твой, да отец мой, тому легко идти путем добрым. Сердце? Сердце мое чисто, да болит оно что-то.

— Бог милостив, — с улыбкой сказал боярин. — Проездишься, прогуляешься, свет посмотришь, и пройдет. Прости, любезный князь. Господь сохранит тебя в утешение государю и всему царству. Прости!

Князь Василий, Никитин и несколько слуг дворцовых повезли подарки в Греческую слободу; пепелище двора Меотаки еще дымилось; так как академия не сгорела, а новобрачным деваться было некуда, то Андрей послал сказать Мефодию: пусть себе ищет другого помещения; академия же по указу его, Андрея Палеолога, обращается в его походный

дворец. Послы этого не знали и заехали к Ласкиру, где Вася оставил молодую чету, но Дмитрий встретил их у ворот с лицом печальным и объявил о новоселье Андрея.

Сойдя с лошадей, послы пошли пешком, потому что до академии оставалось несколько шагов, но больше потому, что Васе хотелось переговорить с Ласкиром.

— Митя! Я устоял в слове! Я смолчал про мистра Леона, но совесть моя не покойна...

— И без нас, князь, все откроется. Кажется, про ересь уже и дошло до государя. Несколько гонцов с Москвы уже пробежало на слободу; Хаим Мовша уехал из Москвы, давеча, не больше на десяти подводах, будто бы в Тверь купечествовать...

— Боюсь я, чтобы и мистр Леон не ушел...

— И этот был у нас, будто бы проведать про здоровье отца, но ты сам знаешь, зачем он был? Глаза у него что уголья... Он долго смотрел на пепелище из окна и не выдержал, сказал: «Жаль! Напрасный пожар!» Князь, как ты думаешь, а мне кажется, что этот пожар — дело рук мистра Леона.

— Легко статья может: от такого чудови-

ца всего жди. Вот почему совесть меня мучит, что мы смолчали. Он теперь лечит царевича, по теремам без опасы ходит Я уезжаю. Кто присмотрит за этим гадом?..

— Ты едешь? Куда?

— Государь посылает меня в Крым вторым послом, и завтра же.

— И завтра же! Значит, государь догадался...

— О чем, Митя, ради бога, о чем?

— О сердце твоём: что оно больно полно царевной Еленой...

— Ну так что ж? Разве грех?..

— Не грех, а болезнь... Послали полечиться... Вчера у мистра Леона был Поппель, помнишь? Я не успел тебе пересказать, о чем они толковали. Поппель сватает Елену за императорского сына или за кого другого важного человека, так тут уже своих женихов не нужно...

Вася остановился. Он глядел то на Ласкира, то на Никитина, но так странно, что обоим стало неловко. Есть минуты поистине решительные, когда наш образ мыслей вдруг изменяет направление; чувства, быстрым потоком

бежавшие своим путем к неопределенной цели, как будто встретили скалу, ударились и потекли совершенно в другую сторону; что ощущало сердце в неопределенном образе, то высказалось и определилось; иногда в эту минуту одно чувство, пылавшее в сердце, как будто вспыхивает, выгорает дотла и заменяется другим, часто совершенно противоположным.

Нередко в эти минуты легкомысленный становится благоразумным, мудрый теряет рассудок, негодяй степенится, добродетельный превращается в злодея. Эти минуты застигают человека в раннем возрасте и нередко создают то, что по-ученому зовут характером. Что случилось с Васей, увидим; только он совершенно изменился в лице, побледнел, губы дрожали, взгляд искренний, веселый отуманился оттенком подозрительности. Он преобразился.

— Что с тобою, князь? — спросил заботливо Никитин.

— Ничего. Ночь не спал; расклеился, устал... Но вот, слава богу, мы уже у берега...

В академическом саду было много гостей, в

том числе и мистр Леон. Андрей важничал: он был занят Зоей, но друг его Рало объявил гостям, что он окончит грамоту к турецкому султану и тогда примет поздравление своих доброжелателей. Послы царские были тотчас же допущены к Палеологу. Вася не узнал аудитории, в которой еще вчера слушал греческую мудрость Мефодия. Эта комната, или, лучше сказать, беседка, была перегородена богатой тканью. Скамейки ученические и столы были покрыты ларцами, мешками, поставами сукон и кусками материй; слуги Рало то и дело приносили с пепелища новые; Палеолог стоял у окна, обняв Зою, и не спускал глаз с носильщиков; когда послы вошли в академию, Палеолог сказал жене:

— Зоюшка, присмотри же за своим добром и восхваляй благоразумие покойника, а мы поспешим принять послов нашего брата Иоанна. Ба, ба, оба знакомые! А один к тому же — наш спаситель...

— Боже мой! — вскрикнула Зоя. — Холмский? Князь, извини, мы тебя принимаем попоходному...

— Извини, Зоюшка! — перебил Андрей. —

Не изволь отходить от окна ни на шаг и глаз не спускай с подвалов. Не то расхитят добро твое. Вот, князь, что значит благоразумная предусмотрительность. МеотакИ построил дом деревянный, а подвалы каменные и с такими сводами, что их и огнем не прошибло; а всю свою казну, товары и вина спрятал под те своды, так что пожар взял только то, что нам с Зоей не нужно уже: деревянную избу, а нам на Москве и каменных хором не надо: мы едем отсюда, как только брат Иоанн отпустит...

— Государь твоему отъезду перечить не хочет, — сказал князь.

— Я так и знал, а денег не дает...

— Нет, он прислал поздравить тебя и супругу...

— Много благодарны.

— Ларец с казной...

— Рублей десять...

— Три тысячи гривен.

— Великий Иоанн, истинно великий, я утверждаю за ним это титло.

— Лисью шубу тебе, кунью твоей супруге...

— Спасибо. Верю его мудрости, ибо только

мудрый летом памятует о зиме.

— Лунскую однорядку с лаловыми пуговками.

— Великолепный Иоанн, он понимает, Палеологу нельзя ходить в веницейской хламиде или в охабне.

— Высокой супруге твоей яхонтовое ожерелье.

— Да из чего он женитьбе моей так обрадовался? Не перед добром так расщедрился...

— Сукна и шелковые ткани, парчи.

— Этого добра и своего довольно, да все же спасибо; можно перевести на деньгу — на Москве охотники найдутся.

— Бочку вина старого.

— Выпью один за его здоровье! Этого добра таскать с собою не стану. Я изумлен его щедростью, но все не могу понять, чему он так обрадовался? Видно, назло Софье; мне все равно, дары я принимаю с великою благодарностью и еду жить к королю Матвею...

— И для того посылает тебе шесть походных коней с полным прибором...

— В переводе это значит любезный Андрей, можешь хоть сейчас убираться. Что же

ты, Зоя, опять тут? Положим, что остальной товар, что в подвалах, не важен, что эти подарки в десять крат ценнее тех товаров; за подарки спасибо, но зачем же и тем добром брезгать? Да и как знать: вдруг из разного хлама ларец с казною может вынырнуть.

— Я хотела сказать, что после сегодняшней страшной ночи мы не можем из Москвы так скоро выехать... Надо сшить то, другое...

— Вздор! Можем! Можем! Лишь бы монета была: за пять денег в час одна игла три сорочки сошьет. Монета-волшебница... Зоюшка, ради бога, не отходи от окна... Ну, послы великие, первые на свете послы: чем же мне вас принять и угостить?..

— Спасибо, ничего не надо! Мы спешим к Успению, крест целовать на государеву службу, и завтра же в путь...

— Ты едешь? — вскрикнула Зоя и, опомнясь, отвернулась лицом к окошку... Палеолог был слишком доволен, чтобы обратить особенное внимание на это восклицание; он сделал князю тот же вопрос.

— В Крым послами едем, — отвечал Вася.

— Ах, черт возьми, какой знатный случай:

при посольстве всегда есть ратные люди, а так один поедешь — страха наберешься. В Литве вольница — по дорогам шалют; немцы и так на меня злы — тем путем также опасно. А вы как поедете?

— Мы поедем сухопутьем до Украины, то есть до Дона, а там на судах, водою до самого Крыма...

— Ах ты Господи, досадно упустить такой важный случай. Да нельзя ли вам обождать дня три-четыре?

— Завтра, чуть свет указано.

— Мы собратья не успеем...

— Отчего не успеем? — перебила Зоя, подбежав к Андрею.

— Да ведь ты же говорила, что надо шить то, другое.

— Да ведь ты же сказал, что можно купить готовое...

— То-то же и есть!

— Уж я берусь за это; все будет: и прислугу найду, и подводы найму...

— А когда же я успею товары продать, не стану же я таскать их с собою?

— Ах, Господи! — подхватила Зоя. — Това-

ры можно спрятать у Ласкира; боярин честно-  
стью своею знаменитый, он продаст их не  
спеша с барышом большим, а деньги пере-  
шлет с посольством каким. К Матвею что  
год — послы ездят...

— А? Какова? Право, мужской разум!.. Все  
уладила, устроила: богатырь — не жена... Од-  
но меня беспокоит: когда же я успею бочку  
старого вина выпить?..

— Послушай, Андрей, ведь надо же тебе с  
твоими греками проститься; теперь еще рано,  
до вечерни я все исправлю: повозки и у сосе-  
да есть продажные, мне помогут; уложу все, а  
последний пир на наши деньги может Рало  
сделать.

— Палатный разум! Истинно ты в десять  
раз умнее Патрикеева!

— Но что же теперь мне делать...

— Тебе? Ты ступай простись с царем и сест-  
рою и приходи к Ласкиру, при мне оставь Ра-  
ло и еще кого-нибудь, для посылок...

— Позволь, Андрей Фомич, — сказал Ники-  
тин, весьма довольный тем, что Палеолог ре-  
шается ехать, — нам, послам, дадут и царские  
повозки, и царских лошадей, так мои мне не

нужны; да и всех людей моих я к тебе при-  
шлю, они с товаром разумеют обходиться и  
укладку знают, а мой товар я также отдал на  
сохранение знакомцу; так если ты с ними  
сойдешься, они люди вольные, купеческие,  
могут тебя проводить до самого короля Мат-  
вея; там ты их наградишь и отпустишь, а они  
хорошего чешского, и ляшского, да угрского  
товара искупят и с послами или с купеческим  
обозом на Москву воротятся.

— Само небо за нас, Зоя! Все идет как в  
сказке. Допустят ли только теперь к Иоанну?..

— Теперь самое лучшее время, как мне  
сказывали: он в садах гулять изволит и допус-  
кает к себе тех, которые не для дела, а для бе-  
седы приходят. Это его отдых...

— Так в Кремль! Кстати, лошади свои по-  
ходные есть... Простите, послы любезные, что  
я без чинов с вами; тут у меня и сени, и грид-  
ня, и палата, и опочивальня; надену же я об-  
новку, лунскую однорядку, экое богатство —  
чудо; и нож есть — прелесть; плащ моего дру-  
га Меотаки, спасибо, уцелел в подвалах; шап-  
ка плоховата, да ведь мы на походе... Ну, про-  
щайте, дорогие попутчики! Вечеру на пир

будете?

— Не знаю; если успеем!

— Пустяки! Непременно; так уже и распоряжайся, чтобы отпировать, да и в путь чуть свет; так до свидания! Смотрите же, приезжайте, да пораньше.

Палеолог поцеловал Зою и сказал:

— Смотри, душа моя, растащат! Правда, там меньшей Рало, а тут старший, да все приглядывай! Товар, который остался, надо описать.

— Ох какой ты скучный! Поезжай только, я все сделаю; недаром я училась порядку у Меотаки, а ты, пожалуй, еще опоздаешь проститься, тогда и нельзя будет с посольством уехать.

— Твоя правда, ну так прощай же, дай еще разок поцелую. До вечера, послы мои дорогие...

И Андрей с живостью юноши шел на крыльцо; все греки бросились поздравлять его, тем с большею охотою, что в царских подарках видели доказательство милостивого расположения Иоанна к их царевичу.

— Благодарю, благодарю! — говорил он

скоро. — Некогда. Спешу к брату! Зовет! Ввечеру милости просим на пир к Рало, другу моему. Зовите всех наших, кто меня любит. Вот она, вот эта славная бочка вина, ввечеру она будет — ваша! Я привык делиться радостью с моими любезными детьми.

— Да здравствует деспот Андрей! — закричала толпа...

— Позволь, принчипе, и мне поздравить тебя, — сказал Леон, низко кланяясь.

— Можешь, хотя я твоему поздравлению ни на медную деньгу не верю.

— Принчипе!

— Некогда! Черт тебя возьми! Приходи уж и ты на пир; ты любишь пображничать, а тут же для тебя такой радостный случай. До свидания!

И Андрей весело вскочил на одного из коней, приведенных ему в подарок...

— Ах, Вакхова голова! Вот уж это не поцарски! Гей, кто там, Рало! Скажи Зое, чтобы людям царским поднесла по десяти гривен серебра на голову...

— Рады стараться, государь царевич, милости твоей!

— Спасибо! Ну, теперь в поход...

И Палеолог ускакал. Послы также простились с Зоей, она не обнаружила ни малейшего волнения, внимательно, но холодно проводила гостей; она не могла не заметить глубокой задумчивости молодого князя, больше, он был печален; во все время переговоров Андрея с Зоей и с Никитиным насчет отъезда он был совершенно погружен в самого себя, ничего не видел, не слышал, о чем говорили, и когда дело дошло до прощания, он казался смущенным и ушел, не вымолвив слова. Зоя торжествовала; она не сомневалась, что свадьба ее была причиною такой печали, которую несчастный юноша и скрыть не умел. Мысль о приятном путешествии придавала Зое новые силы, она распоряжалась быстро, весьма удачно; оба Рало помогали ей усердно вместе со своими и Ласкировыми слугами. Все были довольны: и те, которых освобождал Андрей от постоя, и сам Андрей, стрелою долетевший до Кремля.

Он застал государя действительно в садах; его допустили к Иоанну без затруднения; доселе Андрей был весел и беззаботен, но про-

ходя по липовой аллее, в чем и заключался кремлевский дворцовый сад, и заслышав в цветниках голос Иоанна, Андрей потерял всегдашнюю свою бодрость и в смущении стал подходить медленнее и медленнее. Цветники занимали небольшую площадку, правильно разбитую на дорожки, отделявшие грядку от грядки; на этих грядках красовались пионы, ноготки, пестрые маки и другие летние цветы; взглянув на роскошь и разнообразие нынешних, даже частных, садов, невольно подумаешь, что не только разумное человечество, но и сама природа идет вперед, умножая на пути бесконечное свое разнообразие новыми произведениями своей неистощимой творческой силы. Бедные кремлевские цветники тогда казались богатейшими, о них в народе рассказывали чудеса; там будто росла и жизнь-трава, и райские яблоки, для которых, естественно, досужее воображение в кремлевском саду на свой счет держало райских и жар-птиц; а о фонтане в аршин вышиною, конечно, знал каждый ребенок, который уже порядочно умел складывать слова. Небольшой резервуар наполнялся с вечера водою и

служил запасным прудом на случай пожара; когда после обеда государь выходил в сад, фонтан пускали, но едва Иоанн возвращался к работе, фонтан запирали: красивый мраморный бассейн был уже до половины полон; это значило, что государь в саду давненько; на скамье, сплетенной из оленьих и турьих рогов и застланной парчовым тюфячком, сидел Иоанн. Софья, между грядками, смотрела на детей, грустно перебрасывавших мячик. Из бояр тут были только: Ощера, Мамон, Патрикеев да Юрий Захарьевич; из посторонних — живописец Чеколи да толмач Посольского приказа. Увидев Андрея, Иоанн сказал:

— Скажи Чеколу, что у меня только и свободного времени, что об эту пору; так пусть завтра со своим снарядом сюда в цветники приходит и пишет детские лики, а начнет с Олены... Да чтоб писал не мешкая; оттого я поденно и не нанимаю, а от каждого лика по тридцати гривен назначаю, а как напишет все, и хорошо, то за усердие подарю ему шубу... Здравствуй, Андрей Фомич, милости просим новобрачного; а без укора все-таки скажу, нехорошо сделал, никого не оповестил.

— Андрей! — вскрикнула Софья, увидав брата. — И ты смел!..

— Сестра! Я обязан тебе уважением, как к супруге такого великого и могущественного государя, но как брат, я старше тебя и моей воле хозяин.

— Истина, аминь! Не имеешь ли к нам просьбы?.. — спросил Иоанн.

— Нет, государь! Слишком, слишком богатою милостью ты взыскал меня; щедрость твоя меня поразила, я пришел принести тебе мою благодарность и просить разрешения на отпуск.

— Куда же?

— Есть люди, которые расположены еще к падшим Палеологам. Ты не можешь, государь, возвратить нам потерянного престола. У тебя своих злодеев много.

— Таки немало...

— Но есть могущественные монархи, у них полки от войны свободны, а соседство турок добра им не предвещает; может быть, удастся их подвинуть...

— Может быть! Только, Андрей Фомич, запомни мой совет. Добывай Византию посоль-

ским умом и языком, да, пожалуй, чужими руками, но денег на это дело не трать; на случай неудачи, не останешься нищим. И то еще скажу, что, где осядешь на год, на два, давай нам знать, мы тебя своею помощью никогда не оставим... Когда же в путь?..

— Завтра, великий государь и благодетель!..

— Так скоро?..

— И не желал бы, но обстоятельства того требуют. Ты посылаешь послов к хану крымскому, так мы далеко можем с ними ехать безопасно, потому что послы с малым обозом не поедут...

— Весьма благоразумно. Но разве ты норочишь к Черному морю?

— Нет, государь, мы до Крыма вместе, а там к молдавскому господарю; тут все пути безопасные.

— Кроме Буржака, но там теперь Менгли-Гиреева орда сидит в засаде на Польшу; так я велю тебе дать опасную грамоту, орда меня слушается, что своего хана. Пожалуй, дадут еще проводников до самого Прута. Тогда поистине безопасное странствие... А Холмскому

я накажу, чтобы тебе старался быть в помощь... А ты, Андрей Фомич... это последняя просьба... гляди за моим орленком, чтобы он в пути не пристал к какому соблазну; пуще, чтоб к вину не пристрастился; попроси от меня о том и супружницу свою, потому что женский глаз острее, а речь ласковее, а лаской из такого ребенка все сделаешь. Ну, благослови Господи и напутствуй их твоим святым покровом. Прости, Андрей Фомич! Не забывай нас, пиши почаще... Прости!

Иоанн встал и протянул руки. Палеолог не без волнения обнял Иоанна и поцеловал в плечо. С сестрою он тоже поцеловался, но только и могли сказать: прощай, сестра, прощай, брат. Боярам Палеолог сделал легкий поклон, те отвечали тем же; расстались!

— От души кланялся! — сказал Мамон тихо. — Авось уедет... Пошел-ушел.

— А я так и не кланялся, — перебил Ощера. — Потому что уехать уедет, да воротится, туда-сюда... Пташка перелетная, да и голубку подобрал себе, говорят, вострую. — Ощера утерся рукавом.

— Что ты? — спросил государь.

— Так! У меня уж такой норов!

— Софья, — сказал Иоанн, — не пора ли детям в хоромы...

Софья и дети ушли. Иоанн продолжал:

— А какой же это у тебя норов?

— Красавица, так кровь и заиграет, туда-сюда. Прослышу — лихорадка, а увижу — опьянею.

— Да где же ты красавиц-то у нас видишь...

— На сенокосе, когда сено собирают или хлеб жнут. Уж тут я всегда в подмосковной...

— Мамон, что, он правду говорит?

— Врет он, государь, хвастунишка, пошел-ушел. Был он ходок когда-то, да теперь куда ему, вылинял; пусть шапку снимет, голова у него — ни дать ни взять у поповской палки яблоко...

— Не хвались своей щетиной; шуба-то мохнатая, да с дрянного зверя, туда-сюда. Недаром тебя государь Мамоном прозвал; годовалого теленка, туда-сюда, на ужин съел... А что я люблю на красавиц посмотреть, тут греха нет. И, признаюсь, я столько про Зою слышан, что дал бы гривну[18], туда-сюда, чтобы на нее взглянуть.

— Ну а какой же грех, что я ем столько, сколько нужно. Чем я виноват, что утроба верблужья. Я ем, да не объедаюсь, так тут нет беды, лишь бы всегда продовольствия хватало. Вот, говорят, у Андрея Фомича пиры так на чудо. Художник, говорят, все скучал, что денег нет, и мне обещал: будут — угощу. Вот тебе деньги есть, да пира не будет, завтра уедет, а пир — пошел-ушел!

— Не печалься! — перебил Иоанн. — Пир будет; без пира не уедет, сегодня отпразднует прощальную, и я хочу вам обоим доставить удовольствие. Как бы то ни было, Зоя — жена Палеолога. Непристойно ей ехать, как мещанке. Ощера отведет ей коня ученого с походным седлом, а Мамон отвезет Андрею путевую поварню; пусть повара начинят ее, как следует в дорогу. Юрий Захарьич, распорядись, а мне пора за работу: пойдём, Патрикеев.

Не станем утомлять читателей подробным описанием всех сборов в дорогу и послов, и Палеологов, довольно сказать, что благодаря распорядительности Никитина и Зои к вечеру все поспело.

На пепелище дома Меотаки стоял большой посольский обоз: несколько телег с продовольствием и вещами, лошади, вьючные и тяглые, два шатра, четыре кибитки крытые, несколько подвод — словом, все принадлежности, какие в то время были необходимы для дальнего путешествия знатных бояр; обоз этот охранялся отрядом боярских детей, их было всего десять с начальником; девять покойно отдыхали в опустевшей академии, один с копьём торчал в разломанных во время пожара воротах; два чиновника Посольского приказа, дворяне Загряжский и Кулешин, приписанные к посольству для письменоводства и науки, вместе с Никитиным и Холмским пошли в дом Рало, где пир уже был готов и собирались гости. Иван Рало был не в духе, ему очень не нравились пиры Андрея; на этот раз он был бы стоворчивее и веселее, потому что это был прощальный пир, если бы Андрей не требовал, чтобы Зоя была также за трапезой, Ивану и до этого нужды не было, но присутствие Зои возлагало обязанность и на хозяйку и на дочерей его сидеть за столом, а это крайне не нравилось Ивану; еще и то бы-

ло не по душе ему, что на пир сходились не одни греки, но когда в парадные сени вошел мистр Леон, Иван чуть не вскрикнул с досады... Он не удержался, однако же, и спросил у старшего сына: кто впустил сюда этого пса богомерзкого; сын пожал плечами и посмотрел на Андрея. Старик плюнул и отвернулся.

— Пора за трапезу! — сказал весело Андрей. — Друзья мои! Это и свадебный и прощальный пир: первую часть мы будем править как свадьбу, вторую — как пир прощальный... Начинай, Иван! Выводи женщин!

— Женщин? — с досадой спросил Иван, — Мои выйдут в покрывалах и во весь пир их не снимут. Советую то же сделать и Зое; тут уже надо опасаться не одного черного глаза, тут есть и слуги дьявола.

— Полно вздор городить! Знаем мы этих чертовых слуг, да не боимся... Выводи женщин в гридню — солнце садится!

Иван ушел на женскую половину, а Андрей повел гостей в гридню; не успели гости разместиться, как вошла Зоя и пять женщин, все были закутаны в покрывала.

— Да это похороны, а не свадьба, Иван.

— Пока свадьба, но может кончиться похоронами.

Мистр Леон был в сильном волнении; он не знал по-гречески, но взоры гостей объясняли ему, что разговор идет на его счет, присутствие Зои еще более увеличило его смущение. В это самое время шепот над ухом Леона заставил его побледнеть, то Холмский шептал ему: «Жид, помни, что я здесь и смотрю за тобой, ты возле меня и сядешь; мне же, кстати, есть о чем и поговорить с тобой».

— Почтенный хозяин! — сказал Холмский по-гречески, и голос его заставил Зою вздрогнуть. — Будь покоен! Молод я, но одна старуха научила меня тайне уничтожать влияние каких бы то ни было чар. Слышу я, будто этот врач — не хочу называть его, не то догадается, что про него речь, — слышу, что он чародей, только недостает улик; видите ли, я ему сказал одно слово, и он побледнел от моего заговора, а если позволишь мне все сделать, что один схимник противу злой кабалы придумал, так тогда хоть всех тайных жидов созови — будут бессильны...

— Ты, юноша, больно молод, пух на бороде

едва пробивается, а уж колдунов унимать хочешь, — строго сказал Рало.

— Холмские, — перебил Никитин также по-гречески, — в нежных летах умнее многих стариков; львенок не успеет родиться, а разумом и силой одолеет самого старого медведя...

— Что силен, то силен, — сказал боярин Федор Ласкир, — я сам видел, как он Зою принес в мой дом, будто перышко...

— Так это ты, князь! — воскликнул Рало, с удивлением осматривая юношу, и лукавая мысль пробежала в голове старца. — О, для такого героя я соглашаюсь на все!

— Даже на то, — спросил Вася, — чтобы женщины сняли эти одеяла?..

— Bravo! — воскликнул Андрей. — А что, брат Иван, поймали?

— Ничуть! Пусть сделает, что сказал, и я согласен...

— Если так, — сказал Вася по-русски, — мне нужна помощь мистра Леона; позволь нам с ним выйти в сени...

— Мистр Леон, — сказал Вася уже в сенях, запирая дверь в гридню, — зачем ты здесь?

— Меня звали...

— Знаю, но ты мог не прийти, а пришел, — значит, с умыслом...

— Попировать...

— На свадьбе у той, которую ты себе готовил в невесты?..

— Я... Никогда...

— Ты, видно, забыл, как при всех ты требовал у твоего сообщника Курицына эту самую Зою...

— Я притворялся, я хотел...

— Видно, ты и перед собой в опочивальне притворялся, когда, теряя Зою, сорвал с себя скуфью[19] и топтал ее ногами!

— Кто сказал тебе...

— Глаза мои! Я видел все, я слышал все, лежа на твоей постели...

— Все!.. О, не погуби меня!.. Я буду верным рабом твоим... псом твоим...

— Чтобы схоронить поскорее страшные тайны вместе с господином? Что шарить в кармане, ищешь ножа фряжского? Трус! У тебя не станет духа взглянуть и на лезвие этого подлого оружия, ведь я тебя насквозь чую. Ты убил Меотаки, ты поджег дом Зои...

— Ложь... не...

— Истина, как и то, что ты пришел сюда с тайною смертью. Я выдал бы тебя сейчас, но ты лечишь нашего надежу-царевича от недуга трудного. Правда и то, что я дал слово Ласкиру молчать про все то, что видел и слышал, но твои новые злодеяния разрешили мою клятву. Я уезжаю, но на это не надеюсь; первый шаг к злему делу, и ты погиб. За тобой смотрят. Понимаешь ли, подлый жидовин, понимаешь ли?

— Чего ты от меня хочешь? — пропищал жид, отступая от выразительных телодвижений юноши...

— Во-первых, подай сюда тайный нож, не то еще кого невзначай окалечишь...

— Нож! Какой нож?

— Подай! — грозно вскрикнул Холмский, и жид повалился к ногам его.

— Ну, что же!

— Вот он... — И жид, дрожа, подал кинжал, висевший под хламидой почти за спиной.

— Пригодится. Во-вторых, я требую, чтобы ты немедленно выбрался из Москвы... как вылечишь царевича...

— Клянусь...

— Напрасно...

— Я уеду раньше, нежели ты думаешь...

— Наконец, чтобы ты сейчас оставил дом

Рало...

— Бегу...

— Постой, жид, помни, что за тобой глядят глаза зоркие, ступай!

— Ну, теперь все сделано. Почтенный хозяин, исполни свое обещание!

— Где же мистр Леон?.. — спросил Андрей.

— Отпросился домой, ему что-то нездоровится.

Общий смех раздался в гридне.

— Теперь и я верю твоим заговорам, — сказал Рало. — Ну, Елена, снимайте покровы, пора за стол!

Женщины сняли покрывала, и общество было поражено красотой некоторых. Зоя была в полном блеске красоты удивительной, наряд драгоценный служил как будто великолепной рамой этой очаровательной картинке. Само собою, первый взор пал на юношу, и юноша, смущенный, вспыхнул и опустил глаза; робко поднял он их, стараясь не встретить-

ся со взорами Зои, он обратил их на других женщин; Елена была благообразная старуха, но до того набеленная, что цвет лица ее потерял всякий естественный вид, зато четыре дочери ее, София, Вера, Надежда и Любовь, были прекрасными; старшей было лет двадцать, младшей четырнадцать. Чиновники Посольского приказа, Загряжский и Кулешин, хотя оба были взрослые, но, приученные к обычаю, не могли смотреть на женщин без фаты и зажмурились. Вася не знал законов, установленных обычаем, и был очень рад, что невинным колдовством раскрыл такие прекрасные, такие добрые лица; взоры его перебегали с сестры на сестру; все четыре ему нравились, но в каждой он находил особенность приятную. В это время садились за стол...

— Что же, князь? Твое место пусто...

— Извини, хозяин! Засмотрелся на дочерей твоих...

— Довольно искренно, князь, да только так не говорят...

— Отчего же?.. Поэтому нельзя и о цветах говорить. Что мне твои дочери? Цветы прекрасные — и только...

— Будто и только? — заметил Андрей. — Видно, князь, что ты еще больно молод; видно, что ты не вкусил еще сладости поцелуя...

Васю будто что-то укололо; Зоя вспыхнула; молодой Ласкир заметил то и другое движение и побледнел; Андрей ничего не видал; допив стопу вина, он продолжал:

— Тебе надо многому еще учиться; по части науки нравиться женщинам я берусь быть твоим наставником. Брат Иоанн, видно, тебя очень жалует, назвал тебя орленком; просил, чтобы я смотрел за тобой, как за сыном; да, я и забыл тебе передать, Зоя, что брат Иоанн просил и тебя за ним присматривать. Преумнейшая голова этот Иоанн. Как он при этом случае мудро сказал; право, теперь не вспомню, а превосходно сказал; постой, как это он сказал? Да, говорит, что женский глаз острее, а речь ласковее. Прекрасно сказано... Так смотри же, Зоя!

Зоя уже давно оправилась и казалась совершенно покойною. С ласковою улыбкою отвечала она:

— Князь молод, но зрелость врожденного ума, несмотря на лета, кажется, делает для

него излишним попечительство няни. При том же я не могу быть беспристрастна к его поступкам.

— Это почему? — спросил Андрей.

— Потому, что вчера он возвратил меня к жизни; сегодня, с опасностью собственной жизни, вынес меня из пламени; без него, Андрей, я оплакивала бы мужа в первый день свадьбы... Кто знает, а мне говорит сердце, что он тому назад несколько мгновений в третий раз спас меня, если не от смерти, то от большой опасности...

— Что ты, Зоя? — спросил тревожно Андрей, сомнительно поглядывая на Васю.

— Дивлюсь прозорливости твоей супруги! — сказал князь Вася, как-то успокоенный степенным, важным тоном речей Зои. — Уверять не смею, но, пожалуй, этот фряжский нож был назначен в подарок или тебе, или твоей супруге.

Все в ужасе привстали, стараясь взглянуть на оружие...

— Неужели мистр Леон?.. — спросил Андрей, побледнев.

— По всему кажется, хотел тебя отправить

к Меотаки, только другим путем... Мы с Митей знаем много...

— Ничего я не знаю... — поспешно перебил Ласкир. — Все, что я слышал, так только то, что он влюблен в Зою до безумия...

— Ну, так пускай же себе с ума сходит... Завтра мы уедем, тогда пусть хоть повесится. Лишь бы до отъезда он не ухитрился, надо принять меры...

— Меры приняты, и меры эти надежны.

— И опять ты! Так какое же ты дитя, скажи, сделай милость? Ты распоряжаешься как зрелый муж: вот и покрывала с женщин ты же снял ловкой хитростью; Иван, я думаю, теперь зол на тебя, да нечего делать.

— Клянусь, нимало, — сказал Иван по-гречески. — Что, эти господа знают по-нашему?..

— Которые?..

— А вот эти, что сидят зажмурясь...

— Нет!

— Ну, я от них только и прятал детей, а то все свои родные или близкие знакомые; им видеть мое семейство не в диковинку, а эти сами не смотрят, так все и в порядке. Впрочем, они, как видно, люди скромные, я боюсь

подлипал, особенно знатных; притом же на Москве, в чужой стороне...

— Вот, например, Ощера... — сказал боярин Ласкир. — Хилый старик, гриб, а чуть слышит про красавицу, изо всех сил бьется, чтобы видеть. Что он Хаиму Мовше денег переплатил, чтобы видеть жену оружейника Мирули, которую никто не видал во всей слободе. Как только Ощера не очередной у дверей Золотой палаты, так уж наверно у нас на слободе. По сану он себя считает мне равным, хотя он за шутовство боярином сделан, а я и в Цареграде был тысяцким, но по московскому чину мы равны. Вот он после каждой неудачи ко мне закусить заезжает, я уж и дома не сказываюсь...

— Ко мне также стал ездить, — сказал Рало, — Но я ему наотрез сказал: отваливай!

— Ну, этому и я не покажу Зои. Не потому, чтобы я боялся его, а так, чтобы всякая дрянь не могла рассуждать о красоте жены Андрея Палеолога...

— Мы от государя великого князя к царевичу Андрею Фомичу присланы... — раздалось в сенях.

— Что я слышу? — вскричал хозяин, вскочив и набрасывая фаты на дочерей. — Зоя, покройся и ты!..

Двери отворились, и первый вошел Ощера, высокий, худощавый старик; несмотря на старость, он старался держать себя молодцом; когда пошатывался, всегда жаловался на камчугу, которой его в молодости колдунья испортила. За ним Мамон, в виде огромной бочки, заткнутой сверху небольшою чекою, на которую походила голова его, тонувшая в тучных плечах; оба в парчовых шубах и куньих шапках.

— Мир дому, пиру разгул, веселье сердцу, надо всем благословение Божие, — сказал Ощера, кланяясь...

— Хлеб-соль, — прибавил Мамон. — Да не оскудеет сладость пищи и питья.

— Благодарю! Что скажут мне великие бояре?..

— Не мы, где нам, а говорит великий государь наш и всея Руси устами подлых рабов своих и дары шлет. Только мой дар супружнице твоей, а Мамонов тебе...

— Так моя речь и впереди, пошел-ушел.

Шлет тебе государь на дорогу походную поварню с кладовою, там есть и сушеное мясо, и сыры, и пироги, и разное съедобное от стола государева, и скоровары медные, и блюда, и весь снаряд столовый, пошел-ушел!

— Со слезами благодарю не столько за дар, сколько за великую честь и внимание. Что скажет теперь боярин Ощера?..

— Не тебе, а твоей супружнице...

— Вот она...

— А я почем знаю, она ли это или нет, туда-сюда?..

— Ты меня обижаешь, боярин...

— Тут нет никакой обиды. Ведь я должен же знать, туда-сюда, кому государево слово передал и подарок отдал. Можно всякую куклу закутать, так я ей и кланяйся, туда-сюда...

— Но разве ты не знаешь обычаев?..

— Есть случаи, где можно допустить исключения... Настоящий случай такой и есть...

— Я этого не вижу. Кажется, мне лучше знать, жена ли моя или нет возле меня сидит... Так не угодно ли тебе, боярин, слово твое ей передать...

— Не угодно и не могу, пока покрывала не

снимет... Я не верю, что она...

— Если так, — сказал Ласкир, встав, — то мы все утверждаем, что эта женщина истинно супруга Андрея Фомича Палеолога...

— Что, взял? — сказал Мамон тихо Ощере. — Перестань торговаться, пошел-ушел: видишь, на столе-то и блюд мало осталось, а пока ты будешь упрямиться, все съедят; ведь у молодежи желудки острые...

— Не могу. Непристойно, Андрей Фомич, посла царского так принимать. Мне указано...

— Отдать походную ученую лошадь, — перебил с досадою Мамон. — Чтобы супруге твоей было на пути покойно и чтобы ехала она, как жене царевича надлежит, пошел-ушел. Вот и все тут.

— Милость великого государя, — раздался серебряный голос Зои, — милость, ничем не заслуженная, ко мне, недостойной и темной жене, проникла до глубины сердечной. Признательно целую прах стоп столь великого государя, и да позволит мне возносить о нем к Господу ежедневную молитву...

Ощера совсем оттянул себе шею. Слушая Зою, он как будто хотел прорваться сквозь по-

крывало взорами, чтобы увидеть те уста, которые говорили таким сладостным голосом. Андрей с умыслом молчал несколько времени, чтобы дать гостям возможность подольше насладиться забавным положением Ощеры.

— Итак, великие бояре, — наконец сказал он. — Вы слышали выражения нашей искреннейшей благодарности. Передайте их брату Иоанну, а сами примите нашу признательность за труд, который вы приняли на себя. В ваши лета нелегко ездить в Греческую слободу. Душевно благодарим вас и не задерживаем.

— Как, что? — спросил Мамон. — То есть, пошел-ушел, куда хочешь...

— Следственно, я не увижу?.. — спрашивал себя Ощера...

— Не пора ли нам уже и ехать, — сказал Андрей, выходя из-за стола. — Кажется, уже и луна взошла... Так и есть! Грустно расставаться, но пора!

И гости догадались, встали, женщины ушли; Мамон невольно подвигался поближе к столу, но взбешенный Ощера не дал ему и посмотреть на знаменитые яства, схватил за

руку и сказал:

— Пойдем! Доложим государю!..

— Доложим, доложим, что те сами не будут иметь пристанища и пропитания, которые, пошел-ушел, попирают ногами законы гостеприимства.

Бояре ушли, а женщины возвратились, и пир закипел. Вино лилось рекою; Никитин долго не отставал от других, но наконец утомился и заснул; к концу пира женщины осторожно ушли, а хозяин и гости заснули все, за исключением Ласкира и Васи.

— Так мы сегодня не уедем. Давно светает, а они...

— Что спешить, — с лукавою улыбкой сказал Ласкир. — Еще успеешь...

— Что успею?..

— Невинность! Ты и не догадываешься! Я всегда говорил, что или родители твои ошиблись, или поп тебя не так в книгу записал; и опытный в делах любовных так хитро не поведет себя, а тебе будто бы шестнадцать лет...

— Что ты говоришь, Митя? Я тебя не понимаю...

— А я так понимаю все, князь, и взгляды

твои, и трепет Зои, и усердие ее к молению, и путь-дорогу вместе, — все понимаю и не сержусь... Бог с тобою!.. Теперь мне Зоя опротивела. Бросит она и тебя, тогда вспомнишь про Митю, который так любил тебя...

— Ах ты Господи! Вот что тебе вошло в голову... Что мне твоя Зоя, с тобой мне нипочем; тут у меня свои Зои, и болит мое сердце, я кажусь веселым, а так бы и расплакался. Ты ничего, друг мой, не понял, а я так много понял сегодня и испугался...

— Чего?

— Будущности! Вечная, вечная мука — вот мой удел! Но да будет воля Божия и государева... Теперь я и сам чувствую, что не ребенок... а жаль... Васе-ребенку было чудо хорошо на белом свете, швырнули меня в пропасть... там и пропаду, иссохну...

Вася махнул рукой и отер слезу. Ревнивый Ласкир уже не верил другу. Презрительно улыбнулся и сказал:

— Эх, князь! Через молодое сердце ветер проходит, выдует; ты же степями поедешь, не печалься, Зоя утешит.

Вася посмотрел на Ласкира с гордостью и в

свою очередь презрительно улыбнулся.

— Ты разлюбил меня, Митя, и хочешь обидеть. Я по-твоему не сделаю, я всегда буду любить тебя, всегда буду готов служить тебе, как друг... Что будет, то будет, а я не изменю тебе. Прощай! Пойду на воздух, авось легче станет...

— И я с тобой, Вася! Я боюсь, если я не прав...

— Не прав, сто раз не прав! Вот и за мистра Леона... Правда, он помог отцу твоему, но снова наделал зла нового столько, что клятвы твоя и моя ничего не значат. Впрочем, Митя, я должен тебе сказать, что я был сегодня у Патрикеева. Я не выдержал, я все рассказал боярину...

— Рассказал?

— Да! Но я помнил твою клятву и про тебя умолчал...

— Что же боярин?

— Обещал за ним смотреть в оба. С меня довольно. У Патрикеева не увернется...

— Если сам Патрикеев...

Митя не кончил. Суматоха на улице возбудила их внимание.

— Не видал ли кто мистра Леона?

Молодые друзья по голосу узнали Ивана Максимова и выскочили на улицу... Стоявший тут грек, привратник, отвечал Максимо-ву:

— Пирует у моего господина.

— Как пирует? — вскрикнул Вася. — Так он не уходил, он все время скрывался; где он, где он?..

Вася бросился в гридню, но в самых дверях столкнулся с Леоном, который тихонько пробирался с спящим.

— Ты здесь!

— Князь, умоляю... Я нечаянно... Меня звали...

— Он здесь! — раздался голос Максимова. — Мистр Леон! Где ты пропадаешь, тебя всю ночь ищут... Скорей к царевичу, скорей...

— Что случилось?..

— Умирает!..

— Умирает! — воскликнули все и в сенях, и в гридне. Шум разбудил всех; когда Вася объяснил им, кто умирает, поднялась тревога, пошли толки; им бы не было конца, если бы Никитин не прервал их замечанием, что

жизнь царевича в руке Божией, а если государь узнает, что послы его еще не уехали, то разгневается, и при таких неблагоприятных обстоятельствах гнев его будет страшен.

— Оставайся, кто хочет, — заключил он, — а я еду!

— И я! — сказал Андрей.

Началось прощание. Не буду утомлять читателя описанием проводов. Скажу только, что, когда Зоя садилась на коня, под уздцы его держал старик Рало, а стремя боярин Ласкир. Скажу еще, что обоз был разделен на две части: Палеологов шел впереди, а посольский — отставая от первого шагов на сто. Никитин с Васей ехали впереди своего обоза. Не только греки, но почти все слобожане провожали Андрея. Солнце уже вышло на горизонт, но без лучей; над ним волновались тучи, и Вася, глядя на них, вздохнул невольно. Скоро тучи заволокли совсем солнечный щит...

«Солнышко мое, московское солнышко! Закатилось ты для меня... навеки...» — хотел он сказать, да не смог и тихо заплакал, склонив юную свою голову под зловещей думой.

## VIII

# ЕРЕСЬ

В теремах никто не спал, все были заняты недугом царевича Иоанна, которому ночью стало очень дурно. Государь всю ночь просидел у постели сына, не спала даже Софья Фоминишна; слуги бегали взад и вперед по дворам великокняжеским. Князь Пестрый сидел в переходах про случай; все это видел Иван Максимов; угрюмый взгляд, брошенный на него Иоанном, может быть, и без умысла, возбудил в нем опасение, тем более основательное, что после обеда уже говорил ему поп Денис, что государь про ересь знает и что-то затевается. В общей суматохе никто на него не обращал внимания, и потому он с озабоченным видом, улучив мгновение, пробежал по дворам, будто за чем послан, вышел из государевой ограды и бросился на посольский двор, где был приказ и жилище дьяка Курицына... По условному знаку его пропустили. Каково же было удивление, когда он застал у Курицына более двадцати человек священни-

ков и светских; поп Денис был тут же.

— Пожаловал и ты! — сказал Курицын с презрительной улыбкою. — Вот тебе и цветки зацвели, скоро покажутся и ягодки. Но я должен вам сказать правду: я умываю руки, на меня не надейтесь. Мне надоела ересь; заблуждения проходят; вижу, что зло творил, и каюсь, а государь помилует...

— Как, Федор Андреевич, — сказал некто Сверчок, молодой дворянин. — Да не от тебя ли она по всей Москве пошла, не ты ли ее привез из земли Угорской?..

— Слепые невежи! Вы перетолковали слова мои; я вам рассказывал о том, что можно творить с помощью кабалы, что сам в земле Угорской видел, но тогда я не знал, а теперь знаю, что то — бесовская сила! Покайтесь, говорю я вам, принесите повинную, всех вас помилуют, а не то худо будет.

— Пусть живого сожгут, а чему верю, от того не отстану. Ты был нашим начальником, ты всем нам говорил: дерзайте, я вам щит и стена; не ты ли говорил, что тебе удалось уловить бояр Патрикеевых и Ряполовских, не по твоему ли совету Алексей и Дионисий при-

званы на Москву и поставлены на первых местах; Алексей умер, а знаешь ли, где Дионисий?

— Знаю. Его в государевом селе Нифонт допрашивает...

— Напрасно. Дионисий ничего не скажет...

— Конечно. Он не в вас. Вы всякую тайность в трубы раструбите. Но довольно. Я не хотел даже вас видеть, но необходимо было объяснение. Прощайте, вы не мои, я не ваш...

Курицын вышел из комнат.

— Лицемер! — сказал с чувством Сверчок. — Но я с тебя сниму личину... Пойдем, покинем логовище зверя хитрого, Небом проклятого. Погибни, отступник, наследуй царство сатаны; ты не наш, мы не твои, Курицын. Погибни!

— Погибни! — хором возгласили все и ушли. Остался один Максимов.

— Я ничего не понимаю. Курицын опять хитрит, надо распутать это дела. Кажется, он идет сюда.

— Да оставите ли вы меня в покое, а! Ушли! Ты один здесь. Плохо, Иван, плохо! Как думаешь, что будет, если царевич умрет...

— Что с тобой, Федор Андреич! Помилуй! Камчуга не такая болезнь...

— Полно, камчуга ли? Мистр Леон кабалу понимает; оно будто и камчуга, а может быть что другое... Нежная любовь к сыну горит, пока сын жив... Внук уже не сын, а сноха без мужа так часто видеть государя не будет. Тогда что? Тогда вверх полезут греки... Об одном теперь хлопотать надо, чтобы на собор от светской власти государь поставил наместников наших, не то беда — доищутся. Государь требовал у меня толмача, который бы еврейский язык разумел. Хочу на тебя указать...

— Федор Андреич, не погуби! Меня возьмут из теремов.

— Вот что! Но там ты опасен, ты сам слеп, а болтлив.

— Клянусь, не скажу ни единого такого слова, чтобы в улику могло пойти.

— Довольно таких слов на сказано. Хуже, князь Василий Холмский с Дмитрием Ласкиром слышали все, что говорил Пошпель, ты и я с мистром Леоном.

— Погибли мы!

— Не совсем. Пусть только Алена Степа-

новна попросит Патрикеева, чтобы концы в воду опустил, да чтоб не мешкала; я сейчас пойду к нему и запугаю, но если мои слова не подействуют, тогда беда... Ну, а что нам с мистром Леоном делать? Он еще опаснее тебя.

— Что же ты хочешь с ним делать? — оробев, спросил Максимов.

— Да я у тебя спрашиваю. Теперь он что зверь лютый, себя от злости не помнит, может повредить мне, отомстить царевичу, а тебя в чарке воды утопить. Вот что придумал: я пойду к Патрикееву, а ты туда от царевича. Или постой... Ох, Господи, что меня так под ложкой схватило... Озноб... Гей, Таврило, дай-ко шубу... Дурно... Ох, болит... Голубчик, Ваня мой, попроси ко мне мистра Леона... Не могу... не могу, не могу... Христа ради, Леона...

И Курицын, дрожа всем телом и кутаясь в шубу, лег на софу, покрытую дорогим персидским ковром. Максимов побежал за Леоном, а Курицын тут же позвал Гаврилу.

— Беги поскорее к боярину Ивану Юрьевичу, скажи: Федьку твоего недуг сломал, а есть тайности; просит твою боярскую честь, не пожалуешь ли сам на посольский двор... Вот

уже и утро! — продолжал Курицын один, умащиваясь на софе. — Образец теперь не придет, побоится, а дельце это поддержало бы меня, в случае если бы... Кто-то идет, ох...

И Курицын стал стонать изо всей мочи; вошел карлик, и Курицын расхохотался.

— Чучело! Ты не спишь?

— Еще бы, ты ревел как медведь в берлоге. Да я не ложился.

— Что же ты делал?

— Службу правил. Был на княжьем дворе запасном. Андрей Васильевич сегодня в ночь из Углича приехал.

— Важно. Один?

— Один.

— Значит, Образец не обманул. Вот отчего и не пришел. Боярин не мог оставить своего господина.

— Куда оставить! Он что-то ему сказал, так тот просто взбесился, стал руками махать, ногой топать, опять было по-походному оделся.

— Что за притча! Ну, чучело, — Курицын встал и сел к письменному столу. — Надо тебе отнести сию писулю боярину Образцу да с ответом вернуться что духу станет... Ладно... Ка-

жется, любезнейшего брата изловили...

С полчаса Курицын пролежал на своей софе, то хмурясь, то улыбаясь. Карло воротился и подал ему записку.

— Так и есть. В Литву бежать, так зачем было на Москву ехать, из Углича нашел бы дорогу побезопаснее... Ну, теперь дело совсем подладилось. Теперь только мистра Леона...

— Что с ним? Помилуй Господи, где он? — кричал Патрикеев, проходя сени посольского дома. Курицын отвечал стонами...

— Боже мой, что у тебя болит?

— Душа, боярин... Так захватило, что я думал вот тебе конец пришел...

— Ах, Федька, Федька, видно, чего покушал небережно...

— В рот ничего не брал, работал; может быть, от истомы, да нельзя было оторваться — дела больно важные.

— Как же не важные! Ты всего еще не знаешь.

— Как не знать, боярин. Про жидовство, что ли?

— Да и жидовство дело нехорошее. Черт меня дернул послушаться тебя да у попа

Алексия обедать...

— Да ведь Алексей умер, Семен Ряполовский не выдаст, а четвертый кто ж был? Твой Федька; на этого ты можешь положиться; не только тебя, я и себя выгорожу. Да и что же ты с Семеном? Слушали Алексеев толк и головами качали; только и беда, что Алексия тотчас государю не выдали...

— То-то и есть... Неладно... А Федька не выдаст?

— Усохни язык мой, загорись гортань адским пламенем! А вот что опасно, боярин, чтобы государь чего про Максимова не сведал...

— И рад бы, да как я могу смолчать, сам подумай; князек толкует, будто Максимов ударил с мистром Леоном по рукам, что тот приколдует...

— Э, да что Холмский? Ребенок! Не обязан же ты бабам да ребятам веру давать, да еще в таком несбыточном деле. А вот что так надо: мистра Леона оцепить.

— Как оцепить?

— А так: недуг царевича растет, жид лечит подозрительно, а за то, что царевич помог Ан-

дрею на Зое жениться, жид злобен и бешен; верь мне, боярин, царевич умрет...

— Господи Иисусе Христе, спаси и помилуй!..

— Камчуга — болезнь нетрудная; Ивану Иванычу вчера легче стало, когда жид думал, что новобрачные сторели; когда же он узнал, что они спасены и царской милостью взысканы, — недуг поворотил к худу...

— Ты ошеломил меня, Федька. Что же нам делать?

— Что? Засадить жида в палату надежным боярским детям под присмотр: ни к нему, ни от него ни буквы; к царевичу водить его два раза в день, когда там государя не бывает. Вылечит — можно его тайком сбыть с рук, а не вылечит — живьем сжечь без оглядки... Кто за него вступится, а меру нашу нельзя не похвалить; кто знает, что мы тут и себя не забываем... Кто-то идет?.. Уж не он ли?.. Нет, это Ваня, и один...

— Один, Федор Андреич! — отвечал печально Максимов. — Леон говорит: устал, не могу, придется самому лечь в постелю; еду домой, пусть, если хочет, ко мне приедет...

— Боярин! — неистово закричал Курицын, вскочив с постели.

— Что с тобою?..

— Прими скорее быстро меры; жид уйдет, он с тем и домой поехал. Всему конец, он уже совершил свой адский подвиг. Но пусть указ идет не от тебя, пусть князь Пестрый распорядится — это его дело. А он, сидя под стражей, будет на нас надеяться и... Скорее, боярин, как бы не опоздать...

Боярин поспешно вышел.

— Не позвать ли к тебе мистра Иоганна!

— Нет, нет, мне стало легче! Ну, Ваня, я все уладил, но если дорожишь головою, будь осторожен. Прощай! Ступай на свое место. Не ходи ни к кому. За нами теперь смотрят тысячи глаз.

— Слава Господу! — сказал Курицын. — Со всем выздоровел. Теперь недуг мой можно выкинуть за окно. Кстати, не мешает освежить себя утренним воздухом. Боже мой! Не сон ли я вижу! Государь идет сам на посольский двор. Дело небывалое. Э, так надо еще похворать...

И Курицын опять лежал на софе и стонал

тяжко... Карло вбежал и только успел крикнуть: «Государь идет!» — раздались медленные, но тяжелые шаги; в дверях Иоанн нагнулся и вошел в палату...

— Господи, спаси и помилуй! Пресвятая Богородица, заступи и спаси! Что я вижу...

— Не поднимайся, лежи! Со всех сторон неприятности! Отчего ты захворал?

— Не спрашивай, великий государь и отец всея земли Русской! Что повелишь, я еще найду силы исполнить...

— Я был у сына, ему стало маленько легче, я воротился, позвал Патрикеева, мне сказал Мамон, что он у тебя, потому что ты отходишь...

— О, Мамон! И смертию шутит! Нет, великий государь, недуг мой несмертельный, но мучительный...

— Так выздоравливай же скорее, дела пропасть...

Государь уже шел к сеням.

— Пропасть. А тут еще нового прибавилось...

— Что такое?

— К печалям твоим, великий государь, не

хотел бы я прибавлять новой, но я твой верный раб, все тайны, о которых не знает даже Патрикеев, я доношу тебе верно...

— Да говори, что еще случилось?

— Брат твой Андрей Васильевич пожаловал на Москву...

— Знаю!

— Едва прибыл, ему сказали, что ты, государь, хочешь посадить его в темницу.

— Не имею предлога...

— Их сто, великий государь! Сегодня опять в Литву хотел ехать.

— Но где доказательства?..

— Дай оздоровею, представлю, а теперь верь рабу твоему... А зачем не послал своих воевод, когда ты указал поход против Сеид-Ахмута? Зачем он сюда прибыл и спрашивал про мистра Леона? Не утверждаю, но недуг царевича по нутру Андрею Васильевичу; приехал на похороны.

— Типун те на язык, подлый раб... Господи, заступи мя!

— Не гневайся, великий государь, я целовал Евангелие и крест Спасителя тебе на верность, службу и правду. Я передал мои подо-

зрения князю Ивану Юрьевичу; мы положили держать Леона под стражей, пусть лечит на привязи, не то сбежит и концы в воду, а этих концов тут немало: тут есть и польский, и тверской, и верейский, и новгородский, и углицкий, и волоцкий, и жидовский, и грецкий, статья может, и свейский...

Иоанн был поражен страшным соображением Курицына. С минуту он не мог вымолвить слова; глаза сверкали, волос подымался на голове, губы, посинев, дрожали... Курицын привстал и, притворяясь болящим и почти ползая у ног государя, говорил голосом тихим, прерывистым...

— Еще мысль о бедствии нашем не посетила родительского сердца, а уже идет толк не на одной Москве, кто будет наследником?.. Что это значит? Откуда эта уверенность, что первенец твой не будет наследовать тебе? Обычному течению судеб этого толка не припишешь!..

— Молчи! Довольно!

Иоанн был воистину ужасен: он ходил по горнице скорыми, неровными шагами, стуча жезлом и по временам порывисто вздыхая.

Лицо его то пылало, то бледнело, на нем явно отражались страшная, смертельная борьба гнева с отчаянием и высокомерного презрения с каким-то невыразимым тяжким душевным страданием. Но вот он совладал с собою, остановился перед софою, на которую присел Курицын... и тихо, почти покойным голосом, спросил:

— Что же ты думаешь, Федька? Яд или кабала...

— Я только опасаюсь, государь великий! Пошли за врачами другими, если скажут — отрава, то отрава; если скажут — нет, а исход будет смертельный, — то кабала. Я давно, государь великий, хочу тебе покаяться, да не приходилось доселе. К тому же я не думал, что жидовство так развилось, хотя сам в нем участвовал...

— Ты, Федька! Опомнись, что ты говоришь...

— Правду. Выслушай, а тогда казни. Когда на посольстве был в земле Угорской, согрешил, окаянный, позволил себе тени показывать; кабальщики показали мне самого меня, будто в зеркале стоял, а зеркала никакого в

покое там не было, поразили они разум мой глубоко и утверждали, что все то чинится словесами Старого Завета. Мнимо дал я веру их рассказам и сведал, что и у нас в Новгороде кабала и знатный кабальщик Схария проживают. И когда я был в Новгороде, притворился, что я жидовин, и всех разузнал и разыскал; тут дошло до меня, что и на Москве уже есть чума лютая; я им с Новгорода и грамотки привез, но тут, или они догадались, или я неловко повернул, немногие мне сказались. Хотел я до последнего разыскать и тебе, государь, о том доложить, но меня предупредили...

— Курицын! За многие твои службы и радение ложь твою за истину беру. Ты не будешь подлежать суду великому. Но смотри, больше не притворяйся, хитрости твоей в этом деле мне не надо. Очисти совесть свою покаянием церковным, ох! До меня доходили темные слухи, святители требовали казни еретиков — я медлил, и, может быть, меня казнит царь царей на сыне и кабала, которую я не исторг вначале, похищает у меня любимое детище. Но нет! Трепещите, еретики, иду

на вас судом неумолимым! Воспылают жертвенные костры, испепелю кости ваши. Вкусите пламя адское заживо! Курицын! Вижу, что и болезнь твоя — хитрое притворство, разумею и то, для чего на хитрость. Но будь же болен впредь до указа — и да не посмеет птица влететь в окно твое, живое существо да не переступит твоего порога. Я пришлю тебе, болящему, надежную сиделку. Помни завет мой! В нем твое счастье...

Едва государь вышел, Курицын вскочил с постели в досаде.

— Безумец! Я думал перехитрить Иоанна! Он меня помиловал, но как исполнить завет его, когда и Патрикеев, и Алена, и Максимов, и Ряполовские, и Леон — все нуждаются в твердой руке моей и опытном разуме, наконец, как я буду наблюдать за Андреем Васильевичем; рыл яму Леону, а сам попал в нее. И кого он пришлет ко мне?..

Долго ходил Курицын взад и вперед по комнате в раздумье и волнении; дверь в сени скрипнула, в палату вошел чернец и, сложив персты для крестного знамения, глазами искал образа.

— Ни одной честной иконы, — сказал старец тихо.

— Что тебе надо? — спросил Курицын без трепета.

— Государь послал меня к тебе для беседы...

— А!.. — Курицын злобно улыбнулся, но мгновенно изменил лицо и взял инока за руку. — Пойдем, святой отец, — сказал он, уводя старика в GRIDНЮ. — Исповемся, и да поможет Господь мне, грешному...

Нетрудно догадаться, что мог говорить Курицын такому гостю в этой беседе... Между тем князь Пестрый не нашел мистра Леона не только дома, но и на всей Москве. По строгому сыску оказалось, что он даже не возвращался в Греческую слободу. Доложили государю, Иоанн пришел в ужас. Хотя врачи великокняжеские и объявили, что никакого признака отравы не замечают, Иоанн мало верил их искусству: кабала не оставляла его воображения. Князь Пестрый едва избежал жезла Иоаннова; Мамон и Ощера не смели разинуть рта, дрожа от страха; Софья не решалась взойти наверх, зная, что злые языки не упустили

случая приплесть к этому несчастью греков. Одна Елена могла бы смягчить раздраженное сердце Иоанна, но ей было не до того; мужу опять сделалось хуже; всегда покойный, важный Иоанн озабоченно, с быстротою юноши ходил из рабочей к сыну и возвращался каждый раз печальнее и мрачнее.

В известной читателю темной и длинной палате, что примыкала к рабочей государя, взад и вперед задумчиво толкался Патрикеев. На лице его было написано беспокойство, малейший шорох заставлял его вздрагивать и прислушиваться. Он ожидал государя на обычный труд — напрасно, да и в палату к первому боярину никто не заходил, как будто знали, что попадут не вовремя; колокол, призывавший к вечерне, заставил боярина догадаться, что он прождал слишком долго и что Иоанн слишком озабочен, если и не прислал даже сказать ему, что к работе не будет. Машинально убрал князь бумаги, запер в свои тайники и пошел домой. Давно вдовец, он жил себе по-боярски, держал крепостных хозяек, но ни одна из них не имела на подозрительного Патрикеева продолжительного или,

лучше сказать, никакого влияния. Первая просьба за кого бы то ни было лишала хозяйку и звания, и милости; из аксамитного сарафана одевали ее в сермяжину и отправляли в подмосковное село боярина, в огородницы.

Правда, в описываемое нами время боярин мало занимался хозяйкой, зато сын боярина, князь Василий Косой, посещая отца, нередко беседовал с будущей своею рабою, которая знала, что она есть будущая вещь князя и потому исполняла его приказания с усердием и слепым повиновением. На этот раз молодому боярину с молодой хозяйкой Василисой пришлось беседовать долее обыкновенного, потому что князь пришел обедать к отцу, а отец едва воротился к вечерням. Читатели, а паче благосклонные читательницы простят мне грубость некоторых картин; я попрошу только вспомнить, что события настоящего сказания происходили в XV веке, попрошу вспомнить, что в образованнейшем городе и столице Европы — Риме, в загородных дворцах пап и кардиналов, во всевидение висели без фаты картины Джулио Романо и служили наставниками и руководителями зрителям.

Живые картины, предшествовавшие той, на которой я остановился, пропускаю без описания; эта была картиною покоя. На низкой софе в грядне боярской сидела Василиса, князь возлежал живописно и любовался работою...

— Ну что же ты, Василиса! Ври что ни есть, не то сон одолеет...

— Да что ж, милостивец, государь боярин, сказывать. Изволь, прикажи, я то и скажу...

— Ах ты сорока этакая! Что же ты, сама уж ничего не знаешь!

— Да что мне знать, на что воля князя-боярина да твоя, так я то и знаю...

— Ну, ты на Палашку не похожа, та больно много болтала...

— Да и доболталась, с подворья московского свезли в огород.

— Это ты знаешь, лукавая, да дурой и прикидываешься: подворье-то лучше, чем огород.

— Как знаешь, боярин; коли тебе, милостивец, лучше, так и мне лучше...

— Да ну к черту!.. Что ты плюешься?

— А зачем ты, милостивец, нечистого помянул? Как не отплюнуться...

— Ну тебя; я хотел сказать, что, может, батька и жалует таких дур, как ты, а я нет, ты у меня говори, как ты есть, — батьке можешь сороку корчить, а у меня будь что скворец ученый, а не то я и без батьки тебя на огород отправлю...

— А я тебе, милостивец, самых лучших огурцов буду приносить.

— Ах ты чертова кукла! Да ты шутить со мной вздумала...

— Куда нам, подлому народу!.. Нет, милостивец. На Москве уже я сведала, что боярин моего Сережу в ту же подмосковную сослал...

— Какого Сережу?

— Жениха мово. Может, он девку свою Василису возьмет женой, ведь не моя была воля...

— Ах ты этакая неблагодарная! Как же ты его смеешь любить.

— А я почему знала, что те, милостивцу, противно. Не укажешь, не буду и любить...

— Опять за старое! А за что же твоего Сережу сослали?

— Не ведаю. Говорят — на поварне сказал свой толк, люди и донесли.

— Какой толк?..

— Будто... Да что я руки на себя кладу... Узнает — убьет.

— Полно таиться, Василиса, мне можешь сказать... Я тебя не выдам...

— Сама вижу, что сдурила, неча делать, обронила конец, возьми его; толковал Сережа да других допрашивал: отчего это боярин и в церковь ходит, а на дому встанет али спать идет, не перекрестится...

Князь вскочил с софы и осматривал углы гридни...

— А что, милостивец, видно, иконы честной ищешь? Все у меня в кладовой, все перечистила да устала, а лампад да свечей боюсь зажигать. Не то увидит, взъестся...

— Неужели нигде? — спросил князь, поблуднев, и заглянул в образную, там было много образов, но без окладов, и все содержанием из Старого Завета...

— Государь, милостивец, не погуби, — жалобно вопила Василиса, — а только тебе все надо знать. Тело наше господское, а душа Господняя... Страх велик. Я твоя верная раба, казни, да ведай. По всему Кремлю, по всем дво-

рам, попы ходят с водосвятием. А что, как сюда пожалуют? Кирилло, что кравчим у Ряполовских, забегал сюда, говорил, что между прочим, который за попами ходит, опознал он теремных дворян переодетых, Ощерина сына да еще кого-то, упомянула. Да будто в ночи сегодня увезли протопопа благовещенского, а дом его до света искали и многое от него снесли... Кирилло говорит, что его старый боярин приказал икон окладных выменять и в каждой горнице повесить! Свои-то сбыл; куда — неведомо... Государь, милостивец, не укажешь ли и у нас навесить?

— Нужда велит — татаринном станешь. Твоя правда, Василиса. Вели вешать сейчас.

— Вели! Так, милостивец, вся челядь узнает, что икон не было, а я в образную да опочивальню княжую никого из челяди и не пускала, иконы у меня в кладовой в переходах; я их сама бы повесила, да есть такие, что одной не поднять: помоги, милостивец, — так и без челяди сможем.

— А я тебя считал набитой дурой! — невольно воскликнул молодой Патрикеев. — Нет, Василиса, и разума, и такой любви к нам

я от тебя не ожидал...

— Нам любить вас не приходится, мы не любим, боярин, а служим... Как велено... Так не изволишь ли, милостивец, помочь мне...

— Пойдем!

— А я те, государь, милостивец, путем-дорогой еще расскажу и про княжича Васюка...

— Какого?..

— Надо быть, Холмского. Вчера после вечера был у нас, я ноги князю суконкой вытирала; служба пришел и доложил. «А зачем пришел?» — спросил боярин. «Да, — говорит, — дело больно великое...» Боярин надулся и проворчал: «Нынче цыплята за петухов. Зови мальчишку сюда... Ты, Василиса, поди в опочивальню, посиди, пока кликну...» Недолго я там сидела; слышу — идут, я в переход, да за сундук и присела, а они вошли в опочивальню; слышать ничего не слыхала; только, как ушел княжич, боярин словно бешеный стал, только и слышно: «Разбойники, зелень поганая!» Все вот такие слова и еще хуже, да за стол сел да давай писать, будто что припоминал, приговаривая: «Что он там еще сказывал?» И опять писал, а то писание — в тайник

спрятал; лег спать, я пошла к себе; только что улеглась, в ладоши хлопает: подай ему писание; прочтет, и велит в тайник положить, и ворчит про себя, а что такое — не могла разобрать.

И князь, и Василиса усердно во все это время таскали и развешивали иконы.

— А в котором тайнике писание?..

— В евтом!

— А можно достать?..

— Ведь не назло же отцу своему ты знать хочешь. Теперь нельзя, а разве завтра, когда боярин у государя будет. Теперь, того гляди, пожалует; и так что-то долго засиделся, скоро к вечерне пора... Да уж сегодня лучше одно сделать...

Иконы все очутились на местах благодаря памяти князя; Василиса, обыкновенно бледная, от переноски икон раскраснелась, этот румянец придал ее белому и миловидному лицу особенную приятность; князь не преминул это заметить, с особенным удовольствием глядел и ласково потрепал ее по плечу. Василиса, обыкновенно задумчивая, с неподвижным лицом, робко взглянула на князя

и отвернулась, поспешая скрыть дерзость невольной улыбки.

— Идет! — прошептал кто-то, сунув голову в дверь gridsни. Василиса исчезла; князь сел на софу, прислонился к стенке и притворился спящим...

Боярин вошел в глубокой задумчивости, не сняв в переходах шапки; татарчонок и дурак, встретившие его у ворот, заметили тотчас, что князь не в духе, и повесив головы шли за ним молча. В gridsне дурак стал озираться и, заметив иконы, стал креститься.

— Князь, — сказал он, низко кланяясь в угол, — ты уже и перед честными иконами зазнался, шапки не ломаешь.

Боярин с ужасом посмотрел на угол восточный и, невольно сорвав шапку, стоял посреди gridsни будто каменный; он боялся спросить, кто навесил иконы, но душа его заболела новыми подозрениями... Опытный в науке притворства, он скоро пришел в себя, и первым движением его было — ударить меховой шапкой изумленного дурака.

— Ты не дурак, а дурень. Дела своего не знаешь! Когда я тебя выучу?..

— Да ты же учил меня принимать от тебя шапку в переходах.

— А зачем же не принял?..

— Не посмел. Ты шел надувшись, будто сонный медведь... Теперь благо мягкой шапкой пожаловал, а не то взыскал бы клюкой.

— Не уйдешь ты и от этой милости! Поймай, поймай! Ты чего, чертово дитя, торчишь, твое дело принять трость.

Татарчонок выхватил из боярских рук трость, и оба пустились бегом в переходы... Им на смену вошла Василиса, заспанная...

— А ты, соня, где пропадаешь? А?..

— Я не пропадала никуда, боярин! В чулане твоей боярской милости ожидала и вздремнула!

— И я тоже вздремнул, батюшка...

— А! И ты тут? — тихо сказал боярин, искаса взглянув на сына. — Да, замешкался! И даром! Государь и на работу не приходил. Горькое время пришло. Будто жалованного какого холопа помыкает. Ну, да стерпится, свыкнется... Василиса, обедать! Ну, Косой, чай тебе есть хочется.

— Перехотелось. Я уже уйти собирался.

— Да, видно, тебя что ни есть задержало.

— Угадал, государь родитель. Был я у сестры, у княгини Ряполовской; муж ее, князь Семен, как вчера с вечера князя Федора, нового боярина, проводил в Казань, так теперь еще допировать радости своей не может.

— Боже мой, Боже мой! Теперь ли время бражничать! И, верно, твой братец там...

— Угадал, государь родитель! Недаром ты прозвал Ваню Мыниндой, просто баба, на всякий грех падок.

— Вот ты, Косой, дело иное: тебя ни честь, ни золото, ни женские прелести не соблазнят...

— И не ошибся ты, государь родитель!

— А вот увидим! Что ты это, Василиса, подала мне такую подлую настойку, подай именнинной, знаешь, что говоруном называют. Ну-ка, сынок, чай, от этого вина станет веселее.

— Дай Богу помолиться...

— Твоя правда — без Бога ни до порога...

— Горькое время. Чай, теперь и Курицын крестится?

— Да отчего же ему не креститься?

— И я то же говорю, государь же ему для молитвы и помощника прислал, честного инока с Чудова...

— Что ты говоришь?

— Правду. Князь Семен посылал за ним, чтобы после того, как будет у государя, приходил к князю на пир; посланец пришел да и говорит, что государь сам у него был...

— У Курицына?!

— Да! Прислал к нему врача в черной рясе и никого не велел к больному пускать...

— Господи! Неужели этот щенок еще кому ни есть проболтался...

— Холмский?

— А ты почему знаешь?

— Как не знать, государь родитель! Уж не выпить ли нам пива бархатного али меду заветного...

Старик не дал заметить, что он понял намек.

— Почему же и не выпить? — сказал он ласково. — Василиса, добрая ты слуга Василиса, у самых дверей стоишь; чуть позову — слышишь. Поддай медку вологодского да чарочки... Да, сынок, видно, ты был на проводах

у Холмского, с греками пировал.

— Нет, уж этим не кори!

— А где же ты про Холмского сведал?..

— Про то мне знать...

— Да и мне знать было бы не лишнее...

— Так и так все знаешь, да про себя держишь...

— Вот что! Как, сынок, и не держать про себя, что знаешь; и вас тому я учил, да не доучил; не вижу у вас открытого сердца к себе, отцу вашему, зато со всякой дрянью братаетесь.

— Не кори!..

— Не укор, а правда! Не твой ли сыновний долг, что узнал, услышал, ко мне принести; ведомо тебе, что я государев главный тайник, так подобало бы за отца стоять.

— А отцу подобало бы и нас в тайну принять, а то мы тебе чужих дальше. Не услышь я про Курицына да про водосвятие, и на ум бы не пришло, что и у тебя в хоромах нигде икон нет...

— Врешь, есть... Видишь сам...

— Да это мы с Василисой сегодня развешали.

— С Василисой! Кстати и она. А что, Василиса, снилось тебе в чулане?

— Страшный сон, государь боярин! Не испужайся!

— Рассказывай, рассказывай!

— Мне снилось, что тебя, боярин, чернецы постригали...

— Что же тут страшного? Бабий разум снов пугается. Ты, видно, со страха с Косым иконы навесила, не опросясь, а того не знаешь, что я их снял по обету, по тайному обету. Что дивно, так дивно. Обету моему срок вчера изошел; я и забыл за делами, а вы будто про обет мой знали. Чудно, право! Ну, сынок, теперь мы медку отведали, хочу тебя испытать и на первый раз поручить тайну. Поглядим, как ты с языком своим сладишь. Василиса, подай вчерашнее писание, вот те ключ. Хочу прочесть тебе...

— Про Холмского?

— А ты почем знаешь? Воротись, Василиса, не надо! Гей! Кто там еще есть в переходах?..

— Мы, — просунув голову в дверь гридни, пропищал татарчонок.

— Позови Луку!..

Настало молчание. И Косой, и хозяйка угадывали развязку, но ни тот ни другая не сме- ли разинуть рта. Вошел Лука и, низко поклон- нясь иконам, поклонился и боярам.

— Лука! — сказал гневно боярин. — Ты нем и потому умен, а эта баба сорока, так не давай ей болтать; в огородницы!.. Пошла!

Лука замахал руками и, схватив Василису, потащил в переходы. Василиса только и успе- ла сказать: «Молодой барин, берегись старого, не то и тебя постригут!..»

— Полно, сорока ли она? — сказал Косой, встав с места, приметно взволнованный. — Уж не вещь ли ворона?.. Прости, государь ро- дитель, знаю твой норов: ты сказал, слова своего не воротишь, но она искренно была привязана к нашему дому...

— А кто ее просил об этой привязанности? Полно, Косой, уж не ко мне же она так больно привязалась. Видно, соскучилась меня до ве- черни ждать; ну да это дело конченное, мы его в подвал отослали, пусть себе гниет, и для справки не надо.

— Смотри, родитель, чтобы твоя неспра- ведливость пагубой не откликнулась... Сам

говоришь, время горькое. Вот за Курицына уже принялись, пойдут выше! Теперь Иван не то, что прежде, родных братцев не жалеет, так тебя, двоюродного, не помилует. Сам ты помог Ивану окрепнуть; теперь с ним никто бороться не выйдет. Знаю, что у тебя сильна рука в царевиче, но тебе ли не знать, что Иван-младый — на одре смерти. Софья и греки, может быть, еще сегодня подымут голову.

— Слушай, сынок! Я гляжу и за тобой, и за Ваней в оба. На Мынинду плоха надежда, но из тебя может выйти прок, одно тебя губит — язык.

— Язык мой — враг мой, твоя правда, но я положил на него печать тайны, и чтобы тебе доказать, до какой степени умею языком моим владеть, скажу тебе тайну, которой ты не знаешь, да и никто не знает. Скажу потому, что делу тому и ты повинен, не то никогда бы не сказал.

— Ну, раскрывайся!

— А что за то?

— Да если тайна твоя того стоит, возьму тебя в советчики.

— Ну, так слушай, государь родитель. Под-

нялась опала на кабалу.

— Ну, — встав с места, сказал боярин...

— Только не отнекивайся понапрасну. Я той же веры, что и ты. Я знал твою тайну, а ты моей — нет.

— Ты прав, мы оба христиане, были и будем...

— Пока обстоятельства не переменятся, пока то нужно будет, а теперь мы христиане, теперь мы сами будем преследовать жидовский содом, не правда ли?..

Патрикеев молчал, опустив голову, сын продолжал:

— По счастью, немногие знают о твоём расколе. Князь Семен, да Курицын, да я...

— Откуда же ты узнал?..

— От тебя, сегодня, в этой GRIDNE; ты обличил себя.

— Так, так! Но кто же тебя просветил?

— Князь Семен; других учеников у него нет и не будет.

— Кто поручится?..

— Я! Но не в том сила. Надо освободить Курицына. Еще тайна, но она необходима. Видя, что ты, хотя и отец, о значении при дворе на-

шем никакого попечения не имеешь, я вступил в союз с Курицыным; мне обещано было первое крымское великое посольство; ты знаешь, кто у меня выхватил его из-под носа...

— Щенок, клевет Софьин...

— Этот щенок опаснее всех греческих псов. Надо его.

— Твоя правда, надо.

— Царевич умрет, тогда наследник престолу Дмитрий, правительницей Елена, советчики — ты с детьми и сродниками твоими... Но, государь родитель, хочешь ли, еще удружу тебе тайной.

Старик кивнул головой.

— Чем вы все держитесь в милостях у Алены Степановны? Ненавистью к грекам. Не удастся вам угодить ей единожды, и та же ненависть обратится противу вас...

— Твоя правда. Я думал об этом.

— И не додумал. Молодой вдовой останется царевна, кто будет утешать ее? Уж не комнатные ли ваши дворяне, с кем гордая волошанка и разговаривать не станет? Уж не Максимов ли?..

— Безумец! Он позволил себе надеяться...

слепец, Иоанна забыл!

— И довершит пагубу всех аленовцев. Поставь к ней меня, а Максимова удали хитро, чтобы не подать повода к догадкам. Можно бы его бросить на костер, что строят для жиждовства, но страшно; страстный, он, пожалуй, захочет спасти себя исповедью креннею...

— Сын мой! Да, ты сын мой! Ты станешь выше отца! Я не ошибся в тебе! Ты умел покорить разуму язык свой, и путь нам теперь тверд и надежен... Знаешь, Василий, ты исполнил меня неиспытанной радостью. Боюсь немецких вин, но в такой день!.. Гей, Василиса!

— Василиса? Ты и забыл, что пожаловал ее в огородницы за то, что она оказала тебе две услуги: спасла тебя от подозрений и сблизила с сыном. И ты, государь родитель, палатный хитрец знаменитый, а того не размыслил, что и на огород в твою подмосковную могут пробраться греческие лазутчики; она может быть важной свидетельницей противу тебя, в твоих же хоромах она будет полезной слугой противу тайного гада. Мой толк — вороти Василису, скажи, что хотел пугнуть за само-

управство.

— И за то, что тайное писание тебе показала...

— Нет, в этом она неповинна...

— Врешь, сынок.

— Клянусь Сионом.

— Если так, гей, кто там? Видно, все побежали к ней на проводы.

Боярин вышел в переходы и, к удивлению, заметил на дворе необыкновенную тревогу... Отодвинув окно, он не хотел спросить о причине сумятицы, а старался прислушаться к толкам челяди.

— Я те говорил, — сказал один из слуг, — что она ведьма...

— Полно, бог с тобой! Такая добрая, набожная.

— Как же она у Луки из рук ускользнула, а ведь у Луки лапы не свой брат, медведя сваливал.

— Оплошал сам. На лестнице оступился, с крыльца провалился, а она и дала тягу.

— Да ворота и калитка заперты, кругом двора частокол острый, куда уйти.

— Перестань болтать, поищем, найдется.

— Нет ли под моим крыльцом?

— Смотрели.

— Ой, там что-то шевелится. Давайте сюда огня! Она, она! Так и есть.

— Чему вы обрадовались? — спросила Василиса покойно, выходя из-под лестницы, которая вела в девичью половину, примыкавшую к опочивальне и с давних лет необитаемую. — Я здесь! Да будет воля государя князя Ивана Юрьевича: с огорода пришла, на огород и пойду, погостила у вас довольно.

Лука, искавший Василису в другом конце двора, увидев пропажу, со всех ног бросился к ней и размахивал руками, приготовляясь потчевать беглянку усердным ударом.

— Не тронь! — громко закричал боярин. — В последний раз прощаю Василису; только гляди, не самоуправничай! Василиса, поди принеси нам немецкого вина, что из Новгорода прислали, да проворнее!..

Челядь удивилась прощению, чего никогда на этом дворе не бывало, но еще более равнодушию Василисы, с каким она приняла слово помилования; с обычным хладнокровием и важностью Василиса сказала тому же

Луке:

— Посвети, голубчик! В погребах теперь без огня ничего не доищешься!

Обрадованный татарчонок побежал за Василисой в погреб и, взяв свечеч у Луки, велел ему воротиться. Тот и татарчонку повиновался...

— Что за невзначай такой, мама? — спросил татарчонок.

— После скажу, мордашка моя верная, — прошептала Василиса. — Когда Лука оступился и упал, я вперед, да по заднему крыльцу в опочивальню, да в образную; там за иконами и просидела, да все переслушала. Сохранили меня святые угодники, может быть, на доброе дело. На, мордашка, неси новгородское! А я погреба запру...

В переходах Василиса взяла поднос, поставила на него вино и чистые чары, вошла в гридню, низко поклонилась боярам и поставила вино на стол...

— Скажи спасибо, — гневно начал боярин, но не успел кончить. Вбежал дурак и, подпрыгивая, кричал:

— Вора поймали! Вора привели!

— Что ты врешь? — спросил боярин.

— Если кто соврал, так десятский, вот он сам налицо!..

— Что там? — спросил боярин у вошедшего ратника.

— Дело тайное, государь боярин...

— Ступай сюда! — И боярин ушел в светлицу, куда отправился и ратник. Дурак бросился на двор, а князь Василий Иванович Косой давай нашептывать Василисе что-то очень веселое, потому что она то и дело улыбалась.

## IX СМЕРТЬ

**В** красивом овражке, через который проходила тогдашняя Большая Коломенская дорога, на берегу Москвы-реки, раскинут был стан Палеолога; посольский обоз стоял на пригорке, тут была одна большая ставка, а у Палеолога две; в одной царевич с женою, в другой прислуга, которая то и дело бегала в деревню, расположенную на холме у самой реки. Жители этой деревни, привыкшие к непрерывным посещениям князей и бояр, не

обращали особенного внимания на гостей, несмотря на то что пристав, провожавший посольство, важничал и напоминал поселянам об исправности в подводах...

— Не изволь, милостивец, беспокоиться, — сказал ему староста. — Нонича гон по нашему пути невелик, а у послов много и своих лошадей. Ложись, милостивец, спать да лучше пошли гонца на бронницкий ям, не то ночью приедете; лошади в поле будут, не скоро соберут.

— Да разве от воеводы московского летучки не было?

— Как не быть! Полетела; батрак Онисим вчера летучку в Бронницы отвез и вернулся, да на яму-то, наверное, не знают, когда будете. Лучше своего пошли...

— Ну, брат, разве ты мне верхового дашь, а мне посылать некого, у меня всего десяток боярских детей с десятником сторожку держат.

— Давай, милостивец, роспись, pošлю молодца, неча делать.

Между тем к приставу и старосте подошли и посольские дворяне Загряжский и Кулешин.

— Что, гуляете? — спросил пристав. — Солнышко печет, повернуло к постельке время летнее; долго не заспится; а пока взойдет, нам уже надо быть под Коломной.

— Не спится, Игнатъич, когда другие вечерают, а нас не зовут. Спасибо князьку, приказал Алмазу нас своим столом угощать, а сам пошел с Никитиным к Андрею Фомичу в ставку, и то по зову; сам царевич заходил, а то бы не пошел; странно, любимец Софьи Фоминишны, а от греков сторонятся. Ну, Игнатъич, распорядился, так пойдем к Алмазу, чай, изготовился старик...

— Пойдем, только погодите маленько; видите, по дороге пылит, уж не летучка ли? Нет ли указа?

— Нет, — сказал староста. — Это монастырский келарь с Москвы домой едет.

— Ты почему знаешь?

— Да уж глаз, милостивец, так наторел; он, тут его и подвода монастырская поджидает; прежде ямскую брали, да мы били челом воеводе: не велел им давать; теперь, когда нужно, свою подставу посылают... Пойти подводчика разбудить...

Между тем келарь поднялся на гору, где стояла деревня, и все высыпали на улицу: мужчины и женщины; келарь, благословляя детей, окруживших его повозку, не хотел войти в ямскую избу, приказал спешить с перепряжкой, намереваясь немедленно пуститься дальше в путь.

— Куда, отче? — сказал пристав.

— Недалече, один, и то небольшой, перегон, а спешить надо: указано по всему царству молиться за здоровье царевича Ивана Иваныча...

— А что?..

— Что? Плохо! Уехал я с Москвы после обедни, а по всему городу и посадам ходила молва, что навряд доживет до вечера...

— Неужели?!

— Ахти Господи! — раздавалось в толпе...

— И того знахаря, что князя лечит, нигде не отыщут; говорят — пропал; по всем литовским дорогам погоня пошла...

— Это мистр Леон! Да как же это! Утром сегодня он был...

— Да сплыл... Ну, поворачивайся, Ефим, солнце уже вечерню перешло, придется поды-

мать братию на всенощное стояние.

— Да что вы так рано на ночлег пристали? Теперь, холодком, самая лучшая езда...

— Да мы не на ночлег встали, а от жары укрылись; по Русской земле, благодаря Господу да государю, теперь и ночью ездить свободно, а тут еще и женский пол есть, так спешно не поедешь...

— Готово! — сказал Ефим, и келарь, благословив всех, уехал; дворяне с приставом пошли вечерять; народонаселение деревни спряталось в избы, только один из боярских детей медленно ходил по пригорку у шатра и, ходя, дремал...

Солнце июльское пекло, но скоро, склонясь, потеряло палящую силу — и вся окрестность оживилась. Поселяне высыпали на работу, в обозе зашевелились прислужники, пошли укладывать вещи, снимали шатры; Палеолог с женой и гостями подошел к реке и приказал подать туда вина и сластей; Никитин не отставал от Андрея, но Вася упрямо отказывался...

— В дороге, — сказала Зоя, — чара вина подкрепляет...

— Не могу, и без того жарко, и без того... — Князь не кончил... — Что это нашего шатра не убирают, видно, Алмаз расщедрился, а про то и забыл, что путь далек, а в степях ничего не достанешь... Пойти разогнать запоздалую беседу...

Князь ушел и не возвращался до тех пор, пока не убрали и не уложили всего и не подвели коней для дальнейшего путешествия. Палеологов обоз опять снялся первый, посольский по приказанию Василия вышел немного погодя. Никитин был, что называется, навеселе и, когда тронулись в путь, затянул какую-то несносную восточную песню. Князь, по какому-то невольному чувству, все оглядывался на Москву; солнце село, а путешественники едва ли проехали пять верст за непрерывными остановками греческого обоза... При второй остановке Никитин не выдержал:

— Что там еще? Ну, езда! И тридцати верст сегодня не сделали; поедем, князь, посмотрим!

Навстречу им бежал гречонок и звал по слов к Андрею. Они нашли Палеолога в обозе;

он стоял на повозке, покрытой коврами, и укладывал подушки.

— Не могу, друзья мои, верхом ехать, так ко сну и клонит, а Зоя не хочет ехать в повозке; так, друзья мои, я себе лягу в повозку, а вы поберегите Зоюшку... А пока прощайте!

Походное ложе было уже готово, Андрей растянулся и прикрылся шубой.

— Преумно выдуманно! — сказал Никитин. — Кто же мешает и мне сделать то же. А ты, князь, тебе спать стыдно, ты изволь ехать при Зое, да гляди — где мосты, осторожнее... А пока прощай.

— Утомились, — с улыбкой сказала Зоя, поворачивая коня. — Уж не хочешь ли и ты, князь, залечь на телегу... Что же, князь, едем? Теперь путешествие, я думаю, пойдет успешнее... Спать, когда солнце так роскошно зашло, так свежо, так отрадно на свете... Не правда ли, князь?

— Не всем... не всем... Многим душно, многим ночь в казнь...

— Да, говорят, убийцам тяжка, ужасна ночь, но тебе, с твоею невинною душою, с твоим чистым сердцем... Ах, князь, может

быть, я и весела и счастлива оттого, что ты с нами...

Наступило молчание, а между тем темнело; по земле будто кто-то сеял длинные густые тени; небо посинело, и яркие звезды одна за другой вспыхивали и дрожали, как алмазные.

— Князь, — тихо спросила Зоя, — в чьих домах, скажи, зажглись эти огни, кто жильцы этих хором невидимых?

— Ангелы Божии, — отвечал он рассеянно...

— Когда я была в девицах, у меня между звездами было много знакомых, я их привыкла называть по именам; мы жили в городе Генуэзском, на берегу моря. В тихую ночь я иногда до зари просиживала на крыше нашего дома; странно, я не думала ни о чем, я любовалась моими звездочками и поверяла, так ли я называю их; звезд с именами у меня было столько, сколько я знала людей; все имена я раздала и вдруг увидела вот эту, лучшую звезду... Почему она лучше всех, не знаю, но я любила ее более других; не могла, да, признаюсь, и не хотела ей дать имя... Много лет про-

шло. Я позабыла имена всех моих звезд, но помнила, что у этой нет названия... Теперь — эта одна с именем...

Этот рассказ увлек Васю, он слушал Зою с удовольствием, изредка на нее посматривал и сознавался, что она стоила любви пламенной, юношеской; пожалуй, он бы готов был полюбить ее, но он чувствовал, что ему любить ее нечем: в груди не было сердца, а камень льда холоднее, тяжелее булата...

— Какое же ты дала имя этой? — спросил Вася.

— Не сердись, князь, твое! Я знаю, что ты меня не любишь, что я противна тебе, — все знаю. Бог с тобой, князь, а я не перестану любить тебя...

— Что же из этого будет? — с приметным испугом спросил Вася, как будто увидел врага и необходимость прибегнуть к защите.

— Будущее закрыто! Кто знает, что нас ожидает вот хоть бы и в этом лесу. Погляди, как он черен и безобразен, — мне страшно; дорога неровная, то и дело поворачивает так круто; смотри, как конь мой бережно переступает с ноги на ногу, посмотри, как наострил

уши...

— Напрасный страх, Зоя, но все лучше нам обождать обозов. Наши лошади ушли далеко вперед, я велю обоим обозам идти плотнее, да не мешает и осмотреть их: время ночное, все ли бодрствуют?

Обозы сдвинулись. Вася не ошибся: все дремали. Несмотря на то что и людей и лошадей было немало, во время краткой стоянки в обозах так было тихо, что Вася мог различить топот лошади, которая довольно далеко бежала рысью. Ближе, ближе, так близко, что храпение коня уже слышно, но за крытым поворотом дороги не видно было, кто едет. Вот выехал всадник, но, увидав обоз, удержал коня. Мгновение — и всадник, повернув назад, во всю скачь пустился по своим следам...

— Кто бы это?.. — вскричал Вася, и золотой аргамак его вытянулся в струнку. Движение ног превосходного коня и днем трудно было бы заметить: он не скакал, а летел; всадник видел, что не уйти ему от неожиданной погони, он хотел удержать коня, чтобы соскочить с седла и броситься в лес, но длинное платье ему изменило, всадник повис на седле, а золо-

той аргамак как вкопанный остановился перед самым его носом... Ночь была довольно ясна для того, чтобы распознать всадника.

— Мистр Леон! — воскликнул Вася.

— Я не мистр Леон, я рязанский купец, я...

— Мой пленник!

— Не отдамся живой...

— А я гадов не бью, на то у нас особых людей держат.

— Не удастся! — закричал жид, освободясь от верхнего платья, и бросился к лесу.

— Постой, погоди! — раздалось в это время сбоку; аркан загудел, меткая петля обвилась около шеи, жид застонал и свалился. То был десятский посольской стражи. За ним скакали боярские дети, они подросли, когда все уже было кончено. Князь сошел с коня, позвал десятника и, отведя его в сторону, дал тайный наказ; жиду связали руки, посадили на коня, ноги привязали к стремянам; десятник и двое боярских детей поскакали вперед, таща лошадь Леона, двое других стегали сзади жидовского коня татарскими нагайками... С остальными князь воротился в обоз, где Зоя отчаянными криками своими привела всех в

ужас и даже разбудила мужа... Но когда князь рассказал, что случилось, Палеолог пробормотал с неудовольствием: «Только-то» — и улегся по-прежнему. Никитин три раза зевнул, перекрестился, сказал: «Слава те Господи, не ушел, окаянный» — и также завалился спать. Князь поневоле должен был занять свое прежнее место и по-прежнему продолжать путь и беседу...

Все опять стихло и задремало, только один пристав Игнатъич ворчал, зачем послали десятника, а не его, потому что за такую знатную поимку не обойдется без знатного подарка. Десятник об этом не думал, но скакал что было силы; напрасно мистр Леон кричал, что даст окупа фунт золота, пуд серебра, горсть самоцветных камней. Неумолимо, неутомимо неслись боярские дети и остановились у двора Патрикеева, как мы видели, в то самое время, когда последовало прощение Василисе...

— Ну, рассказывай, — прошептал Патрикеев, садясь на скамью в светлице. — Откуда?!

— Да мы на проводах посольских были; чуть смеркалось, наскочил на нас жидовин Леон...

— Тише, тише! Незачем глотку драть, я не оглох еще... Ну, что же, вы его видели?

— Князь сам изловил...

— Изловил!

— Да, велел его прямо к тебе, боярину, поставить, никому не показывая; не то, говорит, у него много знатных друзей — обморочит, выпутается.

— Где же Леон?..

— На дворе твоём, с детьми боярскими...

Князь с приметным удовольствием потирал руки, радость дергала его за длинные усы; вдруг он нахмурился...

— Черт побери, хорошо, да не совсем. Знают боярские дети, кто он.

— Знают, только я на них запрет положил, да и то вспомни, боярин, что дети те из полка Руна московского. Службу и тайну знают.

— Так, да мои-то люди узнают Леона...

— Трудненько, боярин: кляп во рту сидит, как в Москву въезжали, поставили, да вместо фаты походною попоной покрыли...

— Видно, Руно, воевода московский, тайное дело смыслил, как и ратную службу... За кем же вы теперь записаны?

— За кем приходилось, князь-боярин! За князя Федора Пестрого, воеводу московского, приписались мы на год, а теперь хотим бить челом, чтобы нас за князя Василия, князя Данилыча Холмского, записали...

— Быть по-вашему, да, почитай, что вы уже за князя записаны. Значит, после проводов хотите с ним и дальше идти?..

— О, как бы воля!

— Разрешаю! Значит, хотите посольство догонять?..

— Да оно отъехало еще недалече... Завтра на стоянку поспеем, только бы ярлык...

— Я с летучкой в Рязань пришлю. А вы не мешкайте, неладно посольству без проводников странствовать.

— Коли твоя боярская милость велит, мы сейчас в путь; побредем шажком, лошадей за Москвой покормим; да они у нас привычные...

— Знатный ты парень, вот тебе; как тебя зовут?

— Клим Борзой...

— На тебе, Клим, на путь-дорогу мошку, тут будет весом гривны две старых, стало

быть, полсотни больше; а доложу, так тебя и государь пожалует, и жалованье вам с гонцом в Рязань пришлю, только со своими молодцами не мешкай нисколько на Москве. А много ли вас?

— Я сам-пят, государь боярин, милости твоей благодарствую и, как отпустишь, с твоего двора прямо в поход...

— Молодец! Молодец! Уж точно борзой! Я тебя тоже держать не стану. Пойдем, такого гостя приходится самому на дворе принять...

Боярин вышел в переходы, где торчали дурак и татарчонок. По мановению князя один подал ему шапку, другой трость, и оба схватились за плоски с ручками, чтобы посветить боярину. Но князь взял сам плоску, сошел вниз и нахмурился. Челядь окружала всадников...

— По местам! — закричал боярин. — Лука! Ключ от железного подвала. Подайте пленника сюда, дети!..

Лука отворил погреб, куда дети боярские втащили покрытого попоной жида; он мычал страшно.

— Спасибо, детушки, за верную службу;

вот тут на камень посадите его, у камешка колечки есть, вместо обуви наденьте, а для рук на стене тоже кольца есть, так и прилажены для удобства. Надежны ли?

Боярин сам освидетельствовал крепость колец.

— Лука, ступай вон! Запри дверь! Ну, теперь, детушки, прощайте, да...

Князь приложил палец к губам.

— Ступайте себе, да Клима слушаться; а за службу вином вас потчевать не буду, нате, купите сами. Ну, с Богом!

— Государь боярин, а кляп...

— Не бойся, справлюсь! Убирайтесь! Время не терпит.

Боярские дети вышли, князь запер дверь изнутри железным засовом, снял попону и плюнул. Вид Леона, впрочем, благообразного, даже красивого мужчины, в это мгновение поистине был отвратителен: глаза налились кровью, волосы включены, из раскрытого рта пена.

— Хорош ты, Леонушка! — сказал боярин с выражением сострадания и ласки. — Хорошо, что ты попался ко мне в руки, а не к Пестро-

му, не к Щене или другому кому... Прямо на висельницу... Ты, Леонушка, теперь лукавство свое отложи на сторону и, что спрошу, отвечай без хитрости. Не то я откажусь от тебя, и погибнешь...

Князь освободил язык Леона, и тот задрожал всем телом, а князь сел против него на деревянном табурете.

— Ну, Леонушка, признавайся! Царевича нельзя спасти?..

— Я не повинен з смерти его, — прохрипел Леон голосом, израсходованным во время переезда в Москву...

— Об этом я не спрашиваю, — продолжал боярин. — Можно ли его спасти или нельзя?..

— Я не в силах... Болезнь приняла смертельный оборот. Клянусь всем на свете, я не повинен...

— А зачем же ты бежал?

— А за что вы зарезали мистра Антона? Вижу, смерть его идет, я знал, что за нею и моя прячется. И ты бы ушел, боярин...

— Так решительно нельзя?..

— Не смею обманывать. Принимай, князь, свои меры!

— Спасибо, Леонушка, за совет, твоя правда, зевать нечего. Посиди недвижимкой; не для тебя — для других это делаю, а я тебя выручу; сиди смиренно, я велю тебя и пытать для вида...

Жид затрясся всем телом, и глухой стон вырвался из груди его.

— Не бойся, для вида только, а заправду пытки не будет; ты не сознаешься, мы тебя в Литву и вышлем. Об остальном после. Боюсь опоздать... До свидания.

Боярин отодвинул засов, вышел, запер дверь, спрятал ключ; на стражу поставил и к дверям, и к окну с железной решеткой по два человека и, не заходя наверх, пошел на двор государев.

Соборы пылали внутри от множества свечей, принесенных многочисленными дворянами дворцовыми, боярскими детьми и женщинами двора царевича. Было уже поздно, около полуночи. Хотя Кремль был давно уже заперт и с посадов никто уж туда не мог пробраться, но внутреннее народонаселение Кремля было также многочисленно. Кроме великокняжеских дворов, обширных и свя-

занных между собою переходами и калитками, кроме соборов и некоторых приказов тут жили важнейшие должностные бояре, сановники, дворяне на своих дворах; двор Патрикеева стоял в тесном переулке, примыкая ко двору митрополита с одной стороны, с другой — ко двору Ряполовских, насупротив, во всю длину переулка тянулся посольский двор, посредине красовались хоромы, в которых проживал Курицын. Второе жильё видно было из-за каменной стены, окружавшей двор, зато от других домов, на которых проживали второстепенные дьяки, приказные и прислуга, были видны только крыши. Ни облачка на синем небе, луна во всем блеске сияла над Кремлем и освещала посольские хоромы, но в окнах не было света.

«Видно, спит, — подумал Патрикеев, проходя мимо. — Спит и не ведает, что один страх наш уже сидит в западне, другой недалеко, да без меня не вернется, третьего убрать надо... Тогда и концы в воду».

Днем Патрикеев проходил на государевы дворы через сад свой, но в эту пору все ходы были заперты; к государю можно было прой-

ти только через благовещенскую калитку, — почему нельзя было миновать соборов; на площади, несмотря на позднее время, народу было немало: одни шли в соборы, другие оттуда возвращались, только у старого Архангельского, еще не сломанного, прислонясь к забору палисадника, стояли два человека. Старость не ослабила еще зорких очей Патрикеева: он тотчас заметил, что эти люди пришли на площадь не из участия к царевичу, а из любопытства корыстного; самому заняться преследованием этих тайных соглядатаев общей печали было бы опасно, но при боярине не было никого; он невольно оглянулся и заметил, что и за ним кто-то наблюдает, что этот соглядатай пришел по следам боярина. Патрикеев воротился, а тот поспешил к нему навстречу...

— Ну, сынок! — сказал он. — Я не ошибся. Ты смотрел за мной в оба, а я и забыл про тебя. Теперь объяснять не время, что и как. А вот тебе от скуки работа. Глянь-ка налево. Видишь?

— Вижу...

— Головой отвечаю — софиевцы аль и того

хуже; а мне надо спешить к государю.

— Я за тебя...

— То-то же... Ловить не надо телес их, а имена, слова и мысли... Вернусь домой, при-  
шлю за тобой...

Патрикеев пошел к благовещенской ка-  
литке, а князь Косой воротился в ту улицу, от-  
куда пришел, но скоро очутился в палисадни-  
ке ветхого Архангельского собора и подполз к  
тому самому месту, где стояли предполагае-  
мые софиевцы. Несмотря на то что они разго-  
варивали тихо, Косой поместился так близко,  
что мог слышать каждое их слово... Один из  
них был высокого роста, другой пониже, оба  
статны, плечисты, вооружены, как будто в де-  
ло. Забрала были подняты, но Косой не знал  
их.

— Что, государь Андрей Васильич, — ска-  
зал тот, что пониже, — пусть и вороги, а  
жаль...

— Образец! Нам с братом хлеба-соли не во-  
дить, кошка промеж нас пробежала, вся наша  
опора в свирепой душе Ивана: была мать  
великая, ее не стало, — ее место заступил  
Иван-благодарный; не станет его — на нас

подымется вся дворня. Ты думаешь, Образец, что челядинец Иванов Мунт-Татищев от себя врал? Не я буду, патрикеевцы научили. Ты веришь Курицыну? А я нет!.. Татищев и про него говорил брату Борису, когда проходил через Волок. Жаль, что меня там не было, я от Татищева узнал бы подноготную и обличил бы моих злодеев перед братом. Я и теперь за тем сюда приехал, дал бы только Господь, чтобы племяннику стало легче. Он мне помог бы во многом; и то еще дошло до меня, будто Татищев на Москве, его видали люди такие, что не солгут, он им сам сознался.

— Нет, государь Андрей Васильич, мой толк не таков. Ты, пожалуй, соберешь дела своих злодеев, расскажешь их брату Ивану Васильичу. Тебя к нему допустят раз, а сами, что день с ним, твою правду своим медом переделают, станет правда не твоя, их, а ты просльвешься беспокойным клеветником. И так тебя зовут строптивцем.

— Раз, да горазд. Не люблю брата, но знаю, что за клевету не пощадит бояр, знаю, что у него зубы горят и на мой Углич, и на Борисов Волок, и на сестрину Рязань, да на все города,

сколько их ни забрал, перед людьми святой повод имел... Вот этого повода не подать...

— Тебя ли слышу, государь? Да был ли у Ивана хотя на один пригород, на одну волюсть святой повод. Все поводы, сколько их ни было, сам состряпал, вон в той палате, что у теремов; то поварня великих выдумок; там и кроме Ивана повара первой стати есть: Патрикеев, Курицын...

— Ты же за Курицына стоишь...

— На то, князь, есть свой повод...

— Не верь, боярин мой верный! Курицын с ведома Патрикеева, а может быть и выше, учуг[20] отпер, авось осетры влезут... Я вывел бы их на чистую воду, если бы мне только Тащицева отыскать да с Иваном-племянником повидаться... Я посылал сегодня к брату Ивану: отказал меня видеть, семейной смуты ради, как будто я не брат ему, племяннику не дядя! И какому племяннику!.. Я хотел пойти к больному, патрикеевцы не допустили. Признаюсь тебе, Образец, меня так и подмывает пойти в терема; теперь уже и поздно, челядь озабочена; патрикеевцы истомились, авось прозевают, а я увижу и брата, и племянника...

Я... да что долго думать. И без того строптивцем называют, оправдаю их кличку... Пойду!..

— А если...

— Молчи, Образец! Не перечь; воля моя не из проволоки — не согнется; ты меня обожди тут у соборов...

— Курицын советовал избегать свидания...

— Потому-то я его и ищу. Делай противное тому, что тебе злодей твой советует, ошибки не будет. Иду!..

Князь Андрей Васильич Угличский пошел к благовещенской калитке. Образец тихо за ним следовал и сомнительно качал головою. Князь Косой вскочил, встряхнулся и, обойдя собор, вышел опять на площадь; из собора Успенского вышел митрополит Зосима и, сопровождаемый Нифонтом и духовенством, направился на двор государев. За духовенством шло много бояр и людей сановных, в том числе Семен Ряполовский, женатый, как мы уже видели, на сестре Косого. Молодой Патрикеев подошел к зятю. Тот вздыхал и отирал слезы; Косой дернул его за полу, Семен обернулся и, увидав князя, поотстал от боярского хода...

— Побойся Бога! — сказал он ему шепотом. — Ты с лицом веселым.

— Да ведь я не боярин, не дворецкий, даже не дворцовый. Нас не пускают и на выходы... — проговорил Косой.

— Пустое. Теперь время иное, теперь за уставом никто смотреть не станет. Плачь слезно и ступай за нами. Не спросят. Пойдем...

Косой стал печален, а в переходах у него в глазах заблестали и слезы; когда же вошли в сени той половины, где жил царевич, Косой плакал навзрыд и печалью своею обратил на себя общее внимание. В опочивальню царевича, кроме митрополита, Нифонта и немногих духовных лиц, никого не пустил Иван Максимов. Косой было толкнулся туда, представляя из себя отчаянного, но Максимов удержал его за руку...

— Перестань выть! Вперед старших не лезь, государь у сына.

— Мы тоже теряем родного! Нашу надежду! Господи, смилуйся. Ты бо един Господи, творяй чудеса!..

В то самое время, когда Косой, подняв руки

вверх, произносил эти слова, двери отворились, из предспальника вышел Иоанн, по правую его руку шел Зосима, по левую Патрикеев. Ни слезинки не было в очах Иоанна, но тем страшнее, ужаснее был вид растерзанного горестью отца. Вид и слова Косого заставили его остановиться. Как будто поверив этим словам, он оглянулся и посмотрел в опочивальню сына... Но тотчас же потряс головою и сказал тихо:

— Нет. Все уже кончено! Да будет Его святая воля!

В сенях Иоанн опять остановился и, вперив страшный, огненный взор в Зосиму, долго стоял недвижимый и безмолвный. Вздохи, стенания, восклицания, пред тем так громко раздававшиеся, смолкли; страх, подобострастие оковали всех, только один Косой хныкал, и то тихо. Иоанн с приметным усилием оторвал свой взгляд от Зосимы и посмотрел на Патрикеева...

— Это сын твой? — спросил Иоанн тихо. — Тот, о котором ты говорил мне в опочивальне сына?

Патрикеев преклонился.

— Быть ему дворецким при моей горькой вдовице.

— Брат, страшная весть добежала до нас... — с неприятворною печалью сказал Андрей Васильич, входя в сени...

Иоанн затрясся всем телом, глаза загорелись, как уголья. Андрей, смутясь, отступил... Губы Иоанна тряслись и что-то шептали, но что — того никто не мог разобрать... Жезл дрожал в руке, будто судорога корчила десницу, и мерно стучала жезлом об пол; бояре невольно преклонились, боясь видеть разрешение близкой грозы. Вдруг звон вечеревого новгородского колокола разостлался по сеням жалобным звуком, и на грозном лице Иоанна изобразилась печаль неисходная, безнадежная, без слез, правда, но выражение этого лица было само страдание... Величественная голова поникла, Иоанн пошатнулся. Андрей было бросился поддержать брата, но тот будто проснулся и сказал гневно:

— Назад! Ты позабыл, что я государь всея Руси и — твой! Зачем ты здесь без зову?.. На свое место, князь, на свое место! Оно не здесь!.. Патрикеев!..

Иоанн ушел в сопровождении только одного Патрикеева. Тишина превратилась в бурю, но опять утихла, когда между Косым и Андреем завязался крупный разговор...

— Не пущу! — кричал он, размахивая руками. — Без государева указа никого не пущу... Великий князь Иван Иванович теперь уже льстивых речей слушать не будет...

— Да ты-то кто, дерзкий клевет...

— Такой же князь русский, как и ты! Такой же подданный государев, как и ты! Потомок Ольгерда. Нам с тобою нечего долго считать-ся! Святители, бояре, воеводы, дворяне именитые, вы слышали волю государя. Я исполняю долг свой; прошу вас, удалитесь. Вас позовут указом к последнему целованию, а теперь царевне нужен покой, нам, слугам ее, простор и время...

Все спешили исполнить совет нового дворецкого, Андрей ушел почти последний, расспрашивая, кто этот Косой, потомок Ольгерда. Когда князь остался в сенях вдвоем с Максимовым, тогда только заметил, что последний не обращал никакого внимания на все, что происходило в сенях. И взоры, и мысли его

были в опочивальне Ивановой...

— Максимов! — сказал Косой с твердостью. — Я не люблю любопытных.

— Не люби себе, пожалуй. Мне какое дело...

— Видно, ты позабыл, что ты у меня под началом. Видишь, побледнел, не успел об этом и подумать. Правду сказать, и времени не было. Кто там остался еще в опочивальне?..

— Не знаю...

— А вот мы и сами увидим!..

— Не пуцу...

— Ты, видно, опять позабыл...

— Твоя правда, князь! Привычка...

— Отвыкнешь! — промолвил князь и пошел в опочивальню. Там стоял туман от ладана и пылавших свечей. Сквозь эту дымку в углу под образами виднелся обширный, низкий одр с шелковым пологом; на одре покоилось тело усопшего, до половины прикрытое шелковым покровом, отороченным соболями. Из-за полога едва пробивалось бледное зарево от нескольких лампад, теплившихся пред иконами. Одна большая свеча в серебряном неук-

люжем подсвечнике, стоявшем на полу у изголовья покойного, дрожащим красноватым светом освещала его лик, исполненный спокойствия и мужественной красоты, которой не успел исказить скоротечный недуг. Тихая, неземная улыбка осеняла уста, будто говорившие: «Не убивайтесь, не крушитесь... посмотрите, как мне хорошо, спокойно спать». Но сияющая на груди его большая икона, сильный запах ладана, смешанный с угаром от свечей; этот святитель в стороне у аналоя над Псалтырем, с длинной свечой в руке! Эта толпа рыдающих, молящихся с земными поклонами женщин... Все это говорило, что то не простой земной сон, а вечный... У ног покойного, на одре, полустояла на коленях Елена. Судорожно сжимала она в руках его похолодевшие руки. Она то припадала устами к его коленям, и в это время все тело ее содрогалось от истерических рыданий, то вдруг внезапно замолкала, быстро поднимала голову и пытливо, недоверчиво вглядывалась в безмятежное лицо недавнего страдальца, как бы силась уловить на нем малейшую искру жизни, какое-нибудь движение в устах, в глазах... В

каком-нибудь мускуле лица... Казалось, на несколько мгновений все жизненные силы ее превращались в одно созерцание... Потом снова раздавались раздирающие вопли, и голова падала на прежнее место... Спустя несколько минут Косой воротился из опочивальни, бережно, но настойчиво выпроваживая женщин. Все выли неистово, жаловались, что им и поплакать не дадут над своим господином, но князь не принял в уважение их пламенных доводов и приказал отправиться по местам.

— Ну, Максимов, княгиня пусть еще поплачет, от слез легчает горе, а ты, чай, устал, ступай себе спать.

— Мне... уйти?..

— Да уж, конечно, не мне! Нужно будет, позову, челядинцев тут немало. Ну, ступай же, говорят тебе!..

Максимов странно, бессмысленно смотрел на князя. Голова у него кружилась, он решительно не мог понять, что ему князь наказывает...

— Ну что же ты!

— Я, князь!.. Да я от этих дверей другой год

не отхожу...

— Где же ты спишь?

— Вот на этой скамье, князь! В предспальнике спит татарка, а я здесь...

— Но где же твое жилье?..

— Вот эта скамья, князь!

— Да надо же где ни есть переодеться, умыться...

— На то есть мужская теремная баня; утром проснешься, сбегаете, принарядишься и опять на службу...

— Как же ты успевал бывать у мистра Лео-на, у Курицына и у других?

— Я бывал только там, куда посылали, а нет посылки — я тут; а уйдут к государю — я могу и тут читать и думать...

— Читать! Что же ты читаешь?

Максимов молчал, князь опять спросил:

— Старые летописи, рассказы честных иноков?

Максимов молчал.

Вдруг за дверьми послышался крик Елены: «Максимов! Ваня!» И Максимов был уже в опочивальне, а князь стоял тихо в предспальнике и слушал их беседу.

— Ваня! — шептала Елена, заплаканная, с выражением страха и безумной радости. Впервые увидал ее Максимов простоволосою и в таком виде: заплаканные глаза, беспорядок в одежде, длинные волосы разбежались густыми прядями по тонкой прозрачной рубашке и по глазету душегреи, опущенной горностаями. Все это вместе придавало ей особенную, невиданную Максимовым прелесть. — Ваня! — шептала она. — Погляди! Я боюсь, чтобы не ошибиться! Ангел мой дышит, он еще не отлетел! Посмотри, Ваня, посмотри! Я не смею...

— И я не смею, государыня княгиня!

— Трус! Благо Альми тут! Альми, беги сюда!

Но Максимов уже стоял у постели царевича, приложив руку к его груди и с напряжением прислушиваясь, не дышит ли.

— Напрасно! Он там, на небесах... — сказал он тихо, безнадежно опуская голову.

— А что же ты мне говорил Ваня, будто душа до семи дней...

— Государыня! — И Максимов, приложив палец, значительно посмотрел на священни-

ка, стоявшего за аналоем и мерно читавшего Псалтырь, изредка покашливая...

Елена опомнилась и, отозвав Максимова подальше к самым дверям предспальника, поспешно, едва слышным голосом продолжала:

— Не ты ли мне говорил, что до семи дней для истинной мудрости и смерть не страшна. Вот она, свежая смерть... Где же твоя мудрость, Ваня? Воздвигни же моего друга, мою надежду, мое сокровище... Вороти мне мужа, вороти мне жизнь!..

— Государыня Елена Степановна! Не я ли говорил, что я верю и понимаю разумом дивную мудрость, но еще нов и неопытен, изучаю альфу, но до омеги — много лет биться надо; на Москве был один мудрец силы высшей, он один как рукой снял у царевича камчугу... Женился Андрей — камчуга воротилась и привела с собою смерть... Опасно играть сердцем...

— Мне снилось или нет? После отходной уже, когда его не стало, моего ангела, вошел Патрикеев... Нет, не снилось... Бедный отец! Он силился скрыть печаль, не смог и, увидав

Патрикеева, преклонил голову на плечо нашего друга. Да, да, я бросилась к нему. «Все кончено», — сказал отец... Я слышала вопль Патрикеева. Старик зарыдал и сквозь слезы промолвил тихо: «Так, видно, жиды изловили для страшной казни...» Так, так, это мистр Леон; мне тогда и на ум не пришло, что только один Леон может... Но еще не поздно!..

И царица выбежала из опочивальни... Она не обращала внимания на сумятицу в переходах. Как быстрая лань взбежала она наверх, в сенях нашла она Патрикеева, Софию под черной фатой, одиноко стоявшую у окошка, князя Пестрого, обоих Романовых, да у дверей, как обыкновенно, торчали Мамон и Ощера.

— Где государь родитель? — спросила она громко, но все, кроме Софии, подавали ей знаки, чтобы она замолчала. Патрикеев молча указал на дверь в образную: в глубокой тишине она могла расслышать, что в образной рыдает и... рыдает Иоанн. Елена схватилась обеими руками за сердце.

— О мой великий родитель! Еще есть средство!.. — воскликнула она и бросилась в об-

разную. Мамон было протянул руку, чтобы исполнить государев наказ, но угодливый Ощера оттолкнул Мамона и отворил дверь. Елена встала и не смела произнести слова. На ковре лежал ниц Иоанн; рыдания прерывали слова громкой, сердечной молитвы.

— Господи, Господи! — молился он. — Низыди, Боже, да омою грешными слезами десницу твоею, ею же казнил еси гордыню раба твоего!.. Смирил мя еси и наставил. Прогре-мел гром твой... обратил в прах силу и мудрость человеческую, каюсь, Господи! — И голова Иоанна снова упала на ковер, и потекли тихие слезы.

— Родитель! — трепещущим голосом произнесла Елена.

Иоанн поднял голову и с изумлением посмотрел на невестку... Он как будто устыдился своих слез...

— Что с тобой, бедное дитя мое? — проговорил он нежно и заботливо, поднимаясь с земли и подходя к Елене.

— Ах, государь, прости отчаянной вдовице, но мне показалось, будто есть надежда; кажется, Патрикеев говорил, что мистр Леон...

— В цепях, — перебил Иоанн.

— Он может...

Иоанн отступил от нее.

— Воскресить мертвого?! — воскликнул он с невыразимой горечью и отчаянием в голосе. — И кара Божия, постигшая мой дом, еще не образумила вас! Не потворством богопротивному соблазну смягчим гнев Божий... Нет, дочь моя!.. Патрикеев!..

Боярин вошел.

— Сжечь еретика Леона! — сказал государь голосом покойным, но суровым — и отвернулся.

Елена и Патрикеев вышли молча из образной.

# Часть II

## I

### СТЕПИ

**Т**ихий Дон, так верно прозванный седою стариною, немой свидетель множества кровавых дел между несчетными народами, молча катил свои величественные воды по стране совершенно дикой и пустынной. Густые рощи сменялись безлесными скалами меловыми, ослепительными для глаз, но грустными для мысли. Огромный целик, или пустырь, пространством превышавший Иоаннову державу, от берегов Оскола тянувшийся до Яика, Каспийского и Черного морей, вмещающая в себя северную сторону Кавказского хребта с предгорьями, служил кочевьем татарам разного рода и названия. Тихий Дон протекал по правому крылу пустыни, величественные воды его не омывали ни одного города, ни даже села на всем протяжении течения до венецианской топи, или, правильнее, турецкого Азова; власть итальянцев на Чер-

ном море была уже уничтожена пашами Магомета II. Несмотря на то, тот путь в Крым был самый безопасный; старый путь на курские города проходил мимо молодого гнезда запорожцев, которые смотрели на путешественников глазами своих соседей-татар — эти грабили по Осколу; а далее шла литовская граница, всегдашний притон изгнанников, изменников и бродяг; путь на Азов хотя и пролегал по Дону, в степях пустынных, но татары редко прикочевывали к реке, опасаясь московских и крымских засад, военных разъездов, от времени до времени посылаемых войсками рязанской Руси и рязанскими великими князьями. Рязанская Русь составляла часть державы Иоанновой, которая делилась на трети: Владимирскую, Новгородскую и Рязанскую; последняя, можно сказать, только именем принадлежала к Москве, в особенности окраина, или Украина, то есть земли пограничные, приписанные к Москве даже до впадения в Дон реки Воронеж и расположенные по правому берегу Дона, — эти земли служили временным пребыванием московским промышленникам, приходившим сюда за ры-

бой, пушным зверем, охотничьей птицей и медом...

Некоторые места по течению Дона и доньне сохранили высокую живописную прелесть, а в то время, когда секира дровосека вырубала дерево не ради прибыльного промысла, а в защиту от стужи или для постройки струга[21], Тихий Дон, с малыми исключениями, протекал между заветными рощами дубовыми, липовыми и другими. Одним из красивейших и живописнейших мест на верхнем Доне была Девичья балка, или яр, глубокий и широкий овраг, образованный быстрою безымянной речкою ниже впадения Сосны и несколько выше впадения Воронежа в Дон. Солнце уже клонилось к западу, в балке темнело, у самого устья балки Дон изгибался, образуя обширный залив. Медведь сидел на песчаном берегу и как будто любовался степью, безбрежно раскинутой по левую, луговую сторону реки; камыш по этой стороне торчал недвижно, но изредка в нем раздавался шелест, и голова длинношейей чипуры, или цапли, будто справлялась, все ли на Дону благополучно, и опять исчезала в камышах. К за-

ливу с одной стороны, по той же балке, бежала пара лосей, с другой, перепрыгивая через ручей, неся легко и красиво дикий козел, но волки, притаясь за валежником, чутко стерегли добычу. Долговязый лось набежал на засаду и быстрее ветра бросился к заливу, бух... и он уже на половине реки; вот он оглядывается на отсталого товарища. Густой лес покрывал оба плеча балки и тенистой рощей тянулся далече. Иногда на реку выбежит лисица, или высунется и опять спрячется расторопная выдра, или шаловливая белка, играя, испугает сонного кречета. В глубине балки через речку перекинулась земная плотина, построенная трудолюбивым семейством бобров, но жильцы давно разбрелись; сыскали ль другую удобную речку или вовсе перевелись, про то знают гости московские, посещающие уже третий год этот овраг исправно и прилежно. Вот и теперь на осьми стругах они тянут вверх бечевою; звери слышали гостей и разбежались, несмотря на то что гости, как будто условясь, хранили глубокое молчание. Достигнув балки, они осторожно ввели в залив свои струги, видно, не первая стоянка; на-

шлись давно вбитые колья, привязали к ним лодки, а сами вышли на берег; на старом пепелище, за углом скалы, развели огонь, так что с реки и видно не было, и принялись ужинать. На страже у лодок остался один молодой парень, он не спускал глаз с безбрежной степи; все же другие разместились вокруг огня, не снимая, однако же, вооружения.

— Эх, — сказал Сила Бобровник, — было знатное место, да провались медомцы, другой дороги не нашли, бобровое гнездо распугали. Вон теперь куда, на Ворону изволь ездить, того и гляди, татарва нагрянет...

— Волка бояться — в лес не ходить! — перебил седой Марко и ослабил пояс, на котором висела дорогая турецкая сабля. — Вы, ребяташки, птенцы бесперые, вам не то бобровую слободу, нет, бобровый город подай, да еще с пригородами; вам чтобы спать всласть, а впросонках сотню бобров одной рукой изловить, а где бобровый гон, где ногу помять надо, там уж вам и трудно, баловни этакие. А у нас бывало не так: знаем мы наверно, где бобры хозяйством завелись, знаем мы и те места, где их человек али зверь распугал, мы тех в

покое оставляем, а где можно, сами от дурного зверя стережем — пусть их плодятся, а мы давай одиночников гнать, мехов было вашего не меньше. Что в том толку, зеленое племя, что вы десяток бобровых плотин разорили по Вороне? Положим, детенышей не били, да ведь они и без вас пропадут. Спроси-ка у нашего брата, человека бывалого, — что вы! Кафтанишко-то с нашивкой казначей те на один поход дал займы, лучишка у тебя самодел, а пику за медную деньгу у цыганчонка в старых кузнях выменял; нечего сказать, промысловые люди. Вон, погляди на старого московского мехового подвозника: все жалованное за вольный труд, молодецкую службу. Кольчужина добрая, не одна стрела об нее измялась, — сам Василий Темный из своих рук пожаловал, а кривой татарский меч подарили Шемякины. Кафтанов с оторочкой, шапок не считать стать; что Глецкий, что рязанский великий, что верейский, а что Патрикеев да другие князья подарили, когда Марко им вольным ловом кланялся. Эх, знатное время было!

Марко снял шапку тяжелую и расчесал

пальцами длинные белые кудри, разгладил усы и бороду... и, упиваясь воспоминаниями, продолжал:

— Бывало, найдешь рыбное место — твое! Наткнешься на семью бобров — твоя! Заведет ли глупый медведь на лесные борты — только убирай, все твое. Кто смелей да смысленей, тот и хозяин до самой Вороны. Бывало, сам-четверт ходили мы с отцом, раз до Золотого угла дошли, где юрт Батыев стоит; никому ни мыта, ни ответа, лов кому захочешь, тому и продашь, а теперь?..

Марко покрутил белый ус и нахмурился.

— Ну что теперь, Марко! Разве не лучше? — спросил Ефрем Сокольников. — Десятый бобер твой, двадцатая лисица твоя, с пуда рыбы восемь гривенок твои, с пуда меду, с пуда воску — те же восемь гривенок, зато и струг, и лук, и копье, и харчи казенные. Знаешь по малости, чей хлеб ешь, кому кланяешься. И у меня отец на промысле жил и живот положил. Помним мы старую неладицу. Иструдишься всю весну да лето, с татарвой переведаешься не без изъяну и утраты, пойдешь сам-шест, домой тянешь сам-друг — че-

тырех в Тихом похоронишь, пусть лучше рыба, а не татарва проклятая честными телесами потешается; тянешь домой, лямой плечи оторвешь. Дотащил груз до Сосны, стой, плати мыто князю елецкому, да приставу взятку подай, да на семи верстах семь застав: где Московская, где Рязанская — везде мыто подай, да на татарщину тамгу заплати — словно липку обдерут: нечего сказать, вольный промысел. Знать, Марко, тебе шестой десяток исходит, так старина люба, потому что та старина твоя молодость; а посмотри прилежно, сам скажешь, что теперь порядок — отцовского не надо, до Вороны плывешь — ни одной заставы. Правда, мы уже не на вольный промысел ходим — на государя промышляем, да зато московский тиун, али сотский, тамгу на товар набьет да ярлык даст, и кончено. Ни одно рязанское чучело не смеет рта разинуть. Татарва не страшна, потому что сам-шест на промыслы не пустят, да и по степи обон полреки ходят московские досмотры: татарву ищут, своих берегут. Опасу меньше, а барыша больше и честней; казначеи рассчитывают, что тебе мехом али воском или медом при-

читется, в казну повольно берут, деньгой платят: только рыбу на торг свезешь да купцам сдашь, и на то указная плата. Нет, брат Марко, теперь Дон Иваныч добрый дедушка, а помяни, прежде его воровским величали. Стал порядок, какого на Руси не бывало. Вот уже третий год мы тут на государя промышляем, а ни одного татарина в глаза в Девичьем яре не видели, да и до самой Вороны, где и увидят наш струг, снимают кибитки да в степь, давай бог ноги. И то себе, Марко, на память заруби: давно ли ходили на промысел зря, что кто достанет.

Теперь не то: меховой подвозник — так пушного зверя и высматривает; рыболов — так уж рыбу и стережет, а ястребий подвозник или медовый — так и знает своего кречета, сокола али медвежий след блюдет. Нет, Марко, казначейский порядок не то что старый холопский; что за лодки ходили по Тихому в старину? Лишний камышик — и потонула; а теперь струги великокняжеские: и проторно, и всякую кладь поднимают, и татарва от них сторонит, и один струг не ходит, а сотня добрых людей за иной полк постоит. Ска-

жи, Марко, заправду, когда то было на вольном промысле, чтобы торговые люди по-нашему в Девичьем, будто в Московской земле, ночевали без опасу?..

— А что? — спросил молодой бобровник Сила. — Разве прежде в Девичьем было неладно?

— Спроси у Марка, — отвечал, улыбаясь, Ефрем. — Ему этот яр памятен!..

— Пусть и памятен, — сказал Марко уныло. — Да по крайности на все своя воля была, весело, привольно было на Тихом Дону; правда, татарва некрещеная шалила, да зато же и мы на нее, что на пушного зверя, охотились.

— Хороша охота! Удалось на перевозе дюжину отсталых утопить; Марко, Марко, тебе ли толковать, что сотня этой погани одного крещеного не стоит... Упряма ты, Марко, застарел в норове; пусть и давно, а все никого иного, жену и двух дочерей стащили.

— Как! Жену? Дочерей? — вскрикнула молодежь.

— Ну, стащили так стащили! — сказал Марко сердито. — Что за невидаль; меня с сыновьями дома не было, набежали ордою на

волость, мужской пол был на промысле; бабье долго держалось, немало орды извело, да сила взяла — стащили, окаянные, всех. Мы уже назад с богатым ловом шли; поравнялись с яром, глядим: татарва на привале пленниц делит. Тут их обычный притон: что нагрябят, а пуще женщин, тут и делят, оттого яру и кличка такая. Нам и не снилось, что тут с нашей волости добыча, да сын Андрей сестру Анну опознал.

— Ну, и что ж?

— Поплакали, потужили да и потянули левым берегом. Благо сами ушли...

Общий хохот покрыл Марко. Он с удивлением осматривался.

— Что же тут смешного? — спросил он.

— Знатное время было! Твоя правда!.. Весело было на вольный промысел ходить, когда в своей избе жена да сестры для татар пироги пекли. Эх, Марко, Марко. А теперь московский струг до самой Вороны по своей воде идет, а оттоль по татарскому Дону плывет себе, будто лебедь, знай белым парусом помахивает; хан со всей ордой с берегу поглядывает да облизывается, золотым рукавом утирается;

только окликнут для порядка: «Чьи тако-  
вы?» — «Московские!» В гости просят — пуш-  
ного зверя, кречетов нанесут. Я сам ездил к  
крымскому царю с московскими дарами. Кре-  
четов да ученых соколов ему возили. Видел я  
орду не во сне — будто своих старших прини-  
мали, а вспомни, Марко, ведь на моей еще па-  
мяти, да и за нынешнего великого князя, не  
то что простых жен, княжон с городов воровали,  
в этом яру делили. На походе я от татар от  
самых слышал, будто у Муртозина, у одного  
боярина, по-ихнему у мурзы, в женах есть  
княжна русская; несет, бедная, рабскую служ-  
бу вровень с другими женами, а те из про-  
стых черкешенок, тоже наворованы...

Пронзительный свист с реки прервал  
ужин и беседу. Промысловый народ схватил-  
ся за оружие и высыпал на берег.

— Что там? — спросил Ефим Сокольни-  
чий. — Мой парень настороже, видно, что ни  
есть слышал.

— Чипуру в камышах...

— Али карася в плесе.

Так шутила молодежь, подходя к ладьям.  
Сторожевой указал рукой вверх по реке, все

стали прислушиваться.

— Хороши караси! Много весел шумит, ходко идут — и недалече. Надо быть, царский разъезд али купецкий обоз. Струг не один, весла перекликаются...

Ефим не ошибся: по реке скоро зачернел струг, за ним другой, третий, целая вереница судов и плотов.

— Эко диво! Уж не полки ли идут Крым воевать: для ратной силы мало, для разъезда много. Видно, посольство...

Тут Ефрем не ошибся. Передовой струг подошел к заливу. На нем было немало ратных людей: пристав коломенский, рязанский, тун великокняжеский, проводники и татарин.

— Девичий яр! — закричал проводник...

— Девичий яр, — пробежало по всем судам. Весла на передовом струге поднялись и, неподвижные, чернели будто зубья...

— Причаливай! — раздалось далече, повторилось на всех судах, и передовой струг повернул в залив.

— Чтоб им добра не было, — проворчал Марко. — Даром пропала ноченька, рыбу распугают, зверь разбежится, да еще прислужи-

вай боярским слугам да самим боярам товаром изволь кланяться...

— Эх, Марко, Марко, — перебил с усмешкой Ефрем Сокольничий, — опять забыл, что теперь не вольный промысел; будь брат великокняжеский, будь первый боярин, воевода ли московский, перышка не возьмет без росписи. Да гляди, Марко, кажется, тут и тиун елецкий...

Ефрем опять-таки не ошибся. С передового струга сошли все путники, поднялась суматоха: кто выбирал место для вечерней трапезы, кто для корма лошадям; одни собирали сухой валежник, другие несли шатры, те для них вбивали колья. С необычною быстротою на высоких шестах в разных местах зажглись смоляные свечки и висячие плошки; пустынный яр превратился в живую, открытую и великолепную храмину. Весь берег залива был покрыт людьми, с плотов свели лошадей, их было всего шесть. Прочих запродали в Коломне, но купцы должны были следовать за покупкою до урочища Гур-Михайлова, где на заблаговременно приготовленные струги село посольство, походная дружина, и нагрузи-

ли обоз на широкие плоскодонные барки и плоты. Тут уже не было отдельных обозов, только один посольский; даже присутствие в посольстве греков сохранялось в великой тайне; посольство вступало в степи, которые, как мы видели, только числились под державой Иоанна, а далее тянулись враждебные страны. Когда в Девичьем яру раскинули палатку, устлали коврами, с главного посольского струга по красивому мостку с перильцем сошли послы. Царские промысловые люди разместились вдоль дороги, по которой должны были проходить послы. Марко стоял возле Ефрема и беспрестанно ворчал.

— Это кто? — спросил Марко, увидав послов.

— Вестимо кто, московские большие бояре, люди сановные; видишь, один стар порядком, да и другой не молод.

— А это кто?

— Ну, это, видно, посольские сыновья; тот, что повыше — молодец собой, да и другой-то словно красная девушка...

— А эти кто?

— Посольский причет! Знатное посоль-

ство. Много народу, да и дружина с ними, значит, за важным делом...

Ефрем замолк, потому что причет остановился не доводя до шатра, к ним подошли тиун и пристава.

— Господа дворяне! — сказал тиун. — Доложите послам великим, что приставам отселе ехать обратно указано, так я их на мой струг возьму...

— Возьми их себе, — сказал Холмский, выходя из шатра. — А вот им за труды по золотому, а тебе, тиуну, ползолотого, а другую половину раздай гребцам твоим. Спасибо, добрые люди! Вы бы с нашими людьми поужинали, и тогда в путь.

— Милости твоей княжей благодарствуем!

— Слышь, Марко, этот княжий сын... — шепнул Ефрем.

— Да мы на струге путем-дорогой закусим, назад-то на веслах не везде пойдешь, а бечевой долго, так отпусти, милостивец...

— Ну, с Богом!..

В это время Клиим Борзой, десятник, который доставил в Москву мистра Леона, подошел к князю и сказал тихо:

— Князь Василий Данилыч! Надо слово на ушко тебе молвить...

— Ну, что там?

— Вели и проводника-татарина убрать назад в Елец...

— А что?

— Много знать хочет, все допытывается. Наши не проболтаются, своего князя и господина не выдадут. Рязанскую походную дружину, коли твоя княжая милость изволил заметить, я на трех стругах особняком держу; мои боярские дети на трех стругах очередуются, и до них тайна не дойдет, а татарин то и дело на причалах шныряет да выпрашивает. Греки со страху промолчат, да за чаркой проболтаются. А что до языка, так рязанские проводники по-татарски знают. Мы одного татаринном оденем, он и будет ханские ярлыки показывать. А татарва — трусы, когда много ратных людей, только кланяются, не допрашивают. Я сам по-татарски горазд, велишь, я сам за татарина стану.

— Это будет, любезный Клим, лучше, а те, пожалуй, еще ярлыки ханские растеряют. Только гляди, татарин ярлыков не отдаст.

— Мое дело; только ты шепни тиуну, что я, государь, все с твоей воли делаю. Проклятый нехристь уже и то речь заводил, что у одного посла под охабнем юбка...

— Ого! Так задело, Климушка! Тиун!

Князь что-то шепнул тиуну, и тот с приставами откланялся и пошел к стругу. Князь не спускал глаз с Клим, который, сказав несколько слов своим детям, отвел татарина в сторону... Разговор их продолжался недолго, как вдруг татарин завопил: «Отдай! Не шали ханским добром!» Не тут-то было; Клим бежал к стругу, куда тиун, пристава и прислуга уже поместились. Клим остановился у доски, перекинутой с лодки на берег; татарин протянул уже к нему руки, но в это самое мгновение боярские дети схватили его сзади, спутали веревкой ноги и руки и перекинули в тиунскую лодку...

— Отчаливай! — крикнул Клим Борзой. — Три дня его не развязывать, а по четвертому пустите! А за что, про то дано будет знать воеводе! С Богом!

И Клим уперся в струг обеими руками и сдвинул его в воду. Татарин кричал что было

силы, но бечева потянула, песня гребцов грянула и долго еще слышалась в пустыне...

На крик татарина из шатра выскочил тот, другой, юноша, которого Ефрем назвал по-сольским сыном.

— Что случилось? — спросил юноша.

— Борис! — отвечал сухо Холмский, взяв юношу за руку. — Ты не исполняешь отцовского завета! Ступай в шатер, там твое место!..

— Видно, что старший! — заметил Ефрем, когда Вася увел Борю. — Так и распоряжается! Как его зовут, господа милостивцы?

— Холмский! — отвечал сухо Кулешин.

— Слышал, батюшка, про такой город, да сказывали, что там давно князей нет. Новгородская вотчина...

— Теперь опять есть...

— Так, батюшка милостивец, так! А другой-то, видно, меньшей братец...

— Меньшой!

— Так, батюшка, так, а который же из стариков отец?

— Оба!

— Так, батюшка, так, только я в толк не

ВОЗЬМУ...

— Один одному отец, а другой другому...

— Вот что, так и братцы-то неродные...

— Двоюродные!

— Слава тебе Господи! Теперь все понятно.

Милости твоей кланяюсь. Научил и наставил!

Ефрем еще долго расспрашивал Кулешина, тот тешился ответами. Между тем поспел ужин; дворян позвали в палатку. К утру откушали, а некоторые и отдохнули; солнце еще не поднялось, а все уже было готово к отъезду. Клим Борзой, переодетый татарин, распоряжался весьма ловко и расторопно; он тронулся на передовом струге, за ним один струг с дружиной, потом посольский под скромным полотняным шатром. Несмотря на свою обширность, тут помещалось только четыре спутника: Андрей Палеолог, покойно спавший на ковре, Никитин, также дремавший, Вася и Боря... Вы, конечно, догадались уже, кто этот Боря. Не только на этом струге, но и на других между посольской челядью не стало женщин, все перерядились по совету Анны Васильевны, великой княгини рязанской, в мужское платье, для всех пригото-

но было и легкое или, лучше сказать, поддельное вооружение, но, по наказу княгини, женщинам вооружаться до Вороны не было никакой надобности, ибо уже более трех лет выше этой реки не показывались Муртозины разъезды. Зоя была в красивом охабне, поверх которого надевала дорогую шубу, дар Иоанна, весьма пригодный в конце августа и притом во время путешествия по реке. На голове Зои красовалась дорогая кунья шапка. И в этом наряде Зоя была прекрасна, еще прекраснее, потому что, скрывая пол пред дружиной и гребцами, она могла, должна была непрерывно быть вместе с своим любимым братцем. В несколько дней все привыкли называть ее князем Борисом Васильевичем, только Андрей да Вася, по условию, называли ее Борей... Ей и на струге было особенное помещение, отделенное коврами, но она почти постоянно сидела возле Васи и... таково влияние привычки, ему было не скучно. Правда, дума тяжкая, дума черная налетала саранчой на его душу, но Боря умел быстро разгонять братнину тоску.

— Погляди, как дружно эта пара лебедей

плавает по чистому лицу реки. Смотри, куда повернется одна головка, туда и другая; кто научил их, Вася, любви? Видно, в этой науке не нужен учитель...

И Вася с чувством смотрел на милого, поистине милого брата...

— О! Как страшно! Глаза слепнут; посмотри, Вася, как эти белые глыбы грустно тянутся на полдень. Погляди, как река стала узка, будто похудела от тоски, протекая по холодным ребрам этих бесчувственных скал. А как была роскошна, и так недавно! Вася, Вася! Не добьется эта река ответного вздоха от этого мелового пустыря... Иссохнет, бедная на этой груди, покрытой каменным саваном. Так и с людьми бывает.

И слеза досадная взбегала на блестящие глаза, и Васе становилось жаль Зои...

— Что это вдруг потемнело! Боже мой, погляди, это какие-то птицы...

— Это гуси тянут домой, предчувствуя зиму. Мне говорили, но я не верил, что они летят в таком множестве... Никитин рассказывал, что у Азова их еще больше; когда они летят такой тучей, татары начинают кричать,

стучать в котлы и во что попало; и, представь себе, Боря, глупая птица до того пугается, что сотнями падает наземь.

— Глупая! За что! За то, что хитрость человека угадала их слабости. О! Отчего же эта хитрость не может сладить со своими слабостями? И мы не умнее гусей...

И конца не было их разговорам, потому что не было конца новым предметам, впервые попадавшимися на глаза и Зое, и Васе. Когда Никитин не спал, любил объяснять, и все любили его слушать; на причалах, обедах, ужинах витийствовал Андрей, и послы по его милости много бы потеряли времени напрасно, если бы Клим Борзой вовремя не снимал шатра, когда собеседники еще сидели за трапезой, и не уносил кувшинов с вином на польский струг. День за днем посольство подвигалось далее и далее; давно уже миновали они Ворону и вооружились, но и на Битюге, и на Хопре — нигде не удалось им встретить ни одного татарского кочевья. Уже давно миновав Медведицу, в одно утро заметили они на берегу Дона табун лошадей; дикие кони, завидев пловцов, сбились в кучу, и все лошади-

ные головы вытянулись в направлении к каравану, все уши у них наострились одинаково, несколько татар верхами подражали лошадям. Вдруг весь табун, будто условясь, вместе с сторожами, прынул, земля застонала, облака пыли встали, улеглись, перед путешественниками лежала плоская, ровная степь, никакого признака обитаемости. Миновав Ворону, Клим Борзой со своим стругом держался так близко от песков, что можно было разговаривать.

— Что это, Дука, — так в шутку Палеолог называл Клима, — когда же мы причалим к берегу? Видишь, на тысячу миль никого нет...

— А куда же табун девался? Нет, теперь держи ухо востро, теперь уже до моря не будет стоянки... Татарва близко, в десяти милях от нас. Хорошо, если Муртозина, эти в ярлыках толк знают, а если Иваковы ноги, так показывай не показывай, все равно не отстанут, пока из пищалей острастки не дашь...

— На ярлыки нечего много надеяться, — заметил Никитин.

— Нет, государь боярин! Наш проводник имел и Муртозины, и Гиреевы ярлыки. Те-

перь Муртоза что-то у Москвы выманивает, так в Елецкий стан и на Цну своих проводников посылает, и ярлыков вдоволь, а если есть ярлык, не зацепят. Лишь бы не ноги. Это щу-чьей породы люд, поганый; насолили они; посла-м их даже Мордовскою землею на Москву ездить не указано, а на Казань — пускай свою братью щиплют... Вот моя правда, вот и тыся-ча миль...

— А что? — спросил опасно Палеолог.

— Видишь, пыль далече, далече...

— Вижу дымок.

— Вон другой, третий...

— Ну, так что ж!

— Тот табун, что мы видели, уже подал весть другим, все снимутся; час-два, и Муртоза будет знать, что мы едем...

— Разве мы так близко от Мамаева юр-та? — спросил Никитин.

— То-то и беда, что придется проходить но-чью... — И Клим Борзой почесался.

Перед вечером, благодаря усердию греб-цов, миновали реку Иловль, и взорам путеше-ственников представилась новая, великолеп-ная картина. Степь, сколько ее мог объять са-

мый зоркий глаз, была покрыта татарами, табунами и скотом; кибитки тянулись улицами в разных направлениях, но то еще не был царский стан. Муртоза подражал своим предшественникам и держался в улусах, расположенных почти на самой середине пространства между нынешнею Качалинскою станицею и посадом Дубовкою. До сей поры между тамошними жителями сохранилось прозвание Юрт Мамаев или Мамаева ставка, тут был и огромный базар, на коем торговали татарские купцы. Русские и астраханские перестали ездить, первые не всегда были безопасны даже на месте, а последние боялись Иваковых ногаев, кочевавших по ту сторону Волги. Муртоза употребил все усилия восстановить торговлю и для того устроил две таможни: одна была на Волге в дубовском овраге, другая — на острове, образуемом Доном против самого того места, где ныне расположена Качалинская станица. Клим Борзой, зная нравы и лукавство татар, повернул в левый рукав между островом и левым берегом. Пригорок покрылся любопытными обою пола, но женщин вообще было очень мало; поднялся

ужасный гам. Мальчишки бегали по песку и даже по воде, предлагая путешественникам, кто деревянный с крышкой сосуд кумыса, кто мешок толокна, битых гусей и дров... Но вдруг все утихло, толпа раздвинулась улицей, по которой проскакало около тысячи опрятно одетых всадников, а за ними появились еще три всадника, одетые богато, на лошадях лучшей породы, украшенных побрякушками с восточною роскошью; то был Едигей, сын Ахмата и брат Муртозы, с двумя мурзами, сродниками хана.

— К нам послы, что ли? — спросил Едигей по-татарски.

Клим Борзой был в большом затруднении, он поглядывал на посольский струг, но, не получая наставления, поспешил с ответом.

— Ко всему татарству, проживающему по реке и морю, до самого турецкого салтана. В что мы с ведома самого хана едем, вот тебе ярлык царя бесерменского, великого Муртозы, Золотой Орды повелителя...

— Покажи ярлык!

Один из переводчиков соскочил с струга в воду, потому что багры убеждали в мелково-

дье берега, и, кланяясь, поднес ярлык Едигею.

— Нам! — сказал Едигей. — И не простой купеческий, а посольский. Доложи послам, что кони готовы; мы проводим их боярскую и княжью степенность до ханского дворца.

— Посол болен и просит твою милость на струг посольский, — закричал Клим Борзой, получивший уже обстоятельный наказ. Едигей слез с лошади, трап с перильцем перекинули на берег, и он взошел на струг с двумя мурзами...

— Кто ты? — спросил Никитин по-татарски, лежа на коврах и корча больного. Тот назвал себя.

— Прости, князь, — так величал Никитин Едигея, — что принимаю тебя запросто. У меня к царю твоему особого наказа нет, потому что слышали, будто из Казани ваше посольство на Москву едет.

— Конечно, мы послали к Ивану. Как он смел Казань взять?! Там владычествовал наш старый присяжник, а он его взял на Москву; говорят, будто в цепях повезли. Того еще не бывало. Зачем держит дружбу с турецким данником, непокорным рабом нашим и под-

лым злодеем, собакой перекопской? Законный владыка там Нордоулат, а Иван и его на Москве в плену хранит и к нам не отпускает, а мы его на царство поставим. И про то мы к Ивану писали. А он-то что?

— Ждет вашего посольства, а к воеводе в Казань написал, чтобы сорок тысяч ратников на мордовскую Украину против вас послал, буде посольство не пойдет на лад...

— Сорок тысяч! Сорок тысяч! — Едигей вскочил с полу, на котором было уселся. — Так война!

— Зачем война! Осторожность! Вот, князь, я тебе высказал, что знаю, и благо другие по-вашему не понимают, про войско мне и говорить не следовало. Но я Муртозу знаю, когда он в Крыму пленником был, и уважаю. Лучше ему знать про грозу и вести себя смирно...

— Пусть Иван нам поможет противу перекопского гада, мы от Польши откажемся.

— Великий царь всей Руси ни вас, ни Польши не боится. Страх — саранча, пролетела, а если воротится, так на вас. Великий государь войны не любит, но казнит того, кто начинает. Примеров довольно. Многие и тебе извест-

НЫ.

— Если вы не к нам, — перебил Едигей, — так к кому же?

— К царю перекопскому, к султану турецкому и к другим великим государям...

— Значит, казны с собой немало везете.

— Сколько нужно. Хотя дары вам пришлют с вашим посольством, но ты у меня гость, и я без подарка тебя не отпущу. Прими не от государя, а от меня постав сукна ипрского, а для мурз твоих второй посол два постава фрелинского сукна жалует... Казначей!

И Никитин распорядился.

— Ах, какие они страшные, — шептал Боря Васе, — мороз по всему телу пробегает, когда подумаю, что если попасть в плен к таким чудовищам.

— Теперь я рад, Боря, что ты опустил забрало, но зачем во весь путь ты скрываешь лицо свое под этим бумажным железом?

— Тебе-то что за потеря! Когда лицо мое закрыто, ты думаешь, что я рыцарь, — и как-то веселее, разговорчивее... Нет, Вася, не хочу лгать. Днем я не могу смотреть на тебя сколько душе угодно: могут подметить, а под забра-

лом сижу себе где хочу, разговариваю с кем угодно, а глаз с тебя не спускаю... О, как мне больно, когда подумаю, что этот путь, опасный, трудный, утомительный, скоро кончится. Что ожидает меня?..

— Путь безопасный, спокойный на фряжском большом струге к господарю волошскому, страны людные, наукой озаренные...

— Вася, Вася! Эта дикая, страшная пустыня для меня полна жизни и счастья... За рубежом ее меня ждет пустыня сердечная.

Зоя забылась, хотела отереть слезу, но рука ударилась в забрало, легкий шлем свалился, и Едигей впился в Зою жадными взорами... Палеолог смутился, встал и загородил Зою, это еще более возбудило подозрение сластолюбивого татарина... Но он не дал ничего заметить, простился с Никитиным, уверил его, что достаточно Муртозина ярлыка, а в проводниках нет никакой надобности. Таможня также не беспокоила посольства; струги снялись и всю ночь продолжали путь благополучно, хотя более тридцати верст тянулись кочевья татар. К берегу часто подбегали дети, иногда и взрослые, но, бессмысленно погла-

зев на струги, бегом возвращались к кибиткам, с криком размахивая руками. Скоро исчезли и последние признаки жилья человеческого. Да и окрестности Дона выше и ниже речки Голубой были не заманчивы: опять меловые горы, опять безлесные пустыри; но, приближаясь к устью Чира, природа изменилась: правый берег подымался все более и более, красивые рощи, глубокие овраги, рассекаемые живописными речками, свидетельствовали о превосходных качествах края...

Столько дней не выходя из лодок, Палеолог соскучился. Да и все требовали хоть однодневного отдыха. Природа тому благоприятствовала. Клим спорил, но должен был уступить, потому что Вася согласился исполнить общее желание. Выбрали на правом берегу удобную балку, причалили, расположились на сутки; лошади долго не могли держаться на ногах от качки. Вечерело. Вася расставил сам на высотах и у берега стражу и, любуясь вечером, гулял с Климом по окрестным холмам. Не раз он засматривался на задонскую степь, которая зелено-желтым ковром растянулась по левой луговой стороне реки.

— Господи Иисусе Христе! — сказал Клим. — Подумаешь, куда это Божия да государева воля ратного человека заводит. Поглядишь, конец света, тут даже зверя не видать. Крым-то уже близко, как-то мы из Крыма воротимся?

— Бог милостив!..

— Бог-то милостив, да татаре лукавы. Боюсь, как пойдут рязанцы домой бечевою, чтобы их Муртозины люди не перебили; надо было мне татарина отослать не в Елец, а на дно донское. Пес этот даст знать в Орду. Я-то с боярскими детьми, по милости князя Ивана Юрьича, за тобой приписан, а дружина от границ Перекопской орды должна со всеми стругами домой воротиться. Ну, да люди русские, пусть и рязанцы, да бывалые, смекнут, как им быть... Это что?..

— Что ты видишь?

— Погляди за Дон! Видишь, меньше зайца, меньше кошки, что-то белеет...

— Путник!

— Гонец! Видишь, как летит, и один... Батюшки светы, белоголовая! Что за невидаль! Баба гонцом в этих местах, гляди, гляди, сюда

норовит... Прямо к реке; что она, рехнулась, что ли? Ах ты баба-богатырь, вплавь через Дон! Наше место свято, уж не ведьма ли? Пойдем, князь! Стой, не то подстрелю...

Женщина в одежде полутатарской, полурусской плыла через Дон прямо к балке и крестилась...

— Что за диво, русская, православная!

— Кто, откуда? — кричали стражники.

Добрый конь доплыл, женщина в ужасе оглядывалась, но, ступив на берег, упала с лошади и едва-едва успела проговорить:

— Спасайтесь! Едигеев улус...

Чувства изменили измученной женщине. Пока челядь хлопотала о неожиданной вестнице, Клим начал сердиться...

— Говорил же я, нельзя причаливать, толковал, что племя это лукаво, вот на мое и вышло...

— Полно ворчать, Клим! Надо скорее укладываться...

— Укладываться? Чтобы нас всех с берега, будто куропаток, перестреляли. Нет, не так, князь Василий Данилыч. Черт их знает, много ли? Если один Едигеев улус, так сможем,

только меня слушаться...

— Очнулась, очнулась!..

— Не надолго! Езда меня измучила! Братья, никто из вас не узнает во мне княжны Прасковьи Ливенской... Пятнадцать лет в плену, кто меня вспомнит... Была женой мурзы, да Едигею полюбилась, он меня у мурзы отнял: холил меня три года, а недавно под вечер, как от вас воротился, выгнал меня: «Пошла вон, баба! Не таких я видел у послов московских и достану себе и послову казну, и послову дочку. Вон!» Я пошла пригорюнясь. Все же лучше было жить у царевича, чем у простого нечистого татарина; гляжу, по всему нашему улусу суета. «Куда?» — спрашиваю. «Да царевичу надоело, хочет покочевать на низах, на крымцев поохотиться!» Вот что, подумала я и смекнула; да благо ночь стала, я в табун, гляжу — этот конь ко мне ластится, я прыг на него, за гриву, повернула и понеслась вниз по Дону.

— А много ли у него в улусе?

— В погоню со всеми не пойдет — больше трех-четырёх сотен погонщиков не наберется...

— Слушай! — повелительно закричал

Клим. — Дети, сюда! Рязанцы, сюда, челядь, мужской пол — всех сюда!

И Клим разделил дружину на три части: одна засела в кустах, в верховье балки, другая — в овражке пониже, третья, состоявшая из прислуги, с послами и женщинами, ушла в глубь балки, тут же были и лошади. Струги с казной и припасами перевел Клим к другому берегу и спрятал в высоких тростниках, так что и видно, не было. Вася порывался идти с Климом в засаду, но, к удивлению, у Клима стал воеводский голос, воеводская воля.

— Нельзя, не хочу! — и все повиновалось. В балке зажег он смоляные свечки, будто все в безопасности отдыхали. Шатер осветил изнутри да двоим служкам приказал ходить из шатра в угол балки и обратно, будто вино и яства носят. Все отправились по местам. Клим не перестал бы распоряжаться, придумал бы еще какую хитрость, да вдруг перед самым носом его зашумело что-то, и огромная дрофа обожгла об огонь крылья и упала наземь...

— Эге, близко! — сказал Клим и полез в мелкий кустарник, покрывавший плечи бал-

ки. Он видел, как стая куропаток с шумом налетела на огонь, за ней другая, третья; будто птичник, закипела балка испуганною дичью...

— Ну, немало же их, — сказал Клим и осторожно испытал исправность своего свистка. Вдруг за Доном топот. Мгновение... по Дону плеск от пловцов, и орда нагрянула с криком страшным. Их было несколько сотен, но в балке они разделились; одни спешили и бросились к пустым стругам, другие тоже спешили и напали на пустой шатер. Едигей был впереди...

— Нет? Ушли! — кричал он неистово. — Искать!..

— Здесь, — отвечал кто-то из кустарников по-татарски, и раздался свисток. Завизжали стрелы, полетели камни. Татары валились, Едигей бросился в кусты — туча стрел ему навстречу, и вслед за нею, как тени, из всех углов балки выступили ратники; мало того, в устье балки из земли вырос такой же строй ратников! Татарва смутилась; те, что шарили в ладьях, видя, что лошади их в плену и загнаны в балку, бросились бежать, растеряв

стрелы по дороге; те, что в балке, решились уходить вглубь и оттуда уже выбраться на скалы, но там встретила их новая дружина — челядь под начальством Васи. Пошла свалка, рукопашный бой, юный князь вскочил на татарского коня. В нем заговорило львиное сердце, и меч его сверкал смертью. И получаса не продолжалось сражение. Дон был покрыт пловцами или, лучше сказать, тонущими. Вася с Климом, положив на месте немало татар, погнались за Едигеем, который успел вскочить на коня и ускакать влево. Видя, что погоня слишком близка, он свернул в Дон и пустился вплавь; Вася хотел преследовать, но Клим удержал его.

— Нет, князь-богатырь! Вода не твердь земная. Тут водяные черти своему брату помогут. Пусть его воротится в улус с этим подарком.

И стрела загудела и впиалась в плечо Едигеево. Несмотря на то, татарин перебрался на ту сторону, где его ожидали товарищи, и с ними вместе исчез во мраке.

— Что, татарва проклятая! Что, взяла? Вместо жены, что из дому вытолкал, унес стрелу каленую, а все-таки чудно: ведь их было боль-

ше пяти сотен; молодцы рязанцы, смекать стали под руном московским; мы их всегда на прицел ставили, свистнет стрела, они сейчас бежать. А сегодня? А? А уж ты, государь князь Василь Данилович, мы тебя за твой норов полюбили да за славное имя, а ты нас, старых воинов, за пояс заткнул. Молодой меч, а сегодня состарился, больше двадцати смертей на него легло. Ну, Едигей Ахматович, будешь помнить русский прием, да еще Муртоза узнает, вздует; даром что брат, в колодки за разбой засадит. Важно, черт возьми, как важно... Это кто еще...

— Боже мой, Боже! — прошептал Вася. — Это она, Клим.

— То есть Борис наш! Из-за него все зло, ну, да нельзя же добру молодцу, как ты, и женской прелестью не потешиться.

— Что такое, Клим?..

— Так, ничего... Не я один — все говорят...

— Клим! Ступай в яр да порядок устрой, а я устал, шажком подъеду.

— Давно бы ты своему Климу исповедался. Ну-тко, моя пленница, тащи своего нового господина, катать-валяй!

Клим ускакал, его сменила Зоя, она скакала на доброй и послушной татарской лошади. Заслышав голос Васи, она остановилась и сошла с коня. Вася сделал то же.

— Зоя, ну можно ли, скажи сама?

— Упрекай меня сколько хочешь, но я не заслуживаю твоих упреков. Разве за то, что я безумно люблю тебя... О! Как я счастлива!

И Зоя, сняв шлем, встала на колени и, подняв руки к небу, горячо молилась. Вася был тронут...

— О чем, Зоя, твоя молитва?

— Твоя рука богатырская отразила врага сильного и страшного. Что случилось бы с нами, если бы тебя не было... если бы Всемилосердный не охранил тебя от вражьих стрел и мечей своею непроницаемою броней. И нам не благодарить за тебя Бога! Мне было страшно, Вася, и сладостно видеть твои подвиги, но когда ты погнался за этим разбойником, я обмерла, он бы и без того ушел, а ты мог наткнуться на засаду. Эта мысль обожгла меня; сама не понимая, что делаю, я сорвала этот меч с убитого татарина, вскочила на первого коня... Слава Господу, стократ слава Ему, ты,

кажется, даже не оцарапан... Все чувства мои слились в молитву... Ах, Вася! Гневайся, смейся надо мной, а видишь, как ярко горит моя звезда, она не угаснет, — то ты, Вася!

Юноша смутился. Глаза его опустились от какой-то сердечной боли. Он начал нетвердым голосом:

— Зоя, рад я, что мы одни и можем говорить свободно. Любовь твоя ко мне хуже ненависти, страшнее мести... Против этого врага я беззащитен... Не думай, что я без сердца... Зоя, ты достигла своей страшной цели... я твой пленник, но еще не преступник, я люблю тебя, но помню, что ты жена...

— Остановись! Выслушай... Было время, когда любовь и мысль о наслаждении были для меня одно и то же. Было время! Еще так недавно; едва ли минуло пять-шесть седмиц, когда я осыпала тебя поцелуями, говорила, что люблю тебя: тогда я лгала, Вася! Я кипела страстью, я не любила тебя истинно! Ты очистил мое сердце, возвысил, возвеличил!.. Вася! Не оскорбись, прими мою исповедь. Стараясь ехать с вами вместе, я лукаво рассчитывала на твою молодость и неопытность, я надея-

лась победить твою стыдливость, но скоро я поняла тебя... Я побеждена, Вася, и счастлива.

— Тебя ли слышу, Зоя?..

— Чужая жена!.. Молю, не презирай меня!

Где, когда ты заметил поползновение изменить моему долгу. Он скучен и тяжел! Но я не оскорблю Господа, не нарушу клятвы, данной перед лицом Его. А что я люблю тебя всею душою, всем сердцем, всем, что у нас ни есть духовного, за то никому не буду отвечать. Я сказала бы про любовь мою Андрею, если бы он мог понимать такую любовь, я бы сказала всему свету, если бы люди могли и умели поверить такому чувству. Люди? Все они Едигеи, ты один, Вася, только ты не похож на них. Сколько раз ты спас жизнь мою... преобразил душу. Вася, мне потерять тебя, разлучиться с тобою страшно, не видеть в тебе такой же любви, как моя, невыносимо! Вот все мое сердце перед тобой, Вася.

Слезы тихого, чистого блаженства сияли в чудных глазах; в эту минуту, освещенная луною, Зоя казалась каким-то неземным существом.

Юноша схватил ее за обе руки, слезы бежа-

ли ручьем по воспаленному лицу его.

— Безумец! А я страшился такой любви! Это чувство выше всякой любви, это — дружба.

— Милый Вася! Когда меня одевали в мужское платье, когда меня учили, как я должна представлять твоего брата, я трепетала от радости, сердилась, зачем эта сладостная личина только на время, зачем личина, а не чудная правда! Но теперь, Вася...

— Я твой, Зоя, твой друг, твой брат навсегда! Навсегда! Только ты...

Они обнялись и целовались горячо, в убеждении, что иначе и быть не может. Вероятно, Палеолог о такой дружбе рассудил бы иначе, если бы мог видеть образ ее изменения, но ему было не до того. Он первый заметил отсутствие Зои, в общей сумятице никто не мог указать, куда она исчезла. Когда же Клим воротился в балку и заметил, из-за чего тревога, советовал искать в глубине балки; по мнению Клим, Борис по молодости, верно, до того перепугался, что и теперь еще уходит подальше от побоища. Андрей с греками поверил Климу, и овраг осветился по всему про-

тяжению — смоляные свечки запылали, а Клим на коня да к нашим новым друзьям. Зоркий глаз Борзого издали видел, что у Васи, как он толковал, пошло дело на лад; жаль ему было нежных голубят, как он в уме называл их, да опасность была близка, и Клим скакал, покрикивая. Вася и Боря вскочили на коней, понесли к балке, дали знать Андрею, что Борис нашелся. Все пришло мало-помалу в порядок: убитых татар обыскали, нашли у некоторых немало денег, добычу разделили, кроме лошадей, которых Клим связал длинными поводьями и поручил рязанским ратникам гнать до крымской границы, которая, по его мнению, была очень близко... Переночевав, путешественники прежним порядком пустились вниз по Дону. Клим, оглядываясь на посольский струт, то и дело улыбался, потому что Орест и Пилад сидели все вместе и разговаривали больно весело, а этого прежде не бывало. Боря и прежде был говорлив, но зато Вася только слушал братца, повесив голову.

«Молодец! — думал Клим про себя. — Едигея разбил, эту полонил — далеко пойдет! У

него полет богатырский».

Дальнейшее плавание по Дону шло весьма благополучно.

Там, где Северский Донец сливается с Доном, где теперь мелькают скромные хутора станичные, там на мысе, образуемом изгибом реки, возвышалась новая башня, или, лучше сказать, стрельница; по всем холмам по ту сторону Северского Донца белели шатры, торчали кибитки... Клим поднял на своем струге белое знамя с крестом; на новой стрельнице выкинули такое же знамя, и вслед за тем от берега отчалил легкий дубок. Клим показал татарам ярлык и объявил о посольстве.

— Сам Калга-султан здесь, — сказал татарин, — а для московских послов и купцов отведено особое место. Хотите, приставайте туда, мы проведем; там есть и запасные шатры, и валом обведено, и на реку ход особый, никто не потревожит.

Причалили, выгрузились, расположились покойно и удобно... После приготовились принять Калгу, наместника ханского, приехали и разместились. Палеолог с женой стали в хвосте посольском. Брат Менгли-Гирея, Кал-

га Ямгурчей, не замедлил явиться. Рожденный от гречанки, Калга был роста среднего, но прекрасно сложен, с выразительным, умным лицом. Он приехал один, долго беседовал с Никитиным о делах в присутствии Васи, который ровно ничего не понимал по-татарски. На вопрос о дальнейшем пути Калга объявил, что путь на Азов и Кафу совершенно безопасен, впрочем, обещал дать проводников и уведомить пашей азовского и кафинского. Прощаясь, Калга изъявил надежду увидеться с послами в старом Крыму или в Кафе. Когда Никитин вынул из окованного железом ларца великокняжескую грамоту и один корабельник, Калга улыбнулся:

— Брат Иван шутит! Я по степям собираю войска против Казимира; каждый день в пути мне стоит десять червонцев, а он меня дарит корабельником. Но я понимаю Иванову шутку. Это намек на Казань; если поможет пророк, я ему pošлю грушу из краковского сада.

Калга уехал, но посольство долго не могло разойтись на покой, потому что мурзы и уланы, начальствовавшие отрядами, съезжались

к посольской ставке и уходили с обещанием великих даров, когда возвратятся из Кракова. Мурзы и уланы почесывались, но не обнаруживали никакого неудовольствия. Напротив того, наслали послам тучных баранов, плодов сухих, даже вина; а на другой день, когда рязанская дружина, забрав все струги и простясь с послами, отправилась в обратный путь, значительный отряд орды двинулся в поход по левой стороне Дона, чтобы охранять их до Едигея, который, по мнению Калги, где-нибудь близко сидит в засаде с местью. Княжна Ливенская, переодетая в латника, отправилась с рязанцами. Клим так был доволен дружиной, что, продав лошадей татарских, не только отдал им все, что выручил, но и всю свою часть из добычи. И послы расстались с ними не без сожаления и благодарности. Сели на огромные струги Калги-султана, простились еще раз с Ямгурчем, который со всеми мурзами и уланами приезжал на проводы, и отправились вниз по Дону. Несколько тысяч татар по левой стороне гарцевали по степи, провожая посольство...

— Воистину велик Иоанн, — сказал Палео-

лог, — когда из этих зверей умел себе сделать таких верных и преданных союзников.

Паша азовский выслал навстречу небольшой турецкий отряд и звал в гости. Послы поблагодарили и продолжали путь по большому руслу; хотя на небе уже светил месяц сентябрьский, но ветер и погода благоприятствовали. Держась берега, путешественники обогнули мыс Еникольский и без малейшего происшествия вошли в великолепную гавань недавно еще знаменитой Кафы, живописно освещенную утренним солнцем... Увидав Кафу, Зоя протерла глаза и опять смотрела на город с напряжением; на огромном амфитеатре возвышались величественно многочисленные церкви, сто фонтанов метали студеную воду, но в гавани уже не толпились корабли, по берегу не кипели густые толпы народа. Та Кафа, да не та!.. И может быть, оттого Зоя так долго не могла узнать Кафы...

— Боже мой! — воскликнула она. — Нет, это мой город, это моя родина; вот, вот дом Меотаки, а вон на горе дом моей матери! Жива ли ты? Жива ли?

## II ВАСИЛИСА

Курицын еще спал, а инок, к нему приставленный, читал молитвы. Утро разбудило Курицына; он посмотрел на инока, перекрестился, встал и, преклонив колени, долго молился перед вновь поставленною иконою. Понимались шаги; Курицын смутился, но притворился, будто не слышит; вошел наместник московский, первый боярин, князь Патрикеев, инок почтительно встал и преклонился, а Курицын простерся перед иконою...

— Федька! — сказал Патрикеев. — Божие Богови, кесарево кесареви. А ты, честной отец, ступай себе в гридню или в светлицу. У нас государевы дела тайные... Ну, Федька, слышал? — продолжал боярин, понизив голос, когда монах вышел. — Ивана-молодого не стало.

На лице Курицына изобразилась не печаль, а досада.

— Я так и знал. Теперь не воскреснет; теперь надо хлопотать за Дмитрия, а тут как

хлопотать? Я на привязи, а Леон на воле...

— В моем подвале! Государь приказал сжечь еретика, и костер завтра запылает...

— Не приходится, боярин! Пока не похоронили царевича, никакой казни... Жечь нехорошо: кричать станет, раскричит многое... Я так бы сделал: созвал бояр, судил его градским законом да на висельницу... На очную ставку звать его незачем: вина — наруже. А бояр, каких сам назначишь, те и будут... Шито-крыто, и все по закону. А иначе, так еще беды наберешься... За Леона еще, пожалуй, Максимов вступится, в донос против вас пойдет; вся его надежда — Леон... Максимов о судьбе Леона, пока не казнят, и знать не должен.

— Ты о Максимове не беспокойся. Порядок новый стал; дворецким к Олене назначен мой сын Косой...

— Умно! Вот так умно!..

— А для беседы назначена моя дочка, Катя, что за Ряполовским.

— Еще лучше... плотно подстроено; нечего сказать...

— А Максимова мы уберем, так что и не оглянется. Сынок мой уже сегодня ночью к

нему стал привязываться; приказал сидеть в дворянской тюремной избе, а в сенях у княгини торчать не для чего, когда не назначено. Максимов нагрубит, а мы его и скрутим...

— Промах! Большой промах! Теперь трудно и поправить! Надо ласкать Максимова, дружить с ним, а между тем подвести под гнев самого Иоанна. Преданность беспредельная сердцу женскому любезна; глядите, чтобы Олена не смекнула, вашей опеки над собой не увидала б; на Иоанна сердиться не сможет, а вам яму вырыть сумеет... Поправь, князь-боярин, если можно, свою скороспелку.

— Однако же мы заговорились. Только одному мне государь позволил с тобою видаться, и то потому, что от Муртозы посольство пришло; вот тебе грамоты к государю и к Нордоулату. Послы у тебя на дворе под стражей; указано их задержать, а к Муртозе послать своего гонца, а писать к нему тебе и от твоего же имени. Ну, Федька, — прибавил боярин громко. — Все! Садись и пиши, а за грамотами пришлю через три часа.

Патрикеев вернулся к государю, но Мамон объявил, что государь не приказал никого к

себе пускать, даже детей, и работать сегодня в палате не будет, а Патрикееву быть во дворец к выносу.

Патрикеев пошел вниз и в переходах увидел боярина Ласкира.

«Ого! — подумал князь. — Греки уже зашныряли. Вяжут на нас вершу, а сами туда попадутся...»

Дав время Ласкиру пройти в отделение детское, князь пошел к Елене. В сенях, на деревянном подножии о трех ступенях, стоял открытый гроб царевича; на нем разложен был парчовый покров, затканый серебром и шелком; оконницы были задернуты суконными поволоками; множество свечей в огромных серебряных подсвечниках бросали трепетный красноватый свет на печальную картину; благовонный дым окутывал тонкими струями; чтение Псалтыри раздавалось мерно, уныло, торжественно. В сенях, кроме немногих священников, великокняжеской няни, в безмолвной грусти сидевшей у гроба своего почившего питомца, да князя Косого, никого не было.

— Что княгиня? — спросил Патрикеев у

сына.

— Там с сестрой!

Патрикеев вошел в предспальник и, отдернув шелковый полог, вошел в опочивальню; Елена сидела в креслах зажмурясь. Княгиня Ряполовская сидела насупротив нее и молчала. Заслышав, что кто-то вошел, Елена вздрогнула, посмотрела на старца и протянула к нему руку...

— Князь! Ты не оставишь бедную вдовицу! Ты не дашь в обиду моего Митю!..

— Государыня княгиня Олена Степановна, — сказал старик с чувством, — муж твой по отцу и по матери мне родной был, а другие что мне; тот любил меня и жаловал, а другие лукавствовали... Не успели омыть тело жертвы, изловленной сетями дьявольскими, а уже сходятся на совет тайный, но я их обличу! Так, государыня, вороги твои — мои вороги! Детей моих, кровь мою я поставил к тебе на стражу; эти не продадут, эти не посрамят моей старости, верь им, как себе...

— О князь! Об этом и говорить не надо!.. Увидав княгиню, дочь твою, я поняла, оценила твою заботливость, и капля сладости про-

лилась в море сердечной горести... Благодарю, князь, много благодарю и за то, что пришел проведать меня. Знаю, как ты занят, и не удерживаю, но верь, что каждый приход твой принесет утешение безутешной...

Князь откланялся. В сенях спросил у сына, где Максимов...

— Я прогнал его, почитай, насильно...

— Неладно, сынок. Гляди, чтобы Олена Степановна чего не подумала. Пусть посидит у дверей по-прежнему день-другой, а там придумаем что ни есть похитрее.

— Твоя правда. Я сам собой недоволен, что поспешил, да меня взорвала его дерзость. Он так уверен в милостях...

— То-то же!.. На выносе все поправим; дай знать, когда время...

В переходах Патрикеев несколько раз останавливался, поглядывая на двери в детскую половину, но напрасно: все было тихо, мертво; князь пошел домой, как обыкновенно ходил днем, через сады. Челядь знала очень хорошо, когда боярин не бывает дома, и, кроме стражников у железной двери и окон, Луки-немого, Василисы да ее верного татарчон-

ка, никого не было на обширном дворе боярском; все ушли на соборную площадь смотреть на вынос. У Василисы был гость; странный, задумчивый, злой; он ворвался на двор почти насильно, вошел на крыльцо, не спрашиваясь; в GRIDNE уже спросил, где боярин, скоро ли будет... И эти два вопроса только и слышала смущенная Василиса около получа-са.

— Вижу наконец, — сказала Василиса, — что ты знатный какой и должен быть из дворянских; да к нашему боярину так, силой, не ходят...

— Мало ли чего не бывает у вас! У меня свой закон! Я за делом. Где боярин?

— Говорят тебе, во дворце!

— Там нет его! Он здесь! Он прячется, старая лисица!..

И гость стал страшен, но это увеличило только необыкновенную красоту молодого человека. Василиса, присланная приказчиком из глухого села, где видела только своего брата-мужика, поступила на княжий двор, где, кроме челядинцев, подобранных боярином из самых безобразных холопов, она не

видела также никого, — почему Косой показался ей красавцем. Но можно ли было сравнить и его с гостем. Невольно любуясь невиданною, мужественною его красотою, Василиса постепенно стала чувствовать к гостю какую-то жалость...

— Что ты сердишься, милостивец, — говорила она ласково. — Не обидел ли тебя боярин? Темная и простая женщина, да авось помогу тебе...

— Ты... мне? — гость презрительно улыбнулся, а у Василисы заболело сердце; ей стало стыдно, обидно...

— Как знать! — сказала она с кротостию и голосом, прерывавшимся от волнения чувств. — Иная мошка вола кусает насмерть...

Гость взглянул на Василису. Мы уже знаем, что она была весьма недурна собой, но чувство, оскорбленное незаслуженным презрением, увеличивало ее оттенком сознаваемого само достоинства. В это мгновение можно было подумать, что в GRIDNE, у дверей, стоит переодетая боярыня и неловко прикидывается прислужницей. Гость невольно остановился, и сердце его несколько смягчилось.

— Нет, милая! — сказал он печально. — Никто мне не поможет; был один, да его упрятали... Тот был знатный колдун, много мог...

— Эх, боярин, у меня есть соседка, а у той соседки старик знакомец; так уж подноготную знает; соседка и сама смекает, какой хочешь заговор снимет, на кого ни вздумаешь, заговор наложит.

— Неужели? Из каких же они?..

— Соседка та — не ведаю, а старик больше на жида смахивает; я часто видела его, часто слушала; говорит, будто пиво бархатное льется; да как пошел по Москве толк про тайное жидовство, я туда и ходить перестала, да и отлучаться-то от дому теперь страшно...

— А где живет твоя соседка?

— Показать могу, а уж рассказать не сумею. Попала я к ней ненароком; только у меня и есть знакомка, что эта соседка, да Кирило, что кравчим у Ряполовских. Ну, да этот...

Василиса махнула рукой; гость смотрел на нее с жадным любопытством...

— Так этим путем хотела ты мне помочь?

— Этим ли, другим, то мое дело; да как тебе помочь, коли горя не знаю. Коли дворская ка-

кая опала, так у меня есть рука, последний знакомец. — Василиса зарделась. — Он теперь у отца много значит...

— Косой! Он-то и враг мой; он-то и хочет выжить из хором царских несчастного Максимова!

— Так это ты Максимов? Так это у тебя зазноба...

— Господи Боже! Кто сказал тебе?..

— Постой! Еще не все!..

— Боярин идет! Уже в садах! — прокричал в дверях татарчонок.

— Пропала моя головушка! Скажет Косому! Нет, только ты меня не выдай; я буду на тебя жаловаться; винись, не отнекивайся, придумай важное дело...

— О? Готово, готово...

— Притворись преданным, покорным... Завтра утром об эту пору...

— Где?

— Тут опасно!.. Может Косой зайти; сам выдумай, я прибегу, куда велишь...

И Василиса бросилась навстречу боярину и, заливаясь слезами, завопила: не ходи в хоромы, государь боярин, пошли опросить; си-

лой кто-то вошел, меня оттолкнул; синяк на руке, никак не могу выжить; ходит по гридне, тебя поджидает...

— А челядь?

— Ну уж твоя челядь! Ты со двора, и все со двора. А Луку я боялась от пленника отозвать: думаю себе, а что, если тому пленнику пришел на помочь...

— Умно! Да кто же он такой, не сказывается?..

— То-то и чудо, сам себя называет; говорит, что он Максимов, пришел со двора государева за важным делом...

— Ваня Максимов! Да это мой любимец! Я его, что сына, жалую! Ваня мой, где он? Что с ним случилось, кто его обидел! — С этими словами боярин ввалился в гридню; у Максимова глаза вспыхнули, кровь бросилась в лицо...

— Уж не греки ли, полно, на тебя наклеветали? Кто огорчил тебя, Ваня?..

— Сын твой, Косой, — отвечал Максимов прерывающимся от душевного волнения голосом; он готов был наговорить боярину тьму грубостей, но, заметив, что позади боярина

Василиса, сложив на груди руки крестообразно, низко преклонилась, понял немой совет и продолжал покойнее: — Я не снес бы такой обиды, если бы молодой князь не был твоим сыном. Ты знаешь, государь боярин, как я предан тебе, светлейшему и первому нашему сановнику; я служил верно на том месте, куда ты меня поставил, и за верную службу сын твой назвал меня дерзким псом, выгнал из сеней, не дозволил стоять на страже у гроба, столько мне драгоценного...

— Успокойся, Ваня! Косой мой — добряк, да горячка. Дворского сана еще не носил и чина не знает; он сам теперь жалеет; я его журил за скорость. Я вас помирю и ручаюсь, будете друзьями... На вынос пойдем вместе, а пока закусить не мешает. Василиса!.. Тяжкая ночь, а не подкрепиться доброй пищей, не достоинь и службы. Велика, неизмерима еще наша утрата. Ох, Ваня! Теперь много хлопот разом приспело. Государь убит потерей сына, огорчен братом Андреем Васильичем, опечален смутой церковной, возмущен лукавством тайных и дерзостью явных врагов... Речка забушует — окрест страх стелется, а что, если

заволнуется море-окиян?.. Так, Ваня, велика поднялась погода; чем выше стоишь, тем сильнее ветер бьет... Господи Иисусе Христе, спаси и помилуй!..

Так заключил боярин, устремив взор на богатую икону.

«Что это значит? — подумал Максимов. — Так мне сказали неправду?..»

— Закусим, Ваня! Надо еще переодеться; греки с утра еще в черном заходили. Истинная печаль о том не вспомнит...

«Как же ты вспомнил?» — подумала Василиса.

— Откушай, Ваня, чего ни есть! Мне, старику, ломтик хлеба, полчарки меду, и довольно. Да и есть не хочется, а принять пищу велит опытная осторожность... Ну, вот я и готов...

— От князя Василия Ивановича нарочный пришел... — прокричал татарчонок.

— Давай, чучело, скорее черную однорядку и все черное! Извини, Ваня! Я сейчас вернусь...

— Как он добр и ласков, почтенный старик... — сказал тихо Максимов, когда боярин ушел в опочивальню...

— Учись у него, — тихо прошептала Василиса, убирая посуду. — Косой уже научился — и отца обманывает... Где я тебя найду, если понадобится...

— Я тебя хотел о том спросить.

— Вот что я придумала. Я всегда сижу вон у этого окна; пройдешь по улице, я увижу и выйду посидеть за ворота, а там посмотрим...

— Вот я и готов, Ваня! Сотворим молитву и пойдем!

Оба усердно крестились на образа, потом поклонились друг другу и пошли во дворец через сады...

Василиса присела к окну; татарчонок уселся у ног своей повелительницы.

— Мамо! — спросил он с нежностью. — О чем дума?

— Ах, мордашка ты моя верная! У меня сердце по-новому заболело...

— Сходи, мамо, к соседке, вылечит...

— Схожу, дружок; а не вылечит, так научит...

Василиса опять задумалась, но татарчонок не давал ей покоя своими расспросами. Ей

было жаль расстаться со своими думами, жаль было оскорбить и единственного друга, а сказаться ему боялась... Прошло немало времени; в пустой улице зашумела толпа; вслед за тем вернулся дурак и по-своему рассказал про вынос; не успел кончить, как стук в калитку оповестил гостя. В gridню вошел Косой; Василиса вздрогнула, но, подымаясь, успела шепнуть татарчонку:

— Не отходи от меня, мордашка!..

Косой снял шапку, перекрестился и, потягиваясь, сел на скамью.

— Вот устал так устал! На ходу спитя! Что, моя белка быстроглазая! Сейчас собор нагрянет; если бы ты мне чарку доброго меду да ломоть хлеба с чем соленьким в опочивальню занесла, а то голодом и бессонницей изморило; а я выйду зачем ни есть к тебе. Вот уже идут! Ступай, моя белочка...

И точно. Пришло несколько человек: князь Петр Шастунов, князь Семен Ряполовский, еще трое бояр. Не успели они помолиться и раскланяться, вошел старик Патрикеев, стал усердно креститься, потом кланяться; наконец все уселись около стола.

— Немного нас! — сказал старик, осматривая бояр.

— Мал золотник, да дорог, — отвечал Косой. — Нет пути во множестве, нас семеро: число библейское. Я не звал Ощеру: глупый болтун в дураках служит; ему все равно, кто на престоле, кто в милости, кто в опале, лишь бы ему по-прежнему торчать у дверей да казначеи исправно оклад платили. Мамон очередной; да и без того бы не позвал: стал слаб. Как-то у Семена по третьей стопе нестарого меда разболтал все тайности, а по седьмой под столом улегся. Князь Пестрый себе на уме: мало ему воеводского сана — метит в наместники новгородские, хочет стать наряду с тобой да с Даниилом Холмским.

— Кстати сказать, — заметил Ряполовский, — чтобы не забылось: боюсь, чтобы государь в такое смутное время Данилу из Казани не вызвал.

— Э! Семен Иваныч, не беспокойся! Даниле такой наказ послан — дай Бог, чтобы за год с ним справился. Это уже мое дело; да я еще за верное знаю и то, что ратные труды расстроили его здоровье; писал мне верный человек,

что Данило в постель слег... Так пока приедет на Москву, все будет кончено. Я созвал вас, друзья добрые, потому, что теперь наступил час, от которого во дворце новая жизнь пойдет. Надо все места своими людьми заступить, чтобы никакого, даже малого служки, не было, который бы к Софье прилежал душою. К Олене я уже приставил сына. Теперь у нее есть дворецкий; отчего нет такого же при Софье?.. Князь Петр Иванович! Угоден ли тебе этот сан?

Шастунов встал и поклонился:

— Милости твоей боярской бью челом и благодарствую.

— Первый боярин я. Первый воевода Данило. За Данилу, воеводу московского, дело Пестрый правит; мы Пестрого пошлем куда ни есть чужь воевать; скоро иной, новый порядок станет. Али я перестану наместником московским называться, али Данило великим воеводой московским не будет. На три трети пойдет... Наместником и воеводой володимирским и московским останусь я; наместником новгородским и псковским пусть до времени Данило; он же и первый воевода, вся

честь ему; а меньшей трети, рязанской, наместником — Ряполовский. Тогда нам и Захарьичи не страшны. Конечно, лучше бы их оттереть; ну да за такое дело надо приниматься с оглядкой; Захарьичи, друзья мои, опасны, а пуще — Яков; Юрий, тот завистлив; на том стоит, что он первый ратный разум на Руси, а Яков — на казначействе умел угодить Иоанну, сердечным у него стал; теперь боярин, только именем не первый; на мое место искося поглядывает, а на свое, на казначейское, своей руки человека поставил: знаем мы Дмитрия Володимировича, вдаль смотрит... Я, друзья мои, рассказываю вам как на духу, потому что в общем деле одними глазами смотреть, одними ушами слушать надо. Повторяю: наши сильные враги — Данило, Яков и казначей. Коли хотите, Данило и не враг, но Софье предан. Хитрить не станет, но нечаянно нашу хитрость подрезать может. Но он далече... Ближе к нам есть еще враги, о которых должно озаботиться... Малы-то они малы, да могут вырасти. Первый — князь Палецкий. Государь его к сыну своему Василию приставил. Я в его душу заглядывал: кривая. Рука у

него — Яков, это рука явная; а тайные доброжелатели ему Софья да боярин Ласкир: дочку за него прочит. Ну, этот комар попадетсЯ. Стромиллов глупенек, а глупые всегда друзья; вот Яропкин, Гусев, Поярок, что Василия Иванныча учат, — за этими надо присмотреть да раскусить. Затем, друзья мои, еще есть два врага — снетки на вид, а ядовитые. Один — врач Леон. Он сидит у меня в подвале; государь повелел сжечь его, да мы с Курицыным рассудили судить его градским судом. Это ваше дело, родимые, — тут обратился Патрикев к трем боярам, которых мы не назвали. — Вас сегодня назначат; к вам еще придадут Ощеру или Мамона да дьяка надежного! Вы его будете судить тайно; очных ставок не надо; а без пытки трудно обойтись: надо его хорошенько допросить; пусть займется тем дьяк, а потом вы его и осудите!..

— А чем порешить укажешь?.. — спросил один из бояр.

— Злодей такой повинен позорной казни. Пусть все видят... Потом есть еще Максимов; опасен он по молодости и ветрености. Этого надеюсь исправить.

Видно, Косой все это знал, потому что два раза уходил в опочивальню закусывать, и второй раз просидел там так долго, что, когда воротился в грядню, там стояли Патрикеев да Ряполовский, прочие уже разошлись по домам и местам...

— Где ты это был? — спросил отец.

— Отощал, государь родитель, попросил соленого да медку; да я все слышал, что ты тут рассказывал. Сущая истина. Словно Соломон, так ты им говорил, а про Максимова, разумеется, ты шутил... Да все надо же придумать, как с ним быть...

— Уже придумано. Государь его застанет врасплох, сам обличит и раскроет его дерзкую думу. Жидовство наружу не выйдет, но зато за другую ересь не оглянется, как уже на виселицу попадет... Уж это мы сами с сестрой твоей состряпаем. Да теперь и не время; надо присмотреть, с которой стороны способнее изловить Максимова. Ну, теперь все на порядках... Время обеденное, пора отдохнуть по-человечески. Гей, Василиса!..

Но Василиса не являлась...

— Где Василиса? — спросил боярин у ду-

рака, который, просунув голову в дверь, смотрел на князя с неммым вопросом.

— Кто, Василиса? Не можем знать! Где ни есть в амбаре возится с кадками да горшочками. Коли надо — кликну; коли не надо — так не кликну...

— Не трудись, я здесь, — сказала Василиса, подымаясь на лестницу. — Что боярской милости угодно?..

— Обедать, черт возьми! Будто ты поры-времени не знаешь...

Все было давно готово у распорядительной Василисы. На клич ее поднялся целый полк челяди: в одно мгновение к столу все подали, принесли кушанья; господа уселись; не успели щей похлебать, как стук в калитку возвестил еще гостя.

— Не пускать! Сплю! Разве от государя...

— Говорят тебе, боярин спать изволит, — кричал дурак в переходах. — Никого не велено пускать!

— А орать тебе во все горло, видно, позволено. Видно, под твой дурацкий крик боярин спит слаще...

— Добро, уж как хочешь, а не пущу...

— Посторонись, дурак, а не то с крыльца полетишь!

— Кто смеет! — вскрикнул боярин, встав из-за стола...

— А, ты уже, видно, отдохнул, князь, — с улыбкою сказал князь Андрей Васильевич, входя в гридню. — Правда, не в пору я вас потревожил... Извольте кушать, а я посижу вместо приправы; знаю, дорогой сродник, что такая приправа для тебя — перцу не надо, да у меня времени лишнего нет: я уезжаю, пришел проститься!

— Государь князь Андрей Васильевич! Не знаю, кто тебе всякое зло противу нас нашептывает. Сродник, сказал ты, и сказал правду, и близкий сродник; и сердце у меня к тебе не чужое, а не могу угодить на тебя. Ты всем недоволен, государя великого не слушаешь; знаешь, что не только во дворец, а на Москву без зову никто из князей не жалует.

— Да не ты ли меня звал на собор? Не твоего ли я гонца встретил на дороге?

— Звал тебя государь на собор, а не в хоромы.

— Давно ли это завелось у вас, что брат к

брату ходить не может, пока тебе не угодно будет доложить. Тебе покойно, а я удел оставил, заботы пропасть.

— Кстати, государь князь Андрей Васильевич, я собирался быть к тебе с поклоном и доложить, что государь недоволен твоими тиунами: до сих пор в твоём уделе ямской повинности не завели, как указано. Царский гонец, не вспомню, в каком селе, подводы не дождался и пешком пошел.

— Да, князь Иван Юрьевич, удел-то, кажется, мой?..

— Помилосердуй, государь Андрей Васильевич! Неужели хочешь ослушником быть? Неужели не разумеешь, что много звезд на небесах, а на том же небе — солнце одно. Много областей и народов, у них много князей и наместников, а над всеми государь стоит один. Власть твоя есть ссуженная власть; ты в своём уделе наместник, не больше; а по рождению ты государев брат, и все-таки брат, не сам государь. И во власти твоей, и в городах твоих великий князь волен; в городах тех он вотчинник; а отдал тебе их на корм знатного твоего рода ради! Так мыслит государь

Иван Васильевич, так и другие князья, так думают и бояре, и воеводы, и простые люди. Так, казалось нам, думаешь и ты, по крестному целованию; а если мысль твоя изменилась, поведай, я доложу великому государю.

Князь углицкий презрительно улыбнулся и, ударив легонько Патрикеева по плечу, сказал:

— Ловушка, князь, да не о том речь! Я был у брата. Дивился, как я мог видеть его без твоего позволения. Не ломай головы, дорогой сродник, разум даром израсходуешь, а в такое трудное время надо беречь такую знаменитую сокровищницу. Ты на делах меня изловить не можешь, так за язык тянешь, благо есть свидетели. На этот раз и ты промахнулся. Ловко подослал ты ко мне Татищева; его же кнутом и обсекли; лукавствуй, дорогой сродник, плети козни, вяжи крамолы; на себя работаешь, помяни мое слово. Прочь, гнусная хитрость, лисья личина; ты мой враг! Ты на меня то и дело печалуешься брату, тебе вторят твои щенята. Я все рассказал Ивану; пусть верит или не верит — мне все равно. Я уезжаю; от собора меня брат уволил. Разглаголь-

ствуйте без нас; погубите тела тех, чьи души вы уже давно погубили...

Патрикеев отступил в смущении, вид Андрея не обещал ничего доброго. Кровь бросилась в лицо гостя, губы и руки судорожно дрожали. Он продолжал:

— Я уезжаю и уже не ворочусь на Москву; тут нам не ходьба; патрикеевцы глубоко выкопали волчьи ямы, искусно их лукавством замостили: не углядишь, как в западню попадешь. Нет, к нам милости просим, в Углич, или к брату в Волок!

— Государь князь Андрей Васильевич! Зачем же ты пришел ко мне? Глумиться над моею старостью, смеяться над верностью моему законному государю! Я не хочу идти за тобой, не хочу быть изменником государю и царству...

— Сам ты изменник; твоя гнусная неправда, броня сатанинская — вот так измена царству.

— Да перестанешь ли ругаться?..

— Только начинаю! Я не в тебя, харя ты дьявольская; у меня что на душе, то и на языке. Брат упрекал меня по твоим наветам, брат

обвинял меня в проступках, которые только и были, что на лживом языке твоём. Я оправдался перед братом, но, князь, с тобой-то я не расчелся. Я просил Ивана, пусть назначит надо мной и над тобой суд всех князей и бояр земли Русской. Пожалел он твою старую плоть, знал, что на площадной огонь засудят, — отказал, но я не останусь без мести. Нет, князь! Ты слишком подл, чтобы мне требовать с тобою поля; таких не убивают, а бьют...

И Патрикеев от сильного удара Андреевой руки в смертельном страхе повалился за стол, Косой и Ряполовский вскочили...

— А вы что, щенята! Это ты потомок Ольгерда! Ты, косое, кривое порождение криводушного злодея. Берегите уши; жаль мне честной меч пачкать такую кровью, попадетесь вы мне в руки. Конюхи с вами разделяются — вот достойное вас поле!

Андрей ушел.

Патрикеев встал с помощью сына и зятя. Он был бледен как полотно, дрожал от стыда и злости, не знал, что сказать; собеседники также молчали. Патрикеев оглянулся и про-

шептал: «Слава Господу! Никого не было...»

— Ну что, Косой? Что бы ты на моем месте сделал?..

— Пошел бы прямо к государю и бил челом.

— А государь что?

— А государь велит поймать Андрея да в подвал...

— Никогда!.. Государь станет мирить нас, заставит Андрея одним или двумя городами поклониться... Города к Москве припишет, а меня с Андреем мировою трапезою отпотчует. Я останусь с пощечиною, а Андрей поедет в Углич всем кочевым князьям рассказывать, как он отделал их общую грозу Патрикеева... Нет, не так! А вот как! Строптивец, как опомнится, перепугается, не скажет никому слова. Так вот, родные мои, если бы и вы сумели промолчать до поры до времени.

— Повели, государь родитель...

— Прошу слезно, а об остальном посоветуемся, когда поуспокоимся... Мне жутко... Нужен отдых, сон; я прилягу, а вы ступайте по местам, я пришлю за вами...

И Косой и Ряполовский ушли, а Патрикеев

позвал Василису:

— А что, воструха, давно ты была у Авдеевны?..

— Давно, государь боярин... как посылать последний раз изволил ты, так с той поры и не была.

— Полно, так ли? Ты, Василиса, стала, что угорь-рыба! Из рук скользишь! Двумя языками рассказываешь, а ушей у тебя не перечесть. Знай же, что я обо всем ведаю, на все оба смотрю. Гляди, чтобы вместо огорода в яму не попасть. Милость с опалой — соседи. Подойди сюда, воструха!

Василиса задрожала, но повиновалась; боярин потрепал ее по горячей щеке, Василиса не противилась ласке...

— Ну, воструха, признавайся: Косой больно к тебе пристаёт?..

— Пристаёт, боярин, я не смела твоей боярской милости печаловаться; запираюсь от него, сказываюсь, что ушла куда, да не всегда досмотришь, как он на двор твой прокрадется...

— Небольшая беда, Василиса, если добрый молодец пошалит. Если ты раба добрая, смот-

ри за Косым, слышь, обо всем допытывайся да мне сказывай, а я тебя своею милостью не оставлю. Ты знаешь, что если моя рука развернется, так я тебя за дворцового дворянина замуж выдам. Любой за тебя в ноги поклонится...

— Государь боярин!.. — с живостью воскликнула Василиса и запнулась...

— Ну, что? Уж не приглянулся ли кто? Не скрывайся, плутовка!..

Василиса стояла молча, печальная; боярин глядел на нее исподлобья с лукавой улыбкой...

«Кто бы это?» — подумал князь, и мысль его естественным образом остановилась на Максимове... Как будто отвечая на собственный вопрос, боярин сказал громко:

— Этот молодец, нечего сказать, не будь он мне тайный враг, не торчи он рогаткой на перепутье... Ну, да об этом после. Так ты не была у Авдеевны? Так не слыхала ль, старик юродивый у нее проживает или ушел куда?..

— Не слыхала, боярин!

— Так пойдн же ты, моя лебедка, к Авдеевне, шепни старику на ушко заветное слово.

— Помню.

— А как?

— Приходи в Иосафатову долину...

— Так, моя умница, только прибавь: с первыми петухами...

— Теперь идти укажешь?..

— Сейчас! А я всхрапну маленько...

Василиса переделалась, взяла с собой татарчонка и отправилась в путь. Она заметила, что боярин еще не спит, он возвращался из подвала, куда собственноручно носил пищу пленнику...

— Много тебе дела, старая лисица, а опять злое начинаешь. Уймет тебя гробовая доска... Да что случилось, того не воротишь. — Так рассуждала Василиса, поспешая уйти со двора. До соседки было не близко; она жила на Тверском въезде, где по обе стороны тянулись постоянные дворы. Василису немало удивило многолюдство, кипевшее на улице. Обозы не умещались под навесами; у телег стояли лошади, погонщики спали под телегами, гости купеческие беседовали у ворот, на скамейках. Не у кого было спросить о причине такого небывалого съезда. И зимою на Москве-реке

не видала Василиса такого множества купцов и товаров. Татарчонок, по приказанию Василисы, пошел вперед и покрикивал: «Посторонись, дорогу дай!» Фата закрывала лицо Василисы, но одежда и ее и татарчонка показывали, что идет женщина непростая. Народ шушукал, но давал дорогу почтительно. Не доходя до выездной заставы шагов на сто, татарчонок повернул в переулок; с трудом пробираясь по гнилым мосткам, путники наши достигли калитки, кольца на ней не было...

— Мамо! — сказал татарчонок. — Видно, наши-то съехали.

— Боже сохрани! А кольца нет, не достучишься...

— Знаешь что, мамо, я перелезу через забор да и отворю калитку...

— Будь по-твоему, мордашка.

Татарчонок перелез через забор, отворил калитку, запер ее за Василисой и уселся на полуразвалившихся качелях... Это было его обычное место. Василиса пошла по заглохшей тропинке мимо пустых хором к небольшому домику, старому, но опрятному. Раскидистые липы закрывали его своею зеленью;

ником не дожидаемая, никем не замеченная, Василиса вошла в сени. Там никого не было, только огромная кошка, увидав знакомку, встала, потянулась и опять улеглась, мурлыкая от удовольствия. Василиса не обратила на нее внимания, вошла в заветную палату и перепугала собеседниц: Авдеевну и богато разодетую старушку, сидевшую в красном углу...

— Сгинь, пропади! — закричала Авдеевна, разровняв бобы. — Оборотень! — Старуха стала креститься, а Василиса расхохоталась.

— Эх, Авдеевна! — сказала она со смехом. — Уж будто тебе бобы не сказали, что я иду к тебе с поклоном.

— Матушка, Василиса Кирилловна! Неужто ты?..

— А то кто же?..

— Право, ты! Ни дать ни взять — ты! И лицо твое, и руки твои, и душегрея твоя... Ты, совсем ты... А все-таки не ты! Признавайся — кто ты?

— Василиса Кирилловна, как ты меня назвала; да вот видишь, я и сама теперь то смекаю, чего и ты не ведаешь. Давай бобы, я тебе так их раскину, что ни тебе, ни старику не

удастся...

Авдеевна ловко дернула Василису за рукав.

— А что? — спросила Василиса не без замешательства...

— Что? Рукава твои дорогой поизмялись, не могу смотреть на такую красавицу, когда она не бережет одежду...

— А сама-то ты...

— Наше дело старое, холопское; ты в чести и холе, мы в забросе, да и время страшное...

Нарядная старуха вздохнула:

— Ох, матушка, твоя правда! Слез не хватает, покойник так перед глазами и стоит. Ненаглядный мой, глазки-то закрыл, а сам улыбается старой няне, будто сказать хочет: не бойся, няня, мне хорошо! Ох Господи, Господи! Да ты ведь ангел Божий, тебе-то хорошо, ты ведь не умер, а в дом воротился, а нам-то горемычным!.. Изрыдались, исплакались... Алена-то наша Степановна, неутешная вдовица, схоронила счастье, сгубила молодость!.. А сынок-то наш, Димитрий Иваныч, херувимчик, что будет с ним?

— Будет наследником престола, отцом зем-

ли Русской! — сказала торжественно Василиса. Няня вскочила, Авдеевна присела от изумления. Василиса задумалась.

— Матушка, не прогневишься, имя-отчество упомянула, откуда ты знаешь?.. — стала молить няня.

Василиса стала еще задумчивее и суровее. Видно было, что она боролась сама с собою, замышляла что-то, но не могла решиться. Няня повторила свой вопрос: Авдеевна стояла будто каменная, кошачьими глазами следуя за всеми движениями Василисы, а Василиса с важностью ходила по комнате, сложив руки на груди и не обращая никакого внимания на собеседниц...

— Что за диво! — наконец прошептала Авдеевна. — Откуда она это павой заходила, древним языком заговорила! Как она пришла сюда? Не я буду, оборотень: не верь ей, Степанида Андреевна!

— Уж не твоим ли бабам больше верить! Не тебе, Авдеевна, противу меня знахарничать. Трусиха ты, кольцо сняла, будто нашей сестре одна калитка на дворе; сколько щелок, столько и дверей. Ходишь простоволосая,

красной епанчой наготу покрываешь, на черной шее красные камешки с бляхами носишь. Одна нога в желтом сапоге, другая в башмаке голубом — вот и все твое художество...

Совершенное смущение Авдеевны вполне убедило Василису, что она справедливо догадалась и говорит правду... Но это убеждение пролило другой свет и на таинственного старика, к которому она была послана. Догадываясь, что старик скрывается от теремной гостыи, Василиса поняла, что страшный мудрец — такой же плут, как и Авдеевна; посмотрев пристально и грозно на Авдеевну, она сказала ей повелительно:

— Ступай-ка за мной!

И вышла в сени.

— Где Магог?

— Да ведь ты сама все и лучше меня знаешь...

— Знаю, что ты его запрятала. От ереси прячетесь, от жидовства закрываетесь? Погляжу я, какова ты, на правду, по тому тебя и пожалую или помилую. Отчего у вас на конце так много народу?..

— Да вот, соседка, с Новгородской волости

на Москву никого не пускали, всех задерживали в Клину, осматривали и допрашивали. А теперь разом пустили, так и места на постоянных не хватило.

— А зачем к тебе царевичева няня пожаловала?

— Да в теремах теперь неладно; пришла спроситься...

— Что же ты ей сказала?..

— Да ничего не успела, ты помешала!..

— И не ври напрасно окологдами всякую небывальщину...

— Матушка, Василиса Кирилловна, да ведь это хлеб наш, не то придется идти по миру. А за стариком моим сто глаз глядят, в Новгородскую четь сыщики посланы.

— Знаю. Я пришла его выручить: где он?

— Сюда, сюда! — Авдеевна указала двери в клеть.

— Знаю! Отвори двери. Это он перерядился в гостя псковского, был рыжий, почернел. Слушай, Магог, с первыми петухами приходи в Иосафатову долину. Теперь запирай двери, Авдеевна, пойдём к няне... Ну, гадай теперь, Авдеевна, раскидывай бобы, я тебе не поме-

шаю...

— Матушка, Василиса Кирилловна, где нам при твоей великой мудрости...

— Гадай, гадай!.. Я приказываю!..

Авдеевна дрожащей рукой собрала бобы в серебряную кружку, несколько раз встряхнула, высыпала на суконку и стала смотреть не на бобы, а на Василису, которая в раздумье пристально глядела на бобы и молча водила над ними указательным пальцем. Покачав головой, она как будто про себя тихо сказала: «Плохо, больно плохо».

— Матушка, Василиса Кирилловна! — завопила няня. — Дорезывай, только не мучь...

— Все это не о тебе, не для тебя! Это большая барыня, бедная, зачем так близок к ней этот дрянной простой боб... Он ей насолит... Погляди, как этот косой боб важничает!

— С нами крестная сила! Да она будто в те-рема глядит!..

Василиса встала.

— Хорошо, что ты напомнила мне. Ни тебе, никому не след этих тайностей рассказывать, разве самой большой боярыне...

И, не прощаясь, Василиса ушла. Авдеевна

бросилась было провожать ее, но Василиса повелительно сказала ей: «Воротись, не надо». И Авдеевна невольно повиновалась.

— Ну, мордашка, потешилась я порядком; отплатила, да еще не сполна, ведь они меня точно так же дурачили. Постой, дружок, надо и кончить, как начали. Отвори калитку, я пройду, а ты запри да ко мне через забор...

Татарчонок с обычною легкостью исполнил приказание своей мамы, и путники наши благополучно вернулись на боярский двор, когда уже стало смеркаться. По пути Василиса запаслась бобами разного рода и цвета, что возбудило в продавце немалое подозрение. Приказав татарчонку встать в переходах настороже, сама отправилась в кладовую, где хранилось боярское серебро; выбрала себе кубок старинный, который на ее памяти не показывался на столе боярском, добыла суконку и в столовой гридне уселась гадать, то есть учиться искусству перекидывать ловко бобы...

— Ну, заварила я кашу, — рассуждала она. — Как-то расхлебаю? Да, была не была, хуже не будет. Как подумаю, чем людская

хитрость и нас, холопей, и знатных бар морочит, и жалостно, и смешно становится, право. Мое гаданье — дело иное, я не зову на подмогу нечистого, не из-за денег, не из-за добра какого, нет, я иду на спасение человека, так тут что за грех... Правда, многого я не знаю, да и того, что есть, довольно...

— Мама, боярин идет...

— Косой! Господи! По всему вижу, что отцу ему надо мной дал волю, а сам думает: Василиса у него в душе правды заветной добудет; добуду, Иван Юрьич, да не для тебя... Только бы не нудил он меня к ласке противной, только бы... А бобы-то на что! Выручайте, разноцветные, вещице, разумные; перекидывайтесь правдою, ложитесь ясно, перешептывайтесь внятно...

Косой стоял уже в гридне и с изумлением смотрел на миловидную гадальщицу; она раскинула бобы по суконке и как будто прислушивалась к их шепоту...

— Молчат! Видно, тут чужой есть... Ах ты, Господи! Пропала моя головушка!..

И Василиса, собрав поспешно суконку, сидела на полу и притворялась крайне смущен-

НОЮ...

— Вот оно что! — сказал Косой. — Вот ты чем взяла и меня с батюшкой к себе приворожила, как только досуг, так к тебе и тянет нечистая сила. Ну, да благо попалась, теперь ты в моих руках.

«Кто в чьих, Господь ведает», — подумала Василиса и закрыла лицо руками.

— Плачь не плачь, слезы не помогут. Ведьмины слезы — вода, ну, что же твои бобы, на кого ты их бросала?

— На тебя, государь боярин! Ты мое солнышко, лаской твоей мое сердце полно, не гневайся на бедную рабу твою...

— Прочь! Не подходи! Стою будто на углях, угораздило меня связаться с чертовкой!..

— Правду же бобы сказывали...

— А что же они сказывали?

— После речей твоих ласковых говорить бы тебе не следовало. Да ведь души не переиначишь, зазнобу из сердца не вынешь, чтобы сердца не испортить... Горькая моя участь! Любить своего боярина и своего злодея.

— Да скажешь ли ты, что бобы...

— Скажу, князь! Скажу! Красный боб говорит серому: не верь ни старому, ни молодому. Тот детей своих съест, а этот жену татарам продаст за гривенку власти.

— Ты смеешь?..

— Не я, бобы говорят, что Андрей Васильич не изловчился в рукопашной схватке и под ноги не глядит, а лежащий враг ему сеть подставит. Сегодня первую петлю навязать хочет.

«Неужели она знает?» — подумал князь.

— Ну, что же ты еще от бобов прослышала?

— Ты не дал, боярин; вошел, бобы и замолчали.

— Ну, раскинь их опять...

— При тебе нельзя, а разве так: сядь ты спиной ко мне, да не оглядывайся, авось скажутся... Призадумался, князь!

— Чего тут думать! Ну, вот я сел по-твоему, раскидывай!

— Посиди маленько, заморозить надо; да пока заговор скажется, уже не поскучай, боярин...

— Ладно, ладно, только не мешкай, а то

отец придет. Тогда уже и я не спасу тебя...

— Да чего мне бояться! Я себе гадаю, как умею, ворожбой не торгую. Помолчи теперь, государь боярин, а я примусь за дело...

Василиса завернула кубок с бобами в суконку, поставила на скамье, сказала: «Смотри же, не оглядывайся», — и вышла... Косой сидел терпеливо, но прошло более четверти часа, Василиса не возвращалась. Он несколько раз порывался встать, крикнуть, но какое-то невольное любопытство его удерживало. Наконец Василиса вошла в гридню и завесила князю лицо тонким полотенцем; загремели позади него бобы, рассыпались... В тишине, господствовавшей в гридне, раздался шепот, похожий на шепот человеческий...

— Вот что! — сказала тихо Василиса. — Да кто же этот дворянин?..

Опять шепот...

— Максим? Так что же?

Шепот.

— Будто?! Вздор какой! Как он смеет!..

Шепот.

— Так, иное дело, когда сама царевна за него...

Косой вскочил; Василиса мгновенно свернула суконку с бобами...

— Сама царевна за него! — воскликнул Косой. — Говори, говори, что дальше.

— Поздно, князь! Не послушался ты совета: говорила я, сиди смирно, нет, вскочил, теперь начинай снова, и то навряд; пожалуй, бобы теперь и отвечать не станут...

— Василиса, душа моя, вижу, что ты знатная художница. Видимо, что ты можешь знать подноготную; раскинь, моя лебедка, а я тебя в задаток поцелую.

— Не подходи, князь; когда гадать, так уж целоваться нельзя. Садись на место, только помни завет. Я опять уйду...

Прежним порядком Косой просидел около четверти часа один; нетерпение его волновало, эта четверть часа показалась ему русским часом, который, как известно, втрое длиннее обыкновенного. Наконец дождался. Василиса вошла, но с особенною поспешностью.

— Старик идет! Старик идет! — сказала она, убирая бобы. — Можешь, князь, сказать ему про нашу ворожбу, если себя не жалеешь...

— Пожалей и ты себя, Василиса! Гляди, чтобы о художестве твоём никто не сведал... Идет!..

Василиса ушла в спальню. Старик вошел, посмотрел на сына значительно и сел на свое обычное место.

— Ну, сынок, дело идет на лад. Дворецким назначен, по-моему, Шастунов, человек он надежный... Ну, а твои дела?..

— Что мои дела? Я княгини совсем не вижу; сегодня и то мельком, когда ей няня доложила, что сенная девушка, Мавра, слегла, го-сударыня княгиня сказала: «Пусть князь о другой озаботится, это его дело».

— Что же ты, озаботился?

— Пришел к тебе спроситься. Мавра постельной была. Больно близкая к царевне — надо выбирать осторожно...

— Мало ли у царевича приписных сел и вотчин. Вели выбрать, только поглупее...

— А я так думал поумнее, да чтобы нам была преданна.

— А где такую возьмешь? Старую нельзя, княгиня рассердится, а молодая сейчас себе найдет между теремными покровителя и от

нас отшатнется.

Вошел дурак и, размахивая своей дурацкой шапкой, стал прогуливаться по гридне.

— Ты зачем пожаловал? — спросил Патрикеев.

— Видишь, совсем стемнело, скоро петухи запоют, а ты еще не спишь! Положим, ты молодец, да я-то не лошадь: пора прилечь, а пока ты в гридне, мы торчим в переходах, то и дело щелчками ободраемся. Так прощай, боярин, покойной ночи!

— Твоя правда, дурак! Точно с дороги дальней вернулся я, совсем разломило. И после обеда спать не дали, к государю позвали. Ну так прощай, сынок, про сенную завтра перетолкуем...

— Милости просим, — сказал шут, низко кланяясь Косому и указывая на двери... Тот перекрестился, поклонился и ушел, рассуждая: «Нет, неспроста дурак тебя спать гонит!»

«Нет, — подумал Патрикеев, — ты приходи, Косой, не про сенную толковать. Другая приманка: попадешься».

— А где Василиса?

— Она в своей каморке сидит, с гостем...

— Гость уже здесь? Зови его ко мне в опочивальню.

Василиса привела гостя в опочивальню, сама вышла и заперла в образную двери; боярин слышал, как она заперла и вторую дверь в гридню, но не поверил, вышел в образную и тогда только успокоился.

— Ну, Мунд, тебя в этой одеже, чай, никто на Москве не признает, а все нельзя тебе тут оставаться. Что тебя это, глупого, укусило: на площадях, на рынках, где только народ ни соберется, кричишь во всю холопскую силу противу Москвы да противу Ивана! Дурень, дурень, тому ли я тебя учил?..

— Хорошо научил, так хорошо, что взяли дурака да кнутом и высекли. Язык хотели отрезать...

— А кто выручил тебя, неблагодарный!

— Да за что же я тебе и служу. Язык-то мне оставили, да кнут-то не свой брат. Я и давай Москву благодарить за угощенье тем языком, что по твоей боярской милости мне оставили.

— Дурень, дурень! Да разве я тебя выдал? Будто я знал, что Андрей Васильич своего боярина Образца не пожалеет. А тот на попят-

ный двор, да на тебя и указал, а ты бы и сказал: «Я ни от кого не слыхал, будто государь брата Андрея в подвал засадить хочет, я про то никому не говорил да и говорить не мог». Тебя пугнули пыткой, ты от страха и растаял. Да ведь пытка в моих руках: похлопали бы мимо твоего тела, ты проревел бы на заказ, не сознался, и кончено. За Образца бы принялись; уж того бы пытали взаправду, сказал бы то, что надо. И то сказать, и кнутом-то тебя зыскали по-отечески.

— Уж точно «по-отечески». Рубцы на всю жизнь останутся...

— Ну, брат, это невзначай! Видно, болван зазевался. Да что, любезный, дело прошлое, не воротишь. Андрей Васильич уж как настаивал, чтобы тебе язык укоротить, да благо мой верх взял. И теперь тебя велено искать. Я сыщиков в Новгородскую волость направил. А все Андрей, покою из-за тебя никому не давал. Вот твой милостивец!

— Хороши все! Мудрость и ласка на языке, а в сердце змей сидит; горе вам, крамолой дышащая братия! Вы, я слышал, и закона отступились...

— Полно горланить. Все стоит по-прежнему, только покрышка другая. Язык твой погубит тебя, а я уж вступаться не стану.

— Ох, плоха на тебя надежда!

— Ну, не дурень ли ты, размысли сам? Не в моей ли власти кликнуть людей, махнуть рукой — ты без языка, махнуть другой — и ты без рук, кивнуть головой — ты на дне Москвы-реки, и за смерть твою мне скажут еще спасибо. Не я ли держал тебя в городских на свой счет, да ты стал не то рассказывать, чему я тебя научил, и оттолкнул мою руку...

— Суцая правда, боярин, каюсь. Я не подумал — злоба увлекла и...

— Дело прошлое. Кипит дело новое. Любишь ли ты Андрея?

— Злодея моего! О, боярин, дай мне нож да случай.

— Тише, тише, мне показалось... или точно, крысы завелись...

Боярин осмотрел все углы, вышел в образную, в гридню — там дремала Василиса.

— Видно, крысы, — прошептал боярин и ушел в опочивальню.

Долго беседовал он с Мундом, Василиса все

время дремала и проснулась только на зов боярина: «Проводи старика, Василиса!»

— Ну, прощай пока, а на Вологду я тебе дам проводников надежных...

«На Вологду! — подумала Василиса и мысленно повторяла, как будто затверживая: — На Вологду, на Вологду».

### III

## НАЧАЛО ИСПЫТАНИЙ

*Азбука — наука, робяткам бука.*  
Пословица

**К**афы не узнала Зоя, въезжая в знакомый город, где вышла она за Меотаки. Дом, где жили они, можно заприметить, но он давно уже в развалинах. Огонь и разрушение сделали свое дело исправно, оставив только обглоданный костяк некогда теплого приюта, где видела красавица много угождений и ласк старого мужа, но все же скучала в довольстве, не находя того, что в юности ценится дороже, чем внешние людские отличия — игрушки взрослых детей, — удовлетворения влечений сердца. Оно просилось на простор и заявляло

настоятельную потребность сочувствия, живого ответа на пылкую страсть. А красивой Зое давали золото вместо чувства, кормили да холили, одевая в бархат, в соболя недавно голодавшую нищенку, и полагали, что она должна быть вполне удовлетворена, попав на такое завидное житье. Не скоро сдалась она, положим, но сдалась же, привыкнув к мысли, что этой участи ничем не переменишь.

Она только думала, давно ли было все это? Десяток лет какой-нибудь.

И теперь вид развалин дома Меотаки, где все это переиспытало сердце Зои, не произвел, однако, на нее особенно болезненного ощущения после воспоминаний.

Море с его чистою лазурью и закатом те же, но город и люди — другие. Грек где-где покажется, генузец — еще реже, а все жида да турки — теперешние властители Кафы.

Послы московские из турецкого города Кафы снеслись с ханом и, получив приглашение, на татарских уже лошадях, с проводниками ханскими, должны ехать ко двору Менгли-Гирея. У Зои крепко забилося сердце, когда почтительный Никитин пришел пове-

дать его высочеству Андрею Фомичу, что они с князем Васильем отправляются в эту же ночь править посольство. Не одна она, но и развенчанный деспот выслушал с неудовольствием весть, расстроившую все планы их.

— А мы что же?

— Ваша светлость покамест останетесь при обозе нашем, а мы налегке должны... беспрерывно одни... потому что в грамоте говорится о двух послах, и турки уж спрашивали, зачем у нас больно много посторонних. Пронюхали злодеи, что и деспина тут. Уж намекали, что-де им в ханскую столицу ехать не полагается. Мы отстаивали, говорили все, что нет у нас женска пола, да турки знай себе в бороду посмеиваются... нет-нет да и опять за свое.

— Если турки догадываются, что я здесь, мы погибли! — с отчаянием всплеснув руками, вскрикнул трусливый потомок византийских владык.

— Из чего тут погибать... подождать оно только придется... день, может, один. А впрочем... все будет благополучно. Хану уже я по-итальянски молвлю — так, мол, и так. А с эти-

ми головорезами-то турками баять не приходится. В Эски-Крым к себе мы не замедлим вас переправить, истинно говорю.

Слушая убеждения эти, Андрей понемногу успокоился; не то было на сердце у Зои.

Разлучиться теперь с Васей и на один час ей казалось вечностью, а тут и сама неопределенность срока внушала ей справедливую причину очень понятного беспокойства. Делать, однако, было нечего. Спустилась южная ночь, и временное жилище, занятое главными послами московскими, опустело. Огонек долго светился в отдаленном углу помещения обозных людей посольских, где приютила скрываемого деспота с его женою заботливость московских друзей. Вася тяжело вздохнул, подымаясь на гору и потеряв из виду свет, указывавший ему место, где осталась Зоя, — после сцены ночного отпора грабителей ставшая для него предметом постоянной думы.

Быстро побежали татарские лошадки по кручам и рытвинам горного пути, им хорошо знакомого. Только крики «гайда» вооруженных всадников, составлявших эскорт послов,

время от времени нарушали безмолвие восхитительной звездной ночи, красоты которой не думали замечать ни Вася, ни бывалый в передрягах Никитин. Юношу занимала мысль о Зое, и он машинально держался в неловком татарском седле. Никитин ехал и обдумывал приветствие, намереваясь блеснуть перед Гиреем знанием восточных обычаев и пышностью льстивых фраз во вкусе турок, успевших усвоить себе привычку к раболепной лести и со стороны людей, ничего для себя от владыки Крыма, конечно, не ожидающих. Оттого во всю дорогу и ехали молча путники, словно враги заклятые. Но холод осенней ночи мало-помалу давал себя чувствовать, и влага росы измочила-таки порядочно одежды послов, прежде чем восток стал приметно светлеть, сообщая предметам далеко не полную определенность. Тихо, медленно увеличивается свет, поднимая с собою дымку тумана. Вот наконец туман этот стал алеть, потом багроветь, потом обратился он в ярко-светлую массу и редеть начал. Очевидно, что местность стала покатее книзу; увлажненная росой растительность получа-

ла более и более могучие размеры. Вдали слышались, словно из воздуха, неопределенные, дрожавшие звуки — отдаленные крики муэдзина, сзывающего на молитву. В одно мгновение татары спешили и поверглись головами к востоку, совершая намаз.

— Этак мы скоро и приедем? — спрашивал Никитин старшего, когда татары сели опять на лошадей.

— Да, немного мгновений изочтет Азраил у смертных, как ты, бачка, очутишься перед порогом благополучия. Могучий Гирей, да хранит Аллах дни его, встает с зарею и хочет принять вас зараз по выходе из мечети.

Вдруг на повороте из-за горы мелькнул минарет, за ним еще два других прорезали туман своими иглами — и показался амфитеатр плоских крыш. Въезжали в Эски-Крым, резиденцию Гирея.

Длинный переулок, обрамленный глухими стенами, — довольно узкий, впрочем, чтобы за беспрестанными зигзагами ехать по нему было удобно неодинокому всаднику, — скоро кончился перед узкою площадкою, служившею входом в жилище друга царя Ивана Ва-

сильевича. наших путников, как видно, давно уже здесь ждали. Лишь только показалась голова отряда в переулке, как знаки караульных у дворца Гирея заставили их ускорить шаг.

— Государь уж присылал осведомиться, здесь ли вы! — закричал чауш на предводителя, гневно махая. — Ужо вот будут тебе палки по пятам.

Конвойный смолчал, помогая послам сойти с коней. Прибывших тотчас ввели в низменную дверь внутреннего коридора, отделавшего жилища прислуги от гарема, очень необширного и далеко не роскошно содержимого. Тощий цветник за коридором и аллея платанов вели к киоску, где на шелковых пестрых коврах, куря кальян, дожидал Гирей послов московских. Он еще был средних лет и довольно красив. Под маскою благодушия чаще всего скрывал он коварные, зверские замыслы. Приветливо кивнул он послам, когда вступили они в киоск и внесли подарки, довольно умеренные. Иоанн хотел отучить названного друга от корыстных расчетов на московскую щедрость. Менгли-Гирей сделал бы-

ло гримасу, но тут же поспешил улыбнуться, когда Никитин стал произносить пышное приветствие, сравнивая в нем честь представления Гирею с приятностью вдохнуть в себя аромат эдемских цветов, распускающихся под лучом живительного взора Аллаха. «Тень же его на земле есть и останешься ты, высокомогущий Гирей», — заключил он, взглянув значительно в прищуренные глаза хитреца хана, прикидывавшегося на этот раз милостивым.

— Разумного мужа прислал к нам на этот раз брат наш Иван. Много мы ему благодарны за ласку и за охрану от общих недругов. Менгли простой человек, а Иван — зоркое око, проникает и далеко видит... раньше, чем мы можем подумать о грядущем бедствии. А кто хочет роз, должен и шипов хотеть! От предвидения родится спасение! Мы просили Ивана пустить к нам брата... и настаивали — он не склонялся на нашу просьбу. Да будет благословен Аллах, умудряющий смертного для охраны друга! Теперь сами видим, что худо бы было, коли бы Нордоулата прислали с Москвы. Пусть его воеводствует у брата Ива-

на да копит мудрость... Протягивай ноги по длине одеяла.

— Могучий Гирей, прибежище мира! — подавая грамоту, снова заговорил Никитин. — Государь великий князь посылает к тебе грамотку, чтобы было известно твое благополучие, что, как было доселе, враги твои — его враги! Сиди-Магмет тоже просил пустить к нему Нордоулата, но государь, провидя его козни, того же Нордоулата послал с нашими силами против этого самого недруга, и юрт его теперь в развалинах! Да еще государь, в изъявление к тебе, великому хану, своего царственного дружества, назначил царем в Казань благородного Магмет-Аминя, сына возлюбленной сожительницы твоей царицы Нур-Салтан...

— В цари казанские, говоришь! А Али-хан-то что?

— Изменник он! От войска царя Ивана в полон взят и отослан на Вологду.

— А?! Неразумный! Разве не знал он пословицы «лобжи руку, если не можешь отрубить ее»! — вырвалось у него как-то резко и жестко. Гирей задумался не на шутку. Он опустил

свою лисью голову с видом смущения, нелегко побеждаемого, однако кое-как совладал с собою и тоном, в котором отражалась теперь какая-то грустная робость, промолвил: — Брату Ивану Казани я бы трогать не советовал... Бог с нею! И без нее есть у него много домашних недругов. Тысяча друзей немного, один враг много! И камешек ранит голову! — заключил он пословицами, не в состоянии скрыть волнения, бормоча едва слышно: — Кто за многое берется — мало кончает.

Помолчав с минуту, Гирей поправился, позвал к себе Никитина и по-итальянски сказал ему сурово:

— Джовине, что ко мне привел ты, не затем ли прислан Иваном ко мне, чтобы поберег его я у себя, как он бережет моих братьев?

— Нет, государь, — почтительно поклонясь Гирею, ответил Никитин, — смею остановить твое высокое внимание на этом юноше. Государь выбрал его, как своего самого присного, для посольства к тебе, а я только второй посланец. Но речь вести мне велено как бывалому в твоей державе и известному тебе. Это — князь Василий Данилович Холмский, сын мо-

гучего полководца государя Ивана Васильевича и доброй его сродницы, воспитательницы птенцов государского гнезда его.

Гирей благосклонно взглянул на Холмского. Вася поклонился ниже пояса.

— Добро, добро!.. Пусть учится посольскому делу. Прок будет. Роза родится из терния... Подойди, друг!

Никитин перевел Васе слова ханские, и юноша, приблизившись, встал на колени. Гирей положил ему на плечи обе руки свои и велел подать парчовый халат — в подарок. Раздавая дары, Гирей шутливо повторил поговорку: «Видя тебя с пустыми руками, слуга говорит: спит эфенди! А дашь, так скажет: эфенди, удостой войти!» — намекая на малость привезенных из Москвы ему подарков.

— У вас есть также поговорка, государь, — отшучивался Никитин. — «Голого не оберут и тысячи конных», а дороги к твоему благополучию не из безопасных. И дружба истинная, прибежище мира, выказывается на помощи в нужде. Дары — вежливость!

— Сказал, что умника прислал ко мне Иван-брат, — весело отозвался Гирей на эти

слова разумного старца. Бархатная шуба и павлинье опахало вручено было тут же Никитину, который, откланиваясь и благодаря за ласку, просил Гирея позволить предстать к Нур-Салтан-царице, как повелевал государь Иван Васильевич. Менгли-Гирей соизволил. Встал и велел проводить в гарем послов московских, сам за ними туда последовав, медленно двигаясь на больных ногах своих.

Переход был недалек. Спустились за цветником в коридорчик, и через несколько шагов чауш исчез куда-то, а невидимая рука отворила узенькую дверь, сквозь которую блеснуло солнце.

— Войдите! — сурово и хрипло промолвил черный кызляр-ага в белой чалме. — Только... осторожнее.

Послы поспешили нагнуться и пролезть в низкую дверцу, против которой у окошка сидела на подушках величавая татарка в красном шелковом бешмете. В стороне, на низких нарах, на подушках у поднятой драпировки, сидело несколько красавиц, молодых еще, но значительно раздобревших. Они, будто не замечая вошедших, продолжали болтать друг с

другом, но величаявая ханша посмотрела в ту сторону с неудовольствием, и болтуныи смолкли, принявшись с любопытством озирать вошедших.

Величаявая госпожа была Нур-Салтан. Она уже не молода, но при значительной полноте тела успела сохранить много приятности во всей фигуре своей. Сидела она поджав ноги и вязала из золотых нитей и желтого шелка на длинных спицах сетку для любимого аргамака Менгли-Гиреева. Большого смущения ханша не показала, когда к ней приблизились послы и Никитин в двух словах объяснил ей цель представления. При имени сына улыбка непритворного удовольствия осветила энергические черты гордой повелительницы гарема.

— Брат Иван знал, чем потешить Нур-Салтан! Поблагодари его за милости к нам, почтенный шейх, — отозвалась она величественно Никитину. — Сын мой будет кунаком надежным белому царю Ивану, скажи ему от меня. Только пусть он не дает его в обиду своим воеводам.

— Будь благонадежна, ханум, государь,

возвысив, сумеет поддержать достоинство царя казанского.

— А лучше бы было, когда Казань была бы сама по себе, а Москва сама по себе. Ночь велика до утра, Аллах знает, что осветит заря! — кротко, но значительно ответил вошедший Гирей, сделав приметный знак неудовольствия, найдя одалиск без чадра, не спрятаннми, а смотрящими на москвитян.

Нур-Салтан, предупреждая грозу, сама ответила ему за них.

— Не должно делать тайны из скоропроходящего, говорят мудрые. Поэтому не гневайся, Менгли, что на твои жемчужины поглазееет старость и девство. Шейх, — указав на Никитина, — передал нам такую радость, от которой не только девушки, и я могла одуреть. А когда имам забывается, мечеть теряет к нему почтение. Так и со мной сделалось. Этот же оглан, — продолжала она, глядя по щеке князя Василия, — так молод, что к нему без обиды можно применить изречение: «Мед — одно, а цена ему — другое дело»!

Гирей неискренне рассмеялся и сел, дав знак присесть подле себя и послам. За спина-

ми их тотчас неприметно упала шерстяная завеса, скрыв за собою группы гаремных за-творщиц, кроме Нур-Салтан, остававшейся на своем месте, за работою. Вышли и прислуж-ники.

Никитин, не видя посторонних, тотчас за-говорил хану, что с ними едет брат супруги великого князя, скрываясь с женою от турок в Кафе, и желает, по обстоятельствам, чтобы его прибытие не огласилось. Затем чтобы в Венгрию ехать ему с послами же, когда Гирей их отпустит.

— Где же он... брат жены Ивановой?

— При обозе нашем в Кафе, доносил я, при-бежище мира!

Гирей ударил в ладоши, и его кызляр-ага, исполнявший должность гофмейстера, пред-стал смущенный пред лицо хана.

— Чтобы обоз посольский со всеми людьми их переправить сегодня же ночью сюда бережно. Слышишь? Бережно!

— Будет перевезен со всею осторожностью.

— Никого из посольских людей ни о чем не доспрашивать, при турках особенно! — прибавил Гирей значительно и медленно. —

Ступай!

— А вы, послы, конечно, погостите у нас... Ужо я заготовлю грамоту Ивану.

— И я подарок пошлю, — прибавила Нур-Салтан. — Скажи, добрый человек, — обратилась она к Никитину, — что было бы всего приятнее получить от нас твоему государю?

— Л ал красный твой получить было бы ему любо, — ответил не задумавшись Никитин, — хотя он и не просит его, да и ты не отдашь?

— Пошлю — вот тебе рука моя. Порадовал он меня на старости, и я ему подарю свой самоцветный камень.

Гирей нахмурился было, но, взглянув на Васю, на лице которого мгновенно выразилось неудовольствие на Никитина, как он думал, сделавшего бестактность, сам засмеялся. Положил свою руку на плечо молодому князю и сказал благосклонно:

— По матери скучно? Не тоскуй — жену дам... Развеселит! Все горе твое как рукой снимет, ходи на базар... На базаре у нас невольницы бывают такие, что пальчики оближешь. Выбирай любую — твоя! Я ответчик.

Вася улыбнулся как-то принужденно на такое ханское милостивое предложение.

— Ну, видишь, какая отгадчица я! — промолвила Нур-Салтан, досказав глазами, что она понимает под своею разгадкою Васи.

Гирей еще больше развеселился и, подталкивая в бок Никитина, повторял:

— Веди его, веди, старик, на базар. Я тебе говорю! У него разбегутся глаза... разбегутся... увидишь! — И сам смеялся, на этот раз искренне, своей выдумке.

Тут внесли круглые подносы со сладостями да фруктами и поставили их на пол перед усаженными послами. Хан сам опустил руку на поднос. Взял горсть фисташек и, приведя, по обыкновению своему, пословицу: «Еда прежде, речи после!» — принялся их раскусывать. Тут подали кальян Менгли-Гирею, и он склонился на подушку.

Никитин дал знак Васе: они поднялись и откланялись хану с ханшей.

Вот вышли они из коридорчика, и пристав-татарин пошел впереди них из дворца ханского направо.

— Куда же? — говорит ему Никитин, знав-

ший, что послам отводится обыкновенно помещение в дворцовом флигеле, насупротив входа в гарем. — Ведь сюда надо?

— Да мы и придем сюда. А прежде хан велел вас сводить базар посмотреть. — И сам засмеялся глупо-нахально, подмигивая на Васю.

Идти было недалеко. И весь Эски-Крым меньше московской Бронной либо одной из Мясницких слобод. Опять по переулку, пыльному и узкому, вышли на развал — грязный пустырь, где толкается всякий люд, в том числе и крещеные, и казаки попадались, но больше, конечно, халатников-татар, да видны и жидаы в малахаях. Жидаы, по обыкновению сидят, высматривая робко из своих крошечных лавочек покупателей хлама. А татары здесь слонялись без дела или сидели на корточках перед живым товаром.

Тут происходил торг людьми, со сценами, дававшими полное понятие о зверстве и дикости татарской орды. У какой-то полуразрушенной стены, не совсем высокой, на пространстве нескольких сотен квадратных аршин размещены были сотни жертв разбойничьих набегов крымцев на соседние страны:

Польшу, Молдавию, Русь нашу. Под войлочными навесами, на дранках, на рогожках, кое-чем прикрытые или почти не прикрытые ничем, сидели, стояли и лежали люди обоего пола и всяких возрастов, которых продавали как домашних животных.

Когда проходили послы, у крайней лавчонки цирюльник-турок брил какого-то хаджи в красных папушках[22], а перед ним трое покупателей торговали двух невольников и невольницу. Невольница была средних лет, довольно полная, круглолицая молдаванка, подпоясанная каким-то грязным передником взамен прочей одежды. Мясистые формы этой женщины от тоски, плена, утомления в пути и, может быть, от держанья впроголодь неуклюже обвисли, составляя при бледности смуглой кожи картину далеко не привлекательную. Покупатель гладил по плечам этой бедняжки и водил по шее и бокам ее своими грязными руками, должно быть бракуя товар за опаденье жира. Купец повертывал свою жертву, ставя ее к свету и заставляя проходить точно так, как барышник лошадь на конной. Наконец, кажется, сладились. Купец

набросил на молдаванку какой-то широкий малахай, и она пошла в сторону за своим покупателем. С мальчиками дело разошлось. Больно уж худы и заморены были. Да к тому же так были избиты татарскою плетью, что полосы всех цветов, от багровых, широких, вздувшихся рубцов до опавшей опухоли с радужными зелеными оттенками, покрывали все бока и спины этих несчастных.

Картина была действительно оригинальная, но едва ли способная навеять молодому существу, не закаленному в пороке, что-либо другое, кроме горькой тоски и соболезнавания. Вася, воспитанный в терему, между женщинами, где при дворской чинности видел он одно кроткое обращение с прислугою да ласки детей к мамушкам, побледнел, как взглянул на это ханское угощение, без сомнения назначавшееся с другими видами, чем возбуждение в нем отвращения.

— Афанасий Силыч, пойдем отсюда скорее, — прерывистым, чуть слышным голосом обратился он к Никитину. Путешественник в Индию, в свою очередь, передал приказ чаушу, поставленному в крайнее недоумение. Не

с ума ли послы сошли, думал он, что бегут от зрелища, так любимого всеми татарами, готовыми прослоняться здесь от восхода до заката, только бы был досуг.

Однако при повторенном приказе чауш повиновался, хоть и неохотно. Через минуту Никитин и Холмский сидели в отведенном для них чертоге на подушках, шелковых, но страшно грязных и пыльных.

Отдохнув несколько от тяжелого впечатления, вынесенного с базара, Вася высказал Никитину, что, пока они будут оставаться здесь, думает он сколько-нибудь поучиться по-татарски, чтобы разуместь, что говорят.

— А то, дядя Афоня, баешь хану по-таковски, что только глазами хлопаю да думаю, не сплю ли и не во сне ли вижу я все это.

— Ничего, поучись, князь. Татарский язык после нашего не покажется тебе мудреным; поймешь скоро — была бы охота слова затверживать. Уж коли эллинские запомнил, так это — плевое дело! Вот ужо потребуем муллу, чтобы по-нашему знал и разбирал грамоту: ты писать ему будешь, а он тебе по-своему переведет и выговорит, чтобы ты повто-

рил. Так и будешь знать, как что прозывается. А что не поймешь, так я помогу. Разве вот что? Некогда будет ученье-то вести. Ведь завтра Андрей Фомич здесь будет. У него все и будешь торчать да по-греческому лепетать! — А сам залился добрым смехом, к явному неудовольствию Васи, в душе совершенно точно то же предполагавшему, только признаться в этом он не хотел еще, торопя требованием учителя...

О желании княжеском заявил Никитин пришедшему к ним тогда же с завтраком кызляр-аге, и тот обещал исполнить немедленно послово требование. К вечеру действительно явился мулла, знавший по-русски, и дал урок Васе, казалось принявшему начало татарской премудрости с большою охотою.

А тут и ночь наступила как-то внезапно.

Послы не спали долго, разговаривали. Никитин завел беседу про свои странствования, и под говор словоохотливого рассказчика грустный Вася крепко заснул.

Ему привиделся страшный базар, и на нем среди искалеченных детей кто-то, словно знакомый, называет Васю по имени жалобно так

и словно плачет. Забыл, говорит, ты меня скоро и не узнаешь?.. Видно, я страшна стала в горе и унижении! Трепещущий Вася всматривается и узнает Зою. Хочет к ней бежать — не пускает чауш. Из-за него же со смехом, в котором чувствуется злоба, выступает Палеолог. «А, дружки! Так вы так-то?.. Проводить меня вздумали? Да я ведь не промах. С женой разделаться сумею, а о твоих проказах державному шурина распишу. Тащи ее!» Вася видит, как черные руки схватывают за косу молящую Зою, и — лишается чувств. Сквозь сон потом будто слышал он, как входили к ним люди, называли снова его по имени. Только летаргия физического и морального утомления держала его в каком-то онемении, не давая возможности подать голос. Уж высоко было солнце, когда дремота выпустила из своих объятий молодого посла. Он открыл глаза, и первый предмет, попавшийся ему, был мулла-наставник.

Пока с ним занимался Вася уроком, Никитин уже посетил прибывшего деспота, помещенного у одного армянина в семейном доме, где были и женщины.

Туда, по местным обычаям, Васе идти было непригоже, да и нельзя было видеть Зою, конечно упрятанную на дамскую половину и переменившую костюм на обыкновенный свой. Этого потребовал Андрей, которому по отъезде послов вспало на ум подозрение и, все растя в голове его, с переездом в Эски-Крым обратилось в нечто положительное. Он находил представление его Зоею чересчур уж наивным, чтобы не заметить большего, чем вежливость или простое расположение, в торопливости жены видеть послов немедленно по приезде, несмотря на ночное время и не думая о приличиях.

Бесполезные же усилия разбудить Васю, которые употребляла деспина, вывели из себя Андрея, и он увел ее почти насильно, сделав историю, которая при других обстоятельствах, в Кафе, например, могла бы наделать хлопот чете супругов.

Никитин после урока муллы все это передал Васе, услышав из уст самого Андрея Фомича подробное объяснение и его подозрений и всех похождениях их в минувшую ночь. Можно представить себе, с какими чувствами все

это выслушал Вася. С горя он ревностнее обратился к ученью.

Печальное настроение, как известно, заставляет нас обращаться именно там, где мы ожидаем встретить явления, подходящие к нашему горю и скорби. И Вася, убежав в первый раз с базара чуть не оглядкой, при грустной шутке судьбы с ним, с какою-то сладостью пытки стал регулярно посещать место продажи невольников.

Посещая же базар, он покупал русских невольниц, по чувству патриотизма давая своим, конечно, предпочтение в выборе личностей, которым делал благодеяние. Неволя всем и везде тяжка, но истязания, которым подвергали татары свои жертвы, усиливали потребность освобождения несчастных.

Менгли-Гирею тотчас же донесено было, что молодому послу не понравилась мнимая потеха, которою он думал повеселить его с дороги, а потом, когда сказали ему опять о прогулках князя Васи по городу, он только ограничился замечанием — пусть привыкает! — и не велел его останавливать или мешать его прогулкам. Мало того, когда через несколько

дней Калга-Султан воротился с наезда своего на Южную Польшу, привезя тысячи пленников, хан выбрал молодую красавицу польку, какую-то княжну, похищенную из дома родительского, и пожаловал ее в дар молодому послу московскому на прощальной аудиенции, когда вручал грамоту к Иоанну.

Зоя узнала про этот подарок в тот же день и не могла скрыть неудовольствия своего от армянок-рассказчиц; дав, впрочем, такой оборот своей вспышке, что ей тяжело видеть и убеждаться, как враги Христовы — татары, не могли сделать другого зла христианам, стараются их нравственно портить.

Так ли поняли и вполне ли поверили армянки? Как женщины, вообще способные видеть дальше мужчин, особенно по части верной отгадки душевных ощущений, — мы поручиться не можем и не беремся. Деспот, со своей стороны, узнав об отпуске ханом послов московских, отдал приказ также готовить обоз для следования в Венгрию, в хлопотах, однако, не забыв про свою ревность.

Прошло еще дня два, пока готовили отряд для провожанья московских послов, назна-

чив по просьбе Никитина старых знакомцев их. Послам удалось запасть в свою очередь вьючным скотом, променяв на волов лошадей. Наконец настал час отъезда и, вручая своему мулле достойный пешкеш, Вася объяснился уже с ним по-татарски. Под выкупленных от татар невольниц снарядили четыре повозки, в одной из них поместилась княжна — подарок Гирея.

Красивая полька не могла на скучающего юношу не произвести впечатления. Но на первых порах Васе показалось, что при виде пленницы чувствует он только простое сожаление к горькой судьбе ее. «Может быть, — рассуждал сам с собою князь, — удовольствие, доставляемое мне подарком Гирея, такое же точно, какое испытывал я при выкупе и каждой новой невольницы? Здесь есть, конечно, внутреннее довольство: что успел сделать добро. Но за него могу я ожидать разве немой благодарности, не имеющей за собою никаких последствий. Была — заботился о ней; передам куда следует в свое время и — забыл!»

Но он ошибался, как увидим.

Сперва требовалась вежливость: лично осведомиться у несчастной, хорошо ли помещение ее и все ли удобно ей. Взгляды, бросае-мые прекрасною пленницею на человека, сде-лавшегося по воле хана распорядителем ее судьбы, естественно, должны быть робкие, а не любящие. Но отчего после первой встречи они стали так нежно останавливаться на юноше? Этого от невольницы в отношении к себе господин не может потребовать. Стало быть, есть в этом доля шаловства ее самой или же простая издевка. А может быть, еще и неполная уверенность в настолько молодом юноше.

Ну, как ему покажется отягощением везти обузу с собой да он передаст кому-нибудь пленницу? Чтобы не дошло до того, нужно заручиться, возбудив в нем сочувствие к себе; будет вернее. Вот полька и старается при-учить к себе Васю, следя за ним, где он пока-жется, до тех пор, пока он взглядывает и оста-навливает на ней взор свой с незнакомою ка-кою-то тревогой.

Скоро привык он к этому озиранью своей пленницы и начал с нею даже заговаривать.

Особенно когда они поехали на новую службу и приятные виды южного берега Крыма сменились унылою степью.

Безбрежное пространство степи растительность успела уже роскошно одеть зеленым ковром своим, имеющим поэтическую прелесть только, конечно, для людей больше развитых, чем наши путники. Нетрудно отгадать, что они скучали. Деспот с первого же шага в путь распорядился ехать от послов в близком расстоянии, но не вместе, выпросив себе у них и часть татарского конвоя.

Так оба стана и едут больше недели. Переправившись через широкий Днепр на порогах, миновали уже наши путники Буг, все поднимаясь выше. Вот вступили даже в лесистую полосу, близкую к Карпатам, когда в одну ночь подкрались, к счастью не врасплох, разбойники.

Стража слышала впотьмах отдаленный топот, потом поближе ржанье коней и осторожный шорох. Все это заставило людей быть чуткими. Они приготовились. Зарядили пищали. Ждут. Вдруг крики с разных сторон, и — началась кутерьма! Первые же выстрелы

разбудили оба лагеря. Мужчины бросились с оружием на поддержку отбивающейся стражи. «Пиф-паф» — слышалось только при мгновенном освещении ряда повозок. Хищники вдруг с криком бросятся — начнется рукопашная. Отобьют — перестрелка. И опять крики и свист сабель.

Вооруженных было, однако, достаточно, чтобы постоять за себя, и хищникам не только не удалось чем-нибудь попользоваться, а пришлось поплатиться даже частью своей добычи. По признакам догадались потом, что это была ногайская орда, на свой страх делавшая недавно наезд на Южную Польшу одновременно с Калгою, который, конечно, рад еще был возможности разобщения сил отпора против себя, с набегом партии в другом месте. Не скоро признав недавних союзников-крымцев в ночном набеге на защищаемые ими станы, ногайцы потерпели тут урон очень чувствительный. Долго пришлось, однако, и победителям работать саблей, потому что отбитые наездники не раз и не два повторяли свои наскоки, соединяясь и налетая вновь, как саранча, да все силясь врубиться в

обоз, не заботясь о потерях. В конце концов, однако, они должны были со светом рассеяться, безрезультатно истощив свои силы.

Когда солнце выглянуло из-за горизонта на недавнее побоище, с десятков людских трупов валялись там свидетельством жаркой схватки. Переколотые лошади заставили разбитых отпрячь под себя коней от телег с полным и этим лишили возможности исчезнувших хищников тащить за собою крепко увязанные повозки, из которых раздавались жалобные вопли.

Броситься к повозкам этим и извлечь из них десятков пленниц, крепко, но бестолково перевязанных, было для послов наших самым первым делом по одержании победы. Гнаться же за побитою ватагой никому и в мысль не приходило, особенно когда сами победители, в большинстве раненные, нуждались крепко в покое, заставив всех наличных женщин заняться перевязкою в возмездие за спасение и охрану. Выполнять эту легкую обязанность явилась и Зоя.

Проходя мимо князя Василья, деспина умышленно толкнула его, показав ему тем яв-

ный гнев. Кротко посмотрел на нее грустный юноша, не промолвив слова и не прося перевязать руку, истекавшую кровью. Но бледность его и красные капли на одежде мгновенно переменили расположение ревнивицы. Она бросилась к нему с криком: «Ты ранен? Истекаешь кровью!» И, ничего не помня более, повисла на шее, плача.

По счастью, некому было, кроме Алмаза — верного спутника Васи в памятную ночь начатия его похождения — подсматривать за этою сценою, конечно длившеюся одно мгновение.

Придя в себя, Зоя разорвала свою фату и перевязала руку Васи, а уходя, погрозила ему пальцем и шепнула: «После поговорим!»

## IV СЮРПРИЗЫ

*Узнать судьбу ты хочешь? Не узнаешь.  
Гаданье — промысел шарлатанов, об-  
манщиков из-за денег.  
Одно лишь истинно: возмездье злом за  
зло.*

Монолог из старой трагедии

Грустная княгиня Елена Степановна не находит места под тяжестью постигшей ее утраты. Подавленная великостью бедствия, она не верит в возможность наступления для себя сколько-либо отрадных дней в будущем. Но боязнь козней при своей беззащитности и страх за будущность сына пересиливают в ней все прочие мрачные представления. Она не надеется на поддержку Ивана Васильевича. Княгиня — дочь Патрикеева — старается вкратце в расположение горюющей царственной вдовы и пускается разуверять в представлении себе Еленой Степановной в излишестве черноты своих обстоятельств. Их, однако, компаньонка не знает настолько, ко-

нечно, как сама вдова Ивана-молодого. Елене представляется зловещею самая сдержанность с нею окружающих. Она думает, что если не все уже открыто, то открывается и делается ясным свекру, до сих пор к ней чересчур милостивому. Каким окажется он, все узнав, ей страшно даже и подумать. Наплыв грозных представлений следствия сношений ее с жидовствующими, из которых мистр Леон, как сообщили ей, взят и осужден на казнь, заставил Елену Степановну зажмуриться даже.

— Княгинюшке угодно препочить? — робко и вкрадчиво спрашивает вполголоса хитрая дочь Патрикеева.

— Нет, мой друг княгиня, мне тяжело... страшно... за себя и сына... О! Что будет с нами?.. Меня мучат предчувствия недоброго.

— Полно, свет наша ясный, губить свое дражайшее здравие, отдаваясь страхам да ужаси... Это, государыня моя, немочь у вас, смею доложить! Не знаю, как она прозывается, а доподлинно немочь.

— Я рада бы, душа моя, сама освободиться от этого горького раздумья: сердце ноет, нападает ужас даже...

— Немочь, родимая... немочь, поверьте.

— Я, однако, ничего не чувствую, опричь тоски. Спать — не могу...

— Так, если не противно будет, позволь, дражайшая княгинюшка, изречь рабе твоей правое слово. Можно бы?! — Она стала озираться, словно что подслушивая и высматривая: нет ли кого в тереме? — Нас двое только, — сказала она наконец про себя, но так, что княгиня слышала.

— Двое? Так что ж?

— У меня есть гадальщица: зернь раскинет — все увидит, что было и что будет... Как по книге распишет. Я, матушка княгиня, признаюсь перед тобой (дочь Патрикеева, вспомнив наказ отца ввести Василису, старается всклепать на себя напраслину мнимым искренним признанием в недозволенной страсти)... томилась... не смею никому открыться... замужнее дело... Мне и отыскали эту самую гадалку. Как пришла да развела бобы, так и стала мне открывать подноготную. Испугалась в те поры я, да она уверила меня, что это одна она да я знать будем. И воистину. Все сбылось до крошечки.

— Что же ты этим хочешь сказать, душечка-княгиня? — затронутая за живое, нетерпеливо спросила хитрую советчицу Елена Степановна, положив ей на плечо горячую, как огонь, руку свою.

— И тебе, лебедь наша белая, погадать бы у этой гадалки? Я пойду и приведу мигом... только соизволь... а вечер... долог.

— Пожалуй! — не совсем охотно или, лучше сказать, несколько недоверчиво к цели сделанного совета ответила Елена.

Княгиня вышла и скоро воротилась в сопровождении высокой женщины, одетой роскошно и не без примеси чего-то фантастического, способного подействовать на воображение.

При входе та поклонилась молча вдове-княгине и, подойдя к ложу, на котором полулежала-полусидела она, одетая, протянула руку. Взгляд ее, обращенный на скорбную княгиню, до того был мягкий и ласкающий, что Елена машинально положила свою маленькую ручку на пухлую ладонь пришедшей.

Совсем уже смерклось. Зажгли свечи и за-

дернули завесы у божниц. Елена Степановна встала и села у стола. Василиса (это была она) высыпала из кружки бобы, дав предварительно вынуть один из них самой скорбной княгине.

— Все пройдет, родимая, к веселью да к радости! Лихо не помянется... Слуги твои верные устроят как следует! Положись на старшего! Видишь, боб синий, моя лебедушка... лег поперек бобкам сомнительным — поворот на счастье?! Да (мгновенно прикинув к уху Елены, сказала ей тихо: «И зазноба согрет»), расцветешь для любви и сладости! — докончила она вслух. Елена покраснела и взглянула гневно на дерзкую.

Гадальщица выдержала этот взгляд твердо и решительно, так что княгиня поддалась раздумью. Водворилось молчание.

— Что же еще? — спросила княгиня-вдова с возбужденным любопытством.

— Тебе, государыня, не любо, что высказываю правду, — так что же, мне продолжать?

— Полно, полно! Это я так: говоришь о радости, когда я не верю в нее, — промолвила ласковее Елена. — Продолжай небоязненно!

— Изволь, государыня, только ведь у нас не кабала какая — самая истина! — ответила Василиса обидчиво, слово «кабала» произнеся с особенною интонацией, заставившей вздрогнуть обеих княгинь.

— Птенец вырастет для венца, венец золотой — голове украшение... подданным на почитание... В сиянье державства просветлеет родительница, на радость да на милость рабов преданных. Они, голубчики, усердствуют, охраняют от враждебников... много будет... — и замолчала, заслышав отдаленные звуки.

Княгини встали и смотрят ко входу. Дочь Патрикеева рукою показала Василисе отойти за занавеску ложа. Вошел Максимов, поклонился Елене Степановне в пояс и оповестил, что князь Иван Юрьевич желает представиться государыне княгине.

— Проси князя, — ответила не без смущения Елена и опять села у стола.

— Государыня! — входя и почтительно кланяясь в пояс, сказал Патрикеев. — Позволь тебе промолвить словечка два наедине. Очень нужно.

Елена дала знак выйти всем за двери.

— Схарию ищут! Показал на него какой-то чернец. Повидать бы твоей чести завтра утром митрополита да поговорить, чтобы он не больно налегал на эти исканья. Старец наш спрятан надежно; надо переправлять его бережно. Коли не разошлет митрополит грамот о его поимке — мы успеем выпроводить, — одно слово, помедлил бы до собора... Да не давал бы хода наветам осиповцев про Схарию.

— Я так и знала, — ломая руки в отчаянии, промолвила Елена, совсем растерянная. — Сердце-вещун у меня!

— Не пугайся, государыня, особенного страха нет еще, только... принимать меры. Иван Максимов ваш государю, свекру твоему, кажется подозрительным, так не проси за него, коли куды и вышлет. Прощения твои будут, не ровен час, в примету... Подозрения больше возбудят.

— Максимов — человек преданный... Жаль! Но... если не советуешь поминать про него, удержусь! — едва владея собой, ответила Елена. — Только ты, князь Иван Юрьевич, не оставь меня, сироту, — заключила она жа-

лобно.

— Будь надежна, государыня, не лиходеяй тебе и чаду твоему! И не клади на сердце никакого сумления. Я не ворог тебе — родня... Почитай, недалекая...

Она взяла его за руку и что-то еще хотела сказать. Вдруг вбегает дворянин, дневальный.

— Меня, што ль?

Тот кланяется.

— Так соизволь, государыня, напаять, о чем говорено, счастливо оставайся, Алена Степановна. Долго нельзя, вишь, отлучаться-то мне от державного. Не больно спокоен он теперь. И вечером требует...

И князь, ступая на цыпочках, поспешно пошел по коридору, но воротился, будто что припомнил, и еще наказал стоявшей посреди ложницы Елене:

— Не показывайте только вида беспокойства да тревоги. И не запирайтесь в терему. Лучше бы созвать на вечер, кого изволишь...

— Хорошо! — отозвалась несколько успокоенная последними словами дворецкого Елена. Подойдя к кровати, она увидела вышедшую из-за занавеси Василису.

— Поди, друг мой, теперь к себе. Мы тебя позовем вдругорядь. А за труды — вот тебе! — Елена подала ей корабельник и указала на дверь. — Няня! — прибавила княгиня повелительно. — Проводи эту добрую женщину до переходов.

— А где же княгиня Марья Ивановна? — спросила она свою няню, надевавшую шугай.

— В подклет спуститься изволила, принарядиться к вечеру — батюшка ей что-то тоже шепнул.

— Ах, да! Иван Юрьевич желает, чтобы мы приняли боярынь знакомых. И мне нужно волосы пригладить. Маша! Феня! — закричала она своих сенных девушек.

Через минуту ей принесли фиолетовый сарафан и того же цвета парчовую телогрею. Темная меховая шапочка с золотым полумесяцем прикрыла головку молодой вдовы, и дымчатая фата с блестящими цветами в узор, накинутая на плечи Елены, dokonчила парадный убор царственной вдовы.

Через полчаса дочь Патрикеева уже представляла Елене Степановне двух дальних свойственниц своих, княгинь Ряполовских, и

мужа младшей из них, князя Семена, впервые выступившего на ратное поле под Казанью в памятное лето, с которого начался наш рассказ. Блистательная красота смуглого воителя произвела на Елену сильное впечатление.

Красавец этот, по обычаю, скоро ушел, услышав на прощанье принятую фразу: «Бывайте почаще у нас» — со стороны дочери Патрикеева.

— Не так ли, государыня? — спросила она Елену.

— Да... нам будет сие... не неудобно, — отвечала, запинаясь, царственная вдова не без особенного принуждения.

Гости-тараторки продолжали щебетать неустанно и мало-помалу успели разговорить грустную хозяйку до того, что она сама на минуту увлеклась общею веселостью.

Вдруг слова «государь идет!» навеяли на всю компанию в тереме Елены мгновенное волнение.

Иван Васильевич вошел в терем невестки грустный и скорее растроганный, чем сердитый. Впалые глаза его и проявившаяся в последние недели (после смерти сына) седина в

кудрях и бороде придавали энергичному образу монарха оттенок усталости и утомления.

— Веселите, веселите, княгини, пташку мою, а то она совсем зачервиеет в своей одинокой клеточке, — ответил он на приветствие боярынь, стараясь вызвать на суровые уста улыбку, садясь подле невестки и испуская невольный вздох. — Ну, как ты поживаешь, баловница?! — прибавил он, взяв ее руку и смотря ей внимательно в глаза.

— Твоими святыми молитвами, батюшка, Алена твоя с Митенькой живут, пока Бог грехи терпит!..

— Да... правду говоришь... Бог много терпит... зная грехи наши и ведая Аленины шалости... Ждет покаяния!.. Не велит он, Создатель, добиваться узнания будущего, а ты, легковерная, и вправду думаешь, что может человек разгадать веления судьбы по ладони да на бобах, что ль? Это, друг сердешный, плутни людей с нечистою совестью, уловляющих простячек таких, как ты у меня. Все вы, бабы, любопытны — вот вашим легковерием и пользуются пройдохи!

— Государь милостивый, — вступилась

старшая из Ряполовских, живая, остроумная болтунья, — да коли изволишь ведать, нам, бабам, без гаданья жизнь — не в жизнь. Вы, мужчины, скрываетесь, где по службе, где у бражников на хмельном пиру, на веселье, а жене со скуки чем коротать время да утолять скорбь-тоску безысходную? Ну — и давай зернь раскидывать! Одно, то, время сокращается; другое, кое-что и покажется, на дело похожее, и догадаешься... сколько-нибудь. — И расхохоталась сама.

— Толкуй ты, баба, у меня про коротанье времени. Бобы — плевое дело: забавляйся, пожалуй. А то мою Аленушку злые люди чуть не вовлекли во все тяжкие...

— Неправда, государь, — со слезами ответила Елена... — Не верю я бредням всяким.

— Ладно, ладно, не веришь, и я не верю, — переменяв тон на более мягкий, продолжал Иван Васильевич, — да вон греки говорят со старцами вместе, что любишь ты, касатка, разгадывать судьбу?.. Прозирать будущее в видениях каких-то?.. Старец там какой-то? Чудодей... с жезлом магическим?.. Ночь! Те-ни! Звуки неведомые?.. — медленно произно-

сит государь, смотря на невестку в одно время ласково и вопросительно. — Ведь что-нибудь похожее было же у моей трещотки?! — закончил он посмеиваясь и желая прочесть ощущение в глазах ее. Его, однако, умела скрыть Елена, принимая вид олицетворенной добродетели.

— Злодеи мои говорили это, видно, не зная, чем очернить в глазах твоих, государь, беззащитную вдову.

— Сплетники скорее, моя милая! — совсем успокоенный миною и голосом невестки, сказал Иван Васильевич. — Да ты не горюй — мы сохраняем к тебе все наше родительское расположение. И коли не подтвердится извет — казнь примерная клеветникам: языки повытяну да укорочу железом каленым! Что ты невинна настолько, как сказали, я сам лучше всех знаю. А о дурачествах своей баловницы Елены больше ей и не помянем. Будь покойна!

Он встал и вышел, знаком приказав не провожать его.

Все остались на местах, как ошеломленные.

Гости тоже скоро поднялись и, извиняясь поздним временем, поспешили домой. Ушла и дочь Патрикеева, имевшая надобность сделать донесение родителю.

— Няня! Ты слышала? — спросила вполголоса Елена, садясь на постель и протягивая ножку, чтобы сняли башмак.

— Как не слышать, мое солнышко, государь явственно сказал. Видно, про все допытались? Недаром проклятого жидовина-смутника и ищут везде! А другого злодея, что уморил государя, сожителя вашего, — жечь завтра станут. Да поделом ему, ворогу! Разорил он счастье Алены Степановны!..

— Няня, неужели ты подозреваешь Леона в коварстве и вреде Ване?

— Еще бы тебе. Он, злодей, уходил его, злобяся на княжича нашева, за что, смеху ради да мачехе назло, сладил свадьбу гречанки той непутной, что мачехин брат оженился. И все они одной шайки с жидовином. И Федька Курицын, говорят, их же секты. Мне вона старец чудовский сболтнул что? И протопопы благовещенские, Денисей да Семен, той же ереси держались и попались, сердешные! А отцы-то

какие миленькие: разумные, ласковые, низкопоклонные. Силен враг рода человеческого и во священстве, да ничего не поделаешь... Судить будет и попов собор.

— А как бы, няня, завтра нам утром к митрополиту сходить...

— Не ходи, лебедушка, сотни глаз на нас смотрят. Осиповские монахи с подворья не сходят да все своему отцу начальнику на грамотке пишут. Да кто же сказал к владыке-то толкнуться?

— Князь Иван Юрьевич просил.

— Ответь ему: пусть сам... Его дело мужское! Не в примету будет. А ты, Ленушка, сердце мое, не прогневай государя... коли у него есть на тебя подозрения.

— Нельзя, няня.

— Чего нельзя? Упрись: не могу — и все тут! Пора тебе, княгинюшка, так себя поставить, чтобы патрикеевцы в тебе, а не ты в их заискивала. Неспроста ведь поставили они всех своих? Берегись ты этой востроглазой Марьи Ивановны. Она все куда-то бегают. И теперь унесла ее нелегкая. Смекаю я, что к отцу полетела. Мне, видит Бог, это все неспро-

ста кажется. Уж я смотрю за ей зорко и ни в чем не верю: все она толкует непутное. Все патрикеевцы распинаются, а сами... себе на уме.

— И еще, ты отрываешь у меня от сердца одну надежду!.. Коли не князь Иван — кто же за меня?

— Да князь Иван должен держать твою руку, чтобы самому не пропасть, так ты не особенно перед им склоняйся. Вот что я говорю! Ваничку-друга, ангельскую душу, вынянчила я. Умирает он, голубчик мой, да и говорит: «Няня... служи Алене моей — как мне!» Этот завет самой повелевает мне к тебе, чем была я для него. Я и оберегаю тебя, неммысленую. Молись Богу да спи!.. Утро вечера мудренее.

Татарка-девочка лежавшей княгине-вдове стала пятки чесать. Няня прикорнула на ковре и завела сказку, но зевая. Впечатления, вынесенные в минувший день, так ослабили силы и Елены, и ее присных, что скоро язык старушки лепетал себе под нос несвязные слова, а княгиня заснула сном праведницы.

Утро ясное глядело так приветливо в терем Елены Степановны, когда старая няня

проснулась, торопливо собрала свой тюфячок и сошла в подклет умыться. Там была такая суетня. Все от мала до велика сбирались спешно куда-то.

— Пора, бабочки, неравно без нас все кончат... Не близко бежать!

— Куда вы, прости Господи, окаянные, норовите?

— Сударыня, Матрена Саввишна, не перечь, идем поглазеть, как жечь станут злодея жидовина.

— Что извел мово Ваничку? — чуть не вскрикнула старуха няня и сама пустилась за другими туда же.

Вот уж утро позднее. Солнце высоко. Елена Степановна наконец проснулась... припомнила лежа все случайности тяжелого вечера и, соображая обстоятельства свежую мыслью, пришла к успокоительному заключению.

Весна уже наступила, и веяло теплом. Солнышко играло из туч так приветливо, хотя и часто скрывалось. Княгиня захотела встать — кликнула: никто не отзывается и не идет. Делать нечего, поднялась сама. Надела ферязь расхожую, найдя ее подле ложа на бархатном

полавошнике, провела гребнем по волосам и дошла до дверей передней истопки. Заглянула туда и опять никого не нашла. Что за чудо? На шорох шагов княгини отворилась наконец дверь из теплых сеней — выглянул Максимов, бледный и расстроенный. Елена подозвала его.

— Мне запрещено князем Иваном Юрьевичем по приказу твоему, государыня, входить в ваш государский терем, — отозвался он тоном обиженного.

— Я ничего не приказывала, — возразила смущенная Елена.

— Так, видно, он, враг мой, что ни на есть задумал, государыня, недоброе, коли пошел на такое коварство! Выгони ты, матушка, лихого сына его, Косого! Поверь, проку не будет в ихнем усердии; коли отгонят они верных слуг твоих от тебя — хуже будет! Мне тошно, Елена Степановна, жить на свете. Тошней того видеть особу твою, окруженную злодеями. А они не оставят меня... Они погубят меня — правое слово, погубят! Защити!.. — и он зарыдал как ребенок, валяясь у ног смущенной княгини.

Вдруг — шум. Максимов вскочил и принялся утирать глаза рукавом. Вошел Косой и, бросив взгляд, не обещавший добра изгоняемому слуге Елены, громко сказал:

— Иван Максимов, государь Иван Васильевич требует тебя перед свои светлые очи немедленно! Пойдем.

Елена не нашлась что сказать. Только сильно забилося сердце у ней, когда они вышли.

Скорыми шагами пошли Максимов с Косым по направлению к Грановитой. Войдя в палату, полную бояр, Косой подвел трепещущего Максимова к государю, который сказал громко, но не гневно:

— Иван, мы жалуем тебя в стольники наши и посылаем тебя на нашу государскую службу: ты поедешь немедленно к свойственнику нашему Стефану, воеводе воложскому, от нас с грамотою. К вечеру изготвься неотменно. А ты, князь Иван Юрьевич, напиши ему наказ поспешнее. От службы при дворе невестки нашей мы ево освобождаем.

Рынды заставили Максимова поклониться в пояс государю, как требовал этикет, и пове-

ли его под руки из палаты на боярское крыльцо, где оказан ему чин стольника.

Патрикеев, по прочтении дьяком указа государева, запретил Максимову видеться до отъезда с кем бы ни было, кроме матери, и послал его домой готовиться в дорогу.

Все это сделалось в несколько минут.

Только по выезде из Кремля Максимов, оставшись один, дал волю течению своих грустных мыслей. Милость Елены. Холмский, проникший в тайны жидовствовавших. Донос его. Козни Патрикеевых. Обиды Косого особенно. Предчувствие бед и... это назначение — все предстало перед мыслью бедняка, как ряд щелчков враждебной судьбы, мстившей ему, видно, за минутное увлечение. Конь, почти неуправляемый всадником, пугался и бросался все в сторону да в сторону — от движений толпы народной, разливавшейся широким потоком с замоскворецкого болота. Там земная кара над преступником уже совершилась. Сложенный в виде ниши (в которую приковали мистера Леона), костер наконец упал, прекратив дикие стоны жертвы, извлекаемые медленным жжением. Только

столб смрадного дыма высоко еще поднимался к небу да порывистый ветер, свистя между рядом шестиков, окружавших место казни, срывал с них столбцы с приговором. Крутятся, свертываясь в трубочку и снова разгибаясь, неслись невысоко над землею раскаленные листочки по ветру, вдоль улиц, от болота. Один из таких отрывков, самый нижний, бросило вдруг под ноги коню Максимова, и глаза всадника упали прямо на слова: «Тако погибнут все творившие злое!»

Максимов невольно содрогнулся, читая эту угрозу. И попалась она ему в такое время, когда полученное назначение мог и должен даже он был считать не иным чем, как опасною, сулившею в будущем скорее худшее, чем лучшее.

## ОТКРЫТИЯ НЕ НА РАДОСТЬ

*Не первый снег на голову.*

Пословица

Прошло немного часов после победы. Наступил прекрасный полдень. В природе так было тихо, что скрип телег по уступам неровного пути, спускавшегося зигзагами к излучистому Днестру, отдавался с каким-то болезненным дребезжаньем, трогавшим за сердце. Кони утомились совсем под напором тяжелых, уродливых экипажей с горы, и волы даже выступали неровно и упираясь. Пришлось для облегчения бедных животных совершить этот спуск к картинной реке пешком. Началось высаживание, понятно, с приметным оживлением обоза, в котором было немало женщин. Пересеченная рывтинами местность, поросшая высокими деревьями — а на пологих покатостях молодым кустарником, — скоро представила нечто вроде приятной прогулки, тем более что до реки и переправы оставалось не больше двух верст. Осво-

божденные пленницы составили группы; обозы перемешались. Провожатые, кроме татар, также спешили. Никитин вступил в роль распорядителя транспортировкой, выбирая удобные тропы на трудной дороге. Вася присел под развесистым дубом на краю крутизны, с дороги почти совсем закрытый стволом могучего кудрявого исполина, давшего ему приют под лиственной сенью своей. Долго ли сидел он, погруженный в думу, мы не беремся определить, да это и не настолько необходимо, чтобы кто на нас посетовал за упущение. Вдруг чья-то рука ласково обвила стан его. Он взглянул — подле него Зоя. Выражение лица деспины шло, однако, вразлад с ее дружеским объятием. Очи готовы были сжечь молниями того, кто возбудил против себя гнев красавицы, казалось совсем не владевшей собою.

— Как это ты без княжны? Я думала вас встретить тут вдвоем!

— Ошибочное подозрение, потому и обманулась в расчете.

— Зоя не может обманываться, когда сердце у нее ноет и щемит... и обливается кро-

ВЬЮ...

— Ни к чему так убиваться.

— Переносу попреки мужа... томлюсь... плачу наедине ночь целую... а ты?

— А я не показываюсь на глаза Андрею Фомичу, видя, что он избегает со мною встречи. Вижу, что Зоя клевет на меня понапрасну... за что, и сам не знаю...

— Полно, Вася... Ты уж не ребенок. Я все знаю... Я все слышу!.. Мне все передают!.. Как твоя полька нахальная пожирает тебя глазами, а ты целые дни едешь подле кибитки, из которой уставлены на тебя глаза этой... твари!

— Зоя, ты не помнишь, что говоришь. За что поносишь невинную?.. Дядя Афанасий писал к подольскому воеводе, чтобы дал знать отцу княжны, что может получить ее в Сучаве или бы прислал за ней, кого изволит. Не бросить же нам бедняжку на дороге?! А самим нам в Польшу съездить тоже нельзя, коли посланы не туда править государское дело.

— И это — так?! Верно, не льстишь? — спрашивает подозрительная деспина, крепко сжимая руку Васи, сама глядя в глаза ему и

стараясь вычитать в них всю подноготную.

— Поверь Богу, — отвечал искренне Холмский, протягивая здоровую руку ревнивице, бросившейся целовать его.

После этого излияния бурной страсти Зоя совсем ожила. Обняла и смотрит на Васю с такою нежностью, что от объятий и взглядов этих он тает. Приближение многих голосов заставило обоих вздрогнуть и — очнуться. Зоя встала, заботливо поправила перевязку раненого и помогла ему подняться. Несколько шагов прошли они рядом, как добрые знакомые, сдержанно.

— Меня, никак, ищет Андрей? — вполголоса высказала Зоя и перебежала под купу деревьев на другой стороне тропки; только мелькнула фата ее в зеленой чаще кустарника. Вася остался прикованным к месту. Смотрел он на что-то, но видел ли? Если бы вы спросили, что ему кажется, он едва ли был бы в состоянии собрать свои мысли, чтобы дать какой-нибудь ответ. Сердце было полно, но испытываемое ощущение передать не мог он. Случайно, проходя, взял Холмского под руку старец Никитин, и вместе с ним дошли оба молча до

реки.

Скоро началась переправа через излучистый Днестр, занявшая наших путешественников до позднего вечера. Всю ночь ехали спокойно. Утром из Бельцов послали нарочного к воеводе Стефану с известием о приезде русских послов и тихонько дотянулись до Скулян по тяжелой дороге. Ответ с приглашением в Сучаву не замедлил, и дня через два последовало прибытие да аудиенция наших героев. Подробности въезда и приема, — чтобы не повторять общих мест и тогда уже соблюдавшегося церемониала, как малоинтересные для читателей, — мы опустим. Нас занимает не форма, а суть дела и выяснение происхождения князя Васи, начавшихся с посылкою его царем Иваном в Крым.

Когда ввели послов наших в полутемную, с небольшими редкими оконцами приемную устаревшего бойца с турками на Дунае, воевода лежал лицом к стене и нехотя повернулся, охая. Он был серьезно болен. Старые раны под впечатлением огорчений и неудач ныли и делали для Стефана едва выносимым бремя грустного существования.

Матовое, желто-смуглое, исхудалое, но все-таки круглое лицо вождя было мертвенно; взгляд тусклый и, казалось, апатичный. Широкие плечи и мощная голова с седыми кудрями, высываваясь из-под ковра, казались принадлежащими великану, на самом же деле воевода был вовсе не высок, и, статный смолоду, под старость он получил полноту, представлявшую резкий контраст с его тощею шеею и присохшею к костям кожею на лице. Лицо это, за всем тем, было очень миловидно. Особенно очаровательною была улыбка уст, редко, впрочем, показывавшаяся. Князь-воевода страстно любил детей и с молодости до старости был постоянным поклонником прекрасного пола, не выказывая никакой разборчивости в выборе мимолетных подруг, подаривших ему целые десятки сыновей и дочерей, большая часть которых оставалась едва ли известною. Любимым чадом из этого случайного потомства оказывался красавец Юраш. Недавняя потеря его так тяжела была для старого вождя, что долго о милом чаде не мог он вспомнить без слез.

Лицо молодого князя Холмского, по стран-

ной игре природы, напомнило воеводе вечно незабвенные черты убитого на глазах его юноши сына и на чело Стефана вызвало невольную грусть. Старый воевода не вдруг совсем пришел в себя и успел отогнать навеянные гибелью Юраша тяжелые воспоминания.

Отдавшись родительской скорби, сидел воевода на ложе своем, склонив опущенную на руки голову, ничем не давая заметить своего внимания к происходившему вокруг него. Тем временем Никитин прочел грамоту московского свойственника, в которой Иван Васильевич уведомлял о предстоящем открытии со своей стороны военных действий с Польшей, прося для разобращения врагов ударить на Речь Посполитую. Чтоб нанести ей удар с юга — почувствительнее.

Последние слова приглашения не ускользнули, однако, от чуткого слуха воеводы, и он мгновенно оживился.

— Хорошо было, коли бы так?.. — прошептал недоверчиво Стефан, испытывавший давно уже одни неудачи и, видимо, стеснявшийся хоть номинальною зависимостью от Поль-

ши. И глубокая сосредоточенность выразилась в энергических чертах воителя.

При дальнейшем чтении узнал он, впрочем, еще худшее для себя, что готовили ему сыновья Казимира: отнятие престола и увоз в плен.

— Ну! Столкнуть меня да увезти... им будет нелегко, пока я в ладу еще с этим другом! — крикнул он с одушевлением, указав очами на кривую саблю свою, лежавшую на столике подле его ложа. Глаза воеводы совсем оживились при этом былою отвагой, с которою напускался он на султанские полчища, иначе не считая врагов, как по срубленным головам.

— Рано други ляхи вздумали делить мое наследство! — добавил Стефан не без примеси резкой иронии. — Не пришлось бы самим раскошелиться!

Сообщения Иоанновы оживили неожиданно старого бойца, возбудив в нем давно не замечавшуюся энергию. Он, казалось, стряхнул с плеч десятка два-три лет. Разговорился. Сделался шутлив и общителен.

Апроцы (пажи), молодцы красивые и пыш-

но одетые, с моснегами (отроками) принялись накрывать стол, одним краем приставив его к ложу воеводы. Затем явилась придворная многочисленная челядь: приспешники, товара и столовые услужники. Во время приготовления к трапезе находчивый Никитин поддерживал оживленную беседу, рассказывая о своих похождениях. Больной владыка не уступал ему в словоохотливости и, когда все уже было готово, пригласил послов разделить с ним простую трапезу. Сядясь за обед, воевода вызвал членов своей семьи и за первую чарою, называя по имени наличных родных, назвал им послов, добавив, что они могут сообщить, как живет-поживает Елена.

Никитин отозвался малым знанием дворских порядков, объяснив, что князь Вася, воспитанный в теремах, может обстоятельно рассказать про обиход тамошний, а что он готов быть за переводчика, если бы потребовалось.

— Я сам по-вашему понимаю. Пусть юнак говорит, — высказался Стефан.

— Елена Степановна больно обижает государыню Софью Фоминишну, — откровенно

высказал Вася, но, заметив неудовольствие, выразившееся на лице воеводы, поспешил до-  
бавить: — Может, и злые люди сомущают их  
промеж себя...

— Ты мне, брате, правду реки: какие злые  
люди совращают Алену?.. Мы ей отпишем:  
непригоже жену отца мужнина не почитать!  
Даже совсем негодно... Не люблю...

Скорый на гнев и на милость Стефан вспы-  
лил даже при этом, но скоро спохватился, по-  
думав, что молодой человек может объяснить  
его вспышку против себя. Протянул ему руку  
и, быстро перенесясь воспоминанием к сыну,  
образ которого живо представляли ему черты  
Васи, сказал ласково и с чувством:

— Каков ты, друже, и у меня был Юраш,  
сынчик прекрасный... Скосила его сабля турец-  
кая... Ох! Тяжело мне вспомнить про это. Жив  
у тебя отец? И мать есть?

— Здравствовали при отъезде нашем.

— И говорит так точно, как мой Юраш! —  
прибавил воевода с тяжелым вздохом, при-  
нявшись ласкать юношу. Об отце и матери  
Васи Никитин счел за нужное объяснить вое-  
воде, выставив в настоящем свете значение в

глазах Иоанна князя Даниила Холмского да подвиги, его прославившие.

— Еще больше ты мил мне, юнак, как узнал я, что сын ты вояка мужественного! Он мне брат по оружию, а ты, стало быть, племянник. Так тебя и называть стану...

Зашли речи о дворских интригах. О них, как оказалось, Стефан был несколько сведущ и считал в числе державших сторону его дочери князя Ивана Юрьевича. Хвалил искусство Курицына, называл его правою рукою Иоанна в делах внешней политики. Но, пустившись и в политику, не раз сводил разговор на погибшего своего сына, начиная каждый раз с большим проявлением нежности относиться к Васе, принимавшему эти знаки благоволения воеводы с почтением, хотя далеко не с подобострастием, отличающим искусного придворного. Воевода сам был прост в обращении, и под гостеприимным кровом его послы московские нашли для себя дружеский приют, сделавшись с ним неразлучны и пользуясь его полною доверенностью. Стефан часто наказывал Васе при случае рассказать Ивану Васильевичу действительное положение

ние дел его. При этом, одаренного от природы восприимчивым умом, вводил он князя Василья Холмского в полное знакомство со средствами страны своей, своими планами, опасениями и надеждами. В жару беседы, бывало, старый воевода положит ласково руку на плечо Холмского, а другою указывает ему, как ученику разумный наставник, что следует сделать.

Среди одной из подобных интимных бесед (при которых Никитин и Вася оказывались неизменными разделителями времени Стефана) вдруг докладывают воеводе о приезде из Москвы еще посла с грамотою.

Входит Максимов и подает досканец. При виде заведомо дружественных отношений Стефана к Васе Холмскому посланец московский до того остается поражен, что не может сказать слова. Так что на повторительный уже приказ воеводы прочесть, что пишет Иван Васильевич, Никитин взял из рук Стефана послание государя и исполнил эту нетрудную обязанность.

Из письма Ивана Васильевича наши послы узнают не без скорби о потере наследни-

ка и вдовстве княгини Елены. Воевода не может владеть собою, у него наворачиваются слезы, и он не старается скрыть их.

Теперь только Максимов получил употребление слова во вред себе, но распорядился языком своим.

— Государь воевода! — крикнул он, указывая на Холмского в порыве слепой к нему ненависти. — Этот презренный холоп гречанки и к твоему величию успел втереться в милость! Знай, что он первый клеветник на благородную дочь твою...

Воевода только плечами пожал при таком приступе и добродушно заметил, что такой добрый отрок, как сам он успел уже довольно узнать Васю лично, не способен не только на низости и клевету, но и ни на какое грязное дело по самому свойству своего искреннего характера, благородного и откровенного.

Максимов, пристыженный, умолк, затаив бешенство в душе... Можно представить себе, как воевода остался недоволен ярым посланцем московским, начавшим так оригинально знакомство свое с прямодушным старцем. Стефан замолчал, не глядя на клеветника, а

затем, не скрывая неудовольствия, приказал отвести новому гонцу помещение и дал знак, чтобы увели его куда следует.

Оставленный один, Максимов понял, что его непростительный поступок произвел действие во вред ему же самому, но пришел еще в пущую ярость от неудачи. Неудовлетворенный гнев, подстрекаемый горечью бессилия, довел сторонника Елены Степановны до неистовства. Он бился головою об стену, вне себя, с пеною у рта, повторяя: «Убью! Не отвертишься... Идем на поле. Двоим нам не жить на свете. Смерть так смерть! Терять мне нечего...»

Утро застает его в лихорадке, ослабевшего, но злого до чрезвычайности.

Предупредительность слуги открыла ему, что послы московские сами живут у воеводы, в его дворце, и редко выходят из него, но что приехавшие вместе с ними какие-то, тоже знатные, люди помещены уединенно. Что самих господ — бояра с куконицей — часто можно встретить на улице, а особенно регулярно посещают они греческую церковь. Собираясь, кто бы это были такие, сводя вместе

ответы на разные вопросы, Максимов стал догадываться, что это должен быть деспот Андрей с женою. И вот он велит вести себя к ним.

Андрей Фомич, постаревший чуть не на десять лет под гнетом измучившей его ревности, встретил московского дворянина с видимою неохотою. Услышав с первых слов его, что он принадлежит к противникам Софьи, сообразил, что и принимать его у себя ему неприлично. Поэтому, посидев несколько минут, он ушел и выслал объясниться с Максимовым Зою, знавшую лучше, чем он, москвичей. Сам Андрей Фомич поместился, однако, в укромном уголке, чтобы не проронить ни одного слова из того, что будет говорить Зое пришедший. В нем почему-то начал было он подозревать переряженного посланца от Холмского.

Зоя знала дурно Максимова и слышала о нем только от мистра Леона. Поэтому встретила она его, как незнакомого, холодно, вопросом: «Как поживают Ласкири?»

— Дмитрий Ласкир, — отвечал уклончиво Максимов, — здоров, посылается в посоль-

ство. Старик в большой милости у великой княгини, как говорят.

На все следующие вопросы о московских знакомых ответы отрицательные: «Не знаем таких!» — привели деспину в большое затруднение даже: как понимать и как смотреть ей на прибывшего?

Поставленная в это положение, Зоя, случайно будто, спрашивает, виделся ли он здесь с русскими послами. И попадает удачно в самое больное место загадочного посетителя, открыв в нем заклятого врага ее ненаглядного Васи.

— Провалиться бы этим злодеям сквозь землю! Обошли глупого старика да еще чванятся... — ответил деспине Максимов, не стараясь нисколько скрыть обуявшего его бешенства.

— Чем же тебе старик Афанасий так досадить мог: он, кажется, учтивый такой?

— До него мне дела нет; с языка сорвалось... Не он!

— Так ребенок, Холмский?

— Хорош ребенок! Пусть бы память об этом ненавистном проходе закончилась хол-

мом над могилою его либо моей. Двоим нам не жить!..

И он замолчал, затрепетав от злости.

— За что же так?

— Это... тайна моя.

— Что же наделал он тебе?

— Напрасно будешь допрашивать, боярыня... Твоей чести ужо, может, доложат, что Холмского либо Максимова хоронят. А больше говорить нам не приходится...

И, не продолжая далее, не поклонясь даже, бешеный Максимов поспешно выбежал, бросив в сердце Зои новые страхи за Васю.

В темном коридорчике дружески схватил его за руку Андрей, чуть не зажимая рот и знаками приглашая быть осторожным.

Максимов не знал, что подумать, но — удержался и последовал за деспотом.

— Ты ненавидишь Холмского!

— Ваську?

— Да!

— Пуще жида и турчина!

— Руку твою, синьор Массимо! Я питаю к нему подобные же чувства, понимаешь... за... жену.

— Убей!

— Он силен... да мне и неприлично со всяким входить в столкновение. Ты... сослужишь мне и себе службу, отправив его в ад...

— Был бы случай только. Не спущу-у!

— Случай... случай! Чего же лучше твоего личного оскорбления у мистра Леона! Я теперь вспомнил, как это было.

Несколько слов, сказанных вполголоса, разъяснили разъяренному Максимову истинные рыцарские права его, неудовлетворение жажды мести над ненавистным Холмским, и враждебник нашего героя вышел, побеседовав с экс-деспотом, счастливый, утешенный и вполне уверенный в насыщении своей мести достойною отплатою наутро.

Послы уже давно встали и вели между собою беседу об отправке в Москву гонца с нужными донесениями к Ивану Васильевичу. Длинный столбец был исписан весь четкою скорописью, и Никитин только приписывал скрепу по клейкам, как вбежал к ним в покой неутомонный клеветник.

Окинув послов взглядом слепой и неукротимой мести, он, не ломая шапки перед хозяе-

вами терема, гордо подступил к Васе и проговорил задыхаясь:

— Вызываю те-бя, Ва-си-лий, обидчика моего, на по-ле!

— Ты, видно, взаправду с ума сбрел? — спокойно отозвался за Холмского Никитин. — Князь Василий Данилыч — посол государев, а ты вызываешь его, когда он представляет лицо твоего и моего повелителя?

— Что тут разбирать, смотреть на ваши старые бредни. Я вижу в нем обидчика и жить мне с ним вместе не довелось.

— Так есть много дорог и средств отделаться от жизни самому, коли свет постыл стал. Набрасываться на люд ей-то не приходится. Да еще на первого посла.

— По мне, он враг и только!

— Не забывайся и ступай, любезный, по-добру-поздорову, пока цел, — заговорил уже строго Никитин, войдя в свою подлинную роль посла да становясь между Холмским, тоже вскочившим с места, и Максимовым, к нему порывавшимся. — А не выйдешь вон — выведут. Эй, Лефеджи!

Вбежало трое копейщиков полошских.

— Возьмите этого молодца... бережно да... спрячьте куда ни на есть. Теперь покамест не до него.

И храбреца вывели.

— Что это за озорника такого выслали к нам из Москвы? Ужо написать нужно будет... про его безобразия да отправить скорее... — снова входя в обычное спокойствие, повторил кроткий странствователь за три моря.

Князь Василий поник головою и думает, что Никитин своим вмешательством даст повод бешеному Максиму утверждать, что он трусит от его вызова. Помолчав немного и дав Никитину успокоиться, Вася и начинает возражать:

— Неладно сделал ты, иначе, дядюшка, что выслал этого моего врага.

— Так, по-твоему, дозволить тебе, послу государеву, дать сквернить руки на всякой сволочи? Черт его, бесова сына, знает, откуда его только выискали.

— Я-то знаю... он наш же... сверху, от княгини Елены... Вся беда, что, видишь... в ночь ту самую, как свадьбу справлял Андрей-то Фомич... у мистра Леона мы с Ласкиром под-

смотрели беззакония всех аленовцев. Этот Максимов было топорщился схватиться со мной за намеки. Да ты еще выручил, кажись... помнишь, явились мы с Ласкиром на беседу вашу незваные? Вот он и злится с тех пор... Да я плевать хочу! А подсунется — пусть на себя пеняет: с таким противником еще справимся. Только не след тебе было входить в наше дело.

— Да ведь ты посол? Как же тебе, князь, с им расправиться?! Ты забыл али не знаешь, что посольское дело — святое дело и оружие поднимать послу... нельзя!

— Зачем так?

— Не водится!.. Ведь ты не по своей воле здесь? Кончи службу — тогда и разведывайся как знаешь. И я сам понимаю, что за одну клевету его воеводе проучить его следует... Да не теперь только!

— Да, видишь, дядя Афоня, Максимов этот самый и того еще трусит, что знаю я, как он возымел блажь про княгиню свою Алену Степановну... Это ему... как хошь суди — гибель! Он и думает меня уничтожить, чтобы свидетелей не было... его признанья.

— Так он совсем греховодник... — отрывисто отозвался Никитин, погружившись в думу.

— Смотри, Вася, — через несколько минут промолвил старец кротко, — и тебе подумать следует, что делать с подарком хана да как отделаться от деспины Зои. Неладно ни то ни другое. Она вона меня все просит, как бы ей поговорить с тобой, тайком... А тут выслали этого самого врага, на беду нам... Андрей Фомич ревнует. Полячка закидывает на свой пай сети... Берегись попасться в один из этих силков. Есть о чем поразмыслить тебе и без полей с нахалами!

— Ты мне, дядюшка, новость поведываешь о полячке этой! Ей-от что до меня?.. Благо, вывез из татарщины.

— Ты дитя, Васенька! — со вздохом сказал старик. — Рано державный послал тебя в омут, что светом зовут... из теплого терема... Как — ей что до тебя? Рода ты знатного, из себя красавец; она — невеста. Да, может, и всего уж навидалась?! Пойми же сам, в каком она положении? Будь только она не латынка, я бы тебе сказал, что лучшей любовницы у нас с огнем не сыщешь... А то латынская

блажь... Не приведи Господи, что за беда русскому человеку! А кабы приняла веру нашу — и рассуждать тогда не о чем — бери с руками ее. Лучше ведь, чем греховодить-вздыхать по чужой-от жене?

Этот упрек искреннего Никитина вскипятил желчь Васи, никак не мирившегося с мыслью, что отношения его к Зое действительно не оправдываются совестью.

— Выслушай, дядя, мою исповедь! Ты думаешь о Зое дурно, а обо мне еще хуже. Она меня жалеет, и таково сладко бывает мне с ней наедине оставаться... Поцелуи ее прожигают мне сердце... Я вижу, что она меня любит... да разве грех любить человека?

— Не мужа своего?.. Жене — грех! Уж и любовь ее одна делает тебя самого... преступником.

— Да я не совершил никакого преступления... Она! — И, красный как огонь, он не мог продолжать, закрыв лицо руками.

Принесли и подали письмо на имя князя Холмского. Никитин прочел по-польски содержание грамоты — это был ответ князя Очатовского на уведомление о спасении доче-

ри. В письме князь приглашал Холмского в свою отчину; клялся, что считает себя неоплатным должником перед ним, и в заключение намекал, что рука княжны Марианны была бы предложена спасителю ее с горячею преданностью отца, если бы молодой человек изъявил желание на это. Что теперь возникает для Литвы дружественная связь с Москвою и браки русских бояр с литвянками или польками нисколько не могут встречать затруднения ни в заключении их, ни в утверждении прав на вено. В конце же письма высчитывал князь Очатовский свои маетности; объяснял, что он последний в роде: не имеет детей мужского пола. И он считал бы благословением Божиим, если бы устроилось дело так, чтобы можно было считать сыном своим спасителя дочери, без сомнения питающей к своему недавнему повелителю чувства вечной признательности, если не любви еще.

— Ну что ты скажешь на это, князь? — заботливо спрашивает юношу Никитин.

Холмский молчит. Им овладело незнакомое до того ему чувство смятения и нерешительности. Да вдруг возникла и Марианна со

своими нежными взглядами из-под опущенных, казалось, ресниц перед воображением юноши, приняв новую, обаятельную прелесть. Образ Зои, однако, с ее страстными объятиями мало-помалу затмил черты соперницы, и, сделав над собою видимое усилие, не без глубокого вздоха томно отозвался наконец Вася Никитину:

— Отвечай, дядя Афоня, что княжну мы отправляем... немедленно... с присланными для препровожденья ее. А за ласку и честь благодарим покорно.

— Умно! Но подумай: не подсказывает ли тебе сердце другого ответа? Может быть, обстоятельства и не скоро еще приведут тебя на Русь? Деспот увезет жену... Меня — не будет... и придется жить в Польше... Как знать?.. Тогда княжна... и предложение отца ее могли бы, я думаю, представиться с интересом, уже не совсем согласным с первым твоим, мгновенным, может быть, теперешним решением?

— Оно не мгновенное, дядя Афоня! Когда я просил тебя уведомить князя-отца, я уже решил расстаться с нею... Различие вер... Лю-

бовь... к родине, — поспешил после минутного смятения закончить Вася, — все... заставляет меня решиться... послать княжну.

— Быть так!

Явились люди князя Очатовского, и на утро решен отъезд. Вечером по приглашению пленницы Вася явился к ней в сопровождении Никитина. Присутствие неожиданного свидетеля смутило ее, как видно, сильно: она хотела что-то высказать, но из речей ее выходило какое-то темное, не совсем понятное выражение тоски при расставании и боязни за переезд. Она, кажется, хотела бы, чтобы Вася сопровождал ее в дороге. Никитин со своей стороны с непрошеною словоохотливостью распространился о делах, не позволяющих послам даже на один день оставить воеводу Стефана. Совсем уничтоженная, убитая горем, грустная дева церемонно подставила в конце концов щеку на прощанье, сама поцеловав в уста Васю. Дрожание очень заметное, невольный перерыв на несколько минут и это прощанье были ясными, красноречивыми комментариями борьбы, которую вела с собою полька, ожидавшая не такой развязки начи-

навшегося романа. Когда уже все было переговорено и запас фраз, видимо, истощился, а нагоревшие свечи указывали переход за полночь — Никитин встал. За ним поднялся машинально Холмский. Положив охолодевшую руку в руку недавнего своего повелителя, княжна Марианна с неохотою выпустила из своих пальцев эту полную руку молодого человека, остановив на нем бесконечный взгляд, полный нежности и упрека, как ему показалось.

В следующее утро княжна Очатовская уехала, а воевода Стефан позвал на совещание Никитина, приняв и деспота Андрея Фомича (обратившегося наконец к местному правительству). До того он от владетеля Молдавии скрывался. Рассуждения велись о путешествии шурина Ивана Васильевича, которому предлагал владетель Молдавии ехать через Сербию на Венецию. Деспоту же хотелось прокатиться по Венгрии, отправившись опять туда с московскими послами. Без Никитина Вася в своем помещении сидел один, погрузившись в глубокую думу. Он до того увлечен был мечтами или ожиданием бед в буду-

цем, что, как вошла Зоя, как села подле него, не видел и не слышал даже. Из этой тяжелой задумчивости вывели его звуки знакомого голоса.

— Прости меня! — были первые слова деспины, так нежно прозвучавшие в ушах юноши и еще нежнее заключенные долгим поцелуем. — Теперь я вижу, что польке не удалось прельстить тебя. А как я боялась этого, — откровенно признается Зоя. — Я мучилась от неизвестности, томилась в печали и... сердилась на тебя. Даже была не в состоянии спокойно переносить горечь приносимых мне известий. Теперь я буду спокойна уже, — прибавила она со вздохом, облегчившим грудь ее, как казалось, совершенно. — Теперь я люблю тебя больше, чем когда-нибудь!

Объяснения страстной гречанки заключили дружеское примирение.

— Я прикинусь совсем холодной, и Андрей, теперь наполовину уже успокоенный, совсем забудет про свою гадкую ревность. Теперь он хочет с вами же вместе ехать в Венгрию; за тем и пошел к Стефану. Воевода получил новую грамоту из Москвы, и вы, веро-

ятно, скоро должны ехать в Буду. В дороге мы будем неразлучны. Берегись только этого страшного человека — Максимова! Он перепугал меня своею злобою и планами мести тебе. Берегись его.

— Пустые страхи... Что он мне?

— Не говори этого. Он страшен в своей злости. Он, должно быть, даже коварен... готов на всякие средства. Ты в выражении любви ко мне будь осторожен... Однако... что это за странные звуки вдали?! Вот они уже ближе... Пойдем! Надо узнать, что это такое?

Зоя встала и пошла, закинув свою фату, за ней Холмский. У ворот встретили они четверых моснегов воеводы Стефана, несших к жилищу послов что-то тяжелое. Вася и Зоя последовали издали за несущими. Во входе спросили огня. Вышли со свечами, и при багровом свете факелов представился бесчувственный Никитин. Вася поспешил в свой терем, Зоя исчезла. Через минуту пришли воевода Стефан и деспот Андрей Фомич.

Воевода, искренне соболезнуя о несчастий, рассказал Васе происшествие.

— Все было ладно. Мы беседовали друже-

ски. Пили токайское. Вдруг Афанасий пока-  
тился и упал без чувств с пеною у рта. Пусти-  
ли кровь — едва потекла, но он перестал хри-  
петь; унялась и пена. Авось, даст Бог, успоко-  
ится, и это пройдет.

Никитин в это время вздохнул, как бы при-  
ходя в себя. Деспот сомнительно покачал го-  
ловою и приветливо подал руку Холмскому,  
как будто ничего между ними не было.

— Что старого друга не навестишь, князь  
Василий Данилович? Мы скучаем... без те-  
бя, — добавил он несколько сухо, но привет-  
ливо.

Вася посмотрел на него недоверчиво. Дес-  
пот, подмигнув как-то дружески и давая руку,  
уверял, что соскучился по молодому князю,  
взяв слово заходить к ним непременно, и —  
вышел. Воевода посидел молча еще с полчаса,  
говоря мало и сам все посматривая на Ники-  
тина. Вот он встал, перекрестил больного, по-  
молился на иконы и оставил грустного Васю,  
обещав прислать испытанного знахаря недуг-  
гов.

Прошло еще несколько времени; Афана-  
сий успел наконец собрать свои силы. При-

поднялся, велел Васе позвать священника и твердо заявил юноше:

— Не горюй обо мне, а я вижу, что... умираю! Вася!.. Пока жил я с тобою, — начал он едва слышно и с трудом переводя дыхание, — я не рассказывал тебе секретного наказа царя Ивана: воля его — держать тебя в чужой земле подольше... пока не вызовет тебя сам он, державный... Ведай это... и... прими свои меры... Он подозревает тебя в любви к своей дочери... княжне... но к которой, я не узнал. А подозрение это верно. Вот и цель твоего посольства в чужие земли! Ох... жжет в груди!.. Близок мой конец... Батюшку! — и больной заметался.

Вошел священник, и все оставили отходящего из этого мира с духовным утешителем. Перед Васею все сделалось ясным. Через несколько минут священник вышел, и в глазах служителя алтаря несчастный юноша прочел, что руководителя его уже нет на этом свете. Он бросился на прах Никитина и рыдал как ребенок, чувствуя свое одиночество. Мало-помалу слезы привели успокоение. Молодому князю пришли на память внушения

умершего друга помедлить решительным ответом князю Очатовскому ввиду невозможности увидеть скоро родину. Вася перебрал в уме своем все обстоятельства знакомства с княжною и особенно сцены своего прощания. Ему показалось теперь, что, отталкивая от себя так холодно бедняжку, он, чего доброго, разрушал сам достававшееся счастье, манившее его приветливо в свои теплые объятия. Если бы княжна была здесь, кто знает, не нашел ли бы юноша в откровенном объяснении с нею решение дальнейшей судьбы своей? Но снова перед памятью сердца, рисующей бывшую невольницу полною страсти к одинокому, брошенному в чужбине юноше, возник знакомый образ, принявший мгновенно формы утешительницы Зои. И то была не мечта распаленного воображения, а сама деспина, пришедшая, не скрываясь, в жилище послов с мужем, деспотом Андреем, при вести о кончине благодушного посла, путешественника в Индию.

Рука Васи очутилась в руках Зои, и он поднял голову, долго не приходя, однако, в полное сознание: спит он или бодрствует?

Отрезвили юношу окончательно приказы деспота (принявшего на себя роль распорядителя похорон) о выносе обмытого тела в ту комнату, где находились убитый горем Холмский и его бескорыстно преданная утешительница.

Наутро явился чуть свет переходивший из одной крайности в другую, как все нервные и слабохарактерные люди, теперь струсивший при неудаче Максимов. Поклонясь трижды в землю телу Никитина, он отвесил низкий поклон и предмету своей, мнимо непримиримой, ненависти, князю Васе. Тот, разумеется, ответил нехотя на поклон, изумленный появлением врага. Удивление его дошло, впрочем, до крайних пределов, когда человек, незадолго заявлявший, что их разделит и примирит одна могила, падает на колени перед ним и униженно, жалобно умоляет:

— Прости, княже милостивый, дурость мою предерзкую, ради Христа Господа и здравия ради родительницы твоей.

— Иван Максимыч! — отвечает тронутый грустный юноша. — Если ты помянул матушку мою и призываешь ее в свидетельницы

своего раскаяния, Господь тебя простит. Я неспособен зло долго помнить.

Максимов вышел повеселелый и успокоенный. Чтобы получить разгадку этого крутого поворота, считаем нужным заметить, что накануне Максиму прислал цидулу Косой с требованием объяснений на разные недочеты по хозяйству княгини Елены Степановны, и боязнь ответственности и розыска заставили труса, по чувству самохранения, обмануть Холмского притворным раскаянием. «Теперь же он один посол — может и в казенку меня упрятать да скованного послать на Москву. А там уж явно Косой с Патрикеевым очернят меня больше, и — погиб человек. А Васька недалек. Повинюсь и — разжалоблю. Да еще, коли пойдет на то, заступу в нем найдем».

Расчет оказался верным, и дела Холмского пришли с обеих сторон в порядок.

## VI

# ДВОЙНАЯ ИГРА ВНИЧЬЮ

*Хоть наше бывало,  
да долго плутало,  
а к нам не попало.  
Пиши, что пропало!*  
Пословица

Теряя друга — пестуна, данного случаем, Вася не знал еще всей глубины своего несчастья. В Москве в это время навеки смежил вежды, утомленные трудами, доблестный отец его.

В обширном тереме горят погребальные свечи. Монотонное чтение Евангелия дьяконом тяжело отдается в ушах княгини Авдотьи Кирилловны. А как переменилась кроткая страдалица, княгиня, со времени разлуки с сыном?

Не проходило дня, чтобы не плакала она, вставая с жесткого ложа и отходя ко сну в молитве, не стирала случайных слезинок, прося Создателя уберечь ее Васю от всякой напасти. Чуть не внезапная кончина мужа на руках ее

перелила через край чашу горести молчаливой страдальцы, физические силы оставили ее, и внезапный обморок погрузил княгиню в беспамятье.

Вдруг унылый, грустный, сам как привидение, неслышным шагом вошел Иоанн в храмину усопшего друга-слуги своего. Знаком руки он велел удалиться читавшему Псалтырь дьякону. Совершив земное поклонение перед телом, государь в немой печали склонился на грудь навеки уснувшего воителя. Приложившись затем к образку, лежавшему на персях у покойника, Иоанн взглянул как-то робко в лицо ему.

Восковой грозный лик мертвого князя, на котором застыла тяжелая дума и что-то вроде неясного ощущения предсмертной муки, мгновенно остановил на себе взгляд впечатлительного и, вероятно, уже болезненно настроенного Иоанна.

— Ты, друг, упрекаешь меня за удаление сына? — невольно сорвалось с уст содрогнувшегося политика. — Прости!.. В горних селениях ты узнаешь, что сын твой для меня так же дорог, как мои собственные дети. Теперь

нельзя только мне призвать его... Я лишаю его сладости в последний раз проститься с тобою, но... — и, махнув рукою, умолк монарх. Садясь на лавку и ощупывая на ней место, коснулся он холодной как лед руки княгини Авдотьи Кирилловны. Фигура бесчувственной совсем скрывалась во мраке при тусклом освещении нагоревших свечей.

— И это еще обуза на плечах моих! — прошептал Иоанн, коснувшись холодной руки ее. Взял маленькую свечку с шандала, зажег и осветил ею помертвелое лицо своей пестуницы.

— Никак, она в обмороке? — заботливо отозвался монарх вслух. — Эй, кто там?

Вошли дьякон и дворецкий князя Холмского.

— Сомлела, вишь, голубка! — кротко сказал им государь. — Снести бы ее в ложницу, что ль. Да лекаря послать скорей сверху от нас, живее!

Княгиню подняли и понесли. Государь остался перед телом и, видимо, был убит горем.

— Думал ли я, князь Данило, — начал

Иоанн, оставшись один, — что тебя мне придется хоронить?! О ты, судьба моя! Судьба моя! Потерял сына, прибираются братья... жена враждует... В семье нет счастья... а дело мое, ответ мой перед Богом, налегает тяжелее... щекотит совесть. Сон бежит от глаз моих, когда все покоятся, а силы докладывают, что их мало. Милые создания, девочки мои, вы грустите в терему своем... тоскуете по нянюшке... Она ведь ближе, чем мать... а княгиня, чего доброго, тоже бы не свалилась... Ее крушит Вася!.. Да, Иван Васильевич, перед собой тебе нечего увертываться... приходится сознаться, что дело нелегкое вести людей, куда хочешь. И сердце у самого болит. А не болеть оно не может, как подчас подстроит судьба тебе разом западню в двух местах.

— Князь Данило! — вновь взывает державный к усопшему, испуская необыкновенно тяжелый вздох, словно сделав над собою отчаянное усилие... — Князь Данило! Не думай, чтобы я не любил тебя, при жизни обременяя службою, все вразгон да вразгон... Друг мой! Никто больше тебя не был мне дорог.

+Я знал твою кротость, скорбел наедине, а

ты... горд был, не высказывался ни полусловом... ни на что!.. Я верил твоей дружбе и, как на стену каменную, надеялся на мужественную грудь твою. Теперь кто у меня — Патрикеевы! Холопы! Юлит с нечистою совестью Иван Юрьевич. Ты думал, верю я льстивым словам его? Мамоне служит он... Не мне... власти моей... Ты меня оставил... ост-а-вил... те-пе-рь... и... оди-нок я... — рыданья заглушили слово его. Слезы облегчили, однако, державного страдальца, и он мало-помалу успокоился. Вдали раздался благовест к утрене. Скорбный государь встал и начал молиться. Поклонился телу и вышел.

Спустя четверть часа входил он на свое приспешное крылечко в Кремле, вступая как бы украдкою в свои чертоги. Продолжительное исчезновение государя, впрочем, не утаилось от придворных: успели дать знать князю Патрикееву, и тот, с лицом, вытянутым от страха, встретил в теплых сенях монарха, бросившись снимать с него убеленный рыхлым снегом охабень.

— Прогуливаться изволил, государь, в тиши? — вкрадчиво начал было он, ожидая от-

вета. Но Иоанн посмотрел мрачно на оторопевшего своего дворецкого и отдал приказ — созвать бояр к выносу!

— Я разослал уже с оповещением.

— Без меня, стало, обошлось? — иронически отозвался Иоанн и ушел к себе.

Из-за углов, скрываясь до того в тени, повскакали бояре и дворские люди партии Патрикеевых и вполголоса начали шушукаться.

— Не ровен час... как видите, бояре... и преданность гнев возбудит! — робко заявлял Патрикеев.

Тут подошел великан Самсон, повышенный теперь уже в московские дворяне и бессменно державший ночную стражу у верхних переходов.

— Прибег с холмского подворья рассылный... по приказу, молвит, государеву... ищут они лекаря к княгине Авдотье Кирилловне. Повелишь пропустить посланца?

— Пустить скорее... разумеется! Экой олух! Кому из вас влезло в глупую голову останавливать посланца, коли по указу, говорит, пришел государеву?

— Да мы, государь, сомнению дались: от-

куль государев-от приказ к им произошел!

— Дураки! Разве ваше дело это самое спрашивать? Эки олухи, ей-богу, пропадешь сам с этими неучами. Коли государь велел, говорит, чего же тут?

— Да государь князь иногда изволил приказать, вашество, рачительно испроверить прежь волю государеву, коли называют... Мы так было и порешили... вот я докладывать тебе и прибег...

— Пустая голова! Не говори вздору, не терплю... Пшел! — И топнул ногой на усердного слугу, исполнителя своего же веления.

Бояре переглянулись. Великан без души убежал, вступая легонько на пальчики, так что все бы расхохотались в другое время.

— Вот оно куда метнула нашего владыку нелегкая!.. Тут и разбирай, как знаешь, — отозвался князь Семен Иванович Ряполовский, подлаживаясь под образ мыслей своего патрона Патрикеева.

— Надо, стало быть, к Авдотье Кирилловне примазываться? — ввернул язвительно Косой. Отец взглядом дал ему понять неуместность выходки.

Прошло несколько минут затишья; приунывшая от взрыва неудовольствия государя на предводителя партия Патрикеева, видимо, находилась в затруднении.

Вдруг вбежал опять Самсон и говорит:

— Как угодно, а лекарь отказывается идти без приказа вышнего, потому что постельница Елены Степановны велела ему ждать, как позовут к заболевшему княжичу Дмитрию Ивановичу.

— Что ж молчат, олухи... Надо известить государя, — отозвался князь Иван Юрьевич, обрадовавшись случаю идти к державному.

— Кто там? — раздался голос Иоанна, когда Патрикеев осторожно вошел в горенку перед ложницею государя, еще не могшего заснуть.

— Княжич Дмитрий Иванович недомогает: жар, что ль, вступил. Лекарю велено быть наготове. Так благоизволишь ли, государь, приказать ему идти в дом княгини Холмской с посыльным оттуль?

— Вероятно, дитя простудили мало-малю... пройдет; пусть спешит к княгине. Ясно, не важное дело наверху, когда только велят готовиться... А Авдотья Кирилловна... в беспя-

мятстве, голубчик... ей нужнее помощь. Спроси еще, Иван Юрьевич, что так долго они медлили...

— Лекарь замешкал за приказом о явке к княжичу. А посыльной-от давно уж разыскивает... не скоро пустили и в терем незнакомого.

— Так вели ехать уж...

— Коли изволишь, государь, я и сам с ним поеду.

— Хорошо бы было... Там некому порядка дать, а как воротишься... коли не в труд... за беги, дай мне знать, как и что... Ты у меня хлопотун... я знаю... Спать-то когда тебе? (Последние слова Иоанн произнес, видимо, смягченный, с заботливостью о слуге своем.)

Иван Юрьевич совсем просветлел и веселый вышел сверху, приказав подать лошадей, всегда готовых у крыльца государева. Половина его клиентов последовали за ним.

Хлопоты оказались излишними. Патрикеев застал уже княгиню пришедшей в себя и хотя, конечно, в горе, но — на ногах, распоряжается печальными приготовлениями. Спросив по воле державного о здоровье княгини,

князь-дворецкий скоро отправился назад. Переезжая Сретенку, натолкнулись путники наши на обоз изо ста, почитай, подвод, направлявшийся к выезду из столицы.

— Чьи такие?

— Князя Андрея Васильевича...

— А что везешь?

— Скарб княжий с московского подворья его милости.

— Стой! Надо попрежь доложить державному... велит ли пустити?!

— Да чаво не пускать, коли наш не волен ехать в свой удел... домой к себе?!

— Ну, не разговаривать... Стой!

И, оставив своих людей при остановленном обозе под начальством сына, Иван Юрьевич пришпорил коня, сам помчавшись в Кремль.

Государя застал Патрикеев уже в крестовой, оканчивающего утреннюю молитву.

— Что она? — спросил Иоанн вошедшего.

— Здорова! Хлопочет о похоронах.

— Слава богу! Все хорошо... значит...

— Одно неладно, государь... братец твой с чего-то воровски вывозит свое именье все до-

чиста из твоей столицы... Неспроста... я думаю, это самое!

— Кто!.. Как вывозит?

— Да мы наткнулися на Сретенке на обоз князя Андрея Васильевича... Подвод до сотни... Люди его говорят, вывозит все до синя пороха из московского дома... Видно, государь-от их задумал глаз на Москву не показывать, а куда ни на есть укрыться?..

— Какая-то загадка тут, — отозвался медленно Иоанн, раздумывая. — Люди что молвят, говоришь?

— Да им-то верить не приходится: молвили, что велено привезти старье, чтобы обновить заново хоромы княжие... а хоромы те не тронуты, и не слышно, чтоб припасы требовались.

— Куда же, отвечали, добро им велено доставить?

— Один говорит — в Вязники, а другой — в Вязьму... а Вязьма, сам ведаешь государь, не твоей державы... и не старицкого княженья...

— Попридержать, коли так, их... Да брата... к нам позвать. Ведь он здесь?

— Был, говорят... Верно не знаю...

— Так, людей пустить лучше да следить издали, куда поедут... Коли же брат узнал про остановку... извиниться, что, мол, по ошибке случилось... так и так.

— Сумеет... государь... пошлем Шастунова. Он краснбай ведь, хошь кого разговорит.

— Так возы пустить... сейчас же!.. И утром, если здесь брат, послать Шастунова к нему: ко мне просить... что считаю себя неправым... принимаю вину рабов моих на себя и... готов удовлетворять, чем пожелает...

И Иоанн стал ходить, погрузившись в раздумье.

Скоро стало рассветать... зазвонили к обеду. Государь пошел на отпеванье Холмского и сам не мог удержать слез, когда заголосила княгиня Авдотья Кирилловна свои причитанья.

— Успокойся, княгиня... твоего и моего друга не воротишь, — говорит ласково и сочувственно сумрачный Иоанн своей пестунице.

— Государь... как не плакать мне, одинокой... осиротелой! Был муж... с ним поговорим о своем Васе... теперь же... — она зарыдала и не могла договорить.

Иоанн отошел от Холмской расстроенный, но не гневный. Бросил лопатку земли на гроб вождя своего и, тяжело вздохнув, остановился над могилою, пока предавали земле ее достоиние. Княгиня Авдотья Кирилловна тихонько плакала в стороне, поддерживаемая Косым, и Ряполовским.

К государю, стоявшему особняком, подошел князь Андрей Васильевич и что-то стал говорить вполголоса. Иоанн вздохнул при первых словах, оторвавших его от мечтаний, но отвечал ласково; взял под руку брата и вместе с ним воротился в кремлевские палаты поминать почившего вождя.

Давно уже братья не показывались настолько дружными. После стола Иоанн привел брата в терем к жене, где великая княгиня оказывала грустной пестунице своей всю нежность соучастия к ее горю и несчастью. Вечер в разговорах летел скоро, и уже под конец его Иоанн, простившись с женою, прошел с братом в терем невестки.

Княгиня Елена Степановна совсем зажда-лась свекра и не раз уже посылала свою няньку к половине великой княгини: узнавать,

что там делается. Князь Иван Юрьевич еще чем свет бегал к невестке государевой оповестить, что державный всенепременно будет. А он после допытываний о стригольниках за множеством дел к невестке не заглядывал, так что это начинало беспокоить молодую княгиню, тесное сближение которой с патрикеевцами ни для кого не было тайною. В ее тереме происходили советы их и в тот вечер, когда умер князь Даниил Васильевич Холмский.

Шел раздел мест и обсуждались повышения.

— По мне, Юрьеву быть на месте князя Данилы, иначе и советовать нельзя державному: он сам знает своего кума и службу его по Новгороду, — говорил князь Иван Юрьевич. — Стало, о воеводстве правой руки большого полка говорить неча. О наместничестве казанском — тоже. А тебе, князь Семен Иванович, — обратился он к Ряполовскому, — может, пригодно воеводство над нарядом. Первое дело — в Москве останешься, второе — опричь приказу своего — ни в чем не ответчик. А это самое главное: гуляй, душа, на все

на четыре. Ухорониться захочешь — никто не спросит, зачем, мол; съехать куда — на всем себе господин. И досуга вволю, и в наряды не вступаешь.

— Оно, конечно, выгодно, что говорить, — ответил в раздумье князь Семен, которому улыбалось счастье в лице вдовы княгини, но не хотелось и опускать ратных подвигов, изведав поэзию боя с его пылом и увлечением.

Княгиня Елена Степановна взглядом, полным благодарности, наградила Ивана Юрьевича за выдумку, оставлявшую красавца Ряполовского, так сказать, прикованным к столице, где могла она каждый день его видеть и слышать. А слышать и видеть красавца, сама она не знала как, теперь для нее сделалось потребностью, и отнятие его или удаление на короткое время было бы нестерпимым мученьем. Все бы она готова глядеться в его черные пронизательные очи да слушать его мужественный голос. Шушуканье сенных девушек уже начинало выводить на свет и не одни взгляды, и не одну прелесть взаимных разговоров, один на один, княгини-вдовы молодой с красавцем Ряполовским.

От взглядов перешли они к вещественным выражениям привязанности. А так как время в подобных упражнениях льется незаметно, то зачастую князь Семен выходил неслышною стопою из терема Елены, когда начинала уже вставать дворская прислуга. Так что нянька княгини, ворча себе под нос далеко не лестные для красавца суждения, выводила его на Москву-реку через свой подклет, когда занималась заря. Много, следовательно, утекло воды с тех пор, как робким шагом вступал герой Ряполовский в первый раз в терем Елены Степановны, сделавшийся ему настолько знакомым. Жена, содержащая в строгости, хотя не знала, где проводит ночи дражайший сожитель, но возымела уже подозрение, что покидает он неспроста свой дом и, чего доброго, не ввязался ли, сердешный, в какое неподобающее дело? Мало ли озорников на Москве? Беда безысходная! А как спросить? Рыкнет: «Не твое дело!» И замолчишь поневоле. Еще обиднее будет да больнее сердцу. Лучше — плакать на свой пай втихомолку. Вот бедная княгиня в терему своем обливается слезами горячими, никому своего горя не поведывая.

Оборот медали — перемена в расположении недавно еще грустной и убитой горем княгини Елены Степановны: она расцвела розою. Огонь очей ее стал еще восхитительнее, как подернулся туманом страсти. В чаду ее она меньше обращает внимания на своего ненаглядного Митю. Бывают минуты даже, когда Елена не может смотреть на него. Дитя ласкается, а мать смотрит в землю. Тогда овладевает ею непреодолимое волнение, так что жар ярким багрянцем выступает на смуглые ланиты княгини и грудь ее начинает ходить, словно волны в бурю. Действительно, что-то похожее на бурю поднимается тогда в ее помыслах. Несчастливая трепещет, сознавая, что катится в пропасть, ни за что не могши удержаться. Перед глазами ее пробегают обыкновенно милый образ князя Семена, в ту минуту получающий злое выражение. В ушах звенит, но этот звон отдается погребальным пением по чистоте и непорочности. В такие мгновения Елена сама себя ненавидит и готова избить, искалечить, истерзать своего Митю. Старая няня качает неодобрительно головой и старается в такие минуты от матери

увести княжича на половину великой княгини. Так было и в памятный вечер смерти Холмского.

После совета патрикеевцев — на этот раз скоро порешивших свой дележ, и даже без споров — князя Семена зачем-то позвали вверх, по делу. Елена, оставшись одна, раздумалась. Мысли, одна другой чернее, стали выступать перед ее памятью, и яркий румянец загорелся уже на щеках — предвестник скорой бури. Нянька схватила ребенка князя Дмитрия и привела его к дядям и теткам — князьям Василию, Юрию и Димитрию Ивановичам, сверстникам Митеньки или близким по годам, да к княжнам Елене, Федосье и Евдокии Ивановнам.

Дети любят своих однолетков, и между Васильем с братьями да Димитрием существовала если не полная дружба и приязнь, то взаимное расположение. Разногласия производили при играх их общие желания и сходство в привычках. Все дети любили в князья играть: командовать, войско разводить, биться, посольство принимать. Чтобы сколько-нибудь отвлечь от споров, однажды великая

княгиня Софья завела между детьми очередь: один раз роль князя выполнять Васе, в другой — Юрью, Дмитрию и племяннику Мите, в последнее время хворавшему и оттого несколько капризному. Теперь была очередь Васи, и он с приходом племянника велел подать себе новую ферязь, приладив и крестик на шею к бисерной цепочке, а в шапочку свою вставил павлинье перо. А вместо скипетра у ребенка, разыгрывавшего повелителя, была точеная крепкая скалочка. Митя, войдя и поздоровавшись с тетками, поцеловал руку обыкновенно задумчивой бабушке Софье Фоминишне. Придя к старшему дяде, он встал перед ним, отвесил поклон по чину и проговорил, картавя: «Здоров буди, госудаль, князь великий Василий Иванович! Цесь тебе, госудалю, воздаем».

— Здрав буди, князь Дмитрий, все ли честь твоя исполнил, что мы указали ономясь?

— Все... Воеводу послали мы на Суздаль, длугова на Колцеву. Узо сами пойдём с Москвы на леку, на Оку.

— Ладно! Благодарствую. А недругов наших покарал?

— Покалал!.. — и сам задумался, не прибрал имен чьих-нибудь и не успев припомнить.

— Кого же покарал, ин молви.

Тут в детской памяти княжича Митеньки проскользнуло имя, вероятно произносившееся матерью его со злобою, и, не долго думая, крикнул он:

— Князя Холмскова!

— Как ты смел?! Это друг мой! Рази его приказал я? Ряполовского, Патрикеевых.

— Не хоцу! Окломя Холмскова ни в зись. Ляполовской у нас бывает. Патликеев гостинцика дает... Холмскова, Холмскова, Холмскова!

— Говорят тебе — нет. Холмского не трожь. Он наш, великого государя присный друг и слуга, а патрикеевцев твоих... наушников, — под топор!

— Ни в зись...

— Слушай, Митька! Не перечь. Коли я, великий государь, ково милую, значит — милую и не выдам!.. А ослушникам вот что! — И он погрозил племяннику скалочкой, заменявшей скипетр.

Княжич Дмитрий, вспыльчивый и, как мы заметили, к тому же избалованный и хворый, задрожал от злости и бросился на дядю-повелителя с криком:

— Не месай! Не хоцу и не хоцу! Давай длаться?!

Няньки смеялись, а князь, замахнувшись своим импровизированным скипетром, сдержанно, по-видимому, но уже сердясь, крикнул:

— Не подходи!

Но уже было поздно. Ребенок рванулся к нему и повалился как сноп. Скалочка больно ударила по левому уху и челюсти, к счастью, скользнув только по виску. Няньки бросились к упавшему княжичу: видать, тот закатился так, что не слышно было его голоса. Звонкий крик и рев раздался уже, когда вносили его к себе.

— Что это? — выбежав из повалуши в передние сени, спрашивает трепещущая, встревоженная Елена мамку, старающуюся закрыть рукою личико кричащего княжича. Увидев из-под пальцев женщины выступавшую кровь, мать, в которой неожиданная ка-

гастрофа возбудила давно уже незамечаемую нежность, непритворно испугалась, вне себя заголосив:

— Его убили! — И сама готова была упасть.

— Не убили, зашиб князь Василий Иванович! Наш-от резвой такой, бросился драться.

— Не верю! Он весь в крови. Лекаря! Воды! — и Елена с возбужденною нежностью стала отдавать приказания оторопевшим женщинам. Кровь не скоро уняли. А ребенок, уложенный в свою постель, продолжал тихо плакать и метаться в жару. Заснул он уже поздно, почти под утро, и все стонал как-то да метался беспокойно.

Тогда-то и призывали лекаря, дав ему наказ не уезжать домой, а быть поближе на случай, буде потребуется.

Расправа Василья Ивановича вызвала со стороны матери, не потакавшей вообще детям, немедленное штрафование. Его поставили в тюрнике в угол, но герой и наказанный не переставал уверять, что он сделал, что следовало.

— Мама! Ты послушай только, что за озорник делается Митька. Я, когда он княжит,

поддаюсь ему, совсем приказывает — исполняю! Он же — не хочет делать по указу моему. Ошибся — сознайся. Велю карать непокорных — он казнит моего лучшего друга. Васю Холмского, говорит, вздернуть! Я запрещаю — он все свое. Да еще лезет в драку со мною, великим государем своим и повелителем! Ну — и попал! Жаль мне самому, да сам он виноват!

— А ты не знаешь разве, как этот твой поступок перетолкуют, да еще с прибавкою, патрикеевцы?

— Да пусть их. Батюшка сам не милует непокорных; я в него: не покоряешься — казнь!

— Я ужо тебя и велю высечь!

— Безвинно, мама. Подумай, что я был государь, — повторяет он. Софья Фоминишна закрыла лицо руками, и верный такт ее здравого мышления доказал ей возможность вывода из настоящего случая новых неприятностей со стороны невестки-враждебницы.

— Что Митя мой? — входя к невестке, ласково спросил Иоанн Елену.

— Ничего теперь, как боль уняли.

— Заснул... а сегодня полегче, — ответила за княгиню старая няня, поднося к деду ребенка с перевязкою, закрывавшею почти все его личико, видимо опухшее от слез.

— Да это-то что намотали ему на личико?

— Завязали, чтобы кровь унять.

— Отчего кровь?

— Дядюшка, князь Василий Иванович, коннул нашего княжича по головушке скалкой... Уж текла, текла кровь... из ушка и из ротика, не приведи Бог как!

— Осерчал за что-то на племянника, — рассеянно добавила Елена.

— Мой Васька? Да чего же нянька-то да мать-то смотрят? Я его, мошенника, так велю высечь! Чтобы не смел впредь озорничать...

— Ударил, да промолвил еще: на, мол, тебе... за то, что батюшка тебя жалует не по достоинству! — прибавила с злорадством мамка.

— Оставь, няня, — отозвалась Елена с плачем, — заведомо ребенок не свои это речи пересказывает!.. Что государя на гнев наводить без пользы?.. Будет ужо князь великой Василий Иванович... пуще гнать станет нас с Ми-

тинькой... недаром похваляется теперь экой клоп еще, — что всех князей искоренит... не нужны они!

— Не разумно, государь, отроку эки речи внушать! — кротко заметил Андрей Васильевич, видимо взволнованный последними словами невестки.

— Все это бредни, душа моя! — успокаивая Елену, ответил Иоанн. — Велю разыскать: кто между детьми вселяет вражду... С того примерно взыщу, а озорнику не дам потачки. Почему ему или вам, бабам, знать, кого государь пожалует великим княжением? Темна вода во облацех! Еще подрасти надо... прежде. — И сам стал ходить по терему невестки, видимо недовольный открытием замашек сына при брате.

— Княгиня великая, матушка, нас не жалует, — заметила Елена грустно, с горечью, — вот ребенок растет; видит все и смекает, что можно ему срывать сердце на нелюбимом племяннике... При жизни родителя не дали бы нас в обиду! — И заплакала.

— И я не дам, коли на то пошло! — отрывисто высказал государь и, гневный, оборотился

В терем жены.

Увидя отца, идущего не в себе, и общий ужас на лицах нянюшек, навстречу гневному бросилась княжна Федосья Ивановна и, обняв ноги его, закричала:

— Батюшка... прости! Не пущу, покуда не помилуешь.

— Поди прочь! — крикнул отец, но Феня уцепилась за ферязь его еще крепче, с плачем.

Иоанн был гневен, но отходчив. Неожиданность сцены и мольбы девочки, от которой никто не ожидал такой выходки, скоро смягчили его.

— Оставь меня, Феня... Что ты, дурочка, так всполошилась? — уже почти ласково сказал Иоанн, стараясь освободиться от детских ручек, мешавших шагнуть ему.

— Прости! — повторяла неотвязчивая сильная девочка.

— Кого и за что? — стараясь показать вид, что ему ничего неизвестно, пытался спрашивать Иоанн, глядя по голове ласковую дочь свою.

— Васю, брата, — проговорила она, зары-

дав... — Он Митеньку ушиб! Ненароком вчор... Мне так было жаль его!

— Кого?

— Митю! — пренаивно ответила просительница.

— Люблю, Феня, за правду! — посадив дочь на колено себе, сказал Иоанн. — Рассказывай, как было?

— Да Вася чтой-то не поладил с Митею... Митя и бросился на него — драться. Вася как держал скалочку — и ударил его! Так мальчик и закатился. Прибежала мамка — он в крови весь как баран, его и унесли к матери.

— Какого жестокосердного растишь ты сына! — с упреком обратился государь к Софье Фоминишне.

— Я не учу его злости, — робко ответила великая княгиня. — Жаль мне самой бедного внука. Тотчас же наказала я Василья: у меня и теперь он еще в углу стоит в тюрнике... да прощенья просит.

— Так и надо разбойнику! Ужо вот я сам расправу учиню.

— Батюшка, а обещание? — подскакивая к отцу, опять стала канючить Феня.

— Василий! — крикнул государь.

Виноватый с опухлыми глазами подошел к нему боязливо.

— Поди-ка, поди-ка ближе, злодей! Как это ты похваляешься, величая себя государем? С чего ты это взял? Дмитрий сын старшего твоего брата — ему, а не тебе величаться следует! Чего научают тебя наставники? Прислать ужо ко мне Мефодия-грека, я внушу ему, как учить княжича... Говори мне сейчас, кто тебя научил так обращаться с Митею?

Виноватый уставил глаза в землю и молчал, по обстоятельствам дела — как мы видели прежде — считая себя правым. Объяснять же отцу, что и как происходило у них, он не смел за приказом умной матери. Гнев вновь начал овладевать Иоанном при мнимом упорстве мальчика, причины которого он не знал и не предвидел.

— Это, Софья Фоминишна, твои наговоры?! — с горечью обратился опять государь. — Тебе же хуже будет и этому упрямцу. Я знаю, что ты ненавидишь Елену, а оттого и мальчишка так самоуправствует... Да назло же вам я поставлю Дмитрия. Вот и знайте!

Софья заплакала.

— Государь, родитель, не гневайся на ма-тушку! Тут все виноваты и все правы. Так... вышел несчастный случай! — Целуя руку отца, вступилась княжна Елена Ивановна, вообще нелюбимая Софьею, но пользовавшаяся нежностью Иоанна. Он не отвечал дочери, но опять смягчился.

— Батюшка, родной мой! — продолжала ласкаться Елена, бледная и, как видно, недавно плакавшая.

Иоанн заметил теперь только резкую перемену в дочери и ласково спросил ее:

— Что с тобой, дитя мое? Признайся мне искренно... Нездоровится, что ль?

— Нет, батюшка! — кротко ответила Елена. — Здорова я, только все мне скучно... плакать хочется.

Иоанн опустил голову, видимо взволнованный.

— Из-за чего же плакать?

— Да бедная няня, Авдотья Кирилловна наша... так убивается... и мы с нею...

— О сыне все своем? — как-то глухо и сурово произнес Иоанн, впадая в раздумье. — Уви-

дит его... может, и скоро! А ты, Ленушка, не скорби о нянином горе... Господь кого любит — того испытует... Не так ли, Авдотья Кирилловна? — обратился к ней государь, увидев, что она старается словно скрыться, ему не показываясь. — Поди-тко, княгиня, потолкуем по-родственному. Хочу спросить у тебя совета. Елена моя Ивановна любит тебя, и ты ее, я знаю... больше всех девочек... Так тебе и следует решить дело, про которое намерены мы вам поведать теперь. Вот я что сдумал. Она у нас на возрасте... Краше ее нет в семье у нас... мне и хочется полечить девушку от тоски... Понимаешь? У Казимира-короля неженат младший сын. Вот я и думаю, что Александру Алена моя будет ровнею. Кое-чем, на радостях, он мне, а я ему поступлюсь... Литва с Русью и поладят, чего доброго... А там... Бог порукой, конечно, надолго ли? А желание есть у меня помириться да пожить с соседом дружески. Так вот у нас и веселье затеется!

— Парочка хорошая бы вышла! — поспешила ответить вместо княгини Холмской вкрадчиво Софья Фоминишна. — Этот план делает честь уму и сердцу государя, моего су-

пруга. Покорная жена может только побить челом ему за себя и за дочь нашу. Елена действительно создана для украшения престола, а не для жизни в подданстве.

Иоанну любви были эти речи, и он, забыв гнев свой, ласково усадил жену по одну сторону себя, пригласив сесть с другой стороны княгиню Холмскую.

— Так вот, княгини, поговорим о деле... за правду... коли угодно гаданье наше... порассудите, да и дело гоношить. Пересмотреть надо ларцы Аленины и счесть: что есть и что надо пошить из белой казны... Да и утвари женские положить на меру: что есть и что сделать придется... исподволь. Потом?.. — Он замолчал и, казалось, раздумывал, но что-то, вероятно, не сходилось.

Входит лисьей походкой Патрикеев и, униженно отвесив поклон великой княгине, подойдя к государю, говорит на ухо:

— Обоз своротил с Тверской дороги на Вязьму, и в лесу начались оклики да высвисты. Наши — к подводам. С их повскакали люди в наряде и напали на слуг твоих, государь... Только четверо успели ускакать и по-

дать вестъ.

Лик Иоанна помрачился, и брови забегали у него — верный признак тяжелого волнения. Государь встал поспешно и вышел.

Патрикеев, на ходу догоняя его, нашептывал:

— Князь Андрей Васильевич уехал к себе на подворье, нимало не помешкав, как только вышел ты, государь, в государынин терем, а... еще не знает об обозе. Гонцов к нему не приезжало.

Вот вошли государь с Патрикеевым в рабочую палату. Иван Юрьевич не садится и держит свою шапку.

— Его бы, государь, следовало, князя-то Андрея Васильича, взять под охрану надежную?.. Может, что ащо окажется... а оставить так... Коли почует, что попали мы на след отправки обоза, задумает и скрыться... В Литве всякому рады смутнику.

— Разумеется, князь Иван Юрьич, правда. Не теряй их из вида!.. Пожалуй... Впрочем, лучше подождать. Брат после сегодняшнего приема, не думаю, чтобы враждебником стал...

— А я так думал, что ласкою он думает усыпить твою прозорливость, государь; попомни, как он ослушался и твоего веления — идти на ордынцев? Подумаю про такую отвагу и смекаю я, что он неспроста сотворил ослушанье тебе, а по уговору, как Бог свят, с литовским твоим недругом.

— А может, и друг уже будет?! Тогда хоть бы Андрей и впрямь уехал!.. Беда невелика будет. Ведь приехал же к нам князь Лукомской?.. Пусть также примут и Андрея... в Литве!

— Князь Лукомской?! Изволишь молвить государь, да сдается мне, что князю Андрею Васильевичу приезд его ведом был раньше нас. Как въезжал этот, князь-от Иван Лукомский, так боярин Андрея Васильича уж поставил его прямо на княженецкое на подворье его. А как поставили, наутро же поспешить изволил его повидать и братец ваш.

— Вот как?! Я этого не знал. Так, за Андреем, пожалуй, да и за князем за Лукомским... за этим — смотреть в оба. То и другое оставляю на твою заботу, Иван Юрьевич.

— Подлинно, государь, смотреть надобно

за обоими. Мне все сдается: может ли быть, чтобы с чиста сердца приехал к нам, в Москву, служить тебе князь хоть бы Лукомский? Когда наши же люди нанесли ему кровную обиду да еще насмеялись на требованье Казимира дать управу озорникам! Ответили, что за давностью найти не можем, кто виноват. А виноватого всякой пальцем только не указывает...

— Чем же, по-твоему, насолили-то Лукомскому наши? Что это за кровная обида?

— Да изволишь ведать, государь, в наезде наши неладно учинили на отместку полякам: разгромили село Лукомского. Да и женскому полу пощады не дали... А в селе-то были сестры родные Ивановы да невеста его возлюбленная. Пиво варил — свадьбу уж ладил!.. А наш Кляпик Колычев, зверь, известно, девок-то княжон да невесту на зло дал, на поруганье. Такой обиды, на мой склад, по гроб не прощают. Мстят до корня... А добряк вишь какой нашелся, сам еще к тебе служить приехал... Воля твоя, государь, крайне подозрительно!..

— Да! Если правда, что молвил ты мне, вся-

кой бы на месте князя Лукомского кровью рассчитался, не то чтобы к нам в дружбу лезть. Да он, может, думает, служба у меня, вернее добратся до обидчика?

— Да, опять хитрое дело, что, явившись в Москву, Лукомской не заикнулся никому об обиде... И Кляпика видает... а все молчок.

— Разыскивает! Что ж до времени в набат-то бить? Нрав, значит, стойкий... удерживается, да тогда нагрянет, когда увертываться будет нечем! Все выложит, как на блюдо.

— Хитер уж очень... Не верится что-то. Да и то сумненью дается, что Казимир также смалчивает: не клянчит, как обычно, чтобы Лукомского приняли здесь.

— Вот это так правда!.. И поважнее всего другого, что ты не сказал мне. Однако пора тебе на покой, Иван Юрьевич, мало отдохнуть пришлось тебе в минувшую ночь. Успокойся... и я, ин, прилягу.

— Покойного сна желаю, государь... Что значат наши бездельные хлопоты и делишки перед твоими царственными заботами.

Не лег, однако, спать Иван Васильевич, отпустив Патрикеева. Долго ходил он по палате

своей, и подозрения, вызванные наветами и сомнениями дворецкого, получили полную силу и ясность несомненную. Если Лукомской оказывался подозрителен, князь Андрей Васильевич, дружившийся, по-видимому, с ним, представлялся более опасным ради своей строптивости и несообщительности. Проявление вчера им вызванной кротости и уступчивости шло вразрез со всею прошедшею жизнью его. Как согласить это?

Утро застало политика еще ни на что не решившегося, но самая эта нерешительность доказывала уже, что если теперь начнет приставать князь Иван Юрьевич с наветами — он достигнет цели непременно. И он сам был того же мнения, зная характер своего повелителя. Стоит бросить зерно подозрений — начнется работа и в результате будет именно то, чего добивался наветчик.

«Ин добро, сегодня не удалось — завтра ты мой, злой обидчик! На твою княжескую шейку приладим мы новую колодку. Проклянешь тот час, когда руки твои положили на лицо мне печать несмываемой обиды. Все отплачу с лихвою!» И он злобно улыбался, обдумывая

новый приступ, окончательный, для погубления князя Андрея.

Утром, чем свет, ехидный дворецкий уже торчал на истертом полавочнике вместе с дворянами дневальными и спальниками перед горенкою, где чутким, лихорадочным сном забылся на часок Иван Васильевич.

Вот он потянулся на своем постническом ложе и встал.

Патрикеев дал владыке московскому помыться и уйти в крестовую: совершить обычное правило. Но лишь только раздались последние слова, произносимые крестовым священником, подававшим крест государю, Иван Юрьевич вырос на пороге рабочей палаты.

— Что нового? — был первый вопрос Иоанна, когда увидел он неутомимого князя-дворецкого.

— Князь Андрей Васильевич в дорогу ладится, последнее выбирает из своего дома городского... Вероятно, проститься зайдет к твоему величию?

— А может, и не зайдет... Как знать, — ответил загадочно Иоанн.

Патрикеев понял, что подозрительность доведена у повелителя его до крайних пределов, и решился пустить в ход последние аргументы.

— Коли сам не ожидаешь, государь, братца перед отъездом, ин, может, не увидишь и совсем... Дай срок выбраться за Москву!

— Может быть.

— Так на мой бы склад, не дать улететь птичке, коли крылышки отросли на отлет? Не ровен час. С Литвы новые требования прислали, да еще с угрозой: коли не исполнишь, мир и порушится. А как князя-от Андрея залучит твой приятель — не то запоет: потребует возврата своей старинной отчины да дедины ащо!

— Ты прав, Иван Юрьевич! Но, — произнес он глухим голосом, — Бог тебе судья, если ты в этом представлении твоём коварно покрываешь какую-нибудь свою... цель... постороннюю...

+Кровь братняя далеко хватает. Братоненавистнику нет отпущения... и этим братоненавистником... будешь ты?! Подумай о последствиях.

— Государь, преданность моя одна заставляет тебе говорить о вреде от ухода Андрея, и если я советую поудержать его, делаю это для соблюдения мира христианского, чтобы не лилась кровь людей невинных.

— Ну, делай с ним что знаешь!

Князь Иван Дмитриевич Каша доложил о приезде Андрея Васильевича. Иоанн закрыл лицо руками, и, когда отнял их, ни одной кровинки не оказывалось на холодном челе его.

— Проси князя, — сказал Иван Васильевич, не смотря на Кашу.

Вошел брат государев и поцеловался с державным.

— Что ты, государь, так бледен? — грустно, но сочувственно спрашивает Андрей.

— Холод какой-то чувствую! Пойдем в теплушку. — И он привел брата в так называемую на языке дворском «западню» — истопку с окошком, заложеным толстою железною решеткою. Здесь князя сели у лежанки. Князь Андрей, сняв охабень, оказался в дорожном платье.

— Ты едешь сейчас — позавтракаем на дорожку?.. Вот я распоряжусь сам.

Иоанн вышел. Только и видел гость брата — государя. Ждет-пождет — не идут с завтраком. Подошел к двери, тронул — заперто.

Вдруг входит князь Семен Ряполовский, расстроенный, в слезах, и не может ничего сказать от рыданий.

— Го-су-дарь кня-зь Ан-дрей Ва-а-силь-е-вич... Пойман еси Бо-о-гом д-да г-го-ссу-дда-ррем, в-ве-ли-ки-им к-кня-зем Ив-ваном Ввасиль-ев-вичем, в-все-я Р-ру-си!

Андрей не изменился в лице; встал и спокойно сказал:

— Волен Бог да государь, брат мой!.. Все-вышний рассудит нас в том, что лишаясь свободы без вины, — это... коварством Ивана Юрьевича, я вполне в том уверен... Пойдем, князь Семен!

И его увели на казенный двор. При проходе их по теремному крыльцу дверь из теплых сеней полуотворилась, и Иван Юрьевич поспешил прихлопнуть ее, шепча про себя:

— Доехал же тебя я, своего недруга... А сомной?.. Уж пусть будет что будет! — заключил он, махнув рукою.

## VII

# НОВЫЕ ИСПЫТАНИЯ

*Надежда-обманщица всегда манит нас несбыточной мечтою, когда отнимает последние утешения.*

Воля государя бросила молодого князя Холмского в самый водоворот интриг венгерских партий, разбушевавшихся со смертью короля Матфея. Стефан-воевода, уже зная часть, что началось у его западных соседей, сам назначил Васе путь, по которому он должен был следовать в Буду под охраною его верных *армашей* (молодцов красивых с длинными черными кудрями, падавшими далеко на спину, как девичьи косы).

Со въездом в Седмиградье то и дело нашим путникам стали попадаться вооруженные всадники, а местные жители деревень, казалось, смотрели на поезд под охраною армашей чуть ли не враждебно.

Дело в том, что предводитель седмиградцев Стефан Баторий, соединясь с Берхтольдом Драгфи да с магнатом Лошонци, подумывал

себя самого предложить в кандидаты на упразднившийся трон своего благодетеля. Сторону незаконного сына короля Матфея — герцога Иоанна Корвина (от невенчанной дочери блеславского бургомистра Кребса — Марии), которого отец вел прямым путем к наследованию себе, но не успел довести это дело до конца, поддерживал прелат, казначей государственный, епископ Урбан Доци, вооружив для защиты прав юноши на свой счет две тысячи пятьсот всадников. И этот горячий сторонник герцога Иоанна делал расчеты баторийцев крайне сомнительными. Особенно когда хорошо вооруженный корпус их на рысях пустился к Буде, предупредив всех других.

Наши путники ехали уже после преследования отрядов Доци, встречая отдельные кучки секлеров Батория, спешивших врассыпную по разным проселкам к столице.

Слабость характера Палеолога выказалась теперь больше, чем ожидала Зоя. С первого же шага в страну, очевидно настроенную к восстанию и, так сказать, ожидавшую только сигнала к обнажению готового оружия, деспот подскакал к Васе с представлением о

необходимости ехать в одной сплошной кучке, без раздела, как было у них.

— На всякий случай, дружок, я приказал Зое надеть кунтуш[23] и совсем преобразиться в мужчину. Пусть держится она между нами. Это вернее. А то смотри, какие дьявольские рожи шныряют! — он указал на седмиградца в желтом кунтуше, вооруженного с головы до ног и ехавшего в последовании троих головорезов в кольчугах. Они были с длинными бичами в руках и с пикой за плечами, да при бедре их раскачивались кривые сабли, описывая правильные дуги при мерном скоке всадников.

Князь Вася, конечно, мог только выразить благодарность его высочеству за такую примерную предусмотрительность. Положим, как человек молодой и посол к тому же, он не боялся ничего особенного, да, пожалуй, готов был хоть сейчас же пуститься в схватку, подобную ночному побоищу с ногами, но удовольствие быть близко к Зое не мог не ценить он высоко. И эту благодать предлагал сам супруг-ревнивец, сделавшийся кротче овечки? Просто баловство судьбы перед испы-

танием!

Появление Зои в щегольском кунтуше на чалом коньке было для Васи довершением праздника. Деспина вообще была не из робких, и в то время, когда супруга ее мучили подозрения да ожидания всевозможных ужасов, заставлявшие его высматривать местность да скакать то в арьергарде, то осторожно приближаться к передовым армацам, Зоя и Вася ехали чинно рядом, высказывая свободно все, что просилось на уста или считали он или она необходимым для дружеского сообщения. А чувство, обладавшее ими обоими, так изобретательно на создание потребностей взаимного высказывания, что Зоя щебетала, как птичка, а Вася соглашался молча. Так что Андрей Фомич, среди беспокойств своих улучая минуту присоединиться к жене, слышал речи обыкновенные, не заключавшие, как ему казалось, ничего, особенно способного подстрекнуть робкого юношу на действие, вредное покою супруга-деспота. Во всю дорогу до Коморна ревность его не пробуждалась, а чета молодежи блаженствовала.

Кто бы мог подумать, когда ехали они так

дружелюбно, что не пройдет двух-трех недель, и князю Холмскому наделает бездну неожиданных неприятностей ревность Андрея Фомича? Принудит даже оставить Венгрию.

Максимов услан еще был в Москву при самом отъезде из Сучавы, и все, казалось, шло хорошо.

В Буде представил Вася грамоту сыну короля Матфея, и герцог Иоанн Корвин в лестных выражениях благодарил московского государя, прося сохранить к нему ту же дружбу, какую питал он к родителю. Но это обстоятельство обратило на московского посла враждебное внимание противных партий, и они окружили его сетью шпионов, а старания Васи переговорить (по наказу из Москвы) с заключенным архиепископом Петром Вардским могли только ухудшить отношение к нему противников Иоанна. Первою из них оказывалась вдова Матфея королева Беатрикса, урожденная принцесса неаполитанская, женщина страстная, полная сил, в одно время честолюбивая, мстительная и чувственная. Она забрала себе в голову, что и приближаясь к

сорока годам может заполнить сердце королевича Владислава Казимировича, и с этою целью пустила в ход денежные аргументы для усиления его, сперва не сильной, партии. Московский посол казался ей наблюдателем за ее поступками, не внушавшими уважения ко вдове Матфея и в глазах венгров. Антагонизм же интересов Руси и Польши настолько уже выказался в действиях Ивана Васильевича, что самое назначение ни с того ни с сего посла в Буду не обещало ничего особенно утешительного. А прямое обращение его к герцогу Иоанну показало, на кого метит государь московский и чью он думал бы держать сторону. Королева решилась поэтому во что бы ни стало удалить соглядатая и усилила надзор за всеми его действиями. Привязаться к чему-нибудь и выслать посла московского сделалось лозунгом сторонников Беатрикссы.

Обстоятельства ей давали благовидный случай.

Нетрудно было понять искусным шпионам взаимные отношения деспота, деспины и Холмского. Рало, продажный, как все люди его десятка, явился драгоценным орудием ин-

триги, и скоро решено было открыть действия против москвича возбуждением ревности деспота. А в Буде с первого же дня вошел он в роль свою кутилы всесветного.

Вот деспот в таверне — с такими же розами на щеках и с тем же масляным выражением на бесхарактерном лице, как и в памятное утро начатия нашего рассказа, — председательствует в кружке пьяниц.

— Да здравствуют женщины и вино! — выкрикивает он по-итальянски хриплым голосом своим.

— И да блаженствуют жены, забывая мужей в объятиях друзей! — кричит, перебивая Андрея, нахальный пьянчуга-неаполитанец, подмигнув своему председателю с явным желанием уколоть его.

— Что ты за пустяки городишь? — с неудовольствием отвечает Андрей заносчивому собутельнику.

— Я только добавляю к тосту почтенного Амфитриона недоговоренное им.

— Не перебивай! Я предложил тост мой, а твоего прибавления не желаю. Мне прошла уже пора для таких приключений.

— А я думаю, — вмешался другой собеседник, — что вашему высочеству открывается перспектива наблюдений такого процесса дома у вас. Можете изучить все фазы!..

— Объяснись?!

— Мы пируем здесь, и жена ваша, я полагаю, у себя... наслаждается, чем умеет... Понимаете?

Общий хохот покрыл эту выходку. Андрей не был пьян и понял, что стрела пущена на его счет.

— К черту загадки! крикнул он с бешенством, ударив по столу так, что стопы повалились на пол.

— Приказываете прямо высказывать?

— Д-да!

— Князь Холмский... у вас распоряжается красавицею жен...

— В-врешь, — зажимая рот пьянчуге, зарычал рассвирепевший Палеолог, всполошив не только свою компанию, но и всех посетителей таверны.

С трудом освободив рот свой из-под гибкой руки Палеолога, в свое время обладавшего замечательной силой, конечно давшей себя

чувствовать и теперь, в пароксизме иступления, помятый клеветник на минуту замолк. Но подстрекаемый исподтишка своими патронами, имевшими в этом скандале для себя выгоду, он тихо, но решительно сказал:

— Справедливость своей выходки готов подтвердить делом. Идите за мной, теперь же, и — мы увидим... лгун ли я!

Палеолог, пошатываясь, принял вызов. За ним последовал Рало и два мерзавца, нанятые сыграть роль уличителей.

Была уже глубокая полночь и такой мрак, что зги не видно. Палеолога ведут двое за руки.

— Куда же мы идем? — спрашивает потомок византийских владык, сделав несколько шагов в этой густой мгле. Хмель на мгновение уступил в нем место трусости.

— В дом ваш.

— Рало, друг! — призывает Андрей.

— Здесь я, — отзывается, едва ворочая языком, наш лакомый до вина знакомец.

— Где мы?

— На пути к дому нашему. Вот и пришли! — снова кричит Рало, принимаясь гре-

меть в кольцо у ворот. Всполошенные служители выбегают с факелами и с трудом узнают деспота. Спутники его рвутся в дом — их не пускают. Начинается схватка. На крик выбегает стража, охраняющая жилище посла, но, по слову одного из пировавших с Андреем, дает свободный доступ в жилище деспота кутилам. Врываются в спальню Зои.

— Кто это? — спрашивает пробужденная деспина.

— Я!.. Муж твой.

— А это что за сволочь? Как смел ты тащить их сюда? — мгновенно поддавшись гневу при виде бесчинников, прикрикнула на супруга смелая деспина.

— Мы пришли искать, нет ли здесь кого спрятанного? — нахально кричит пьянчуга-клеветник.

— Андрей! Как смеет здесь так обращаться ко мне... этот мерзавец? Пропил ты, верно, весь рассудок свой?! Вон!

Андрей поник головою, и его собутыльники не знают, что делать. Вбегают Холмский да Алмаз со стражею. Переводчик, именем посла, приказывает начальнику стражи очи-

стить дом от бесчинников. Хватают и выводят кутил, забрав с ними и Рало. Зоя выталкивает Андрея и запирается.

— Государь, Андрей Фомич, что все это значит? — спрашивает почтительно Вася, оставшись с ним один на один. — К чему привести изволил ты людей этих к себе?

— Соперник мой ты, я это знаю, но... они уверяли меня, что я застаю вас даже, — приходя в себя, отвечает деспот.

— Кто же этак смел клеветать низко?

— Двое друзей моих...

— Хороши друзья?! Знай же, Андрей Фомич! — схватывая за руку деспота, прерывает его горячий юноша. — Я могу забыть твой сан...

— Я и шел убедиться, правда ли?.. А сам не верил еще, — неудачно оправдываясь, думал извернуться Палеолог, отрезвленный в передраге.

— Позорить жену свою, деспот, значит позорить себя... губить честь свою... Я должен буду все отписать державному... А так как клевета коснулась и меня, я попрошу разрешения оставить здесь вас.

— Королева Беатрикса прислала просить к себе немедленно московского посла! — вкатившись в комнату, говорит поляк.

— Утром я буду у ее величества.

— Сейчас просят, и я, как посол, не дерзаю идти без ченсци вашей, — с особым ударением отозвался решительно опытный проходец, называвший себя дворянином.

Как и почему явился он на службе вдовствующей королевы венгерской, и в этот час князю Холмскому очень хотелось спросить, но нельзя было без нарушения вежливости. Видя, однако, что не идти нельзя, Вася отдался наконец в распоряжение посланца королевы. Сел на коня, и — поехали.

В замке Офенском огонек блестел в помещении вдовы Матфея. Скоро пред лицо ее величества допущен мрачный московский посол, во всю дорогу хранивший молчание.

— У вас все драки и бунты ночные? — встретила князя Васю раздраженная, казалось, Беатрикса, приняв на себя не слишком подходившую к ней роль грозной повелительницы.

— Ваши же люди врываются в дом, нами

занимаемый, — ответил, не долго думая, посл.

— Я по этим поступкам не могу сохранять к себе уважения, подобающего послу! Что за сволочь навезена к нам? Пьянчуги, развратники, — заговорила она часто, не слушая ответа.

Князь Василий Данилыч не прерывает весь этот поток, думая начать речь, когда прервется нить упреков, меньше всего к нему могших относиться. Наконец королева села и перевела дух.

— Теперь моя очередь, ваше величество, — заговорил Холмский. — От чьего имени чинишь ты, государыня, мне, слуге государя московского, всю эту отповедь? Супруг твой, король, его милость Матфей, наших московских людей не унижал и не позорил так. А и был он король-государь всеми признанный. Я же грамоту подавал не твоему величеству, а сыну его герцогу Ивану. А теперь почему, милость твоя, расправу чинить изволишь не в меру свою, государынину, ведать бы нам нужно прежде всего? А потом уж упреки... коли стоим.

— Такая речь увеличивает вину этого грубияна! — отозвалась Беатрикса, себя не помня от раздражения. — За посла не хочу его признавать!

— Да и не нужно беспокоиться, коль на то пошло! — ответил с достоинством Холмский. — Тот мне пусть укоры чинит, кому подана грамота!

— Так и велите ему ехать к герцогу Иоанну, — велела Беатрикса передать дерзкому москвичу, как выражалась она.

— Иоанн теперь к Пяти Костелам бежал. Пусть и этот за ним поспешает. А там Баторий примет! И доведет, разумеется, куда следует... Здесь я властвую! — И со смехом, в котором слышалось злобное торжество, Беатрикса дала знак рукою, чтоб вывели Холмского.

По выезде из замка князя Васю окружили три десятка секлеров и почти неволею повезли к епископу раабскому Бакачу, от лица королевы заведовавшему полицейским управлением в Буде. Там их партия в последние дни усилилась.

Бакач, похаживая по своей роскошной

спальне, полуодетый, высказался еще беззастенчивее:

— За удалением герцога Иоанна, которому венгры не хотят отдаться, посол московский должен немедленно выехать не только из столицы, но даже из пределов Венгрии!

— Так я поеду к Пяти Костелам?

— Туда никто не пустит тебя. Спасибо, что сказал! Отправим на границу с провожатым. Можешь к себе заехать: собрать пожитки и быть готовым к рассвету... ехать!

— Вы не можете посла иностранного государя высылать без государственного сейма.

— Коли силу имеем — и вышлем! Что еще толковать с хизматиком, — отозвался он величественно, по-латински.

— Я не поеду!

— Повезут!

— Принесу жалобу сейму!

— Когда он будет собран... можешь. А теперь — вышлем!

И повернулся спиной.

В бешенстве приехал к себе Холмский. Двор их — уже окружен стражею. Видеть деспота и Зою — нельзя. Никто не хочет ничего

слушать. На лицах стражников явное озлобление. Пришлось покориться необходимости.

К свету донесение государю обо всем было готово; распоряжения — как и куда следовать дьяку с казною — сделаны. Вася в сопровождении Алмаза да и еще троих из своих отроков оставил посольский дом и Буду, под конвоем вывезенный на краковский тракт к Грану. В Кременце, когда остановились наши проезжие кормить лошадей, маршалок князя Очатовского, приезжавший за княжною, подал Васе письмо своего господина с приглашением почтить его дом посещением. Шестеро челядинцев при маршалке вели дюжину заводских лошадей в дорогом уборе, с серебряною сбруею (и с подковами даже их того же металла).

От такого обязательного предложения, находясь в пути уже, да не зная, куда и направиться, Вася не видит нужды отказываться. Он дает вести себя посланцу.

Вот мы встречаем их уже на третий день путешествия, не входившего недавно еще в соображение. Проезжают путники по картинной местности, где возвышения поросли ча-

стым липняком, яркая зелень которого так заманчиво манит под листву свою утружденных зноем путников, хотя солнце и не высоко еще...

Путь лежит по самой населенной части земель короны польской, где ночлеги довольно удобные, дороги сносны, а бодрые иноходцы бегут довольно бойко. Так что на третий день пути седоватый маршалок довел до сведения его мосци, князя Ходумского, что они уже въезжают во владения его милостивого пана — князя.

Было около полудня, когда из-за молодого липняка, раскинувшегося по скату пологого невысокого кряжа, блеснули звезды костельных шпицев, а из-за них выглянул с гербовою хоронгвою и палац княжеский.

Предстояло затем спускаться в обширную котловину болотистого луга да за плотиною взять немного влево. Путь был неширок и шел волнистою дугою, изгибаясь между невысокими холмами, служившими гранями пашен и конопляников. Стали попадаться верховые шляхтичи и неуклюжие телеги деревенской работы, в которых то и дело мель-

кали паны с паньями, разряженные в ярко-цветные праздничные кунтуши. Ясно было, что у их мосци князя Очатовского готовился банкет на славу.

Вот за последними липами открылась поляна и на ней прямая как стрела, хорошо укатанная, песчаная дорога, обрамленная редкими пирамидами тополей, ведет к самому дому владельца. Бесчисленное множество экипажей, которые считались очень щеголеватыми и покойными, хотя были неуклюжи и тряски, расставлено в несколько рядов на протяжении чуть не версты. Можно судить поэтому, сколько наехало гостей к хлебосолу старому князю! Нашим путникам дают почтительно дорогу все встречавшиеся, обгоняемые ими, так что сытые коньки чуть не летят, издавая веселое ржанье при виде конца своих странствований. Маршалок нарядился в новый кунтуш брусничного цвета, выложенный узким позументом. Широкий пояс перетягивал несколько пополневший стан его, не потерявший, однако, былой своей гибкости, хотя серебро уже сквозило в длинных усах его и обильные кудри головного убора

словно прикрылись инеем. Стариком нельзя было назвать пана Мацея, но ему уже шел шестой десяток, и из этого итога годов больше половины провел он в боевых тревогах, оставивших по себе на память два-три сабельных рубца на круглом лице пана маршалка да след дурно залеченной раны от стрелы, глубоко вонзившейся в поясницу лихого наездника. Несмотря на этот маленький изъян, без сомнения влиявший на меньшую развязность движений пана Мацея, он спрыгнул как юноша с седла — после девятичасовой быстрой езды — у ворот обширного двора и, взяв под уздцы коня князя Василия Холмского, подвел его к самой ступени лестницы, ведущей в жилище своего владельца, предложив только тут сойти с коня. Отдав лошадь слуге, Мацей повел гостя в открытые главные двери палаца, где ему удалось прямо найти и хозяина. Князь был в первой же палате и, по звуку речи маршалка ловко обернувшись, принял в объятия подходящего гостя. Ласка хозяина своею живою искренностью привела молодого Холмского в сладкое волнение: никто еще не принимал его так дружески род-

ственно. Он хотел говорить, но выходили какие-то полузвуки, смысл которых затруднился переводить усердный толмач. Очатовский держал в объятиях гостя и не замечал, как текут у него самого по усам тихие слезы. А это, конечно, только могло усилить волнение прибывшего.

— Не судил Бог, — начал, несколько успокоившись, со вздохом, хозяин, — назвать мне тебя, мой благодетель, сыном, но чувства, которые питаю к тебе я, вполне родственные.

Вася кланяется, не находя слов для ответа; им овладело большое волнение; глаза ничего не видят, и в ушах отдается словно шум какой. Подошла разряженная княжна Марианна и, взяв за руку гостя, повела его к дамам. Шепот благосклонности пронесся по ряду красавиц при виде миловидной пары, какую не нашлись бы похулить в чем бы ни было и самые ярые злоязычницы из чопорных невест, отчаявшихся в составлении партии. Отец вздохом проводил удалившуюся чету. Видя смущение своего спутника, княжна поспешила усадить его подле себя.

Щебетанье живой польки никогда еще не

проявляло такой вызывающей обаятельной силы на Холмского, и он был как на угольях. Пытался поднять глаза на свою недавнюю пленницу и не мог произвести этого маневра, собирая все свое мужество. Наконец, после порывов яркого отчаяния, он таки осилил себя настолько, чтобы обвести глазами многочисленное собрание. Княжна, расточая любезности, была не прочь уколоть Холмского (к которому в глубине души питала она безнадежную любовь, считая наружную холодность его за презрение к себе), но не находила желчи для резкого сарказма. Взамен его с уст ее только слетело заявление, что она не должна более вспоминать тех навек неизгладимых ощущений, которые переживала в Крыму, потому что... почти уже жена пана Жмыховского!..

Княжне при этих словах показалось, что у Холмского что-то блеснуло в глазах, и он поспешно потупился.

«Не может быть! — думает Марианна. — Мне показалось только это. Лед не может таять! Не мне вызвать искры из этого камня...»

А лед почти расплавился теперь, хотя и

поздно. И камень готов был разлиться огненною лавою, если бы не роковые слова, поразившие его, как громом. Он не успел оправиться, как Марианну зовут: приехала мать ее крестная. Она встает, но рука Холмского безотчетно ее как-то удерживает. Княжна с улыбкой обращает глаза к нему и видит в лице князя такое смятение и такую нежность, что чувствует, как кровь приливает ей самой к сердцу. А томительное беспокойство сжимает его с неведомым до того страданием.

— Пусти меня, князь Василий!

— А я хотел бы наглядеться на тебя! — шепчет он одной ей слышными звуками.

— Потом... я приду... после.

Но и ее удерживает та же чудная сила, которая сковывала до сих пор чувства Холмского, теперь готового излиться в молениях и жалобах.

— Неужели не могу я любоваться в последний раз, княжна? — теми же неслышными ни для кого, кроме нее, звуками спрашивает, почти не растворяя уст, молодой князь.

— Ступай в сад, все прямо... в кусты, а там... вправо... в рощу, за прудом! — едва вла-

дея собой, также неслышным шепотом, ответила Марианна, направляясь к панне крестной своей, успевшей уже вкатиться в ту комнату, где находилась она.

Вася ускользнул при первой возможности из залы и — прямо в сад. По дорожкам гуляют счастливые пары. Он сторонится при встрече и направляется в кусты. Густой орешник разросся так роскошно, что с первого же шага под хранительную сень его — он уже невидим. При говоре и смешанном гуле от подъезжающих телег и повозок шелест травы под ногами его неслышен. Голоса удаляются, потом слабеют и — совсем их нет. А он все идет дальше, внимательно всматриваясь: не блеснут ли где серебряные струи? Наконец направо темная зелень густой листвы прорезалась светлым пятном. «Пруд!» — чуть не вскрикнул Холмский и перевел дух. Через несколько мгновений он стоял уже на берегу водяного зеркала, с одной стороны только не обрамленного могучими кленами. Исполины эти давали как бы возможность видеть с пруда далекий палац. Равнина вод была очень обширная, так что противоположный берег от-

стоял больше чем на сотню сажень, а заворот влево шел еще дальше, представляя глубокую впадину — бывшее озеро и за ним речку, уходящую в ясную глушь. В ту минуту, когда, обзрев берега пруда и найдя пункт, удобный для наблюдения, Холмский сел на траву поджидать Марианну, — погрузившись в золотые грезы, где панна рисовалась феею — раздавательницею всевозможных благ, которые представить способно было его воображение, — из этой глуши выплывала лодка. В ней сидели двое мужчин. Один из них мастерски греб под тот берег, где сидел князь Вася. Проплыв под кленом, где сидел он, скрываясь в густой листве малинника, — за пологом его совсем невидимый, — лодка остановилась. Сидевший без дела в ней вспрыгнул на траву и свистнул так пронзительно, что эхо отдавалось по берегам пруда, повторившись в густоте кленовой рощи. Не прошло минуты, как вблизи отдался такой же свист и из кустов выбежал поляк, попавшийся перед тем Васе навстречу в дверях палаца Очатовского, когда они приехали. Он подал руку призвавшему его свистком.

— Ну что, есть слухи с Москвы? — спрашивает приехавший в лодке.

— Были, да недостаточно ясные; посланы новые запросы.

— Сам Лукомский отвечал?

— Ему нельзя. Смотрят за ним очень строго и вообще недоверчиво, так что письма получаем не от него, а от Мунта Татищева, новгородца!.. Ярого врага Иванова... человека очень ловкого.

— А почему вы знаете, что это не предатель?

— Во-первых, он весь наш и норовит к нам же уйти при случае... стало быть, в нас заискивает...

— А если падок на гроши, тогда его подкупят... и забудет он свои теперешние намерения, коли больше нашего ему дадут? Почему знать!.. Москалю доверяться не след было. Это — больше чем неосторожность!

— Не беспокойся, пан мой милостивый... Тут уже все рассчитано... Лукомский — мастер своего дела и не ошибется. Особенно когда мщение личное движет его великую душу.

— Видел Ивана Лукомский?

— Как же. Получил приглашение оставаться сколько пожелает и обещание таких же маетностей, какими у нас владел.

— Так что... смотрят на него, значит, во всяком случае, как на своего будущего верно-подданного... а если наблюдают... то чтобы не ушел?

— Трудно сказать!.. Спрашивают о разных разностях.

— Ну, это пустяки... сколько угодно. Сообщите, чтоб показывал нас еще слабее, чем мы есть на самом деле... Пусть не скрывает ни про наши интриги, ни про партии, ни про незащищенность окраины, да пусть смело высчитывает силы хоронгов панцирных. Главное... нужно, чтобы в него Иван вверился. Пусть берется и вести его полки, даже... пусть клеветает на короля и на панов. Чем язвительнее — тем лучше!.. Да сперва пусть правду говорит. Москву я знаю. Москвич хвастовство любит и верит в могучесть своей грубой силы. Дакать и такать да прилагать небылицы — лучший путь к снисканию у них доверенности. Вояку Ряполовскому пусть восхва-

ляет его испытанную храбрость, хвалит про- ницательность Патрикеева... Этим путем до- биться можно близости к Ивану. Тогда же, не теряя времени, пусть употребит вот этот по- рошок... Щепоть одна в стопе меда разойдется не- приметно, а две капли этого медку упокоят навеки завистливого пожирателя уделов. Так вот... перешлите этот гостинец!

Вася видел, как передал поляку вопроша- тель мешочек из красной шелковой материи в кожаном кошельке да какую-то палку с на- верченными на нее ремнем. Получивший по- ложил все за пазуху и поспешно скрылся в ку- сты, а передатчик сел в лодку и через минуту скрылся в глубине разлива за поворотом бе- рега. У Васи пробежал невольный трепет, ко- гда он вдумался в настоящий смысл наказа поляка, передававшего мешочек и палку.

— Нет, вам не удастся, злодеи, извести го- сударя! — промолвил он вполголоса, вставая с травы и забыв о свидании, которого так еще жаждал за несколько минут. Долг и совесть заглушили в нем сладкие грезы, навеянные очаровательным образом Марианны. Не ду- мая уже о ней, Вася пошел по берегу к палацу,

ничего не видя, погруженный в думу. Вдруг его схватывает за руку княжна.

— Куда ты? — Вася воротился к действительности, и пыл, оставивший было его, вновь овладел молодым человеком.

— Княжна, зачем я увидел тебя? Зачем я продолжаю на тебя смотреть! Зачем, скажи, когда моею ты не можешь быть уже?

— Это от тебя зависело и... пожалуй! — слезы закапали с ресниц у ней, и голос перервался. Рука ее замерла на плече князя, а грудь колыхалась. В глазах темнело у ней, и кровь клокотала, душа молодую девушку.

Холмский тоже плакал навзрыд, держа бывшую пленницу в объятиях. Им так сладко вдвоем, что они готовы были оставаться в этом положении целую вечность, не замечая полета времени. Приищите, если сумеете, название такому состоянию, но оно было не сон и не бодрствование. К действительности призывали наших мечтателей голоса девушек, раздававшиеся вдали и кликавшие: «Панна Марианна! Панна Марианна!»

Она затрепетала, вырвалась из рук Холмского, а он — рухнул как сноп на траву, поте-

рвав всякое сознание.

Уже было поздно. Звезды ярко горели на темном своде ночного неба, когда пришел в себя, от прохлады вероятно. Шатаясь как пьяный и спотыкаясь на каждом шагу, князь Василий Данилович пустился наудачу искать дорогу к палацу. Насилу выбрался он из густой чащи деревьев на полянку. Отдаленные звуки музыки дали ему понять, в которую сторону идти к палацу, где уже пан Мацей очень беспокоился, ломая голову: куда девался этот дорогой гость, им привезенный? Усердный маршалок то и дело выбегал из дверей в сад: осведомляться, не видал ли кто князя? Разосланные в окрестности люди воротились уже перед утром, ничего не найдя и не узнав. К счастью, в один из своих обзоров, при выходе из палаца Мацей увидел предмет своих напрасных исканий. Поняв, что в этом положении гостя трудно спрашивать, как и почему это случилось, а нужнее дать ему покой, Мацей провел изнеможенного князя Василия в помещение, ему отведенное, и передал на руки заботливому Алмазу.

Придя в себя и несколько отдохнув, князь

дрожащею рукою начал строчить донесение о кознях Лукомского. С рассветом Алмаз, по наказу своего господина, выехал уже из Очатовского замка, никем не замеченный. Скоро очутился верный слуга на дороге к Смоленску, поспешая в Москву с грамотой.

## VIII НЕВЕРНЫЙ РАСЧЕТ

*Уж как полно, красна девица, тужити,  
Не наполнишь ты сине море слезами,  
Не воротишь друга милого словами!*  
Русская песня

Время бежит неделя за неделей, месяц за месяцем. В теремах великой княгини царит какая-то апатия, и, если бы на половине государыни не раздавался время от времени звонкий голосок княжны Федосьи Ивановны, можно было думать, что какая-нибудь душевная болезнь или тяжелое семейное горе свинцовым гнетом налегло на царствование обитательниц.

Делаются между тем приготовления к свадьбе, и, кто бы поверил, вечера при этом про-

ходят без песен. Сенные девушки ходят робко, все высматривая чего-то да шушукаясь вполголоса. Такое положение прислуги прилично и уместно было бы у немощной и одинокой вдовы — старушки-скопидомки, между тем великая княгиня Софья Фоминишна далеко была не стара, не немощна. Смерть не лишила ее любимых взрослых детей; о потерях же только родившихся княжон она давно забыла, имея одноименных с ними дочерей, уже расцветших розами. Наконец, как мы сказали, делаются приготовления к свадьбе старшей, хотя и другая поспекает в невесты. Что же за причина видимой кручины и где источник ее?

Мать обыкновенно радуется, готовя дочь к венцу. Софья Фоминишна по-своему и то довольна: честолюбие ее удовлетворено. Ее Елена будет государыней по воле державного отца, тоже довольного примерною дочерью и ее послушливостью. Только послушливость да ласки Елены, имеющие чарующую прелесть, томят сердце. словно овечка, предназначенная на заклание, ластится перед грубыми мясниками, так и она, кроткая, вечно задумчи-

вая, прильнет щеками к холодной руке матери, и та, любившая красные велеречивые речи, молча принимает знаки нежности дочери, не смея взглянуть ей в лицо. Не смотря на нее, мать чувствует, как наполняются алмазные, горячие слезинки на ресницах ее дочери, и каждая из них, скатившись, недолго дожидается падения следующей. Если хотите, Елена не плачет, не хныкает, не задыхается от бурного прилива влаги, которую называют слезами, она по слезке, по капельке точит их безустанно, не считая и не замечая этого систематического, если угодно, паденья и нарастанья капелек. Мать не раз решалась спрашивать, вызывать признанье, но при первых же словах своих робела отчего-то и теряла охоту продолжать допытывание, довольствуясь лаконическими ответами: не болит, не больна, не скучно!.. «Так, что-то томит сердце, маменька!» — прибавляла покорная дочь при этом почти не слышно.

Сам отец со своею железною волею ни разу еще не решился сделать допрос в этом роде, хотя смотрел на белое личико дочери, подернутое грустью, не без видимого волнения. Не

Оно ли, не это ли волнение, и мешало великому политику выспрашивать? Он сам сознавал, что, обрекая дочь на житье в чужбине с человеком, которого она не видала и должна полюбить понаслышке, не зная его, каков он, — должно неминуемо вызвать в этой жертве признаки и тоски, и слез, и горя. Все это очень естественно и должно быть. Она должна пройти такое состояние; потом забудет... сживется... может быть, неожиданно встретит и радость — по капризу судьбы, всегда действующей наперекор расчетам. Простая же логика не давала права заключать о большой радости и совершенном довольстве молодого существа, пересаженного против воли в другие условия общества, к другим людям, враждебно относившимся ко всему, что носит имя московского.

— Ведь не любят же, по правде сказать, и москвичи мою Софью Фоминишну? Положим, ради ее греческой хитрости, — рассуждал сам с собою Иван Васильевич (наедине, входя в разбор обстоятельств предположенного им бракосочетания дочери с литовским владетелем)... — Ну... и ее, Алену мою, может,

не полюбят литвины, а главное, ляхи-враждебники. Небольшая беда — любил бы только муж! Александр мямля, говорят, а одинаковые нравы сталкиваются на одних и тех же побуждениях. Вот что дурно! Алена моя — мямля! И муж будет такой же: ни рыба ни мясо! И будут они друг другу надоедать; он свою католицкую веру держит; она привязана к православию родному. На этом столкнутся непременно! Его науськают паны разные, да патеры станут перетягивать к себе в веру мою горлицу... Она устоит, я знаю, — а слез прольет реки. Да ведь и так плачет! Такая уж ее, видно, доля пахмурая. Все же замуж деву-ку-дочь отдать надо; за своего всегда могу, да выгоды большой нет, а за соседа — есть выгода! Алена моя не просто девушка, а русская великая княжна и должна сослужить родине службу: тянуть на русскую сторону литовские порядки! Сживется же ведь наконец! Привыкнет и муж к ней! По себе могу судить, не всегда и не во всем же откажешь просьбам жены: два раза устоишь, отойдешь, в третий — сделаешь! И если Алене посчастливится, из двух в третье: ее родное дело — Русь и русское

в Литве — поднимется. Вот ее участь... завидная для русского сердца. А сердце у ней наше, русское, доброе. Слезами посеешь — радостью пожнешь!..

Мать рассуждала несколько иначе. Для Софьи Фоминишны была не тайною привязанность Елены к Васе Холмскому, и, зная эту сторону очень естественной девичьей кручины, мать приходила к убеждению, что слезы, не осушающие глаза дочери, выражают скорбь об отсутствующем. Потеря его навек была бы, может, легче, чем если бы видела она его хоть редко, издали! Неизвестность: что с ним? — заставляет пытливый ум и кроткое сердце беспрестанно о нем думать. Этим тревога поддерживается, и забвению долго не изгладить из памяти милого образа.

— Вот что разве сделать мне? Сказать разом, что нет его?.. Уверенность в том поможет забвению! По себе могу судить. Когда в борьбе с неверными пал мой прекрасный рыцарь Анджелето Равенский, я думала: не пережить мне будет его гибели. Но прошло с полгода, и я приняла без большого горя весть, что меня хотят отдать за Ивана Московского. До вести

о гибели Анджелето я считала мгновения: когда получу от него весть? Делалась больна, когда замедлялось почему-нибудь прибытие посланного. А как только эта лихорадка ожидания прошла, я стала спать спокойно, и самый вопрос о дальнем странствовании в варварскую страну, где должна была я, после тысячи приключений, отдать руку неведомому мне государю-мужу, для меня разрешился легко. Поедем — посмотрим, что будет! Так и будет с Еленою. Слез она меньше будет тратить, раз вдоволь выплакавшись, при сообщении об исчезновении Васи!

Кто более ошибался в страсти и живучести сердца Елены: мать или отец? Покажут события. Только Софья Фоминишна решилась привести в исполнение свой замысел со всею ловкостью итальянки, обладающей и греческою хитростью.

Однажды утром наученная ею сенная девушка вполголоса стала рассказывать своей подружке-золотошвейке; сидя за пальцами, что на Москве говорят: никак князя молодого Холмского извели где-то злые люди!

Княгиня Авдотья Кирилловна в это время

проходила внутренним переходом, только тонкими дранками отделенным от теплых сеней, где происходил разговор. Фамилия Холмского заставила ее остановиться, и слова: «Извели злые люди!» — были ударом в сердце кроткой страдальицы. Она так и осталась на месте, бледная, трепещущая, холодная и... почти недышащая.

В таком положении перенесли княгиню на постель. Сбежались дети. Княжны Елена и Федосья Ивановна целовали холодные руки своей пестуницы, обливаясь слезами. Она же находилась в состоянии летаргии; дозволяла делать с собою что угодно. Руки ее легко разгибались, потеряв всякую возможность сопротивления. Только грудь высоко ходила, но дыхание чуть было слышно.

Пришла Софья Фоминишна и при взгляде на отходящую поняла, что убило ее.

— Я знаю, что так поразило быстро княгиню! Мне женщины что-то болтали, будто с князем Василием... сделалось... — вымолвила дочь Палеологов с самою невинною миною, как бы невзначай...

Елена упала в обморок. Феня же зарыдала

с такую силою, что и сама, не приготовленная к двойственному взрыву скорби о мнимой потере лица, по ее мнению, интриговавшего одну девушку, — мать почувствовала себя дурно, внезапно отгадав, насколько Холмский дорог и другой ее дочери.

— Вот так беда!.. — вырвалось у нее самой искреннее признание.

В это время вошел Иван Васильевич, извещенный о припадке княгини Авдотьи Кирилловны, приготовленный уже найти княгиню Холмскую при последнем конце ее. Как ни привык великий политик скрывать в себе волнение, но на лице его выразалась в эту минуту такая безотрадная мрачность, что сама Софья невольно затрепетала.

— Успокойся, жена! — холодно отозвался государь, предупреждая, как казалось, вопрос со стороны великой княгини. — Сказали мне, с Авдотьей Кирилловной стряслось что-то такое-недоброе...

— Да ты сам-то каков, посмотри! А еще советуешь мне успокоиться!

— Я получил тяжелую весть! — совсем могильным голосом ответил Иван Василье-

вич. — Да обо мне после... Она что, спрашиваю?

— Эта же тяжелая весть, вероятно, и убила нашу голубушку! — вмешалась непрошенная княгиня Ряполовская, как-то очутившись тут.

— Да ты о какой вести толкуешь, княгиня? — прервал ее государь, внезапно переходя от беспокойства к гневу, хотя пересиливая овладевшее им смятение.

— О Холмском-молодом... известно! — бойко ответила сплетница.

Иван Васильевич рыкнул, как дикий зверь, когда хватят его каленым железом, или когда случайно в траве где-нибудь ступишь голой ногой на змею и почувствуешь ее жало.

— Кто смеет подслушивать мои тайны?.. Предатели вокруг... везде! Я велю вырвать язык тебе, тараторка проклятая!.. — и он затрясся как в лихорадке от обуявшего гнева.

Софья Фоминишна поспешила отвести супруга от бесчувственной княгини Холмской в свою ложницу и, заперши двери, обняла мужа и стала его успокаивать.

— Ну что ты так вышел из себя?! Разве о Холмском-молодом нельзя говорить?.. Его по-

теря не может быть важна так... Он...

— Что ты мне толкуешь о потере какой-то? Совсем не то. Ково потеряешь — тово не воротишь! Дело не в потере, а в том... что Холмский прислал мне с доверенным человеком извещение... Лукомский прислан сюда Казимиром — отравить меня! Нужно... стало быть, схватить ево... чтобы не увернулся... а баба толкует о Холмском!.. Станет еще благовестить: ково и зачем прислал он?.. Так я же эту сороку присажу на нашест... будет она ужо наблюдать у меня хранение устам своим!

— Успокойся же... Я сама ничего не поняла тут... Стало быть, догадаться о присланном от Холмского никто не может. А твоя вспышка и подавно отобьет охоту пересказывать все, что на ум взбредет... Вот, я... насколько могу понять из толков о княгине Авдотье Кирилловне, думаю, что ее убили неосторожные слова... чьи-то... в девичьей: что князя Васи, сына ее, в живых нет... Ряполовская ведь это тараторила... а не другое!

— Ну... так провал же ее возьми, глупую трещотку!.. И поделом ей досталось... не суйся прежде отца в петлю, не городи нелепости,

коли не спрашивают... Теперь авось прикусит язык?.. Не сунется вдругорядь. — И политик усмехнулся, успокоившись.

— А ты знаешь что, государь? Ведь по Васке Холмском у нас и новая кручинница — Феня!

— Это как?

— Как принесли княгиню с перехода да положили... я и молвила вслух, что говорили девушки о гибели Холмского... Алена сомлела... заголосила, зарыдала и... Феня... с ней. Я и поняла...

— Это еще не много тебе известно. Может и не то... и не так. А во всяком случае... наблюдать надо. Хотел было я призвать Васю... нужен мне такой верный парень: это адамант [24] и чистое золото!.. Как был и отец его покойный (Иоанн невольно вздохнул). Но... за твоим открытием подожду... дам ему новую работу... В Свею, что ль, послать? — проходясь по ложнице, заложив руки за спину, промолвил успокоенный Иоанн и, подав руку жене, спешно ушел к себе.

Софья Фоминишна, оставшись одна, погрузилась в глубокую думу. Ее как мать занима-

ла, очень естественно, судьба дочерей, и партия каждой из них представлялась не с политической только стороны, как супругу, но со стороны значения придворной власти. Блеска требовало воображение, впервые начавшее работать у нее при другой, более яркой обстановке, далеко не такой, как московская — с одною чинностью выходов в храмы да в Грановитую! Мысль дочери Палеологов уже знала цветы поэтического вдохновения прекрасной Италии. Глаза ее видели турниры и праздники. Душа просила у нее в дни юности мятежной, как мы выше видели, простора и любви, ею самою вызванной и разделяемой. Только страсть эта, для полного декорума, искала пышной обстановки, ловкости и находчивости со стороны любимого предмета. Ей представлялась необходимою не просто статная фигура физически развитого молодого человека с приятною наружностью, но известный лоск обращения при том. Софья требовала еще от идеала мужчины, кроме способности возбудить любовь, известной бывалости и наблюдательности, заменявших у людей XV века ученость и образование, получаемое в

детстве в наше время. Состояние независимое само по себе, но непременно соединенное с иерархически государственным значением, принималось как условие, но ум Софьи Фоми- нишны не признавал настолько же необходи- мым, чтобы все эти качества соединялись в лице владетельного князя или короля. Если бы было так, конечно, лучше, но, увидев слу- чайно, во время путешествия по Германии, сына польского короля, именно того самого Владислава Казимировича, который сделался потом королем Чехии и Венгрии, Софья Фоми- нишна вынесла из кратковременного наблю- дения за ним нелестное заключение о степе- ни цивилизации этого принципе. По крайней мере, ее резко поразило умственное различие и человеечно-социальное настолько малораз- витого юноши сразу после виденных ею ита- льянских маркизов и нобилей. Даже грубые бароны имперские брали предпочтении пе- ред королевичем польским в развязности и светскости. В москвичах великая княгиня и невестою еще видела крайнюю к себе угодли- вость и почтение, а эти качества в глазах че- столюбивой девушки уже намного сглажива-

ли неловкость и неуклюжесть их. Польская же заносчивость, идя вразрез ее личным стремлениям, давала простор представлению всей нации далеко не в выгодном свете. Между тем изображение не виденного еще зятя князя московского, поляка, представлялось необходимо снабженным всеми не нравившимися ей качествами, для контраста невольно выдвигая противоположности, ей приятные. В глазах Софьи Фоминишны тип приличного мужа для дочери требовал при красивом молодом лице и высокого роста избранника.

Недостаток роста и сутуловатость считала она непростительным пороком в светском мужчине, не враче. Из духовных качеств: великодушие — в смысле, впрочем, беспощадной мести врагам и бестрепетного ожидания смерти; отвага да неразлучные с нею живость характера и здоровье; наконец, в довершение всего — веселость! Вот и все, что желала бы она найти в муже для себя самой в молодости и для дочери — пережив уже возраст нерасчетливых стремлений сердца. Программа эта представляла, как бы нарочно, все качества и

особенности князя Василия Холмского. Так что его образ сам собою выходил и становился в параллель с коронованными особами, ей известными по слухам. В этом же отношении она была больше любопытна, чем и сам Иван Васильевич. Каждое возвращение посольства доставляло ей случай по расспросам послов и дьяков составить более или менее обстоятельное представление личности не только польского короля, но даже немецкого императора с его сыновьями и братьями, как и всех других владетелей Запада, куда только ездили москвитяне. Все купцы находили за этими сообщениями доступ к великой княгине. Поэтому в глазах торгующего люда вообще Софья выигрывала больше красивой невестки, которую никто из них не величал в интимном кружке своим умницей-разумницей, как великую княгиню. Она к тому же была покровительницею среднего, всюду, всегда и везде более развитого и стремящегося к развитию класса, чем высшая аристократия, увивавшаяся около Алены Степановны, миловидной, пылкой и оттого увлекающейся. Прибавим, что вдова княгиня не оставалась бесстраст-

ной к прерогативам рода и значения богатства, как бы ни было оно добыто. Взгляд же Софьи был гораздо шире в этом, чем и у самого державного супруга. Тот не ценил особенно князей Рюриковичей, зная, что, только держа их в ежовых рукавицах, можно было видеть от них почтительное повиновение. А Софья часто внушала мужу, что угасающие роды делаются, вырождаясь, бременем... даже и при самом лучшем положении развития страны. Тогда как свежие силы ее — это средний класс! Оттого-то Иван Васильевич при расширении своих владений и наделял поместьями выслуживавшихся новых людей из детей боярских, употребляя на посольское дело за дьяков людей бывалых и опытных из городских сотен. Род Холмских, новый на Москве, мог считаться древностью рода и значительно-стью с любимыми первыми сановниками двора. К тому же щедрость Иоанна разливалась широкою рукою в наделении всякими благами, вещественными и земельными угодьями достойного главы этой фамилии, вполне рыцаря без страха и упрека. Так что наследник богатого отца и матери во всех отношениях мог

стать первым у ступеней царского трона — по наследственному достатку, по славе родителя и дружбе к нему владыки, выросши как родня в семье государевой. Если не король какой — так он?! Другого выбрать мудрено было.

В этих думах княгиню застали сумерки. Вдруг странный шепот долетел до ее чуткого слуха. Встать с места и отворить дверь в теплые задние сени было одним мгновением. Там толпились вокруг какой-то невиданной Софьею высокой женщины все ее сенные девушки, делая расспросы вполголоса.

— Ну а мне что скажешь, лапушка? — спрашивала востроглазая Даша, схватив Василису (то была она, застигнутая врасплох, когда пробиралась к выходу после гаданья у Елены Степановны).

— Все, что желаешь, — все сбудется! — отвечала гадальщица, вырываясь от неотвязной таким шипящим или, лучше сказать, пронзительным шепотом, что Софья Фомишна сразу поняла, что это за новое лицо. О гаданье невестки и ей сообщено было своевременно; а кружка в руке — также не забытая в описании наружности чародейки — до-

вершила отгадку. Тут внезапная мысль оживила строгие черты государыни.

— Ты Василиса называешься? — спрашивает величественно Софья Фоминишна.

— Точно так, государыня!

— Зайди ко мне... Я давно хотела тебя порасспросить, — прибавила великая княгиня повелительно так, что у смелой наперсницы Патрикеевых проступил холодный пот. Так поразил ее этот призыв, цели которого она не могла отгадать (несмотря на прославляемые уже по всей Москве ее, будто бы сверхъестественные, знания).

— Садись! — сказала Софья с обычною своею обходительностью все еще не пришедшей в себя Василисе, когда за ними заперлась дверь. — Ты, я вижу, всполошилась?.. Я не зверь, сама увидишь... Успокойся... Спрашивать тебя, кто ты и о чем гадают моя невестка, я не стану... И без тебя знаю, что у ней там за зазноба... Ты мне раскинь бобы на двух девушек!.. Какова будет их будущность?

Василиса при первых же звуках ласкового голоса Софьи, звучавшего так приветливо и обольстительно, уже пришла в себя; при

дальнейшем же заявлении великой княгини даже улыбнулась... и кто бы мог подумать — искренно. Мало того, инстинктивно догадавшись, что в характере дочери Палеологов много было несокрушимой энергии и вообще таких особенностей, которых она, по совести, не могла не ценить высоко, гадалщица отбросила свою напускную таинственность и заговорила с нею просто, без вычур, не стараясь рисоваться, чтобы действовать на воображение.

— Государыня, — сказала она, — ведь бобы — игра сучающих?! От безделья, не больше.

— Ты хорошо отгадываешь, когда говоришь прямо, — с улыбкой отозвалась Софья, — так разложи мне их да скажи значение каждого бобка... Я и пойму, в чем дело... Скуки не занимать стать у нас... и времени довольно, чтобы тешиться... Я загадала!.. Раскидывай же.

Из знакомой нам костяной кружки посыпались бобы, и семь из них упали почти в ряд на камчатную скатерть, покрывавшую стол в ложнице. Еще два бобка легли накрест один

другому, а один, далеко отбросившись от общей купы, перевернулся, падая.

— Ну, быть передраге... да какой еще! Одинокой... может, придется тебе пожить... сколько-нибудь... времени. А вот устроится свадебка любимой парочки. Одна иссохнет, бедняжка, в чужбинушке. Невзгода... печаль.

— Не продолжай! Я все поняла. Пусть творит судьба, что хочет! Наше дело... терпеть... и... повиноваться...

И великая княгиня, словно срывая с рук что-нибудь неловкое, беспокойно поводила попеременно пальцами: от запястья к локтю то по одной, то по другой руке. А сама ходила взад и вперед, видимо не в себе.

Вдруг вбежала мамка и прерывистым от бега голосом донесла:

— Богу душеньку отдала!

Софья Фоминишна не спросила кто и медленно, опустя по-прежнему голову, пошла в противоположную сторону из своей ложницы.

Старшая великая княжна все еще лежала в забытьи. Федосья Ивановна каталась по полу. Ломая руки, рыдала она, повторяя прерыви-

сто: «Бедный Вася!»

Великая княгиня подошла к теплому праху пестуницы своей и, целуя в уста усопшую, всхлипывала, что редко у ней замечалось.

— Не погиб твой Вася, — вымолвила она в забытьи. — Я заменю ему тебя, ангельская душа! — Тут закапали ей самой неприметные слезы, увлажнившие сухое, изможденное печалью лицо молчаливой страдальицы, казалось повеселевшее при этом обете дружбы.

Вошел Иоанн и остановился на пороге, сочувственно смотря на жену. Вид ее, растроганной при прахе их пестуницы, разогрел в супруге-государе давно уже, казалось, исчезнувшую нежность к жене. Облегчив скорбь о потере тяжелым вздохом, Иван Васильевич, никогда надолго не поддававшийся слабости, перешел на сторону жены и, взяв ее руку, вывел из терема.

— Пойдем к тебе! — сказал он Софье. — Полно горевать да слезы точить — не возвращайся!

— Нет, к тебе я пойду, — ответила Софья будто небрежно, сообразив мгновенно: как прийти ему, когда там гадальщица? Дойдя до

теплых сеней, разделявших обе половины царственных супругов, Софья случайно будто тяжело кашлянула и вбежала в свою ложницу за ширинкою[25]. Здесь знаком указала великая княгиня Василисе: идти через терема и, давая ей кольцо, шепнула на ухо: «Приходи, когда вздумаешь, только доложись!»

Иоанн ничего не подумал, замедлив ход свой, поджидая возврата жены.

С нею вдвоем провели они в рабочей государя весь этот вечер, ласково сообщая друг другу планы и предположения. К ужину позвали туда же, к государю, и детей. Давно царственная семья не представляла настолько безмятежного единения. Княжны воротились к себе с кусками парчи на ферязи. Княжич Василий Иванович получил от родителя баул с дорогими шахматами да два харатейных[26] наставления от старчества, «како подобает сыну цареву ко всякому чину любительство показовати».

На половине вдовствующей княгини Елены Степановны происходили сцены в другом роде.

Ошеломленная гневным прикриком госу-

даря, княгиня Марья Ивановна Ряполовская поспешила укрыться от взоров державного, но сама осталась в сенях у государыни невидимая: выждать, что будет.

Ожидание ее, как мы уже знаем, было недолго. Иван Васильевич вышел от жены успокоенный.

— Вот как у нас теперь? — прошептала пришедшая совсем в себя дочь Патрикеева, как отец, соображавшая быстро. — Моей толстушке лафа отпадает, значит!.. Софья подбилась опять?! Видно, сильна уж, когда из зверя делает так скоро ягненка. А мы... знай себе зееваем да ворон считаем!.. Нужно эту паточную куклу растолкать... понадежнее... А все Семен непутный... обошел бабу... Не видит, глупая, как в глазах деревня горит?.. Я же ее усовещу... коли бы одну волокно в омут, пусто бы ей было, а то ведь и батюшку... и брата... да и меня стащит!.. Нет уж, извини, государыня! Мы: так — так-тáк, а нет — успеем и к Фоми-нишне хвостик подвернуть... Впрочем, — выйдя из своей засады и потирая лоб, окончила плутоватая княгиня Марья, — прежде растолкать Аленушку попробуем... А там уж что

Бог даст!

И она направилась в терем княгини-вдовы.

— Сердце мое, княгинюшка, никак, наш ворог-от, по соседству, опять рога поднимает? — обратилась Ряполовская к Елене, указывая в сторону Софьиной половины.

— А что?

— Да страхи такие... что и сказать нельзя.

— С кем же и што подеялось?

— Да со мною все, горемычной, известно, с кем больше бед... с другим... Холмчиха-старуха, вишь, ноги протянула! Сам пришел тут. Сама стонет; друг ведь ее закадышной! Я, того, гляжу да и молвила спроста: вишь, мол, бают, что князя Васи не стало, так это самое матку-то и пришибло. Что ж ты думаешь, сударыня, как на меня затоптал государь... И сама я не знаю... что с им тако поделалось: подслушивать... у меня! Одно кричит — язык укорочу! А за что, мать моя, за что? Веришь, государыня, я... как стояла — так и... присела тут: думаю — смерть моя!..

— Однако жива осталась? — захохотав, резво перебила повествовательницу мнимого

бедствия шутница Елена.

— Тебе, государыня, хорошо теперь-то шутить! Попробовала бы сама быть на моем месте... видит Бог... струсил бы, верно, струсил... Да, скажу тебе, матушка княгинюшка... смеху ни крошечки тут нету; и не из чего грохотать совсем! — переходя к злости (при сознании, что эффект напугивания потерпел крушение в самой патетической прелюдии), вскрикнула вдруг княгиня Марья. — Не то запоешь, коли порассказать, что затем-от было!

— Еще страшнее? — продолжая смеяться, спрашивает иронически Елена.

— Что тебе говорить напосмех!.. Коли я заслужила тово своей преданностью, тогда... полно, будет, матушка, с тебя. Вот, думай тут, как бы ото зла отвести, — заключила она, хныкая.

Елена поглядела было на обидевшуюся боярыню недоверчиво, но слезы, текшие в обилии, заставили легкомысленную, но добрую княгиню мгновенно раскаяться в своей, как думала она, непростительной ветрености. Она взяла нежно жесткую руку белобрысой дочери Патрикеева и, глядя ей в глаза, с нере-

шимостью просила забыть неуместную шутку.

Ряполовская, казалось, смягчилась, но сделалась еще неутешнее.

— Княгинюшка, свет мой, — захныкала она, — плачу я не об обиде, а об горе, которое... тебе, может, готовитца!.. — и еще сильнее разрюмилась.

— Успокойся, княгиня.

— Покойна я... но не могу... беда... беда...

Этот пролог возымел свое действие. Елена встревожилась.

— Выскажись, душенька Марья Ивановна, — упрашивает теперь вдова Ивана-молодого свою хитрую наперсницу больше чем заискивающим тоном.

— Слушай же, государыня, — с полным торжеством уже начинает дочь Патрикеева. — Софья взяла таково смело и отважно за руку гневного-то батюшку да и увела к себе. Прошло всего ничего, гляжу — он выходит тише воды, ниже травы! Вот отчего я горюю и плачу, свет мой, княгиня Елена Степановна!.. Вот в чем нам всем беду вижу я!.. Поняла теперь небось?.. Моя очередь усмехнуться!

Действительно, настроенной махинацией хитрой сплетницы Елене сделалось жутко от преувеличенного, как мы знаем, могущества Софьи Фоминишны на мужа.

— Душенька-княгиня! — после короткой паузы промолвила Елена передатчице грозы. — Сходи, мой свет, до батюшки да поставь его в известность... Пусть придет к нам... Пообсудим... А коли нужно... всех собрать наших! Да ты поспеши! Скорей!

Ряполовская, имея сама надобность видеть отца, не заставила ждать повторения просьбы.

Оставшись одна, Елена обернулась к окну на Москву-реку и долго смотрела внимательно на синевшие вдали леса да на серебряную ленту Москвы-реки, загибавшуюся к горам Воробьевым. Думы одна за другой горячее и томительнее пробегали в голове ее, хотя глаза и казались бесстрастными. Небо начинало темнеть, и княгиня не без внутреннего трепета стремительно отворотилась от окна в противную сторону.

Прямо перед ней стояла, как привидение, фигура Василисы, молча двигавшей свою

кружку с бобами, предлагая начать гаданье.

— Пожалуй! — сорвалось с уст Елены.

Гадальщица сорвала с себя фату, набросила на скатерть и по фате раскинула дождем все бобы свои.

Княгиня придвинулась к столу и, наудачу взяв один боб, своею рукой сбила в кучу прочие. Кучу эту всыпала в кружку свою Василиса, встряхнув три раза ее и покрыв передником, достала, не глядя, семь синих бобков. Семь других вынула княгиня. Положили их на ширинку; взяли ее за четыре угла, приподняли, оборотили к столу, и — бобы расхлестнулись как попало по скатерти.

— Смотри, государыня! Твой выборный боб никем не тронут... Перепутались враждебные только, синеньки бобки. Значит, кутерьма будет у врагов твоих, а твоево... ненаглядново... не коснется зло никое...

Елена вздохнула полною грудью и, казалось, успокоилась.

— Еще разок, что ль, велишь кинуть?

— Не надо больше! Поди теперь.

— Не позволишь ли теперь, государыня, попросить тебя о милости?

— Говори!

— Меня князь Василий Иванович Косой хочет выдать за своего доезжачего, за Брыдастова, за Гаврюшку... а я не соизволяю!.. Войди в мое положение, княгинюшка!.. Защити!

— Хорошо! Будь покойна. Я велю Косому, чтобы тебя ко мне отдали.

— Не отпустит он... Он, вишь, греховным делом, в меня влопался... и хочет от старика, от отца, скрыть свои шашни, чтоб не ревновал... А мне... одинаково противны... и отец и сын. А я — раба их! Безгласная тварь, значит.

— Изверги! — вырвалось у Елены. — Будь покойна... Я у Ивана Юрьевича потребую тебя, а теперь... чтоб не встретиться тебе с Марьей Ивановной... поди на свекровнюю половину. — И указала сама ей, куда идти.

Дальше мы уже знаем, что вышло.

Покуда Иван Васильевич нежничал с хозяйкой да с детками, у невестушки его, на просторе, закипел веселый пир. Вся партия патрикеевцев наполняла повалуши вдовы княгини. Много было горячих споров; много было высказано и дельных советов: как действовать по обстоятельствам? Курицын, дав-

но уже выпущенный, дал дальновидный план для действий в одно время (хотя по наружности) благоприятный врагам, то есть Софье и грекам, и — невесткиной партии.

— Тягаться нам с греками, — сказал он, оглядев собратьев, — в хитрости не удастся, особенно в мелочах... Пять раз на день проведут они нас! И обойдут сторонкой, коли поставишь заставу на большой дороге... Нужно, значит, явно не смешать им, а будто помогать даже, да в самом деле не зевать, про себя смекая. Софья Фоминишна все спит и видит, чтобы Вася ее забрал к рукам отцовы достатки и власть! Державный же наш памятует про князя Ивана Ивановича и ведает Митриево право. С нашей стороны не следует ни единым словом перечить грекам, ни княгине великой, что Василию Иванычу великими княжествами не владать.

— Да они и рады будут... что мы им даем волю! Что в том проку?.. Значит, что мы ротозеи и есть? — отозвался, прерывая советника, Иван Юрьевич.

— Не дошел ты, князь, еще до узла, а рвать хочешь? — спокойно ответил ему Кури-

цын. — Дай договорить все. Нам нужно, чтобы затей Софьюшкины сами разлетелись прахом и наших рук чтобы тут не заприметили. Нужно выбрать простоватого из них. Из духовных лучше, хоша, например, Нифонта! Благо он аще и в вышние области любит заноситься! Вот ему и намекнуть, чего, мол, дожидает Василий Иваныч? Он — ничего, и батько — ничего! А начни он, к примеру сказать, противу государя дела править — это державному понравится. Он его и назначит: скажет, у Васьки, видно, смекалка есть. Дай попробую?

— Опять не понимаю... Федя, друг, куда ты все гнешь? Эва хватил, нам учить еще Нифонта, да на свою голову. Гляжу я на тебя... и спросить хочу: из каких ты, мол, наш ли полно?

— Погоди, государь, узнаешь! Не перечь прежде. Вот пристанут они к Ивану Васильевичу, я знаю, с которой стороны. Он позволит. Скажут, растет, мол, княжич, нужно ему дворню набрать. Тоже наше дело: всучить ему таких человечков, чтобы всем на омерзенье было. А Вася паренек упрям. Коли ему раз кто

попадет — от того не отстанет. Вот как нададим ему чуть не висельников, и начнут они ему крутить затейную голову, да так закрутят, что он влезет сам в петлю. Тогда-то ты, умная голова, наш набольшой, и подошли к державному горяченьково: чтобы дерзнул правду-матку выболтнуть да еще страху напустить. Вот и дело в шапке. Ваську-друга он зашиворот; женушку под замок! Уж ей не увернуться от шашней сыновних; мать — и потатчица будет; а стало быть, все будет ведать, а отцу не скажет. Как откроется пакость — ей первой и — беда! Ваську на казенный двор... а Митрея Ивановича мы и вытянем. Да пока горит злость у отца — вырвем у деда решение: передать внуку наследство! Вот... что и как нужно дело делать!

Воцарилось на несколько минут молчание, но когда все поодиночке передумали предложенное Курицыным, единодушное «молодец, Федя!» загремело в тереме Елены.

— Палата ума! — целуя в голову, отозвался Патрикеев.

Елена Степановна подала руку дружески советодавцу и поднесла сама ему стопу рома-

ней[27].

— А коли мерзавцев надо отыскивать, зови скорей Ваську Максимова, батя, — крикнул, начиная хмелеть, князь Семен Иванович Ряполовский.

— Зачем же тебе он понадобился? — спросил, не скрывая отвращения своего к врагу молодого Холмского, Василий Косой.

— Лучше этого не выберешь, коли дело дойдет, как развратить кого нужно, князь то будь аль... княгиня! — нахально взглянув на Елену Степановну, выговорил Ряполовский, подозревавший, по слухам, Максимова в благосклонности той, которая теперь предалась ему со всем пылом истинной страсти.

— Ты не ведаешь, что говоришь, князь Семен! Много больно о себе задумал, — жестко высказала обиженная недостойным намеком вдова Ивана-молодого.

Всех словно передернуло. Князь Семен одумался, но поздно. Елена Степановна прослезилась даже от обиды и не сказала ему больше ни полслова.

— Так действуйте же так, как сказано! — осушив последний налитой ковш, сказал Ку-

рицын, твердо стоя на ногах и отвешивая низкий поклон княгине Елене Степановне.

— Бывай, государыня, весела и благополучна да последнейшего раба Федьку вспомяни, как будешь во времени! А теперь — за дело, пора! Прощайте.

За Курицыным потянулись все из терема Елены.

## IX ПЕРЕВОРОТ

**В** уединенном углу пышного палаца князя Очатовского светится огонек, прорезываясь сквозь частую сеть ветвистых лип. Деревья эти чуть не врываются в окошко, перед которым на столе горят три свечи белого воска, разливая по пространной комнате далеко не полный свет. Взад и вперед по сумрачному чертогу, делая неровные шаги, как-то неловко проходит в русском терлике молодой человек высокого роста, богатырски сложенный, низко опустив голову. Кто бы заглянул в эту минуту в лицо прохаживающемуся, тот, наверно, пришел бы к заключению, что моло-

дой обитатель пышного и по времени удобного покоя в палате Очатовского только начинает ходить, покинув постель после тяжелой и продолжительной болезни. До того исхудало лицо, до того осунулись щеки! А глаза, потерявшие блеск, свойственный молодости, лихорадочно светились в глубоких впадинах под нависшими бровями, по временам вспыхивая фосфорическими искрами — мертвенным зловещим мерцанием. По временам глубокие вздохи вылетали из больной груди недавно еще живого, пламенного юноши. Едва ли и близкие друзья узнали бы в хвором, скорбящем бедняке князя Василия Даниловича Холмского. Между тем это был он действительно, только что оставивший болезненный одр, с которого подняли его усилия искусного врача в соединении с заботливою попечительностью хозяина. Дочери его уже нет в палате. Она уехала с мужем в его маетности и, как слышно, также болеет. Известие подобного рода могло бы снова уложить надолго Холмского, но, к счастью, он не знает этого, беспокоясь только о долгом невозвращении своего верного доезжачего, посланного в

Москву. «Что там делается?» — думает, не высказывая, Вася, и в душе его поднимается тревога. Мысли уносят его далеко. Он садится и грезит наяву. Перед глазами его возникает внутренность терема великой княгини. У окна сидит его мать и старается умерить печаль княжны Елены Ивановны. О помолвке княжны этой с Александром Литовским он узнал перед болезнью уже и скорбел. Лицо Елены оттенено безысходною печалью, но в грусти своей княжна еще милостивее и задушевнее. Трогательное выражение ее томит сердце Васи, сознающего невозможность противостоять судьбе или переменить ее решение. Малютка Феня, с раннего детства отличавшаяся горячим сочувствием ко всякому чужому горю, нежно ласкает тоскующую сестру и щебечет, как птичка при расцвете природы.

— Вася! — слышится Холмскому, будто говорит княжна Федосья. — Не горюй о Елене; твоя печаль удваивает ее горе. Я заменю ее своими ласками, зацелую тебя! — и сама заглядывает предупредительно и ласково ему в глаза. А слова ее звучат такою мелодией, что Вася готов исполнить неподсильное, каза-

лось, приказание доброй девочки: силится улыбаться и начинает разуверять Елену Ивановну, что в Литве найдет она ту же любовь к себе, как в Москве, потому что такая ангельская душа может внушать только соответственные чувства.

— Полно утешать, князь Василий Данилыч, безутешную. Не тебе мне это говорить, не мне слушать! Ты несчастлив сам, и судьба твоя скитаться по чужим по землям невесть еще сколько...

— Куда же меня еще посылает воля державного? — спрашивает в увлечении молодой князь.

— Великий государь, князь великий Иван Васильевич, повелел твоему благородию путь восприяти в землю Свейскую, править по сольство, — раздается звучно и мерно статейная деловая речь, разом разогнавшая грезы скорбного юноши. Он вскочил, возвращенный в грустную действительность, и полураскрытыми глазами обвел вокруг себя.

Перед ним стоял его верный Алмаз в дорожном охабне, с которого струилась потоками вода, а рядом с ним, из полумрака комна-

ты, выступал карапузик в нарядной шубке и цветном кафтане, поглаживая свою круглую рыжую бородку. Это был очень дельный и хорошо известный Васе дворцовый дьяк государев Истома Лукич Удача.

— Добро пожаловать, гость дорогой, — промолвил совсем очнувшийся князь Вася. — И заправду приходится, видно, путь держать отсюда! И скоро?

— От твоей, княже, воли сие зависит, как укажешь. А по нашему рабскому разумению, мешкать нече.

— Да, разумеется... где ни коротать век... все одно. Ну, что у вас в Москве чинится?.. Да ты сядь, Истома Лукич.

— Коли повелишь!.. — И он сел, с важностью, заключавшею пропасть комизма, особенно при сравнении напускной важности с подобострастным положением униженного раба. Васе, впрочем, было не до сравнений и не до юмористических выводов.

— Что это матушка не шлет мне писулечки? — спросил молодой князь своего Алмаза, который как бы отшатнулся в сторону при этом очень естественном вопросе любящего

сына.

— Княгиня Авдотья Кирилловна (да подаст ей Господь Бог наше место злачно среди праведных своих!..) писать, государь, князь Василий Данилович, уже не может... Зане... — и начал всхлипывать.

— Умерла она?! — в ужасе, с раздирающим сердце воплем вскрикнул бедный сын, не ведавший еще утраты родителей.

У дьяка и доезжачего полились слезы по щекам... Вася рыдал. Утолив первый порыв мучительной скорби, спрашивает он об отце.

— В раю праведных такожде, — отчеканил краснослов Удача.

Вася упал на колени и стал горячо молиться. Горечь ударов судьбы, разразившаяся над головою его разом, поразила душу, но произвела успокоительный перелом в чувствах, которые не переставал лелеять он. Теперь перед ним зияла бездна — гибель всяких надежд, всякого утешения; и любовь — последнее из благ, данных душе и сохраняемых до гроба, — любовь, казалось, потеряла для него всякую приманку. Он молился о подкреплении свыше, и все земное, до того томившее молодую

душу его, отлетело, казалось, невозвратно. Он крепчал под ударами судьбы, и в убитой горем душе его возникал долг с его святыми обязанностями. Молился истомленный физически, но бодрый духом, недавно юноша, теперь муж, которому не страшны делались новые испытания. Больше того, что он выстрадал, мудрено изобрести самому находчивому мучителю. И столько вынести в короткое время, сколько судьба послала теперь на долю Васи, едва ли могли очень крепкие люди. А он только выходил из детства, когда брошен был в самый узел мирских волнений. Не выдержал здоровый организм такой ломки и привел чуть не к дверям гроба юношу. Но, поднимаясь вновь, и теперь еще раз пораженный вестью о потере обоих наиболее дорогих ему в мире существ — отца и матери, — князь Василий выдержал конец испытания с новыми чувствами — он теперь ничего не имеет на земле, за что бы стал стоять или что бы хотел оспаривать у своей гонительницы. Покорное орудие промысла, он полюбил горечь страданий — и произносит шепотом обет жить для других, не для себя, призывая на поддержку

бренных сил плоти помощь провидения. Ненависть и зависть неизвестны были еще ему, и совесть его не мучили эти страшные спутники преступления. Зато гнев и вспыльчивость были ему знакомы, и он припомнил их теперь, сожалея о недостатке терпимости и терпения вообще!

Затем предстал ему образ Зои, и слова умиравшего Никитина прожигают его сердце стыдом раскаяния. Ласки же, которых он не удалялся, кажутся ему непростительным грехом, вызвавшим кару небес в виде потери родных. Внутренний стыд ярким огнем осветил его бледное лицо, и горящие уста высохли у него, как у горячечного. Отказ от руки Марианны промелькнул перед мыслью молодого человека как первый признак возможности совладать с собою, если твердо это себе предположить. И чувство довольства собою, хоть в этом одном, влило мало-помалу спокойствие в изможденную болезнью грудь молодого страдальца. Еще горячее стал он молиться. Откуда взялась память — слова молитв, в детстве еще заученных и, казалось, забытых, лились потоком из уст его. Голова

быстро поднималась и опускалась, встряхивая увлажненными потом кудрями Алмаз и Удача крестились тоже в стороне, умильно смотря на икону — благословение матери князю Василью при отправлении в дальний путь. Устремив на эту святыню сияющий теперь взгляд упования, долго молился Вася и встал с колен утомленный, но покойный и готовый на все.

— Да будет воля великого государя надо мною, негодным рабом его. В Свею — так в Свею! Заутра отправимся, друзья. А теперь — успокойтесь, вы. И мне нужен отдых.

Он заснул безмятежным сном здоровья, как давно не спал в своих странствованиях.

Посольство в Свею, впрочем, как увидел из наказа государева Холмский, оказалось для него вторым уже поручением, а первым и главнейшим поездка за Нарову и сношение с влиятельными лицами Ливонского ордена. Дальновидный Иоанн успел построить крепость на самой грани своих владений, где сходились новгородские области с землями рыцарей, и хотел точнее познакомиться с действительным положением крестового брат-

ства да его взаимных отношений к усмирённым захребетникам — ливам и эстам. Слухи о волнениях, не прекращавшихся в некогда прекрасной Ливонии, с обогащением суровых крестоносцев, терявших в частых бражничаньях последние проблески отваги и мужества, доходить стали часто до Москвы. Государь знал и о распрях между гроссмейстером и архиепископом рижским. Открытие подготовлявшегося злодейства Лукомского представляло Василия Холмского Иоанну человеком, обладавшим умом тонким и способным лучше всех оценить, что делается у соседей нашей новгородской и псковской областей. По воле державного должен был молодой посол открыто ехать на Луки Великие через Литву и все, что встретится на пути туда, не оставить вниманием и доносить своевременно. Дело сватовства уже было доведено до желаемого конца, и, в ожидании привоза невесты московской, слуга отца ее всюду в Литве находил дружеский прием и предупредительность. Если бы мы сказали, что в этот приезд свой молодой князь встречал ряд торжественных встреч и сопровождений — от маетности

одного магната, как гость его, к соседу для угощения, — мы не преувеличили бы ничего и ни на волос не отступили бы от истины. Не заботясь ни об овсе, ни о сене, ни о столе, ни о ночлеге, так целые три недели, как сыр в масле катаясь, все ехал да ехал герой наш, которому дал Очатовский и знакомого маршалка пана Мацея с письмами к властям и властителям. Уж по первой пороше, скоро исчезнувшей, добрались наши путники до Лук Великих да еще два дня тянулись по скверным дорогам до Пскова.

Был бурный вечер и темь такая, хоть глаз выколи, когда, оставляя совсем родину святой Ольги, Вася выехал на Гдовскую дорогу. Пищали у полутора десятка детей боярских, данных в Пскове воеводу, были на всякий случай заряжены. По тому, по знакомому, тракту, раздумываясь о судьбе, бросавшей его как мячик с севера на юг, Вася пустился во всю мочь, дав волю доброй лошади. Она не любила дремать, не отставали и кони провожатых. Только грязь расхлестывалась да в чистом поле глухо отдавался топот, не давая возможности и чуткому слуху определить число еду-

щих. Мало-помалу топот получает большую звонкость по мере усиления холода в атмосфере. Стало выясняться небо, загорелись звезды. Вдали что-то темнело не крупную массу. Путники считали ее деревней какой-нибудь, а это уже был Гдовский посад. Не найдя его ночью, с рассветом уже десятник догадался, что дали маху.

— Князь Василий Данилыч, ино выходит, Гдов-от мы за собой оставили. Эвона конец, никак, озера. Теперь, почитай, ближе мы к Ивангороду, чем ко Гдовскому посаду!

— Так что же?

— Да говорю, коли посад-от переехали, неладно будет ворочать!

— Зачем же ворочаться! Не стоит. Ведь дотянут коньки до Ивангорода?

— Я про то же баю, что не лучше ли будет уже до города ехать?

— До города так до города!

И опять мерным скоком едут по перелескам всадники. Сизый Пейпус то выглянет одним глазом из-за поля, где кустарь перемежается, то опять скроется с глаз долой. Вот он больше уже не мелькает. Над серебряной по-

лосой Наровы показалась стая перелетных грачей, нарушавших безмолвие лесного края.

— Скоро и Ивангород покажется! — взглянув на проглянувшее солнышко перед полуднем, сам про себя промолвил старый урядник.

Предречение его исполнилось, впрочем, в сумерках. Утомились и кони, и всадники, но, слава Богу, добрались до цели похода.

Нужно ли прибавлять и уверять, что путников ласково приняли заброшенные в эту глушь земляки, со смены своей не выдавшие русских людей и обязанные зимовать в возведенных на скорую руку деревянных стенах небольшого острога, прислушиваясь к вечно-отдаленному гулу водопада.

Стрелецкий голова Улан Ивачев с письменным головою Замятнею Щеголем были единственные представители власти в недавно срубленном Ивангороде. В поземной лачуге, куда едва проникал свет сверху, сквозь двери с натянутым втрое пузырем, нашел на нарах временный приют себе и будущий боярин, посол великокняжеский. В этот же вечер, за ковшом сладкой браги, туземные вла-

сти посвятили приезжего во все тайны соседского житья-бытья.

— Поверь, государь, князь Василий Данилыч, — говорил Улан (толстяк, проведенный на службе уж три десятка с хвостиком, но еще бодрый и изворотливый слуга царский, не обиженный от Бога умом-разумом), — немцы эти, хоша и Божьи дворяне, а живут истинно братоненавистниками! Одно слово... горе-водители! Почитай, изо ста десятка с два наберется их бойких да неленивых, остальные — мастера бражничать да драться друг с другом за пустое слово. Приди же враг заправской — право слово, побегут: что, молвят, за охота спину подставлять! Вишь нас немного, а пришла тьма какая? А наше дело: много не много, а все... стой да отбивайся, пока сил хватает. Вот у них теперья проявился, Волтером зовут, Плитинберх, нешто, как есь, малый ловкий.

Замятя хвалил тоже Плетенберга, но прибавлял, лукаво подмигивая:

— Хорош-от хорош, а все немец!.. Стало, не глядеть ему в зубы: надует — как пить дать. Коли поедешь к нему на свиданье, князь, то

назовись гостем: чтобы многих вопросов избегнуть, да и не в примету бы было! А Удачу-дьяка молодцом нарядим: в кожане пусть пощеголяет. А в Володимерец вас препроводим прямо: и на двор поставим к знакомому немцу — не в примету будет... А коли понадобится и лист открытый до Риги выправим. У рижан воск таперича очень ценится. В Ивангороде у нас есть, никак, кадей с десятков. Вот и нагрузим вам воз — везите, как гости заправские! Да овчинок приложим, да медку, да красных лисиц сороков пять-шесть. С этими товарами можешь насквозь пройти из конца в конец всю землю Божьих дворян безопасно. А высматривать да разузнавать — твое, княже, дело. И коли по-письменному поихнему, по-папезски, баять горазд — никакой клад будет тебе. Гости немецки болтливы: фреинду своему охочи разблаговестить, что и как у их. Особливо про комтурей да про судей про городских. Все выложат — не потаят! Свей непутные — то уже другой народ, злющи и памятьливы, злодеи. Сдается мне, из Выбору бы не подкрались к нашему острожку эти брюханы в своих кожаных плащах. Стен

Кстура, князь их, очень, говорят, затейлив. И давно добирается до нашего Ивана Васильевича, что мы Выборской кореле спуску не даем. Да и торговать к ним гости не ездют. А супроти Божьих дворян постоим: выедут десятка три-четыре, раскочуются через нашу Нарову. Выедем и мы. Схватимся, известно. Подеремся и разъедемся. Они к себе — мы к себе! А свей все нороят облыжно подойти. Корелу вперед пустить, пожечь да скот угнать. Наши, известно, вдогон, да тут и наскочут на сотню на другую краснорожих свеев. Коли вмочь, конечно одолеем. А ино наскочет нас десятка три, а их чуть не с тьму, ну — и попались, сердешные!

Для Васи многое сделалось ясным из простого, безыскусственного описания нороров наших враждебников, соседей. Долго ворочаясь на овчинах, подостланных ему вместо постели, князь не мог заснуть. У него сложился план обойти всю Ливонию от Риги до Юрьева да под одеждою беспритязательного гостя распроедать, что делается и как живется у Божьих дворян. Личность Плетенберга, набросанная храбрым Уланом, не могла не при-

влекь на себя внимания нашего странствователя-дипломата. А от шведов, которым мы, доброхотствуя датскому королю Иоанну, оказывали много неприятностей, нескрываемая опасность для Ивангорода казалась нашему герою, знавшему слабость наличного гарнизона этой крепости, совершенно основательною. Она была так осязаема, что не позволяла усомниться в возможности потерять нам острог на Нарове, защищаемый шестью десятками детей боярских, у которых и ручниц-то хватало едва наполовину, а пицалей затинных на двух угловых башнях с Новгородской дороги было всего-навсего по одной. С этим огненным боем многого отпора не учинишь в подспорье людской силе, коли нахлынут они многолюдством. Утром донесение об таком положении Ивангорода герой наш и отправил к государю с десятником через Псков и Великие Луки на Смоленск, минуя Новгород. Тамошним воеводам в руки непригоже было этого отдавать.

Обоз, как говорил Щеголь посланцу государеву, собрали в три дня, совсем как следует гостю, и из стольника государева вышел разу-

далый купец. А дьяка Истоому совсем не признать в приказчике, запоясанном по кожану здоровым черезом, чуть не с аршинными кожаными ж варягами на руках, привыкших к калыму[28] письменному.

Вытребовать лист от окружного нарвского судьи тоже не замедлили для московского торгового человека Васюка Горина с отроком Удачей Истоминым. Так перекрестили ивангородские власти московских гостей своих. Через Нарову переправили их на пароме.

А когда утлый перевоз поставил пару русских людей на немецкий берег с возами их, у Васи навернулись слезы. На спрос ломаным русским языком «Что за люди?» мнимый гость Горин ответил немецкому чиновнику на чистейшем немецко-венгерском наречии, так что забывшийся дейчер протянул руку фрейнду и попросил к себе зайти распить кружку пива.

— Вашего русского швейн оставьте подле воза. А мы поговорим по душе. — И увел к себе.

— Какими судьбами занесло вас в эту медвежью сторону? — спросил новый знакомец,

усаживая у себя как можно любезнее невиданного гостя.

— Я москвич природный, мейн фрейнд.

— Не верю.

— То есть родился в Москве уже, а мой родитель был немец из земель светлейшего императора, — поспешил ответить Вася, сообразив, что с немцем, если он признает сам за своего, лучше выдавать себя за немца же.

— То-то... я готов побожиться, что вы немец... а родиться может человек, где Бог даст. Довольно, что по отцу вы, мейн херр, наш совсем и невольно себя предали, назвавшись русским, как только заговорить изволили.

— А я думал, — ответил шутливо князь Вася, — что меня не узнают, когда я назовусь русским.

— Нет... мой добрый друг, не от такой птицы, как Кунц Вурм, ваш покорнейший слуга, могли бы вы укрыть ваше подлинное происхождение. Своего на дне морском признаю: не только у себя в благословенной Нарве. И как звали фатера вашего, блаженные памяти?

— Даниель Хольм-принц.

— Не случилось слышать, а славная фамилия, истинно венская. Вы фон, конечно?

— Не могу вам сказать, в Москве пришлось сделаться бюргером.

— В фатерланд, однако ж, думаете пробраться?

— Может быть. Не теперь только. Вы видите, мейн херр Кунц, товаров еще немного я добыл. Только расторгиваюсь.

— Бог даст, и побольше будете иметь. И все с небольшого начинали.

— Благодарю вас за доброе желание. Не знаю, куда направиться, чтобы выгоднее продать ту малость моих товаров. И моих наполовину в долг успел я собрать для первого путешествия. Сбуду с барышом — побольше накуплю да привезу к вам... при вторичном посещении.

— А что у вас теперь-то?

— Да есть воск, кожи, мед, лисьи меха...

— Везите на Вальк — там скоро ярмарка будет... Наедут и купцы и дворяне во множестве. Разом продадите. Особенно воск. Из Вирляндии эсты почти ничего не пропускают на Нарву этой статьи; так что и мед с воском уй-

дет по хорошей цене. Алисицы красные, если есть, еще того лучше. Фрау баронессы в Лузании особенно ценят уборы лисьи; а московские товары везти туда не рука. В Вальке охотно купят лисиц и дадут самых новых за них талеров семь-восемь за полсорока. Советую ехать в Вальк. И путь хороший, до Дерпта спуститесь озерным тальвезом; а за Дерптом через владения маршала Плетенберга — все по безопаснейшим местам.

— По землям Плетенберга, говорите? А он-то сам в Риге небось?

— Нет... ведь в разладе гермейстер с епископом. Так мейстеру Вальтеру в Ригу не след ехать, к этим черно-кафтанникам непутным! Он хороший немец, Вальтер наш, и не любит он дрязг никаких. А в Риге... фи, какая гадость!.. Разве можно порядочному рыцарю ездить в Ригу? И зачем в Ригу ему? Всякий приезд комтура трактуется как перебег из рыцарского лагеря к попам... Никак это невозможно... И не говорите мне, херр Даниельсон, так ведь, кажется, будет у вас по-московски имя ваше — по батюшке.

— Точно так... Так ехать велите в Вальк?!

Быть по-вашему, спасибо, что научили меня, начинающего торговать, уму-разуму.

— Очень рад! Всегда готов помочь. Выпьем же за вашу торговлю.

— Будущую... если угодно..

— За грядущие успехи... всего лучше чокнемся?!

— Херр Вурм, вас спрашивают! — крикнул маленький клерк при портории нарвской, вбегая в тесную комнатку таможенного чиновника.

— Просто наказание наша проклятая служба, ежеминутно требуют... отдыха нет! — с сердцем, надевая плащ, говорил Кунц, раздосадованный за перерыв приятного разговора с новым знакомым.

— Так как же выбраться на Дерптскую дорогу-то мне? — спросил князь Вася разговорчивого Кунца, вставая поспешно.

— Берите мимо шлёса левее — а там большая улица и проезжая дорога одна и есть, по ней... к лесу...

И они раскланялись, пожав по-немецки руки, как старые знакомые.

По сказанному как по писаному, выбра-

лись наши дипломаты-купцы за Нарву да, переночевав в вирцгаусе, к полудню достигли Дерпта и, дав только отдохнуть лошадям, потянулись на юго-запад, к Вальку. Истома только дивуется, как это молодой князь таким ходоком явился, что уму непостижимо.

«Не видывал я николи таких князьков. И дворянски-то детки, ин все как-то куклятся да указки просят. А этот сам себе господин. С немцами по-немецески режет, что твой немец заправский, и гостину норову всю, значит, спознал: бери да в лавку сажай. Ай да князь, ай да удалая голова! Недаром и государь-от ево выискал для посылки облыжным, что ни есть, обычаем немецки порядки разузнавать, никому не в примету! Наше дело — покой да ево головой. А я ащо, грешный, как сказали указ, закручинился: чтой-то будет, мол, со мною, рабом неключимым, в немецкой сторонешке? Не ровен час, спознают и — карачун[29] дадут тебе, доброму молодцу! И сгрустнулось, неча сказать... и всплакнул по детушкам да по хозяйке... Не видать, думаю, вас будет, мои сердешные. А теперя, на удаль князь Василья глядя, и сумненью не даюсь,

авось сойдет как по маслу...»

Князь Василий Данилыч думал другое. Хотелось ему выяснить, что из себя представляет магистр Плетенберг. Для того и в поместья его направил путь.

День склоняется к вечеру. Начинают попадаться чаще возы увязанные. При возах при тех по два, по три вожатых, поговору — все немцы.

— Далеко ли, мейн херры, до замка мейстера маршалка? — спрашивает, по-немецки мнимый Горин у двух молодых парней, давно уже посматривавших на него с любопытством, вслушиваясь в незнакомые для них звуки русских слов разговора Васи с Истоною.

— Коли вы путь держите в маршальский шлѣс — мы тоже там думаем ночевать сегодня, не угодно ль с нами в компанию?!

— Охотно!

— Да вы из каких?

— Из Московии мы едем. А норовим, как вы же, вероятно, на Валькскую ярмарку.

— Точно так! А как вы прекрасно по-нашему знаете, херр московит!

— Отец мой немец был.

И тут завязался дружеский разговор, в жару которого Васе рассказали про Плетенберга много всякой всячины, а главное, узнал он, что мейстер Волтер не оставляет принимать к себе на аудиенции всех торговых людей, оказывающихся в его владениях.

— Он любит беседовать обо всем и прелюбезно, дружески всякого выспрашивает о том, что ему нужно.

— Хитер он, стало быть?! — невольно высказался Вася. — А сам небось не любит отвечать на вопросы, ему предлагаемые?

— О нет, вы ошибаетесь! Он не стесняется в ответах и любит чистосердечно поведывать все, что ему известно, требуя взаимной доверенности. Он говорит всегда: если человек думает солгать, ему это плохо удастся и я это замечу. Гораздо лучше, если не хочешь чего высказать — молчи! Всякий поймет, что это или другое не позволено спрашивать.

— И он не оскорбляется на молчание?

— Нисколько.

У Васи отлегло от сердца, и он продолжал весело болтать с немцами.

Вот показалась вдали башня из-за сосно-

вой рощи. Обогнув эту рощу, путники спустились в лощину и вступили в ливонское селение, выглядевшее приветнее, чем встреченные ими на проезде. В конце селения стояла небольшая кирха с двумя башнями, а против нее на скалистой, отвесной высоте, за валом, виден был дом маршала. Вал был укреплен тыном, и каменные высокие ворота, выходящие к единственному мосту через ров, были охраняемы стражею.

Купеческие возы уставились на обширном дворе старосты селения. Хозяева вошли в хату ливонского парии и перед огоньком разлеглись на разостланных овчинах. Вошел фохт замковый и предложил гостям последовать за собою в замок Плетенберга.

Ввели их в комнату нижнего этажа, по стенам которой шли лавки, а посредине стоял громадный стол, уставленный кружками. Здесь предложили им сесть. Через минуту вошел могущественный рыцарь-хозяин.

Он был средних лет и довольно благообразен. Умное лицо его озарялось нередко приветною улыбкой, а огонь голубых глаз горел постоянно, меча фосфористые искры. Окинув

взглядом прибывших, он всем подал руку и долго всматривался в мнимого Горина.

Перемолвив с прочими купцами по десятку фраз, как со старыми знакомыми, он внезапно сделал вопрос Холмскому:

— Чем торгуешь, честный купец?

— Воск есть, мед, лисьи сорока у меня, — с необъяснимым дребезжаньем в голосе выговорил Вася по-латински.

Плетенберг, по-латыни же, сказал, что он готов меняться своими товарами на любую статью московского привоза и предложил мнимому гостю посмотреть вещи у него: не выберет ли чего для меня?

— Когда угодно будет показать мне ваш товар?

— Теперь же, если хочешь, — пойдём. Подождите, друзья, мы скоро воротимся к вам!

За Васей и Плетенбергом захлопнулась дверь, и они стали подыматься по лестнице.

— Московский купец, — сказал приветливо Плетенберг, войдя к себе, — я хочу и предложить тебе одну комиссию. Государь московский нанимает немецких людей-мастеров, даёт хорошую цену за наши товары, и я

рад всегда служить ему, при всяком случае. Когда воротись в Москву, постарайся доложить через надежного человека Иоанну, что мы не прочь взаимно делать услуги. Я нашел в своем замке запас хороший оружия всякого и готов променять его на пшеницу, на воск или на меха. Вот здесь, — он отворил дверцу в углу и факелом осветил внутренность кладовой, где лежали действительно сотни броней, мечей и кольчуг железных да стальных в порядке и чистоте, — видишь, довольно товара! Своим мне некому продать: ни у кого нет серебра, а в долг, сам посуди, нет охоты отдавать. Да и не могу я — нуждаюсь в деньгах для известной мне цели. В деньги же для меня всего выгоднее обратить это железо и очистить место в кладовой. Да скажу тебе я искренно, сам не знаю еще, кому принадлежать должны все эти вещи. Спрашивал у многих и получал отрицательные ответы; между тем вдруг может собраться рыцарство на съезде или на выборы. Как маршал я должен угощать наехавших. А клянусь тебе Богом, достаток мой не такой, чтобы я мог выполнить этот прием не иначе как в долг.

— Херр маршал, я при себе имею всего десять кадей воску, да десять сороков лисиц красных, да меру в возах; так что не могу выручить за свой товар столько денег, чтобы хватило за ваши вещи. Коли позволите, дам часть товара в задаток и — напишу немедленно в Москву.

— Это дело. В задаток что дашь, дам я расписку тебе и полный список вещей с ценами: сбавить могу только двадцатую часть, не более. А я знаю, что русскому государю нужно оружие. На мир Иоанна с Литвою смотрю я как на короткое перемирие. А здесь может вооружить он сотню-другую дворян вполне. С нами воевать государю вашему нет резону теперь. Не нас, а шведов из-за датчан должен опасаться он. Мы с Ивангородским гарнизоном ладим, а готские патриоты на застройку вами замка на Нарове смотрят совсем другими глазами, чем мы. Смотрите: построили они Выборг в одном конце, на востоке, — захотят иметь другое укрепление у моря, южнее да западнее. А нам на восток нет расчета шириться, а важнее всего держаться крепче за орден братский, в Пруссии. Следовательно,

должны мы с вами жить дружно: делить нечего. Ваш государь, напротив, делает нам пользу, за притеснения запрещая ганзейцам торговать в Новегороде. От запрета его поднимется малоденежная Ливония — разумею я не Ригу только епископскую, а все рыцарские шлёсы и города. Так торговать с вами — и тем более с тобой, говорящим языком образованного мира, — мне очень приятно. И это нам обоим полезно.

— Верю, херр маршал. И если не изволишь теснить купцов, честь тебе и хвала!

— Я?! Теснить?! Да с чего ты это взял: мне лучше всех известна необходимость торговли.

— Другие не в тебя, херр маршал.

— А лучше бы было, коли б в меня. Не раздражали бы соседей грабежами да притеснениями. Я у себя не терплю ничего подобного. А вот не советую ехать в Ревель. Там, при безначалье, русских людей убивают и грабят по наветам шведов. Да и датчане, хоть называются друзья, а тоже утянуть чужое не прочь. Ты куда же едешь?

— В Вальке думаю на ярмарке сбыть свой

товар.

— Хочешь, дам пас тебе для свободного проезда и по всей Ливонии?

— Если можно! Принесу благодарность.

— Очень можно! А познакомишься сам, увидишь, што верить мне не стыдно и не грех.

Наутро торг сладился. Воз с медом свалили в задаток, и полученную расписку с перечнем оружия, за подписью Плетенберга, с листом проезжим получил счастливый Вася.

В Вальке, по совету купца, действительно сделал Горин хорошую операцию. Барыш был, что называется, баш на баш. Половину пенязей с перечнем да с отпиской Холмского повез на Псков порожняком на паре Истома Лукич и угодил прибыть в Белокаменную на самый сочельник.

Выйдя из собора, государь получил донесение о прибывшем и приказал ввести к себе Истому.

Прочитав отписку и донесение усердного дипломата-купца, он не мог скрыть удовольствия.

— Провора у меня Васька, золотой парень.

И Плетенберга увидел и с ним сделался, и теперь немецкой обычай пошел наблюдать прасолом[30]. Эка голова — сокровище! Как оружие ненадобно? Истома! Жалую тебя в думные, в приказ новгородский. Отпиши воеводам, чтоб послали в Ивангород подможных людей скорее. Да из Ивангорода чтоб переправили сребреники, екимчики к Плетенбергу в поместье счетом сполна, из полы в полу. Да послали бы немца — купецкого человека с товаром с немецким письмом искать с грамоткой Васю по отпискам ево во Псков. А мы сами ему отпишем от себя великое спасибо.

Дай-кось пойду, жену повеселю весточкой про ее жалобника, какой он у меня удалец!

## Х РАДОСТЬ И ГОРЕ

Новый московский дворец Иоанна горит огнями; в теремах великой княгини Софьи Фоминишны идет столованье. Угощает невестка золовку, княгиню Анну Васильевну, прибывшую из Рязани повидаться с державным братом. Давно уже Иоанн III не был так весел. Его радует приветливость жены к сестре: вся семья великокняжеская, кажется, тесно слилась сердцами, и огонь искреннего на вид расположения оживляет даже вечных враждебниц: невестку со свекровью. Вот они уединились втроем с приезжею гостьею и ведут вполголоса беседу.

— Ты, матушка, словно пополнила, как ни на есть, — острит шутница Елена, рассматривая узор пышной камки, из которой сшита у Софьи Фоминишны парадная ферязь. От тяжести металлических нитей действительно почти без складок облегла она стан великокняжеской хозяйки.

— То-то и я смекаю, что такая у нас княги-

ня круглая стала! — с веселым смехом подхватила Анна Васильевна.

— Полноте, княгинюшки, в наш огород камня метать. Вам желаю самим побольше нашей полноты: будете поразвязнее, а то matka, княгиня Алена Степановна, совсем жиром заплыла, у себя сидя в своей закуте.

— Наше дело вдовье, телесам есть от чего расти да расплываться... Ну и растем и плывем, таки настать, слава богу! — и ну хохотать на остроту свою.

— Я не спорю! Куда мне желать дорасти до вдовьих телес: наше дело хозяйское, заботливое — дочерей под венец готовить.

— А наше — сыновей женить!

— И у нас у самих на возрасте пострелы, да двое еще.

В это время, положив за плечи руки друг другу, показались из другой повалуши идущие молодые князьки Василий и Юрий Ивановичи да Дмитрий Иванович. Первые были рослее и виднее своего племянника, представлявшего живое сходство с красавицей матерью. Только светлые кудри волнистой головки его и лазурь глаз напоминали рано по-

чившего отца, в свою очередь казавшегося живым подобием княгини Марьи Борисовны — первой супруги Ивана III. Князь Дмитрий Иванович был не по летам вдумчив и любил, чтобы, ему рассказывали всякого рода повествования. Сам он все уже перечитал из харатейных сказаний, собранных во дворце дедушки, и, увидев в первый раз настоятеля какой-либо обители, непременно осведомлялся: что у них есть из книжного? Княжны-тетушки любили приветливого Митеньку, и часто, глядя на него, игравшего с Юрием и Василием, великая княгиня Софья Фоминишна поглядывала на задумчивого внука, каждый раз заключая обзор этот глубоким вздохом. Что означал этот вздох?

Злые языки говорили, что великая княгиня сознавала умственное превосходство внука перед сыновьями, не особенно жаловавшими книжную мудрость и больше любившими игры да охоту. На хорошеньких девушек уже заглядывал князь Василий, не из последних. А из сверстников в неразлучные приятели выбирал молодцов-ухарей по этой участи. Слыхали, будто и романею тянуть с ними пус-

кался.

Но мало ли чего не пересказывали злые языки.

Вот послушайте, как смело, какой-то проходимец явно, на весь народ кричит среди бела дня на площади: будто бы негодяя Стромилу, известного беспутника-головореза, выпросил себе князь Василий Иванович в дьяки, и этому-то Стромиле поручено при случае уходить князя Дмитрия. А Стромилу будто, хитрый как черт, отнекивался прямо покончить да искал знахарей. Из немчинов никому, однако, он не осмелился то доверить, а приголубил Володьку Гусева, бывшего на подслугах у того бедняка Антона-немчина, лекаря, что за Даньярова сына, за Каракачу-царевича, татарам выдан, как овца на закланье. Как сошелся этот самый Володимир со Стромилкой, так и во дьяки угодил все к тому же княжичу Василию Ивановичу. И в дьячестве похвалялся не раз, что он тонко ведает, как это самое, человека в рай отправить, не за плевков. Да и так, молвил, исправно, что ни в жисть не догадаться, никак! Не в тот день, как ножки протянет, а, может, недель за шесть, за семь по-

раньше дать, значит, тому человеку снадобья испить или съесть в калаче с медом, и все будет не в примету. Только на тот самый день, как совсем покончиться, поболит немножко головушка... Приляжет соснуть... да и был таков. А ни цвету, ни запаху никакого ни в жисть. И этому самому Владимиру князь Василий Иванович поручил лечить свою челядь. Только, говорят, старуху Соломонидку, что, бывало, спросонья петухом певала, невзлюбил и — залечил, как пить дал. Захирела да Богу душеньку отдала в два дня всего. Конечно, и лета уже ее старые, да и Володька похвалялся: вот-от как у нас!

Из любимцев Василия же Иванныча, кроме смердов, есть и князья, и дворяне. Щавий Скрябин, так тот все корчит из себя боярина. Ужо, говорит, буду тысяцким. Уж для меня, мол, князь Василий Иванович эту самую честь предоставит, хоша и давно искоренили. А князь Иван Палецкой, так тот норовит в воеводы — уряд устраивать! Грозится все подьячество извести да из боярских детей ребят посадить в приказы. Лучше, говорит, судить будут. Не скоро научатся указы как зернь ме-

тать! А Поярок Андрюха, так тот все Палецкова подзадоривать: ты, гыть, князь, может, не дорос, как подъячих искоренять? Я вот в думные произошел, всего навидался, а экова чуда, как бы вохлака сына бояровского в приказ посадить да калым в руку дать — не видывал и не слыхивал!

— Так увидишь и на носу зарубишь! — бывало, рыкнет нетерпеливый да любивший прекословья молодой князь Палецкий. Да Поярок умный малый, подсмеивается, известно.

— Быть, значит, скоро переменам каким ни на есть! — побрякивая, решали политики гостиной сотни, слушая умные речи, вновь и въявь разглагольствовавшего без опаски того ворчуна-ругателя нищего, с которым мы уже встречались два раза в нашем рассказе. Помните, как честил он знать московскую в памятный день привоза Алегама? А потом мы видели эту же непривлекательную личность в палатах князя Ивана Юрьевича — как он сетовал на дурные времена и на недостаток поддержки со стороны милостивца в деле отстояния его собственной шкуры...

Подлинного имени его — Мунт — горожа-

не не знали, не ведали, а запросто величали Абрамком-вралем. Сам он не обижался на такую искренность выражения, зато не удерживал он нисколько и языка своего: про все и про всех резал без ножа.

Одни, бывало, слушают, другие молча отходят, качая головой.

— Как таки так можно баять на Москве стало про всякую ужась? Он, Абрамко этот самый, иной раз и державного задевает в своем мелеве: все с рук сходит ему как по маслу.

— Видно, сила есть на поддержку, — кивая головой в сторону Дворцового приказа, однажды выговорил один набольшой боярин. Да откуль ни возьмишь ярыжка, как пристал к нему: «Ты почем знаешь? Пойдем к князю». Спасибо, уж купцы заступились, избили ярыгу, так что сам уплелся не знал как; а то пропадай добрый человек.

Вот и увидели все, что, почитай, правда в болтне этой самой? Не в свою, значит, голову врет Абрамка! Все и стали отходить торговые. И послушит гость, как расписывает грядущие беды велеречивый Абрамка — а сам так и кастит всякие власти, — плюнет да молитву со-

творит: сохрани, Господи, рабу твою Софью да раба твоего князя Василия от всякого зла! Перекрестится, да давай Бог ноги. Дворяне были не в купцов: известно, народ отважный и буйный. Люба им всякая весть на вышних, и развесят уши, как ценит богомерзкий Абрамка княгиню великую с чадами.

— Мы-ста, — говорит раз один из дворянских, — давно это самое смекали, да верно не знали только, как и что, а теперь примем меры.

Этот горячий дворянчик был князь Петр Ушатый. Во дворце рассказал он слышанное в рядах.

Князь Иван Юрьевич махнул рукой, говоря, что он знает многое и принимает меры для безопасности княжича Димитрия, но доносить государю по одной молве, пущенной, может, и с злым наветом, не смеет. Хотя никому не запрещает, но и не советует.

— У всякого свой царь в голове, — заключил он свой ответ на донесение.

Вот государь пришел к себе с женой половины и сел читать статейный список, присланный от Михайлы Плещеева из Царьгра-

да: как принял его турецкий салтан Баязет и как ему Михайло на поклоне грамоту подал.

— Недурно для первого знакомства, — молвил государь, перечитывая, что Баязет, ужас целой Европы, прижимал к сердцу его грамоту. — И велел сказать нам великой поклон, и кто мне друг — и тебе друг... Очень хорошо! Ну, друг Менгли, коли ты будешь хитрить, как теперь, мы и без тебя обойдемся, коли с Баязетом поладим...

Вдруг входит князь Ушатый и, бросаясь на колени, крикнул:

— Помилуй, государь!

— В чем миловать?

— Позволь донести усердному слуге про страшное дело... про одно, все, что узнал я!

— Говори, князь! Да встань и сядь, если хочешь, как вижу я, говорить долго! — И государь отложил в сторону начатый столбец Плещеева.

— Слышал я, государь; толкуют, как в набат бьют, на базаре, что дьяк князя Василья Ивановича, Федор Стромило, с Руновым братом, с Поярком, да с детьми боярскими советуют своему господину князю недоброе: отъе-

хоть на Вологду, пограбить казну твою, испустить на волю злодея твоего Алегам-царя и поднять весь север с Новымгородом! Да тот же вор Стромилло с Володимирком Елизарьевым Гусевым да со Щавьем Скрыбиным сыном Стравиным нороят извести княжича Дмитрия Ивановича! А Палецкий Иван похваляется в таком сатанином лиходеянии и в крамоле на тя, великого государя, быти воеводою. И ясь, государь, забег на конский двор, саночки княженецки ладят и в обшевни всяки товары кладут... заведомо в далекий путь.

— Собирают, заправду, в дорогу, говоришь? Да, может, так, куда ни на есть погулять Васе хочется?.. Насказал ты мне, князь, — молвил государь с глубоким вздохом, — столько нерадостных вестей, что боюсь поверить... уж очень чудно все это!

И, опустив голову, с глубокими вздохами Иоанн стал прохаживаться по своей рабочей истопке, сперва медленно, потом постепенно прибавляя шаг. Наконец он не выдержал, схватил расхожую свою, крепко потертую, заячью шапочку, спустил назатыльник и, вздевая чугу на меху, сказал доносчику:

— Ин, посиди тут. Я запрю тебя здесь. Только ты... молчок!

И поспешно вышел.

Державному не верилось, чтобы у него в столице, в двух шагах от лица его, мог созреть и исполняться открыто настолько отважный план. А что выполнение этого плана могло навести много хлопот и поставить его самого, до сих пор все направлявшего к далекой, раз поставленной цели, в положение страшно затруднительное, это представлялось ему так наглядно и осязательно. На Вологде, при Алегаме, десятка два с половиною детей боярских да земской стражи вполонину. А Васька, коли с этим вором Стромилой решается ехать, стало быть, рассчитывал уже, где по дороге забрать людей: и явятся с сотнею-двумя. Ну — и довольно! Все пойдет как по маслу. А там прикачут братцы и сродники! Грянет Литва. Да, как знать... и в Москве, видно, есть ловкачи вроде Ваньки Палецкого. Вишь ты, в воеводы норовит, сопляк! Посмотрим!..

И он, в холодном поту весь, выбрался за дворец, мимо верхнего огорода прошел к калитке у Тайницкой башни и спустился на лед

Москвы-реки, не узнаваемый и не окликаемый стражею. За непогодью, впрочем, трудно было различить и в десяти шагах человека впотьмах. Огоньки ярко светились в тереме великой княгини, прорезывая мрак ночи, черной и зловещей, как совесть преступника. Иван Васильевич по льду Москвы-реки пошел все вдаль. Вот в стороне мелькнул огонек в новом доме, у Берсеня Беклемишева. Державный путник взял от него наперерез реки к Черторые и напал на тропинку, протоптанную близ Зачатейского монастыря. Огибая частокол этой обители, князь великий шел, утопая в глубоком снегу. Но вот выбрался он к валу, взобрался на него и услышал вправо смешанные голоса. Идя на них, Иван Васильевич уже не сомневался, что возня идет на конюшенном дворе и что самая тревога и спешка эта в ночь, на другой день Рождества, действительно внушает веру в слова князя Ушатого.

Ворота на конюшенный двор, против обыкновения, были на запоре, но слышно было, что люди нагружают возы, и возов нагружается множество. Князь великий перешел

через улицу и взобрался на сруб, с которого видно было все, что делается за стеною колымажного двора великой княгини. В ряд выстроено было тридцать повозок, над которыми работали спешно люди, укладывая и увязывая надежно возы, как готовить надо в далекий путь. Невидимому во мраке ночи царственному дозорщику на его наблюдательный пункт долетали даже слова, где имя старшего из живых его сына и Ярославская дорога пересыпались словами: «сайдаки», «колчаны», «шапки железные», «самопалы», и другие выражения, имевшие место в распоряжении тогдашнего воинства, но никак не относившиеся к мирному положению.

Вот из избы нарядчика вышел, должно быть, набольший, и ему стали светить двумя громадными головнями, трещавшими только от редких снежинок. Вышедший торопился с выездом обоза в эту еще ночь.

— Да помилуй, осударь Володимир Елизарыч, никоими делы нам не успеть, — смиренно и почтительно возражал нарядчик. — Перво дело, коней столько нет! Нельзя же с вами отпустить всех: могут потребовать наутре же,

и тогда что? Вам самим не корысть. Все откроется. А потерпеть до полудни завтра: с Романа татаре приведут, и хоть всех возьмите, не в примету будет.

— Да нельзя, говорят, ждать! Завтра государю князю нашему милостивому уже не удастся вырваться: тетенька их съезжают.

— Так ведь и распрекрасно, тетеньку проводить?

— Так не приведется. Посылают князя Юрья Ивановича с пестуном, и то до У греши, не далее. Должно, князь Иван Юрьич уже подозрение возымел?

— Ну да и наличные аргамаки в недостатке будут. Легко ль, ваша милость требует осьмдесять девять? А у нас и всево-от на Москве, никак, шестьдесят шесть. Ну и что вам такая тьма? Не для походу ведь, а для баловства, так только... гонять коней от нечего делать. С жиру вы, братцы, беситесь, коли от такого тепла да холи в эку непогодь вас разбирает уезжать, да еще от праздника со святок, в глушь такую непутную... Легко молвить — на Вологду! Уж коли здесь неладно — там и подавно. А все пустяк!

— Нет, не пустяк. Дело важное, да и такое важное, что не удержать тебе, Герасим, головы на плечах, коли севодни в ночь не изобретешь средства нам выбраться! — заключил угрозу свою несговорчивому распорядителю княгининой конюшни дьяк Гусев. Это был он.

Нарядчик только тяжело вздохнул и развел руками в знак невозможности ничего поделать.

«Довольно! — сказал про себя Иван Васильевич, спрыгивая, как мальчик, с двухаршинного сруба в кучу снега. — Теперь, дружки, не уйти вам. Ай да Васенька! Вот так удружил. Хороша и ты, государыня, Софья Фомишнишна!»

И, тяжело дыша от гнева, обуявшего его при открытиях, снимавших повязку с глаз дальновидного политика, Иван Васильевич не бежал — летел в Кремль. В Боровицких воротах не пускала его стража, и он принужден был потребовать к себе Ивана Юрьевича.

Патрикеев со сторонниками ожидал уже вспышки какой-нибудь по случаю доноса Ушатова и поспешно явился, стараясь придать лицу своему самое безмятежное выраже-

ние.

— Ты у меня на Москве хозяин, а не ведаешь, что мастерают некие добрые молодцы на конюшенном на княгинином, на Софьином дворе? — встретил неожиданным, казалось, вопросом своего доверенного главного администратора гневный Иоанн, бледный и яростный. — Сейчас бери три сотни детей боярских, раздели их на шесть отрядов и разом схвати Строилова Федьку, Поярка, Ропченка, Палецкого-Хруля, Скрябина и оцепи конюшенный двор Софьи да обыщи тщательное. Ну... поскорей! Я не лягу, пока не получу от тебя донесения... Да окружить терем княгини великой надежными людьми, чтоб никого ни впускали, ни выпускали. Да живей поворачивайтесь!..

Затем Иван Васильевич, глубоко расстроенный и грустный, вошел к себе и велел князю Ушатову принять начальство над придворною стражею.

Князь Иван Юрьевич уехал со своими сторонниками, и опустелый, казалось, Кремль погрузился в полное спокойствие перед утром, уже недалеким и нерадостным. Огонек

светился и не погасал между тем до рассвета в двух недалеких друг от друга оконцах, теремов великого князя и великой княгини. Обитатели их бодрствовали и погружены были даже одинаково в думы, не обещавшие ничего отрадного. Владыка всей Руси мучился в борьбе с собою: что делать с виновными? Виновность же казалась ему несомненной.

Великая княгиня-мать бодрствовала над сыном и сперва томилась ожиданьем скорой разлуки, моля провидение, чтобы последовала какая-нибудь задержка и не состоялось бы дело, уже решенное, на которое она согласилась против воли, видя невозможность действовать иначе. Но и согласившись, поддавалась она раздумью, все ища иного исхода и все надеясь, что обстоятельства сложатся как-нибудь иначе. Цель была достигнута: первенство и власть ее сыну путем законного соизволения родителя. В восстание сына явно она плохо верила и думала, что отец, увидев удаль Василия, склонится на исполнение ею задуманного желания. Когда же тревога ожидания, бесплодно промучив ее в продолжение трех длинных часов, в которые должен был

последовать отъезд князя Василия Ивановича, представила непредвидимую странность: неявку всех его сторонников, — на мать напал ужас. Она по боли сердца предчувствовала что-то худшее, чем неудача. Малейший шорох бросал несчастную княгиню в лихорадку. Вот чуткий слух ее различил чей-то приезд перед рассветом. Казалось, въехало в Кремль много людей, почему-то старавшихся умерять звуки от езды своей.

«Это они! Наконец!» — думает княгиня, сидя над уснувшим беззаботно сыном. Но это были именно люди, уничтожавшие весь план задуманной интриги. Это были патрикеевцы. Гусев захвачен ими на конюшенном дворе. Осмотр же двора открыл все приготовленное для экспедиции, далеко не шуточной, как можно было судить по количеству и роду вещей. Арест пятерых участников тоже состоялся удачно. Каждого из них спрашивал сам Иван Васильевич и, выпросив все, послал их в тюрьму, приказав строить эшафот, чтобы казнить в тот же день. Распорядившись приготовлениями к казни, государь велел взять князя Василья Ивановича из терема и отве-

сти под стражу. А супруге своей приказал сказать, что видеть ее державный не желает!

Плач прислуги, пронесшийся по терему великой княгини, когда взяли князя Василья, разбудил тетку его, княгиню рязанскую Анну Васильевну, не ожидавшую ничего подобного при дружеском расположении всех и при общем веселье, длившемся во весь вечер, до самого отхода ко сну.

Княгиня Анна бросилась к брату — просить за племянника.

— Может, Василья обнесли, государь, перед тобою злые люди? Пощади свое рождение!

— Сестра, я сам убедился во всем, что он хотел мне наделать злого, но успокойся: не пролью ево крови, как хотел он пролить кровь Дмитрия! Ни за Василья, ни за Софью — не проси.

И княгиня поспешила уехать к себе под предлогом свадьбы дочери.

# Часть III

## I

### УДАЧА, ДА НЕ СОВСЕМ

*Одна волна сбросила на гору, другая  
может унести опять в море!*

Из старой трагедии

**В** то же время, когда княгиня Анна Васильевна выезжала на знакомую ей Рязанскую дорогу, по Смоленской тянулись в ряд пять подвод, должно быть, с добром немалым. Кроме погонщиков, людей боярских при добре не видно. А что не пустые возы и в них не какой-нибудь хлам — можно заключить по тщательной увязке и покрышке кибиток, все сукном лятчиною.

— У нас-от, на Москве, из этой бы самой лятчины понашить ино кафтанов, с лихвою и с большим походом можно бы было воротить всю свою затрату за вещь и за провоз! Вестимо, едут из неметчины возы загадочные, да и мужички-то при них говорят таково чудно! Московская речь звонит, что твой колокол с

серебром, а у этих язык словно суконный, да и таращат зевье, выворачивая слова нескладные, словно икать собираются!

Толки и замечания такие делал, идя в почтительном расстоянии от въезжавших, знакомец наш великан Сампсон, посланный своим милостивцем князем Иваном Юрьевичем к смоленскому въезду — потолкаться: не окажется ль чего подозрительного? Вот в его богатырскую голову и закралось подозрение чего-то особенного при виде нарядных кибиток в лятчине: давай идти за ними да поглядывать, куда это направляются загадочные вожатаи?

— Никак, вокруг всей Москвы колесить они думают: от Дорогомилова, глянь-кось, все вправо забирают. Да не думайте, дружки, улизнуть: мы-ста хоша сотню верст отмахаем, а не отстанем!

И снова идет великан в ногу с лошадами, тяжело ступающими по рыхлому снегу. Вот уж смеркается. Переехали поперек Тверскую ямскую слободу. Сампсон только вздохнул. Ямщица Матреха, здоровенная бабица, живет тут на Петровке: завернул бы на перепу-

тье, да нельзя: уйдут, и были таковы эти су-  
конноязычные вахлаки[31]! Однако ж — не  
утерпел, почесал в затылке да, подоткнув  
края чекменя своего, начал чесать по задвор-  
кам. Вот он уже у знакомой избы. Пяток ша-  
гов, и — у Матрехи. Не тут-то было: скачет  
стреманный князя. Признал, злодей, издали.  
Как гаркнет:

— Сампсон Тимофеич! Сбились с ног тебя  
искамши. К государю требуют!

— Провались ты, окаянный, — отплевыва-  
ясь, шепчет про себя обескураженный вели-  
кан, со вздохом поворачивая оглобли от избы.  
А она так заманчиво и язвительно выгляды-  
вает, словно купчиха, опершись на соседку  
правым боком. Да еще нахально сверкает яр-  
кою оранжевою искрою блеснувшего огонька  
в единственном оконце своем. Никак, Ма-  
треха собирается ужинать? Теперь-от в самую  
бы пору!

А стреманный уж подле и хватает за мед-  
вежью лапу великана — пойдем!

— Ужо, пожди маленько! — умоляет жа-  
лостно Сампсон безотвязного.

— Нельзя, никоим делом не можем. Велел

князь: где повстречаем, тащить — одно слово!

Великан повинуется, тяжело вздыхая, продолжает уверять, что ему не дали доследить за одними сомнительными дорожными.

— Я пустился в обход, чтобы забежать им в лицо. А тебя нелегкая вывернула, на беду мою, со своею крайнею, как уверяешь, надобностью!

— Я-то чем виноват: посылают! Авось еще поймаешь.

И действительно, на повороте с Софийки под гору, к Лубянке, повстречали они те же кибитки, кажись. Сампсон послал стремянного за ними, а сам поспешил в Кремль. Спешка объяснилась новым повелением: разыскать баб-колдуний. Княгиня

Елена Степановна хочет найти Василису, а со двора от князя пропала она еще с утра. Иван Юрьевич боится, что поймают бабу где ни на есть и до него повыспросят с пристрастием. А она, может, сболтнет что неладное? Вот он и послал за Сампсоном.

Суровому великану осталось поклоном заявить только почтительную готовность на

новую службу. А про себя думал он: попытаться-ка вторично забежать к Матрехе под благовидным предлогом розысков чародеек? Да теперь к ней явиться, хоть бы и поздно было, но повод есть, велят искать ворожей...

Сампсон летит. В переулке слышит, гонится кто-то. Опять стремянный.

— Зачем?

— С ответом, кто такие в кибитках!..

— Кто же?

— Рядом с Холмским дворцом двор новый боярыня купила приезжая — жена деспота Аморескова, что купчиха допрежь была. Князь-от деспот прогнал.

— Вот как?! Поезжай же к князю — донеси! А меня таперича послал на службу, недосуг мне! — И великан зашагал наконец самоуверенно к цели своих стремлений, продолжая ворчать: — Что за житье наше за собачье?! Все гони да гони!

Оставим верного Сампсона допрашивать Матреху, хотя заранее предупреждаем читателя, что по части собрания сведений любопытство великана не имело обильной пищи, взамен удачи во всем прочем. Между тем

предмет горячих исканий его или, лучше, исканий, ему порученных от взыскательного князя Ивана Юрьевича, находился не так далеко от места нахождения разыскивателя — у Матрехи же.

Василиса была у ней, когда сильный стук в закрытое оконце и потом в ворота заставил гадальщицу — за которую знала уже бывшую домоправительницу князя Ивана Юрьевича вся Москва — выйти за хозяйкою в сени да спрятаться за дверью, в теплой клети. Грубый же знакомый голос Сампсона заставил Василису обратить особенное внимание на слова его, и, поняв из речей великана, что князь Иван Юрьевич послал искать ее именно, она решилась подобру-поздорову уйти из приюта, без сомнения надежного, но до тех пор только, пока хозяйка будет выдерживать характер да... и не промолвится. По тону же беседы Сампсона с Матрехой Василиса приходила к обратному заключению и исчезновение свое отсюда сочла решительною необходимостью.

Матреха угощает дорогого гостя, а тот успевает и есть и говорить. Вот что-то словно мелькнуло, белое, мимо оконца, с надворья.

Сампсон счел за нужное спросить:

— Мы двое только? У тебя никто не живет?!

— Нет.

— Так мне померещилось, видно, будто прошел кто-то в белом?

— Ага! Видно, Сампсоша, ты перед оборотнем не выстоишь?

— А ты небось выстоишь?

— Я-то? Нету, известно!

— Так неча и язык чесать к ночи про такую неподобь!

Зоркий глаз Сампсона между тем видел не мечту. Действительно, ветром отнесло к концу белое покрывало Василисы, когда осторожно, без шороха, пробиралась она между принадлежностями хозяйства зажиточной Матрехи под навес. Оттуда через калитку вышла Василиса на огород да через соседские межи, ничем не забранные, направила путь свой к Сретенке. На ней с краю приходился дом князей Холмских, теперь заколоченный.

Проходя сторонкою, мимо пустынных безмолвных теремов, ожидавших давно уже молодого наследника, Василиса столкнулась по-

чти нос к носу с женщиною, как она же, в белом покрывале.

— Ты что тут делаешь, пташка? Да, кажись, знакома! — вырвалось невольно у Василисы при случайной встрече в необычное по Москве время.

— Голос знаком, в самом деле! — отозвалась та, которую окликала наша гадальщица. — Только признать не могу.

— А помнишь гадальщицу в Греческой слободе: ты спрашивала про судьбу свою? Здорова, коли вижу тебя снова.

— Помню! Пойдем ко мне: я здесь недалеко.

— Берегись: меня ищут, — сказала гадальщица, понизив голос.

— Будь покойна, ко мне не придут брать тебя. А если и придут — не дам! — шепнула приглашавшая ей на ухо.

Если вы сами не догадались, я скажу вам, что встретила с Василисою — Зоя. Она дала у себя приют гадальщице. Вошли они в терем молодой хозяйки, никем не запримеченные, и долго передавали друг другу свои все похождения.

— Так и ты несчастлива, боярыня, оттого, что трое тебя любят, а ты любишь одного только! Судьба моя схожа, пожалуй, с твоею; в этом одном и мое несчастье: любят меня трое, а дорог мне один! — заключила Василиса свою исповедь, медленно позевывая и крестя рот.

Тот, кого называла Василиса дорогим своим, был между тем близок от Москвы.

Максимова вызвал предатель Косой на его гибель, сам того не думая, что дни власти и их обоих с отцом были тоже сочтены.

Они, кажется, не верили, что Бог, кого положил наказать, лишает рассудка.

С каждым шагом, приближающим к цели, не только Иван Юрьевич и Косой, но даже Ряполовский делались самоувереннее и оттого заносчивее. В душе отец не доверялся сыну, но должен был признаваться ему из боязни обоюдного вреда от незнания цели той либо другой эволюции.

Ряполовский же задумал, при поддержке преданной княгини-матери наследника-соцарственника, прибрать к рукам военную администрацию. Ему и удалось бы, может быть,

это, потому что Иоанн возымел в это время надежды на мужественного стратига, которому вредил больше всего недостаток уважения к другим, не менее, если не более его достойным. Особенно преследовал он своими насмешками тщедушного князя Федора Пестрого, на ратном поле между тем героя и предводителя с дальновидными идеями, расчет которых никогда не оказывался фальшивым.

Князь Федор Пестрый был горячим защитником Ивана Юрьевича, и Патрикеевы всегда рассчитывали на выбор его в первые воеводы против Литвы, обходя могучего, доблестного князя Данилу Щенятю. Ряполовскому мечталось, что он заткнет за пояс обоих соперников, и друг его Петр Шастунов, со дня открытия заговора Василья Ивановича сделавшийся приближенным к владыке, вслух проповедовал, что князь Семен, а не кто другой прочтется в вожди главные в поход, ни для кого не бывший тайною.

Вот сошлись бояре на постельное крыльцо и, вьюги ради, перебрались в сени — дожидать призыва к государю. Посели на лавки по большой стене и завели беседу вполголоса.

— Сопляку такому, как князь Федор, ни в жизнь не дам собою владать, — бормочет младший сын Патрикеева, косноязычный, недалекий, но громадный по статуре Мынинда.

— Еще бы, взаправду сопляк он, хоша и хитер, ворог! — вторит ему Кляпик Яропкин, тоже чающий благодати от щедрой десницы бабюшки Патрикеева.

Княжна Федосья Ивановна в это время проходила со своею приближенною боярышнею, родственницею князя Федора Пестрого, по сеням из церкви от обедни. Имя князя Федора Пестрого не ускользнуло от чуткого уха родственницы.

Пришла она с княжною великой в повалушу да и начала жаловаться:

— Вот ужо как Патрикеевич-молодший дядюшку Федора честит: сопляк, бает, да ворог он им! А тот, сердешный, распинается: душу готов положить за Ивана Юрьевича!..

— Чего ж больше ожидать от Патрикеевых? — желчно отозвалась, глубоко вздыхая от грустных воспоминаний, навеянных именем Патрикеевых, княжна. Их интригам бед-

няжка приписывала заключение матери и брата да и все беды, в последнее время разразившиеся над теремом, опустелым, одиноким, примолкшим от грозы неожиданной.

Вошел князь Петр Ушатый осведомиться о здоровье княжны великой. Его принимали, как человека пожилого и добродушного в сущности, хотя всем известного своею недалекостью, довольно снисходительно. Эта недалекость делала его безответным и за зло, нанесенное невольно высказаньем слышанного о заговоре. И в этом видели наведение его на мысль о передаче государю, конечно данную кем-нибудь поумнее. Несмотря на такую разгадку нравственных и умственных качеств князя Петра Ушатого, отказать ему в доступе в терем опасались, думая в самом выполнении формального посещения видеть хотя непрямое поручение государя.

Вот сел Петр Ушатый и начал выкладывать последние новости, которые удалось ему подслушать, слоняясь по знакомым домам. На этот раз более всего приятно щекотало словоохотливость князя Петра повествование о приготовлениях к неслыханному обряду

«венчания на царство» Димитрия.

— Голубчик-князь Иван Юрьевич покоя совсем не знает за хлопотами, да и все мы, бояре, с ног сбились... Большак-от хочет, чтобы, это самое, было великато, и почтенно, и сановито... чтобы и в ляхах ведомо было, как здесь торжество справляют. И посольству захотел государь нарядити с оповещеньем к князю великому Александру, к литовскому. Иван Юрьевич и на примете имеет человека, что ни на есь первого: князя Федора Пестрова.

— Да ведь Мынинда сопляком князя Федора называет, куда ему, еще в посольство? — иронически возразила Федосья Ивановна.

— Дядюшку хотят просто удалить от венчанья, — отозвалась обиженная родственница Пестрого.

— Не удалить, девка, а почтить, — настаивал оправдывавшийся Ушатый.

— Почет почету рознь, князь, — начала в свою очередь княжна Федосья. — Сегодня почета ради удалят от государя князя Федора, завтра дойдет очередь до тебя, князь Петр. Для Патрикеевых нужно этот почет оказывать, видно, всем боярам, к кому батюшка из-

волит благоволить. Эдак им будет не в пример свободней.

— Ах они, вороги окаянные, такую ересь задумали! — выговорил озадаченный князь Петр и, перемолвив еще несколько пустых слов, ушел, позабыв даже и цель прихода своего. В груди у него бушевала буря. Кровь, прилившись к голове, сообщила без того багровому полному лицу раздраженного князя ковер медно-красный, с блеском от выступавшего на безвласый лоб обильного пота.

Он уже не владел собою. Добравшись до сени, где сидели чинно бояре, Ушатый прямо подошел к Федору Пестрому и голосом, полным горечи и злости, заговорил ему без обиняков:

— Слышишь ты, князек? Тебя, вишь, вороги хотят спустить в Вильную, к литовскому, в посольство будто... А то чистая облыжка, стервецы. Это, — он широко махнул рукою в сторону, где сидел Мынинда с братом, подле Яропкина, — просто-напросто желают отделаться?!

— Как так?! — нерешительно спрашивает князь Федор, сам смотревший на цель поруче-

ния съездить в Литву как на знак, приближающий его к высшему назначению. — Быть не может! Ты тут, что ни на есть, спутать изволил. Патрикеевы на меня крепко сами рассчитывают... Мы, известно, все заодно.

— Эко уважение, подумаешь, питают они, коли величают... прости за правду — сопляком!

— Чево ругаешься, князь Петр? Я с тобой так николи не чинил; унижать нам друг друга непригоже.

— Да рази я тебя унижаю, сердце ты мое, князь Федор Петрович? Ты мне ясным соколом видишься. Ума — палата в тебе, дорогой... Окромя почтенья, я ничево инова и в уме не положу. Говорят, честит тя дурак Мынинда! А коли он это бает — неспроста. Вот что!

— Не верю, чтобы Мынинда...

— Спрошай его сам! Пойдем. Не лгу я! — И, схватив за руку, повлек Пестрого к виновнику непочтительного отзыва.

— С чего говорил ты то и то? — спрашивает спокойно, с достоинством Пестрый, приведенный к обидчику, все еще ласково, не веря навету Ушатого.

Мынинда между тем был совершенная противоположность с отцом и старшим братом. От того, что он говорил, он отпереться не умел, да и не готов был. Застигнутый врасплох, он, насупившись, промычал только: «А ты почем знаешь?» А безотвязный Ушатый напирает: «Ты прямо говори, баял аль нет?» Федор Пестрый тоже хмурится.

— Да что ты пристал как с ножом к горлу: ну, говорил!.. И опять скажу: Федька Пестрый — сопляк! Не в обиду будь сказано... Кулаком пришибу.

— Нет еще, молоденец, князь, пришибать... Мы найдем и оборонь! — отозвался отрывисто князь Федор, видя общий смех на лицах сидевших бояр.

Действительно, тщедушный воевода, допрашивавший великана, представлялся пародией на Давида с Голиафом и не мог не вызвать улыбки самым контрастом наружности на лица собеседников, не понимавших сущности выходки Мынинды, которой, без комментария Ушатого, и сам обиженный не придал бы веса. Но теперь он забыл и политику и всякие расчеты при кровной, казалось, обиде,

поддавшись гневу.

— Случалось и комарам, как читывал я в притчах, приводить в трепет слонов! — высказал Пестрый, не долго думая, садясь на свое место и понутив голову.

Князь Ушатый не пронялся. Оставаясь подле Мынинды, он пилил его своими язвительными выходками и довел до бешенства. Великан вскочил, схватил за шиворот болтуна и повернул его так, что он совершил волчком несколько оборотов посреди сеней, однако удержался на ногах.

Но в то мгновение, когда совершал волчкообразное обращение князь Петр, отворилась дверь из рабочей палаты государя, и Иоанн покотился со смеху. За ним грянули хором и все ожидавшие бояре.

Мынинда успел подхватить свою случайную игрушку, не допустив Ушатого грянуть на пол. Тем не менее, не связываемый и самым присутствием государя, не понявшего, впрочем, причины выделанной штуки, болтун шепнул великану:

— Мы с тобой, дружок, когда-нибудь разделаемся... В долгу не будем.

Князь Федор Пестрый думал то же самое, не высказывая угроз.

Единодушие в кружке собравшихся торжествовать победу исчезло не возвратно. Но начатое дело шло покуда своим чередом.

Делались окончательные распоряжения к торжественному венчанию рукою архипастыря и державною десницею царственного деда отрока князя Дмитрия.

Вот наступил и этот великий, вечно памятный день 4 февраля 5006 лета от создания мира.

С раннего утра народ в праздничном платье залил цветными волнами весь Кремль и прилежащие к нему улицы. Иван Васильевич, уже седовласый, при звоне всех колоколов многочисленных храмов своей столицы вышел в Грановитую палату, облеченный в парадную одежду свою, и велел привести к себе пятнадцатилетнего внука.

Иван Юрьевич и князь Семен Иванович Рязполовский подвели молодого княжича к ступеням царственного седалища славного деда его. Государь встал со своего места и, взяв за руку внука, повел его в Успенский со-

бор, сопровождаемый всеми своими боярами и чиновниками.

Перед входом в храм митрополит и пять епископов встретили Иоанна и Дмитрия с крестами и пели в притворе молебен Богоматери и святому Петру-чудотворцу. Поцеловав крест, государь и внук его, так же как и последовавший за ними владыка, сели на устроенных посреди храма чертожных местах, на амвоне. Близ мест Иоанна и Дмитрия, на столе, лежал золотой венец и греческие бармы, по преданию, присланные Мономаху. По данному знаку отрок Дмитрий встал на крайнюю ступень амвонного подъема и Иоанн величественно произнес:

— Отче митрополит! Издревле государи, предки наши, давали княженье великое старшим сыновьям своим; и я благословил княжением своим великим сына Ивана, первожденного. Богу угодно было взять у меня ево, но я не отменяю своей воли и его сыну — Дмитрию, возлюбленному внуку моему, даю при себе и после себя великое княжение владимирское, московское и новгородское! Благослови ево, отче, на нашем жалованье: да

владеет и княжит с помощью Божиею!

— Да будет воля твоя, государь милостивый, и да исполнит Господь желания твоя. Приступи, чадо, княже Дмитрие!

Димитрий, побледневший, трясаясь от волнения, внезапно им овладевшего, шагнул вперед, и владыка осенил крестом царственного юношу.

Затем, положив руки свои на склоненную к груди его кроткую голову, митрополит произнес всегласно молитву:

— Царю царей, воззри оком благости на раба твоего Димитрия, сподоби его помазаться елеем радости, да примет свыше силу понести скиптр царствия, да воссядет в мире на престол правды, оградится благодатию Святого Духа и ополчится на сопротивные, яже покориши под ногу его мышцею своею высокою. И да почиет в сердце венчанного вера чистая, святая правда и добро, еже творити, и наблюдати, и слышати.

Архимандриты подали бармы, митрополит осенил их крестом, а государь возложил на внука. При этом митрополит тихо молился Вседержителю:

— Царю веков, се, сотворенный тобою человек, преклоняет главу в молении к тебе: храни его под кровом своим, да правда и мир осияют дни его, и проживем мы во дни его в мире, покое и тишине душевной.

Подали венец, благословенный архипастырем. Иоанн сам возложил его на внука, а митрополит произносил: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!»

После чтения Евангелия митрополит и князя великие сели, а протодьякон возгласил многолетие Иоанну и Димитрию. То же повторили лики священства и дьяконов. Поздравляя внука, государь сказал ему: «Димитрие! Мы пожаловали и благословили тя великим княженьем: име в сердце страх Божий, люби правду и попекися о христианстве, как и мы печемся непрестанно», — и поцеловал его.

Четою сошли государи и вышли из храма: дед — в Грановитую, а внук, в венце и бармах, — в собор Архангельский — поклониться праху родителя, да в Благовещенский (где дядя, князь Юрий Иванович, осыпал счастливо-го племянника золотыми и серебряными

деньгами).

По прибытии венчанного государя в Грановитой палате начался пышный пир. Святители делили трапезу с сановниками светскими. Кипрское и мальвазия лились обильною струею, братины быстро и часто обходили столы пирующих.

Встав из-за стола, дед державный велел принести крест на золотой цепи и возложил его на шею виновника торжества, препоясав его дорогим поясом с самоцветными камнями. Наполнив сердоликовую крабью кесаря Августа, Иоанн отпил сам из нее несколько капель и, подавая внуку, велел хранить ее в память настоящего дня.

Но все эти знаки любви к внуку, в которой искал государь покоя от снедавшей его душевной скорби, не успокоили сердца державного. Оставаясь один, он задумывался и вздыхал тяжело-тяжело. Если бы кому-либо удалось взглянуть в скорбные очи сановитого правителя, он подметил бы в них блиставшие слезинки, хотя и старался их скрыть мудрый политик. Эти признаки душевной истомы больше всего пугали князя Ивана Юрьевича.

## II

# КОШКЕ ИГРУШКИ, МЫШКЕ СЛЕЗКИ

Стали доходить слухи из Литвы о горькой участи княжны Елены Ивановны, хотя неопределенные, но ехидные, зловещие, с выражением злобного посмеяния мужа над женой и преследования ее, а не просто заявления взаимной холодности супругов и понятной тоски одиночества княгини, брошенной в чужбину враждебную. Князь Иван Юрьевич, присоветовавший этот брак — не ожидая, конечно, такого результата, — трепетал при каждой новой, доходившей до слуха его, подробности горького житья дочери Ивана Васильевича. Он же к нему видимо переменялся. В самый день коронавания внука, когда усердный поддерживатель княгини Елены заявил потребность образовать отдельный двор для великого князя Димитрия, расположенный к нему тепло дед вспылил на докладчика:

— Не замуж внука мне выдавать! С мате-

рью не подерется он. Ты мне вечный указчик, где тебя не спрашивают. Только не делаешь, что велю я. Ну, разыскал ли колдунью, что ворожила моей Софье Фоминишне грядущее?

Иван Юрьевич потупился и смолчал. Высказывать, что эта баба — Василиса — в почете у Елены Степановны, ему было никак невозможно.

— То-то же, учитель! Знай себя, да делай сам, что велено, — заключил смягчившийся государь, не получая ответа от своего дворецкого и по лицу его уже заключая, что говорить ему нечего.

Сорвав неудовольствие на Иване Юрьевиче, теперь уже старавшемся изредка и показываться державному, Иван Васильевич, не находя покоя от боли душевной, прошел в терем дочерей. От помещения великой княгини Софьи дочерний терем теперь отделялся вечно запертыми на замок дверями. Так что к матери дети входить не могли и не смели проситься, от прислуги только слыша, что Софья Фоминишна недомогает.

Когда вошел государь, княжна Федосья Ивановна плакала, читая канон «На умиле-

нье души грешника». Отец взглянул на содержание книги и, ничего не сказав, повернулся лицом к окну. Долго смотрел в звездную высь ночного морозного неба над Кремлем грустный политик, и думы его уносились в прошлое. Ему припомнилась тоже ночь, такая же звездная, ясная и тоже в день великого праздника — его второго бракосочетания. Какою яркою звездой красоты и очарования представлялась тогда теперешняя узница! Вздохи ее отчетливо слышались Ивану Васильевичу за закрытыми дверями. Припомнилось ему и рождение, теперь заключенного, сына Василия, самая вина которого доказывала врожденную потребность к деятельности. Отсутствие жены и сына между тем делало как-ким-то опальным домом его дворец, недавно еще заключавший веселую семью, родственные ласки, теплоту привязанности. И все это разрушено кичливыми претензиями да охотою быстрого повышения со стороны немногих честолюбцев! От тлетворных же внушений лести их и коварной преданности не только мальчик и женщина, но даже сам зорко наблюдавший за собою политик не всегда

бывал защищен, несмотря на свою изощренность и опыт и прозорливость.

Придя к такому заключению, государь повеселел, казалось, и обратился к дочери с улыбкою:

— Не горюй, Феня, рожь перемелется, мука будет! Авось дождемся, и скоро... опять житья бывалова? И мне, друг мой, тяжело выносить... одиночество! Видит Бог, тяжело... да что ж делать! Пусть виноватые покаются... за миром не так далеко ходить... прок бы был только!

Государь сел. Замолчал и снова задумался.

С дочери, тоскующей о брате и матери, на которых гнев Ивана Васильевича уже начал приметно ослабевать, мысль государя перелетела на внука, сегодня венчанного, да на мать его. Внутренность невестки давно уже известна была державному свекру, а несвоевременное и неудачное потому напоминание Ивана Юрьевича о заведении для Дмитрия особого двора теперь представилось государю окольною попыткой хитреца дворецкого доставить еще более широкий простор влечениям княгини Елены Степановны. На дела

невестки Иван Васильевич не смотрел взором подстерегателя или гонителя естественных в ее лета проявлений страсти, но он желал, чтобы соблюден был наружный этикет и приличия, без которых могло профанироваться самое жилище монарха или сановитость двора его. Мысль, что снисхождение к погрешностям должно окупаться соответственными блистательными качествами провинившихся, казалось, в эту минуту заняла ум дальновидного государя. Ряполовский до сих пор отличался личною храбростью, показал, что и голова у него не пуста, но всего... этого немного! Годится ли он на что более видное, чем обиходная служба или рассеяние нестройной ватаги азиатов, засевших в трущобу и думавших, что они поэтому неодолимы. Вот вопрос, которого разъяснением задумал заняться теперь же сам Иван Васильевич. Он быстро встал и направился к двери. Выходя, поцеловал княжну Федосью Ивановну в лоб и приказал, чтоб поместили ее на теплых сенях подле его рабочей палаты.

— Ин, мне с тобой, Феня, будет веселее. Ты такая щебетунья!

— Государь идет! — крикнула вполголоса бабенка Афимья, увидав издали державного и вбежав в повалушу к Елене Степановне. Княгиня-вдова и князь Семен вскочили с полавочника, перепуганные внезапностью. Ряполовский направился в переднюю истопку и в дверях встретился с государем.

— Куда ты, князь, так спешишь? — спрашивает Иван Васильевич милостиво и вместе шутливо своего храброго слугу, подметив его смущение и желая помочь ему выйти из этого положения. — Знаю я, что торопиться некуда. Зайдем-ко опять к Алене да потолкуем ладком. Может, и ты надоумишь нас, что и как поделать. Ум хорошо, а два лучше!

Слова эти успокоили Ряполовского, и он последовал за владыкою своим, победив смущение. Ласковый тон речи государя с князем Семеном дал возможность поправиться и княгине Елене Степановне. Усмотрев на столе поднос и чарки с мальвазией, она схватила эту утварь в руки и встретила свекра, как следовало предупредительной хозяйке.

— И не обессудь, батюшка государь, на моем, на вдовьем, почете. Изволь откусать на

нашей радости. Митрея моево честят в Грановитой твои бояре, а здесь я тебя, дорогой благодетель, за твои за великие милости! — И, опустясь на колени, поднесла вина.

Иоанну понравилась такая находчивость, и, принимая чару, государь от души развеселился.

— Ай да Аленушка! — сказал он невестке. — Вот что называется сокол, а не баба. Эдак я люблю — умеешь подойти и найти словом ласковым. Двадцать грехов долой за одну твою сноровливость.

И он сел и заговорил по душе:

— Была тоска смертная — теперь как рукой сняло. Вино, видно, твое, Алена, такое чудодейное! Недаром ты, коли захочешь ково у меня полонить, и — полонишь. Не так ли, князь Семен?

— Не мне, государь, неучу, милости княгини светлейшей нашей, Елены Степановны, исповесть по достоинству. Ласки да привет привязать могут самого бесчувственного.

— Ну, то же и я говорю!.. — подтвердил, смеясь, казалось, добродушно, государь, глядя на невестку шутливо, но вместе насмешливо,

так что она заалела, как маков цвет.

— Ну-ка, моя княгиня-матушка, скажи-ткось нам, как ты думаешь, что лучше: старых слуг слушаться или самому домышлять да новых искать?

— Кто уже удаль показал, да верность, да уменье, государь, да и к делу привык, известно, лучше сумеет и сделать, и посоветовать... Новый человек, что незнакомая река: где мели, где перекаты да где ворота и где глубина — испытать еще надо. А как знать, может, опыт и горек покажется, да и не без ущерба?.. Чего доброго! — Отвечая так, она думала о поддержке князя Ивана Юрьевича, к которому державный свекор оказывался уже не так расположенным, как в старину было. А ей, княгине Елене, для собственного интереса нужно было, чтобы авторитет Патрикеева не умаялся, а рос да развивался в очах державного свекра.

— Ну а ты как думаешь, князь Семен?

Ряполовского при обращении к нему государя занимала идея о нем самом, и, польщенный вниманием державного, истолковывая настоящую постановку вопроса в свою поль-

зу, да вместе с тем и думая, что «старые слуги» — явный намек на надоевшего уже ему, как и всем, тестя его — Патрикеева с сыном, — князь Семен ответил:

— Придерживаясь одних и тех же приближенных, государь смотрит на вещи все с одной же стороны. А это делу вредить скорее может, чем быть на пользу. Смотри с одной стороны, других не видишь, а попеременно озирая все стороны, получается полное знание дела. Все мы смертны, государь, и сегодняшние правители завтра могут не существовать... Подготовка людей на место теряемых так же необходима, как пища и сон для возобновления сил. Молодые люди поэтому должны вводиться исподволь.

— Правильно ты рассудил, князь Семен! А что Аленушка думает, по-бабьи: может, и ладно, да не совсем покладно. Одни и те же люди перед глазами, что все щи да щи за столом — прискучают! Разнообразить нужно уж для того одново, что и день на день не приходит, не то что годы али наша молодость да старость. Не одинаки и мы ведь делаемся! Ин, приди завтра к нам поутру, князь Семен, ащо потол-

куем о деле. Ты, я вижу, со здравым рассуждением.

— Не погневись, батюшка, на свою Алену: что думала, то и высказала! Мне доподлинно так кажется пригоднее... Спокойнее будто.

— Покой еще не все, моя голубка! — со вздохом отозвался ей государь. — И на беспокойствие смотришь без страха, коли нет другого исхода. А со спокойем дойдешь до полного облененья — не правда ли, князь Семен?

— Воистину, государь! — опять счел нужным поддакнуть князь Ряполовский.

— Впрочем, — вдруг переменив тон с ласкового на брюзгливый и придиричивый, Иван Васильевич круто съехал в противную сторону. — И ты права, может быть, невестка. Новые люди, люди молодые, скоро забирают себе в голову, что могут нами, стариками, помыкать по всей по своей воле! Не скрывается ли в ответе твоём, князь Семен, что вы, молодкосы, лучше сумеете дело управить? Знай, вожди мои всю жизнь проводили на ратном поле, при всяких разных невзгодах, да всюду шли. Слов не выпускали напрасных да не думали, что у меня не найдется на их место лю-

дей достойных! Таким был покойный другой князь Данила Васильевич Холмский, подай ему Бог царство небесное! На словах он мне никогда не давал советов, а в деле поступал так, что деяния его для меня были училищем мудрости. Вот был человек!.. Не вам чета, молокососы-учителя! Здесь-то вы красно расписываете, а в деле что мокрые курицы...

— Государь! — отозвался оскорбленный Рязановский. — Князя Холмского дела у меня на памяти. Он учил нас, новиков, не щадить головы в бою с недругами, но он же кротко выслушивал и всякие речи младших себя. Коли согрешил я, не так угадав речи твои, отпусти рабу твоему неумелость да искренность ответа.

— Я и так на тебя не опалился, князь Семен, и прощать мне тебя не за что. А говорил и опять говорю я: как знать, что лучше, — дело покажет, прав ли ты? Заверни же завтра к нам и не сердися за сбрех! — И сам засмеялся, сбив окончательно с толку мысли Елены: как понимать и чего ожидать при этих загадках? Напрасно, впрочем, томилась княгиня над разгадыванием неразгадываемого. Держав-

ный только испытывал способности ее и Семена, делая эти вопросы.

Выйдя от невестки, Иван Васильевич приказал съездить за князем Даниилом Щенею: просить к себе. А отдавая приказ этот, государь заметил подходившего с поклонами боярина Якова Захарьича.

— Добро пожаловать! Давно ль с Новагорода?

— Поутру сегодня доехал до Москвы.

— Ну, поведай нам, что и как у вас там делается? Пойдем!

И за ними двумя с шумом захлопнулась дверь в рабочую палату государеву.

Долго продолжалась конференция, но мы не станем объяснять ее содержание.

Вышел из рабочей Захарьич, утирая холодный пот со лба и с затылка, побледневший и расстроенный.

Потребован герой Щеня и с ним, за полночь, один на один, вел тайную беседу державный. Отпуская же его, сам едва держался на ногах Иван Васильевич, и выражение лица его было грозно и мрачно — полно горечи, даже жестокости.

Провожая князя Даниила Щеню, Иоанн увидел сидящих, явившихся на призыв державного и в необычное время, владык: Нифонта и Евфросина Рязанского.

— Уврачуйте, владыки, душевную немощь слабого существа моего! — обратился государь к архиереям, приглашая их войти в рабочую свою.

Сели архиереи, и Иоанн начал скорбным, полным волнения голосом:

— Отче Нифонт! Я на тебя имел с месяц тому назад скорбь. Я, грешный, приписываю тебе часть вину моего семейного горя. Ты советовал приучать сына моего Василья к делам и окружить его людьми предприимчивыми. Негодяй Гусев оказался совсем не тем, чего я ожидал от него, — смутником, наветчиком сыну против отца. Но... зрело обдумав, нахожу теперь... что неправо имел на тебя огорчение. Отпусти мне враждебный помысел... Я теперь другое уже чувствую...

— Господь Бог все устраивает во благое... А наше смирение, по милости Божией, и не чаяло твоего, государь, на нас гнева, и прости тебе за помыслы несть наше, но Господа... А

аще человечески согрешихом... стужая ти, господине, о даровании слуг, пригодных на дело правительско по рани, во отрочестве, еще не минувшем... государю княжичу, ино, неведением прегрешихом! Выбор бо людей ко окружению государского чада лежит не на нас, духовных, а на советниках ваших ближайших, государь. И в том вины нашей дальше хотения на добро не было же. Мудрость твоя да сама рассудит, отложив гнев, наше искреннее изъяснение ныне. Прочее да подаст податель мира и щедрот: узриши в дому твоём государском наискорее госпожу сожительницу твою, княгиню великую. Апостол повелевает гнев не простирать до солнечна заката, а кольми паче дней и седмиц истечения. Ей, великий господине, не достоин мужееви отлучати сожительницу, разве глагола прелюбодейна! Вина же государыни — любовь материнская... Обрадуй праведных примирением...

— Отче, сам я об этом думаю... И гнева не имею уже, но... подождать следует, да... кара во урок благоприятен прегрешившим нечто обратится. Воротим мы жену нашу со всею че-

стью, со славою. Дайте, отцы, время... только малое... может быть! Я теперь истерзан, измучен людскою суетою и враждебностью... Дайте успокоиться... — И он погрузился в глубокую думу.

— Господине, — начал иерарх рязанский, — княже великий, такожде и сестра твоя государыня Анна Васильевна нашему скудоумию наказать изволила, величеству твоему припасти слезно и молить об отложении гнева на супругу. Да ведает величество твое, несть мира в семье человека, познавшего житие в браке святом, без подруги, благословенной матерью нашей церковью! Советник лучший — добрая жена мужу.

— Верю, отец... моя жена разумна, но... не прямит всегда, как довлело бы госпоже, супротив господя сожителя. И ум излишний жене, при слабости ее существа, может во зло обратиться. Советы, правда, давала она нам, но... любит своих греков выводить... А я, государь московский и всея Руси, имею искренних и присных только в русском народе! Из того выходила рознь.

— А может, — вмешался снова Нифонт, —

неудовольство, государь, и твой великий разум заставляет зрети ино не так, как есь по существу... иногда? Зриши, человечески, корысть якобы княгини великой в любви ко грекам — за разум их, а не про что. Русские, мы не дошли в премудрости книжной до них. И в таковой любви к разумным людям, может, у княгини великой к русскому народу велия приязнь и польза усматривается! Через греков прияла Русь глаголы Спасителя нашего, и корысть мудрости от них же подается нам.

— Пусть бы мудрости одной... благодарны бы мы были... Сам ведаешь, греки пенязелюбивы! В этом для людей моих ущерб дозирую.

— Но княгиня великая купецких людей не в пример жалует русских, и они доступ к ней имеют всегдашний и, коль пожелаешь, спросить изволь у гостей: едиными устами ответят, что не знают другой, более к ихнему словию приветной, государыни!

— Душевно радуюсь и верю! — воскликнул, оживившись, Иоанн. — А все-таки обождите мало, отцы мои, и... увидите княгиню великую подле нас по-прежнему! Только по-

молчите о том, что говорим теперь. Не следует из избы выносить сор.

— Государь-батюшка, прошаем и относительно нас, богомольцев твоих, усердных слуг, безо всякой лести. Дворского дела мы не искусны, и кому ни на есть, может, наша речь жалобная к твоему величеству не придется по мысли? Ино, не обессудь, не выдай враждебникам!

— Нет, отцы благочестивы, враждебники эти ваши и нам не по нутру! Много, замечаю, служения плоти страстям своим под личиною благовременного совета. Да как быть, мудрость житейская не дает воли выбрехать всево, что на душе лежит! Пождем ащо мало-малю! Там, при новой досаде... все мы припомянем: и наветы, и хитрости, и вражду, и леность, и неспособность к делу. Помолитесь, владыки, чтобы ниспосылатель разума осветил помраченную мысль мою при выборе замены ветхих мехов новыми, больше полезными земле и людям.

— Молиться будем, государь, но просим и твое благодушие: изливать перед царем царей все немощи, ими же одержими сильные

земли, отовсюду обуреваемые бурями помыслов... Ей, государь! Твоя молитва дальше и скорее, чем наша, дойдет до владыки мира: молиться ты будешь, желая блага управляемым тобою. Господь услышит... и — придет сам на помощь к тебе!

Иерархи встали и стали молиться молча. Потом преподали пастырское благословение умиленному государю, склонившему благочестиво царственную выю свою. И беседа затем пошла о делах церковных.

Долго и убедительно говорили архиереи, особенно Нифонт, ум которого, не блиставший в обыкновенной беседе, выказывался виднее в деловом разговоре. Нифонт на каждое положение свое умел привести убедительный пример из случаев жизни. Так что беседа задлилась, но государь не заметил полета времени.

Наконец, проводив владык и бросившись на мягкий полавочник, Иоанн не мог заснуть и под наплывом ощущений, все больше и больше безотрадных, временами стонал, надрывая грудь тяжелыми вздохами.

Вот встает он и начинает молиться, выска-

зывая вслух свои томительные тревоги и беспокойство.

— Владыко Господи, тяжесть венца моего жжет и сушит мозг мой! Отовсюду вижу я беспомощность своего положения! Если ты лучом светозарной благодати твоей не озаришь помраченный ум мой, я бессилён оказываюсь в нашедших на меня злых мыслях. Вожди мои, которых ты дал мне, взяты тобою. Заменить мне их некем! Испытывал я слуг своих: один кичится при бедности ума своего, другой разливается в доказательствах необходимости вести брань с соседями, третий чернит в глазах моих всех правых и виновных. Нет перед ним ничьих заслуг, ничьего разумения, ничьего благонамерения. Другие — каждый заявляет о своей готовности делать, чего не могут, никто не хочет сознаться, что он ничем не выше других. Клеветают, унижают, распинаются, лжесвидетельствуют князя твои, хвалятся и готовы съесть друг друга, выставя только себя, а всех выдавая за злейших врагов моих. О Боже мой, Боже мой! Неужели ты, поставив меня пастырем овец словесных, не укажешь мне удобного тебе деятеля, кото-

рый не мстителем, не гонителем, не ненавистником всех и каждого явится, а в простоте сердца... совершит на него возлагаемое мудро и благосовестно. Сжался над рабом своим, Господи, покажи мне угодного тебе!..

Звуки частых поклонов мерно и долго отдавались в ушах тоже не спавшей и тоже грустившей обо всех и всем сочувствовавшей княжны Федосьи Ивановны (по приказу отца уже помещенной бок о бок с рабочей палатой).

После ухода отца от нее из терема княжна Федосья Ивановна получила на имя великой княгини Софьи Фоминишны письмо князя Василья Холмского через его верного стремянного Алмаза. Не зная, как передать матери послание, — нужное, говорил верный слуга, — она не думала, чтобы князь Вася стал писать иное что, кроме касавшегося всех их вместе. Он же такой милый был, ласковый, так с ним было весело!

Рассуждая так, княжна решила снять шнурок и восковую печать с грамоты. Развернув же послание, княжна увидела с первых слов, что тут дело касалось одного родителя.

А надписано на имя великой княгини Софьи Фоминишны потому только, что посылателю казалось надежнее через ее руки, чем через руки Патрикеева, дойдет до государя нужное сообщение из Свеи о тамошних порядках.

Когда пришел отец к себе, княжне Федосье казалось неудобным войти к нему в покой при постороннем (Якове Захарьиче). Затем, когда началась долгая конференция со Щенею, опять та же помеха остановила добрую княжну от исполнения ее неперемного намерения вручить немедленно грамоту Васи. Наконец по выходе архиереев родитель начал стонать, потом громко молиться.

— Как батюшка страдает, голубчик! Вот, кажется, он успокоился и еще не спит. Теперь можно. — Княжна бережно зажигает от лампы восковую свечу, берет в руку грамоту Васи и тихонько отворяет тяжелую дверь к отцу в палату.

Внезапный свет, осветивший среди глубокой тишины рабочую великого князя, заставил его раскрыть смеженные очи, и он видит перед собою Феню.

— Батюшка, прости ты меня, что я взяла

грамоту, присланную матушке!.. Вася наказал своему посланному непременно передать, и.. немедля.

— Гм! Немедля... Посмотрим. — И государь стал читать донесение своего юного слуги из Свей. Феня светит ему. Вот дошел до конца Иван Васильевич и, забывши, что могут его слышать другие уши, молвил возведя очи на икону:

— Благодарю тебя, Господи! Ты услышал меня. Я нашел наконец человека, который и предан, и разумом доволен, незлобив и не желает возвышаться... Ни на чей счет! Ево, ево! И никто мне не нужен из этих смутников. — Тут, взглянув на дочь, ничего, казалось, не понявшую, государь добродушно улыбнулся и сказал ей: — А знаешь ли, Феня, ты мне и родине сослужила сейчас добрую службу. Холмский Вася стоит того, чтобы я вспомнил о нем и полюбил... Ведь признайся: ты любишь ево?

— Еще бы, батюшка, не любить, — ответила искренно и наивно добрая девушка.

— Он твой! Слышишь — твой!

И утешенный Иоанн искренно улыбнулся, решив приблизить к себе совсем, через брак с

дочерью, усердного молодого слугу.

### III

## СТАРОЕ ПЕПЕЛИЩЕ — НОВЫЕ ТРЕВОГИ!

*Не вливают вина нового в мехи ветхи.*  
Притча

**К**нязь Василий Данилович Холмский опять в Москве, которую не чаял видеть, и в родительском доме, давно им не посещаемом. Ходит он один по пустым истопкам, по сеням — и гул шагов его отдается уныло. Люди заняты на дворе разбором барского скарба дорожного. Только глухо отдаются голоса носящих в подклете тяжелые вязки.

Владелец пустого дома, посидев в терему, где еще по местам на столах стояли братины и стопы после сорочин его матери, прошел в ложницу, где скончался отец. Это был покой в одно окно, самый крайний к соседнему дому. Кровать уже вынесена, а полог камчатный остался одиноким свидетелем прошлого в заветном покое, где увидел свет наш герой. Он сел на холодную лежанку и устремил глаза на

полог, за широкими лопастями которого, начиная ходить, бывало, он прятался от няньки, аукаясь с нею, а сам перебегая на другое место. Вдруг раздался какой-то звук, как бы от размахиваемой двери, — полог заколебался, и чьи-то руки размахнули полотнища. Вася глядит и не верит. Перед ним — Зоя. Голос очаровательницы заставил его вздрогнуть и понять, что перед ним не видение, а действительность.

— Ты, кажется, Вася, испугался меня? — говорит деспина, садясь рядом с ним на лежанку.

— Да! Я никак не ожидал с тобой встретиться в Москве, а здесь — и подавно! Как это?

— Приехав сюда, я купила соседний дом с твоим, так что мы ближе, чем можешь представить.

— А я думал, что мы расстались, чтобы не сближаться уже.

— Что с тобою, Вася?

— То, Зоя, что я дал обет Богу бежать... от тебя!.. Грех и преступление — любовь наша!

— Я теперь свободна... Андрея нет... Он уже

не топчет землю грешными ногами.

— Но... прошлое ставит между нами стену и пропасть, нас разделяющую. Ее уже не след переходить...

— Ты разлюбил, значит, меня? Я тебе опостылела?

— Нет, Зоя! Если бы ты могла видеть, что у меня в сердце, ты бы не сказала этого... Ты бы... пожалела меня!

— Ничего не понимаю... Ты никогда, значит, не любил меня?.. А я-то, безумная, я-то?! Думала, что он отвечает на страсть мою, что он настолько же мой, насколько я — его!

— Зоя!.. Разве мало, тебе кажется, я наказан от Бога: отца и матери лишился!.. Не мог принять последнего вдоха... усладить их предсмертной муки... получить благословение?! Я все равно что проклятый остаюсь на земле. Мне ли думать о сладостях, о взаимности?.. И ты беги от меня, если не хочешь испытать на себе кару небесную!

Глаза его горели, но смертная бледность и холод покрывали его изможденное лицо.

— Ты просто с ума сбред или прикидываешься больным и иступленным! Эк тебя на-

школила полька-то твоя непутная! Недаром ты так долго и пропадал у нее... Господь с тобой, когда хочешь меня оттолкнуть теперь, я не хочу тебе быть в тягость... ухожу...

И, горько рыдая, красавица скрылась за покрывалом полога. Новое веянье его возвестило вход Зои к себе в терем, недавно еще так занимавший вторичную вдову, а теперь представившийся ей могилою. Унижение отверженной любви вылилось потоками горьких слез. За ними последовало тягостное раздумье: что дальше еще пошлет судьба, не много радостей назначившая ей на долю до сих пор?

Докладывают о посещении Ласкира.

Красавец Дмитрий Ласкир был, как мы уже знаем из начала нашего рассказа, страстно влюблен во вдову Меотаки раньше князя Васи, соученика его у грека Мефодия. Весь пыл неразделяемой страсти вспыхнул у Дмитрия, когда узнал он, что предмет его хотя детской, но глубокой привязанности снова в Москве и что красавица — свободна. Зоя после слез, грустная и сосредоточенная, на пылкого молодого человека произвела тем силь-

нейшее впечатление, чем меньше занималась им. Он разливался в бурных потоках изъявления своей нежности. Она наполовину слышала, наполовину пропускала мимо ушей слова, звучащие неподдельным чувством. Ей было не до того, чтобы спорить с восторженным обожателем. А он ее терпеливое выслушивание своего объяснения принял за соизволение и сочувствие к себе.

Что отнюдь не это совершается в душе деспины, невольный и невидимый свидетель страстной сцены, понимала пригретая Зоею Василиса. Она сама вздыхала, считая затаиваемые, но для нее слышные вздохи сильно страждущей, теперь к ней очень близкой, благодетельницы.

— Ну, слава богу!.. Теперь она, бедная, может хоть выплакаться вволю! — высказалась гадалщица, когда счастливый и не чужавший земли под собою выкатился от очаровательной вдовы молодой Ласкир.

Приятельницы, обе молодые и понимавшие силу страсти, сошлись и наплакались вдоволь. Слезы успокоили мало-помалу в сердце их поднимавшуюся бурю.

Переполох приготовлялся и в центре столичного движения, во дворце государевом. Починам садились заслуженные высокостепенные члены боярской думы. Большая часть сновников были, конечно, седовласые, убеленные и изможденные борьбою с прихотливым счастьем, по капризу, а отнюдь не по достоинству рассыпающим саны и титла. Не только сам Иван Юрьевич поседел и совсем переменился в короткое время от постоянного беспокойства; не только потеряли последний блеск глаза доблестных вождей Иоанновых — Якова Захарьича и князя Даниила Щени, но даже и Косой, князь Василий Иванович, щеголяет серебром в своих рыжих волосах, не завивающихся в кудри. На лицах всех почти думских советников видна глубокая кручина. Патрикеевцы видимо сторонятся и вешают головы, уступая место и почет Беклемишевым, Траханиоту и Ласкирям. Князь Семен Иванович Ряполовский особенно грустен. Утром государь совсем нежданно-негаданно вздумал осматривать его наряд воинский и нашел столько неисправностей в самопалах самых и в сбруе; и на людях заметил недосуж-

ливость да и непригонку кафтанов. Горько упрекая за это главного воеводу-распорядителя, государь выразился, что он не потерпит, чтобы с таким небреженьем делалось важное служебное дело!

— И но, за одни бабьи угожденья да за всякие теремные безобразья будет тебе, Сенька, не снести головы как пить дать! — И сам затрясся от гнева. А закончив громовые укоризны, державный так ударил об пол посохом, что железный наконечник его вонзился вершка на три в здоровую сосновую пластину и стержень посоха разлетелся в куски. Настолько гневным не видели Ивана Васильевича и в тот день, как посылал он под топор Стромилу с его крамольниками.

Вот растворились двери со стороны рабочей государевой палаты, и — Иоанн показался.

— Князя и бояре! — воскликнул государь, входя в думу, но не сядясь на свое место. — Я призвал вас обдумать и порассудить: есть ли выгода да гоже ли нам заключать союз с салтаном шемахинским, с Махмудом, внуком Ширван-хановым? Обсудите и скажите —

прежде чем допустим мы посланца его перед наши светлые очи! Взвесьте выгоды и невыгоды от этого союза: коли заключить дружбу, может он от нас потребовать помощь оружием? Стоит ли нам связываться условиями такими из-за выгод торговли? Да велика ли и важна ли для нас эта торговля? Решите же по совести и по крайнему разумению вашему. Надеюсь, что тут личных сметок (и сам значительно при этом взглянул на патрикеевцев, сплотившихся вокруг Ивана Юрьевича) да и перекоров взаимных будет не из чего вам поднимать? — промолвил государь, глядя на Щеню и Якова Захарьича, отчего-то при словах державного потупившихся. — Судите же и рядите, как довлеет мужам разумным и опытным!

И исчез сам да с силою запер двери в думу, оставив советников своих теряться в море догадок: к чему этот наказ, полный как будто упрека?

Пока советуются думные люди, внимая чтению запросной отписки выборных гостинной сотни, государь воротился в свою рабочую и велел позвать князя Василья Холмско-

го, внезапно вызванного державным в столицу.

Когда вошел молодой посол и воевода, Иван Васильевич сам сделал шаг к нему навстречу — редкая честь, которой удостаивался не всякий и заслуженный боярин.

— Князь Василий Данилыч, я обязан тебе жизнью и доволен остаюсь верною службою твоею, что ты, не щадя живота для нас и трудясь неусыпно, послужил нам, великому государю, по присяге и по душе. Здрав буди! А от нас, великого государя, забвен не останешься. Родитель твой волею Божию призван к вечному животу, и тебя, нашего любимого, оставил нам, государю своему, на наше попечение; и то мы николи не забудем. Да и матушки твоей забот о чадах наших також из памяти николи не утеряем. И на всем на том, перед тобою останемся мы должником с лихвою, хотя воздати... во благо время. А ты буди надежен на нашу милость: ни на ково тебя мы не променяем. Сядь! Поговорим по душе. Рассказывай по ряду... все, что тебе молвил свойственник наш Стефан-воевода... Какие непорядки в Угорской земле ты заметил?..

Что набедокурил шуринок наш, не тем будь помянут, напоследях?.. И про Лукомского... И про новгородский поход к свеям... Все поведай — мы послушаем!..

Вася принялся рассказывать, конечно, с большею подробностью, но все, что мы уже знаем. Потому повторять его, во всяком случае интересного для государя, личного пересказа не будем, ограничась только несколькими замечаниями о впечатлении того либо другого эпизода на Ивана Васильевича, выслушивавшего все с напряженным вниманием. Когда же дело дошло до поступка Максимова — Иоанн привскочил даже с места.

— Да зачем ты не сковал этого безобразника, меня позорящего... в лице посла моего?

— Государь, покойник Никитин его под стражу велел отвезть, но Иван взмолился, и я отпустил ему его грубость и невежество. Будь милостив, не карай его за прощенное.

— Червь!.. От удавки выскользнул да новые ковы начинает?! Ну да... Бог с ним, коли ты прощаешь... Ин, быть до другой вины: тогда прикинем все воедино!

Но повести об открытии злодейства ляхов,

подославших Лукомского, государь только дивился благости провидения, спасающего своих избранников путями неведомыми. Наивный же рассказ очевидца Васи о неудачах подвигов войск со свейскими силами из-за лишений всякого рода, при трудностях, неразлучных с недостатком наряда самопального, распрями воевод и бездействием московского управления, не внимавшего жалобам и требованиям ратных людей, взорвал наконец гнев долго сдерживавшегося государя.

— Крамольники все меня окружают... Кровопийцы! Передо мною рассыпаются в преданности, а пальцем ни один не двинет, чтобы послужить делу, на которое я посылаю бедных людей, истинных мучеников за веру христианскую и за наше спокойство! Стойте же вы, лицемеры, я сорву с вас ваши дьявольские обличил: искореню вконец хищенья и подкапыванья ваши друг под друга — трепещите!..

И, почти не владея собой, Иоанн стремительно направился в думу, вяло обсуждавшую незнакомое, чуждое ей дело, не доведя и

до половины его.

— Ну, бояре, что скажете мне хорошего, ужо я послушаю вас, умников? — сильным голосом, в котором звучала ирония, крикнул Иоанн, садясь на свое место под сенью. — Ну, что ты думаешь, Иван Юрьевич?

— Мы, государь, не пришли еще к заключению; но, как видно по смыслу сказок гостинных людей, солтан этот вред большой может нанести торгу, значит, задобрить его и поважать не мешало бы...

— Я не о том велел думе входить в рассуждение! Мое дело, как поступать, а ваше дело показать мне: какая корысть нам на Москве от шемахинского торга? Так скажи мне, примерно на сколько наши там получают да своего сбывают?

— Доподлинно не могу выложить; а не на одну тьму московок, кажись, доходит оборот.

— Дьяк думный, правду ли говорит дворецкий?

— Нет, государь, до тьмы не доходит, потому что все на менок... Да и народ-от не таков, чтобы забрал много.

— Так ты, Иван Юрьевич, по своему обык-

новенью, как привык мне выставлять все на-  
оборот, и теперь также думаешь, что я пове-  
рю?.. Ошибся, князь; я раньше тебя уже знал,  
в чем суть дела. Я вас, крамольников, для ви-  
ду собрал, чтобы доподлинно убедиться мне:  
насколько вы входите в подлинный смысл де-  
ла нашего да норовите государю своему по  
присяжной должности. Советы твои я давно  
знал, что не стоят выеденного яйца. Я давно  
знал, что ты продажен и хвалишь то, где тебе  
бы что перепало. И теперь я узнал, еще севод-  
ни утром, как посланец Махмутов привел на  
твою конюшню степного аргамака с серебря-  
ными подковами. Вот чем и перевесил он те-  
бя на сторону своего повелителя, тяготу вы-  
год, в ущерб нашим! Лицемер! Не хитрить бы  
тебе теперь-от, когда давно уж я изверился и  
сам за тобой наблюдаю. Косой, сынок, в тебя!  
Дерет взятки с моих приказчиков черново-  
лостных за то, чтобы не допытываться прав-  
ды в их кривых, хитрых счетах. Князь Семен  
Ряполовский жалованье наше берет, а дела  
не делает! С бабой возится, а наряду не бере-  
жет. Люди в Водской пятине зерна, зелья не  
имеют для ручных самопалов, а зелье само-

пальное у ево на Москве сыреет да мокнет от недосмотра. И то нам не корысть. И то нам гибель людская без пользы, врагам в посмеяние. А вы, крамольники, знай бражничаєте, брюхи отращиваете да хлеб земской иждиваете вотще. Теперь я положу конец вашей потехе. Самсон Тимофеев!

— Здесь! — рывкнул знакомый нам великан, сегодня повышенный в головы московского полка дворянского и в начальники дворцовой кремлевской внутренней стражи. — Убери мне сейчас князей Патрикеевых, отца с сыном, Семена Ряполовского да из десяти десятого возьми из челяди невестушки моей, Алены прекрасной!.. Бери их, крамольников, да стереги пуще своего ока этих дорогих мне сродников. Много и из вас... остальных, думские люди, достойны опалы нашей, но мы, великий государь, желая показать над вами меру нашево долготерпения, покамест оставляем вас исправляться, кто может. А кто не сроден к исправлению, покопит пусть новых неправд, дондеже взыщет наш праведный суд слезы притесняемых с неправедных приставников, — ступайте!

И величественным мановением руки указал двери.

## IV ПРИМИРЕНИЕ

*Несть дражайшая сладость, паче мира и любви к присным твоим.*

Стремительный выход из рабочей государя оставил, как мы видели, князя Василия на месте, там же в палате, крепко запертой сильным размахом руки Иоанна. Не зная, уходить ли ему или дожждаться возвращения монарха, князь Вася остался посреди комнаты, в нерешимости смотря на дверь. Вдруг слышит он, входят с противной стороны и нежно так называют его по имени. Он оборачивается. В слезах, но не горьких, а каких-то торжественных, благодарных, теплых и восторженных, бросается к нему в объятия княжна Федосья Ивановна, уже совсем развившаяся из ребенка в девушку. Полная приятности, она сохранила ту же былую наивность, с которою высказывала все, что начинало волновать ее теплое сердце.

— Васенька, голубчик мой, чем мне благодарить тебя за то, что ты спас батюшку! Всю жизнь готова я служить тебе рабски за эту великую твою услугу. Дай расцеловать тебя, ненаглядный мой! Ты похудел, Вася, но ты тот же добрый наш Вася, с которым мы игрывали при няне, княгине Авдотье Кирилловне. Нет ее, моей голубушки!.. Много она плакала о тебе, Вася... и мы с нею. И маменька плакала... Кабы ты знал, Вася... что у нас сделалось? Маменька заперта; батюшка прогневался на Васю-брата за то, что Стромилка, негодяй, подбил ево ехать на Вологду... бунтовать, говорят бояре... Послушай, скажи, Вася, что это за слово «бунтовать»? Это нехорошо?.. Коли батюшка прогневался так и на матушку... держат в терему, взаперти, никою не пускают... и меня даже... Вася наш бедный сидит на казенном дворе... за приставы, говорят. Вот что, голубчик Вася, у нас подеялось! Много всяких чужих людей к нам навели в терем... Как я рада, что тебя вижу... И батюшка к тебе милостив... может... Бог даст, опять мы будем вместе все, дорогой Васенька... и матушка... и Вася-брат.

И повисла на шее старого друга, с которым

выросла в тереме, за восемь лет разлуки сохранив к нему теплоту чувства, воспринятого незаметно, но окрепшего в долгие годы удаления. Тогда имя Васи не сходило с уст и княжон, и княгини великой, вторя понятным, всеми ими разделяемым ощущениям да тоске грустной матери далекого изгнанника.

Княжна Федосья Ивановна, вся предавшись теплоте чувству приязни к явившемуся неожиданно участнику детских игр, увлекла и его своим восторженным пылом до полного забвения условий этикета. Ни князь Холмский, ни дочь Иоанна не думали нисколько, чтобы в их задушевной беседе и дружеских ласках было что-либо подлежащее неодобрению. Тем более им в голову не могли прийти гневные упреки, обрушившиеся над головами счастливых, предавшихся чистой радости свидания, для обоих, как оказалось, имевшего одинаковую цену.

— Что это? — загремел над ушами Васи и Фени грозный вопрос государя, когда, войдя в свою рабочую, он увидел дочь свою, дружески обнимавшую молодого посла-воеводу.

Молодые люди вскочили с места, но руки

их по-прежнему крепко сплелись взаимно на шее друг у друга.

— Федосья! В моем присутствии... Василий? — еще более гневно крикнул князь великий озадаченным друзьям детства. — Как смел ты посягнуть на это, нечестивец?! — гремел Иоанн, тряся Холмского и стараясь оторвать из рук его руки княжны Федосьи, крепко державшиеся за приезжего.

— Я, государь, — робко отозвался Холмский, все еще не понимая вины своей и гнева великого князя, — н-не п-по-ся-гал, кажется, н-ни на что!

— А это? — тряся руками дочери перед лицом его, спрашивает государь. — Это что?

— Это я, батюшка, сперва обняла Васю! — наивно и не робко отвечает княжна Федосья Ивановна. — Мы с ним, бог весть, как давно не виделись... Он дикой такой стал.

Иван Васильевич отпрянул от детей в свою очередь и остался, собираясь с мыслями.

Ответ княжны Федосьи открыл ему глаза. Он понял, что не было резона так вспылить. Что слово «нечестивец!» не имело места там, где не существовало никакого позорящего об-

стоятельства. И что, возвращаясь он менее воспаленным предыдущею сценою с людьми, действительно совершавшими неправды, он сам не представил бы себе тут ничего иного, кроме естественного проявления отрадного чувства, гнать которое не входило даже и в расчеты его политики. Светлый ум мгновенно сообразил несоответственность грозы, здесь особенно. И, приучившись сдерживать порывы страсти разумною волею, Иоанн, после минутного молчания, просветлел. Вот он старается дать оборот грозной вспышке, если не совсем шуточный, но настолько милостивый, чтобы в нем можно было видеть нравственную цель необходимости пожурить: за выход не вовремя девушки и забвение служебной роли со стороны сановника, не кончившего своей обязанности, для которой призван он к государю.

— Это не оправдание князю Василью, — сказал государь строго, но видимо смягчая голос свой, — что ты его обнимаешь. Когда здесь, он не Вася — теремный ваш, — а слуга своего государя, приказавшего ему ждать своего возвращения, зане делу еще не конец!

— Виноват, государь, — поникнув головою и становясь на колени, отозвался почтительно молодой воевода, — не повели казнить, а отпусти ради беспредельной милости твоей вину мою, непростимую... от забвения.

— То-то, от забвения?! Охотно прощаю: повинную голову меч не сечет. Только ты у меня впредь не забывай дела думского и не сваливай вины на жену, что задержала, мол, дома баснями да сказками. Ты как думаешь, Феня? Простить его за тебя?

— Прости, батюшка мой родной, я тебе ручки перецелую: я одна виновата!

— Принимаем: будь же и ответчица! Князь Василий, ввела она тебя во искушение своим здорованьем: и — бери ее себе! А от нас, за провинность дочери наша... княжны Федосьи... Давай руку правую!.. Вот так (и сам соединил их руки взаимно). Быть тебе боярином в думе нашей! Вот что ты сделала, щебетунья, не к сроку подсунувшись со своим здорованьем! — заключил государь, шутливо целуя дочь. — Поцелуемся, Вася!

Холмский робко подошел и получил лобзание Иоанна.

— А на радостях простим вся прегрешения! Феня, бери жениха за руку и иди к матери: скажи, что зову ее к нам, великому государю, благословить вместе... вас, детей наших! Ступайте, — и указал им рукою в сторону терема великой княгини Софьи.

Просветлевший отец остался на пороге, смотря вслед за удалявшеюся парюю. Сердце у него билось теперь сильно, но отрадно, не болезненно.

В то мгновение, когда призванный с ключами великан Самсон, уже рассадивший по казенкам своих недавних патронов, отмыкал тяжелый замок на дверях терема великой княгини со стороны теплых сеней государевых, Иван Васильевич получил разом две вести: донесение Мамона о возвращении из Литвы и приезде посла.

В душе великого политика при чтении правдивого донесения слуги его восстала новая буря гнева, но, сложив отписку, он сумел скрыть горе от возвращавшейся с половины матери счастливой четы. А прибытие посла казалось политику новою кознию зятя.

Отдав приказ собрать на утро думу, госу-

дарь пошел навстречу торжественно шествовавшей на зов его, украшенной всем блеском уборов, великой княгине Софье Фоминишне.

Подойдя к мужу, Софья хотела склониться перед ним — он не допустил. Взял ее за руку и только промолвил:

— О прошлом — ни слова!

— А Вася, сын-то наш? — со слезами проговорила великая княгиня.

— Самсон Тимофеев! Выпустить сына нашего князя Василья Ивановича, да пусть в терему уберется, но приличнее... и, как довлеет князю... явится на прощенной пир к нам, великому государю родителю.

Сцену примирения предоставляем представить себе читателям.

Наступило следующее утро, и собрались члены думы на постельное крыльцо палат государевых. В очах у всех почти сановников выразалось смятение. Оно еще более увеличилось, когда вошел Иоанн под руку с сыном Василием. Смертная бледность разлилась по лицам патрикеевцев, как известно принимавших главное участие в раскрытии интриги, стоившей головы советникам старшего

сына государева. Впрочем, и сам Иоанн и прощенный сын его казались веселыми, довольными и отнюдь не гневными.

В должность дворецкого определен боярин Яковлев, распорядившийся раскрытием дверей в палату для впуска членов; он, царедворец опытный в разумении дворских тайн, прошел на половину княжича Василия и, взяв за руку беседовавшего с другом детства князя Василия Холмского, ввел его в думу, принеся поздравление с возведением в боярство. Для прочих членов думы и внезапность возвышения Васи, и это чуть не раболепное поздравление нового дворецкого отзывались чем-то обидным, словно вызывающим укоризны маститым советникам.

— Ох!.. Стары, слабы стали — умирать пора нам, старикам! — вполголоса, садясь на свое место, не без горечи вымолвил соседу хитрец Сабуров.

Сосед его, Русалка, только заморгал своими свинцовыми маленькими глазками, ничего не сказав, но думая: мошенник ты, думаешь, я поверю твоему невзгодью? Ведь понимаем, на что ты вызываешь нашего брата. Да мы

ведь не совсем олухи, слава те Господи, не ловимся на такую нехитрую удочку.

И Русалка был совсем прав, так думая о своем товарище, вызывавшем на откровенность. Она могла погубить неосторожного и доверчивого. Еще темно было, как честолюбец Сабуров приехал в город к утрене: будто службы не было в приходе? Встал на лесенке Сретенского собора и начал издавать стоны да класть поклоны земные. Дворцовая прислуга, наполнявшая церковь, дивовалась даже такой горячности обращения к вере боярина. Простаки подумали, может, что Сабуров собирается сегодня проситься на обещанье у гневного государя. Но только окончилась служба, как этот же покаянный грешник пробрался к терему князя Василия Ивановича и щедрым дождем московок купил у прислуги лестное право — обуть чулочки на государские ножки княжича, выпущенного на волю и, ясно, более сильного, чем прежде. Мало того, увидав, что на постели против Василия Ивановича спит какой-то детина молодой, а приветливый княжич, будя его, назвал раза два братом, сообразительный Сабуров поспел

и ему привет сказать, когда при пробуждении чихнуть изволил спросонья этот названный братец сына государева. Новый посев московок из мощны боярской открыл, что братцем возвеличал князь Василий Иванович недавно ненавистного Сабурову Ваську Холмского. Но это открытие не охладило теперь усердия искателя за ним ухаживать. От истопника верхних сеней государевых Сабуров получил удостоверение, что государь сам трижды возвеличить изволил того самого Ваську — сынком своим, за ужином посадил его за одним столом с собою в тереме подле княжны Федосьи.

— Эвона, куда хватил! Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас!.. — произнес набожный боярин Сабуров и зачитал скороговоркою: — Помилуй, Господи, раба твоего князя Василия... помяни, Господи, раба твоего князя Даниила, княгиню Василису, Татьяну и всех сродников их. Добрейшие люди были.

Добравшись таким путем узнания тайны, еще известной немногим боярам, низкопоклонный, для кого следовало, и внимательный к действиям тех, кому предстояло возвышение, Сабуров неприметно выкатился из

опочивальни сына государева. Он сумел и вовремя представиться великой княгине Софье Фоминишне, вручив ей данную ему на благословенье благовещенским ключарем на дороге просвирку.

Подавая освященный хлеб, придворный царедворец нашел себя в состоянии точить слезные потоки, всхлипывать и уверять великую княгиню, что у него все дни минувшей счастливо теперь опалы государя на хозяйшку свою начинались и оканчивались слезами от душевной туги и боли безмерной... Много и другого, настолько же чувствительного и трогательного, наговорил достойный Сабуров государыне, разливаясь перед нею в выражении глубочайшей преданности.

Ну как такому мученику преданности отказать в сладчайшем наслаждении, по его словам, облобызать государскую ручку?

Всякий со стороны подумал бы, что это мучится кающийся за тяжкий грех вольного или невольного предательства. И знавший степень участия в оплакиваемой им опале, конечно лисичьим манером всегда маскированной, — мог бы, без натяжек, допустить в

боярине пробуждение совести, если бы такая находилась у него.

Сделав эти обходы и заручившись преданностью новым силам, вчера еще не принимавшимся в расчет, Сабуров направился на постельное крыльцо и вошел вслед за другими в думу.

Маневр относительно Русалки сделал достойный сановник без всяких дальних расчетов, а единственно для испытания почвы.

Что будет? По тону ответа можно было слова друга сердечного или принять к личному сведению, или довести до ушей кого следовало. На этот раз, как мы видели, уда брошена была неудачно и в том только отношении принесла пользу Сабурову, что он сам встал в оборонительную позу, на всякий случай.

Со входом государя с сыном и с указанием дворецким места молодому Холмскому с края, на правой передней лавке, в трех шагах от трона, водворилось мертвое молчание в палате. Из бояр никто не садился, ожидая знака.

Государь, сам о чем-то задумавшись, простоял несколько мгновений и потом простер

руку, указывая, чтоб сядились.

Опять еще большая тишина и сосредоточенность. Слух всех страшно напряжен ожиданием: что будет?

— Я собрал вас, бояре, — начал кротко и медленно Иоанн (и при первых звуках государева голоса у всех отлегло от сердца), — посоветоваться: что делать нам... с зятем-недругом... Мамон пишет, что все, что доходило до ушей наших о притеснениях дочери нашей, великой княгини Елены Ивановны, мужем Олександром Казимировичем, — истина святая? Что он, великий князь Олександр Литовской, дочь нашу, жену свою, в нелюбви крайнем держит. Веру нашу правити ей не соизволяет; панов и паней нашего греческова закона держати при себе ей не дает. Священника нашево православнова не допускати до княгини великой своей повелевает. Церкви наша строити не попускает и во всех наших, великого государя, делах, нами ей, дочери нашей, наказанных, шкоды чинит с препятием. Да еще нам, великому государю, и насмешки на письме со укоры посылает, будто мы вас, слуг наших верных, не обуздываем... И вы

будто, бояре и дворяне, промежду мною, тестем, да им, зятем моим, рознь и ворожду разжигаете. И в том на вас, на слуг моих, взводит он напраслину. Мы и без вас зело добре сведомы про порядки непутные на Литве! И без переезжих князей и бояр знаем мы, как русская вера римским попам не любя. Ведаем, что привилей дан зятем нашим Иосифу — епископу смоленскому, нарицая ево на митрополью киевскую, тоже неспроста. Великие князи литовские папскова закону как стали держатца, так нашим духовным грецким восточным свою ласку ни с тово ни с сево не показывали. Стало быть, то, о чем нам писал Мамон, как владыку Иосифа этова прельстили честию — да он сам стал поважати папскому делу, — за привилеем Олександровым, само по себе в ум приходит. — Иоанн замолчал и задумался.

— Да, затыюшко наш кривды на нас насчитывает, а уряженова титла в грамотах писати отлагает, опять же, до конца, какой-те межа нами распри. А распри я, князь великий, с Олександром не имею, како ведомо вам, бояре, и самим не хуже нас. Стало, князь вели-

кий литовский шкodu чинит нам беспричинно и нас, великова государя, умаленьем титлы бесчестит! Да ащо послов засылат: нам все то всказати из уст с укору. И то чинит он не гораздо! А он же, князь великий литовский, дочь нашу, как Мамон-самовидец нам, великому государю, отписал трижды, держит нелюбовным обычаем; не так, как говорилось нашими бояры с ихними послы. И ссылается князь великий, зять наш, на то, што, мол, не все записано было по статьям, а што записано, он, мол, держит право и твердо. И то (Александр молвит лестью! Сами вы, думные люди, со послы говорили, чтобы наша княгиня Олена веры нашей священника крестовова имела бы при себе невозбранно. И тому бы попу ходити до нея препятства не было. И церковь бы в палатах у княгини великой была наша же, крестовая. Супроти тово строити крестову церковь зять наш медлит. Попа крестовова ко Олене не пускают; боярынь русскова закону ей не дают, нож и панов во двор, а поставил при ей, при Олене, панов и паней папских. И все то чинено нам на укоризну, а не в любленье! Злобу же имеет зять наш на

нас, великова государя, опять же неразумно! Коли стал он нудити в свой, в папский закон, нашево закону князей служилых, искони православье державших, они, князья, люди вольные и отъехать, к кому похотят, могут по старине, по обычаю. И наши братья, князи удельные, в Литву поотъезжали же, и тамо их князь великий к себе принимал. Стало, и нам князей Хотетовских, как и князя же Бельскова, прияти было мочно. Тож и бояра Мчене-ски! А каждому из них доступати своего добра опять же мы помехи чинити не можем. Сам за ся ответчик. А военным обычаем котору и распрю с зятем с нашим, с князем великим литовским, мы не вчинали никоимы дела! И коли злобу свою зять наш на нас не отложит, дочери нашей претити веру грецкую держати не престанет, как по Любви да по душе до-влеет; да нас унижати титлом нашим госу-дарским от своево льстивова неладнова обы-чая не уймется, — ино нам, великому госуда-рю, правды своя вздобывати... Како, мнят думские люди, было бы здеся сотворити из-ряднее, вы нам вскажите? Твой смысл, дво-рецкой, каков?

Боярин Яковлев встал, поклонился низко, погладил свою окладистую бороду и молвил протяжно:

— Про то про все ведаешь, государь, лучше нас. А мы, мужики грубые, прямо бы не отлагаючи, зятка советовали бы проучите! Полки готовы наши, а тамо нет силы! Повели — и пойдем мы на Смоленск да на Вильную — невозбранно. Так, зятюшка-князь, коли увидит не в шутку поход, не обещанье, а исполненье... всяку лесть отложит... по воле твоей все совершит и остережется напередки слушаться советников своих назло... да и на притесненья княгини великой. Делать прямо — скорей дойдешь до проку! — И сел, довольный собою.

— А мне кажется, — молвил Иоанн, — еще погодить. Лучше будет! Примем послов зятюшкиных да их послушаем, што бают разумнова. Тогда уже, как увидим, ни тпру ни ну! — делать нече: ополчимся. Хоша к военному обычаю сердце нам не лежит! — заключил государь в раздумье и стал переспрашивать мнения каждого из думских советников.

— Ну, как ты думаешь, князь Василий Да-

нилович? — обратился государь к последнему, молодому Холмскому.

— Я, государь, сказал бы, что прежде, чем войну начинать с родственником, попытаться объяснить с ним без сердца: обсудить выставляемые им поводы к взаимному неудовольствию да посольским обычаем развязать все узлы препятствий к единению Руси с Литвою. Коли бы Литва думала неладить с Москвою ино, не с чево бы было и в свойство с тобою вступать (Александру? А коли свойство устроилось, — непригоже врасплох нападать на свойственника. Да и как знать, может, и там готовятся? Мы к им норовим, а оне — к нам? В наказе Мамону и велено было заприимечать ход внутреннего дела да местных порядков, а он, как дворский, умеет и усердие прилагает: проведать дворскую неурядь, а не земскую. Прямо идти, может быть, не без отважности. Ожидая успехов, следует предусматривать, что делать, коли встретят неудачи?

— Молодец, Вася: это и мое мнение! Так... бояре, поручаем вам принять послов честно, грубости не оказывать и на неприязнь не на-

мекать... лаской расположить к себе... да не торопиться ответами безвременными. А что мы теперь судили, пусть будет, до времени как бы... ничего не было! В мы, великий государь, сами станем промышлять: допытаться подлинно, совсем ли проявить остуду аль поправить старое ащо можно?

Тут государь встал и между рядами посторонившихся бояр пошел к себе. Князя Василий и Юрий Ивановичи, сидевшие за отцом на стульях, занимаемых прежде великими княгинями, последовали за родителями, взяв с собою и Холмского.

Немного спустя вошел в терем к сыновьям государь и, увидев будущего зятя своего, велел ему следовать за собою в рабочую свою, где уже была великая княгиня Софья Фомишна.

— Вася! — сказала она ласково, усадив Холмского между собою и государем. — Мы хотим опять тебя просить сослужить последнюю службу. Лучше тебя никто не исполнит этого поручения! Сдается мне, — сужу я как женщина, — что без остуды к жене (Александр не мог бы притеснять ее. А причиной

остуды между молодою женою и мужем, которому она понравилась, может быть разве сила прежней привязанности; если сумели искусно разжечь в мужчине те побуждения, для которых имел он любовницу? Жена всегда целомудреннее прелестницы. И нет сильнее приманки для мужчины, знакомого с порочными наслаждениями, как при возбуждении чувственности, обольстительное свидание с нахальной прелестницей под покровом тайны. Женатый же, без сомнения, видеться будет с прежнею приятельницею тайком. Я не предполагаю в зяте своем такова развращения, чтобы он, сопрягшись узами брака с законной супругой, простер бесчиние до явного разврата. Но, и не соизволяя на него, тем не менее может он сделаться легкою добычей прелестницы. И чем скрытнее будет ведена связь эта, недозволенная и не одобряемая совестью, даже слабого умом и норовом мужа, тем продолжительнее может быть господство наложницы. Тем обиднее и мучительнее будет для доброй жены нести эту обидную, не заслуженную ею опалу и забвение, полное еще выходок бессильного женского мщения

со стороны той, которой удалось похитить нежность супруга. Ты, Вася, наш любимый, наделен от Господа Бога умом и толком, не то что наши другие бояре. Польшу и Литву знаешь ты, как бывалый человек, и знакомых там, как говоришь, имеешь. Тебе, стало быть, возможно проникнуть в тайну, если мои подозрения оправдаются. Разузнай все обстоятельно и, не вверяя грамоте, возвращайся скорее в наши родственные объятия. Ты готов нам сослужить эту службу, Вася?

— Если такова воля ваша, государь-батюшка и матушка государыня, и сдается вам, что я с удачею все то справлю, готовность моя служить вам известна — повелите!

Государь и государыня заключили Холмского в объятия, и оба прослезились под наплывом чувств, понятных только родителям.

## V

# РАЗУВЕРЕНИЕ

Что делалось во дворце, скоро узнала вся Москва. Холмский, жених государевой дочери, сделался героем дня, говоря языком нашего времени.

— Слышала, матушка деспина, в какую честь твой зазноба попал? — спрашивает Василиса Зою, входя к ней после обедни.

— В какую же честь?

— Государь, слышь, за ево дочку отдает, Федосью Ивановну.

— Так вот причина удаления его от меня — честолюбие?! Пусть возвышается! Мое дело скрываться... не мешать ему быть счастливым, если может он легко забыть Зою... Если Зоя не по нем: не в состоянии ево возвысить союзом с собою?.. Я не противница ево счастью. Зоя умеет собою жертвовать... — И замолчала.

Тихая печаль явственно выразилась в прекрасных чертах лица вдовы деспины. Василиса качает только головой и думает, упрекая

себя: «Дернуло же меня сказать про тово непутного Ваську?.. Так было ладно пошло все... у нас. Н-на!.. И подновила».

Прошло несколько дней. В одно утро приехал к себе в дом из Кремля Холмский и, распорядившись приготовлениями к отъезду в Литву, к вечеру сел в опочивальне родительской на лежанку. Вид полога напомнил ему сцену с Зоею, и странное чувство овладело женихом государевой дочери: ему захотелось во что бы то ни стало увидеться с Зоею. Не долго думая, князь распахнул полог, вошел под него и, тронув случайно мало заметную бляшку, растворил дверцу, за которою была другая, такая же дверь, неприметно подавшаяся в сторону, открыв проход в светлицу соседки. Холмский прошел туда, и первый предмет, поразивший его, была коленопреклоненная Зоя перед иконами, ничего, казалось, не замечавшая, погружаясь в молитву.

— Зоя? — спрашивает вполголоса Вася.

Она смотрит на него, трепещет и лишается чувств. Князь Холмский подбежал к падающей и поддержал ее. Несколько мгновений прошло, пока приходила в себя деспина.

— Зачем ты у меня, князь... когда оттолкнул мою преданность?..

— Зоя, не упрекай меня... Я должен тебя бежать! И теперь прихожу проститься: как знать, что встретит меня в Литве? В душе встает грустное предчувствие недоброго. Ты ушла в гнев... Мне больно от тебя удалиться, унося гнев твой.

— Не гнев, князь Василий Данилыч, а горе... муку любви отверженной... тем, кто для меня стал дороже жизни... Но... я не упрекаю тебя... Судьба дает тебе золотую будущность, честь, величие! Зять государев займет в думе первенствующее место... Ничего подобного не могла, конечно, дать тебе вдова деспота, Зоя!

— Так ты думаешь, что я честолюбив? Что меня увлекло желание возвышения через жеману? Ты ошибаешься, Зоя. Феня моя — доброе существо, не полюбить которое нельзя. Ты сама ее полюбишь; но о чести обладать рукою великой княжны я никогда не заботился и не думал об этом. Воля государя так устроила: я и она — мы покорно готовы исполнять его веления. Между нами любовь брата и сестры, но не та страсть, которая жжет и сушит, за-

ставляет беспрестанно думать о любимом, не дает ему ни покоя, ни отдыха от муки ревности. Мы встречаемся с Фенею как старые друзья, передаем друг другу все, что у нас на душе. Подозревать друг друга, подстерегать слова и давать им превратный часто смысл, как делают влюбленные, и затем мучить себя и предмет своей страсти — у нас немислимо. Желание видеть друг друга также, я думаю, не доведет нас до томленья жаждою свидания в случае разлуки, хотя бы она и дольше протянулась, чем мы теперь думаем. Так любить Феню, как полюбил тебя, Зоя, я не в состоянии! Но Богу не угодна была преступная любовь наша и... кара святого провидения тяготела надо мною. Болезнь приблизила меня к дверям гроба, а весть о смерти отца и матери открыла мне глаза, что я стою над пропастью. Огонь вечный — достояние ада. Другого нет исхода из нашей гибельной страсти. Но, будь я один подвержен этой каре — страх ее не остановил бы меня, исступленного. Падая сам, увлекаю я с собою и... тебя! Этой мысли мучительной не могу я забыть ни на минуту, и она-то ставит между нами стену и про-

пасть.

— Было это... при жизни мужа... теперь свободна я, говорила я тебе... Это не все одно... Благословение церкви...

— Новая насмешка над таинством брака это... было бы...

— Не может быть?! Ты нарочно придумал такую отговорку, уверенный, что я всему поверю, что бы ни сказал ты... Но я не верю этой отговорке. Она противна здравому смыслу. Она ставит согрешивших в невозможность загладить свое падение, воротиться на дорогу правды.

— Да, Зоя, воротиться на дорогу правды... нельзя, я думаю, нам, если бы... если бы и вздумали мы искать душевного мира в благословении церкви. Я каялся отцу духовному... отшельнику... в своем падении... Он...

— Говори, говори, что же он мог найти затруднительного в просьбе освятить связь... начатую... хотя бы и... с грехом?

— О! Он разразился страшными проклятиями на одну мысль, что порочность, продолжая свои успехи, дерзает обращаться к церкви за благословением. Это лезть, гремел он,

вносящая нечистоту в святилище! Какая порука в твоём истинном исправлении, когда ты настаиваешь, чтобы с тобою оставили греховную причину падения?

— Но послушай, — спрашивает Зоя уже робко, — как же твой отшельник думает смыть *скверну*, по его словам, непозволенной связи, если не прибегать к освящению Богом установленному союзу?

— Он одно говорит: согрешил и каешься — не возвращайся к прежнему грехопадению!.. Плачь и молись остаток дней твоих... в чаянье отпущения. Только такую дорогою достигается спасение души.

— Да не о спасении души, не о праведности тут речь... Все мы грешны. И тот, кто надменно мыслью сам думает сделаться праведником... без благодати, свыше ниспосылаемой, грешит больше всякого смиренного грешника, сознающего свое бессилие. Говорю я о прощении только такого греха, основа которого лежит в самой природе человеческой. Что же, как не природное влечение, толкает женщину в мир тревог, муки, позора, чаще всего и унижения?.. Ведь это дает любовь! А

что я от нее удержался или не покорился ее внезапному нападению — кто смеет сказать про себя? За что же такая кара за влечение, вложенное в душу и сердце человека? Может ли Бог любви быть ее карателем?

— Какой любви, Зоя? Плотской, чувственной... Да! Она делает человека рабом своим, поклонником идола страсти вместо Бога. Гнать это идолопоклонение свойственно правде божественной! Люби Бога и ближнего — другое дело. То — святая любовь!

— Да опять я не о том тебе говорю. Докажешь ли ты любовь к ближнему, если погубишь женщину, тебе отдавшуюся, из-за мнимого последования правде вечной? Кто может, не зная любви чувственной, любить всех, конечно уже не страстно и без пылкости, разумно, как говорят хитрые люди, «не забывая себя», — благо тем! Умно они поступают. Но любят ли? И знают ли они, что такое любовь? Знают ли они, что эта мука и наслаждение — у тех, кто поддался очарованию, — оканчивается только со смертью? Если правда, что ты так только любишь свою невесту, как сейчас говорил мне, — ты... еще не лю-

бишь ее! И если она к тебе только так расположена — тоже!.. Не к тому говорю, чтобы возвращать тебя с благого пути душевного мира в омут тревог, мною испытываемых, нет... у меня не то в мыслях. Я сама хотела бы... если бы могла только... погрузиться в самозабвение, отучиться от порывов, отвыкнуть от мечтаний о любимом. Но один образ является только и днем и ночью, во сне снится мне... Ничем не могу прогнать я от себя этого неотвязного спутника... А ты, Вася, скажи откровенно и искренно, — спрашивает вдруг Зоя, схватив руку Холмского своею холодною как лед рукою, — видишь, хоть во сне по крайней мере, меня... когда-нибудь?

— Не спрашивай, Зоя, умоляю тебя, не пытайся! Я не успею свести глаз, забыться, как ты являешься, и... погружаюсь я в такое сладостное забытье, что все, как и где... представляется, словно на иконе написано, и утром я не могу выбить из памяти. Зачинаю молитву про себя и... тогда только, по милости Божьей, отступит наваждение. Днем люди все... служба — ничего! Да што обо мне говорить? Если я погибаю и пропаду... туда мне

и дорога за мои тяжкие грехопадения... Спасись ты, Зоя!.. Будь счастлива!.. За Ласкиром забудешь несчастную встречу со мною и гибельные увлечения.

— И ты думаешь, что мне можно?

— Почему же. Все бы мне легче было... одному страдать с очищенной совестью: что испкупительною жертвою буду я, что не я погубил твою молодость.

— Ах, как ты еще зелен, не созрел, другой мой Вася! Если бы... но... мое дело молчать теперь.

— Да поверь, Зоя, я не могу тебе ничего другого пожелать, кроме такого блага, которого достойна ты вполне своею нежною душою... Ах! Если бы не несчастная судьба моя!

— О тебе ни слова! Ты советуешь мне, как, по-твоему, поступить я должна и устроить судьбу свою?! И ты сам, своею мыслью, дошел до этого и надумал: как бы хорошо было мне то, что ты предлагаешь?

— Да! Как бы тебе сказать. Я вспомнил, как горячо любил тебя Ласкир, когда были мы с ним у отца Мефодия в школе. А недавно, когда мы снова увиделись, он показался мне

просто без ума от тебя. Бредит инда малый, спит и видит, как бы повенчаться с тобой... Я не препятствую, а только думаю: вот какое счастье человеку!

— Я не понимаю тебя, Вася. Здорово ты судишь или льстишь... или — сумасшедший! Ну да Бог с тобой! Лесть и коварство никому даром не проходят! Горько будет мне узнать, что несчастлив ты... Я же найду себе если не мир и счастье, то... Прощай, Вася! Приходи вечером, опять встретишь Ласкира. Узнаешь и... решенье судьбы моей.

— Хотел сегодня же выехать рано повечеру. Но коли так — останусь до рассвета. Наверстаю ездой! Изволь, — и самого почему-то забила лихорадка.

Он вышел.

— Бедный князь Холмский! Какое превратное понятие о долге лишает его счастья! — высказала Василиса, смотря в окно и видя, как садится он на коня на широком дворе своем.

— Я рада теперь, несказанно рада, — отозвалась Зоя. — Вася заблуждается, но он не притворщик и — любит меня, сам не призна-

ваясь себе в этом! Невеста тоже служба его государю! Может быть, с Федосьей Ивановной жить ему будет и вольготно: она ребенок, он — дитя! Без бурь доживут до старости...

— Как знать? Молодость и здоровье еще не порука долговечности, — неожиданно, не подумавши, вымолвила Василиса.

— Типун бы тебе на язык! С чего это приходят тебе в голову такие вещи?

— Не прогневишь, матушка деспина, проста я смолола... Так что-то на язык навернулось.

— То-то, навернулось. Во всем хорошем видишь ты какую-нибудь пакость. Что за пророк напасти людской?

— Истинно, дорогая, сама не рада. Напророчила-таки, кукушка, заточенье княгини великой Софьи Фоминишны...

— А теперь вот она по-прежнему в чести и в славе, — молвила Зоя.

— И это выходило ей. И сказала тоже я... Да еще словно беду — литовской-то княгине...

— О той ничего еще не слыхать, слава богу!.. Не всегда же исполняются твои бредни, — как-то жестко отозвалась Зоя, видимо недо-

вольная и собой и предсказательницей. — Нужно не бреднями, однако, заниматься, а пир готовить обещанный!

И начались хлопоты.

Вдова деспина обратилась в заботливую хозяйку, сбегала в поварню и в приспешню: сметила, сколько женщин могут работать. Затем из кладовых выдала на руки припасы, наказала хлебнице, как перепечу сладить; отрядила людей ко всякой службе: кого к поставцу, кого у питья, у судов. Распорядилась выдачей блюд и сосудов питейных. Из сундуков повынула хамовные склады, белую казну. Накрыванье столов вверила Василисе. А сама занялась приготовлением заедок.

Уж совсем стемнело, когда хозяйка покончила хлопоты и принялась убираться да наряжаться: гостей встречать.

Первыми приехала семья Ласкирей, захватив с собой престарелого отца Мефодия. Перецеловавшись с дочерьми Ласкира и приняв благословение Мефодия, Зоя поспешила на лестницу встретить боярынь (между которыми затесалась и опальная княгиня Ряполовская). Явились и боярышни Сабуровы, недав-

но познакомившиеся с хозяйкою в церкви. За ними повыступали дьячьи жены да греческие купчихи из слободы. Мужчин было не в пример меньше, чем женщин, да, за исключением сыновей Юрия Ласкира, всего молодых парней не наберешь и полудесятка; да и то, кроме Сабурова-сына и переводчика-дьяка из греков — Траханиота, все были люди пожилые, заслуженные. Расселись гости за столы, и хозяйка, кланяясь, в сопровождении Василисы с подносом с чарками, стала обходить по ряду особ, почтивших ее своим прибытием. Сладкое вино развязало языки, и закипел почестной пир.

В разгаре его никто не заметил, откуда в светлицу вывернулся внезапно молодой Холмский.

— Вишь ты, и будущий зятек государский по старой памяти, заглянул к сударушке! — язвительно заметила вполголоса Марья Ивановна Ряполовская, ни к кому, в сущности, не обращаясь. Боярин Сабуров бросился к Холмскому, как самый нежный родственник, и, взяв его за руку, подозвал своего сына и просил молодого воеводу не оставить птенца его,

Сабурова, милостивым призрением. А сам все кланялся в пояс да в каждую речь успевал вклеить неотвратимые и неизменные в устах его слова «кормилец», «великий благодетель!». Холмского усадила хозяйка между Ласкиром-отцом и старцем Мефодием, на место Ласкира-сына, не садившегося, а все ходившего вслед за хозяйкою, привечая гостей, как бы в роли домашнего близкого человека.

Когда подсел князь Вася к своему старому учителю, хитрый грек после нескольких фраз, полных дружеского участия к бывшему ученику, случайно спросил его, кто его отец духовный.

— Общий наш духовник протопоп верхопасский, соборный, Савва, а што?

— Да то, сын мой, до нашего смирения дошло, что ты подвижнические подвиги возлюбил... водишься со старцами, слушаешь отшельников в сладость! Путь твой — при дворе, в миру; отшельник не руководитель человека светского: не знакомы ему по опыту стремнины и хляби обиходных сношений людей между собою... Сам Спаситель наказал верным своим присным, что нужно для жиз-

ни в миру: хитрость змеиная с незлобием голубя. Белый поп живет в миру, сам семью имеет и по себе может понять немощь плоти духовного сына. Отшельник не тот человек: он сам младенец в понятиях о мире. Он, по неведению, готов осудить самое душеспасительное дело, если его, дела этого, не положено или не показано в его правиле да не дочитался он о том и в писаниях от старчества. К примеру сказать, брачное посяганье. Что о нем может ведать пустынный? Жена ему должна представляться так, как вещают учителя покорения плоти, — сосудом дьявольским! Для монаха, конечно, нарушение целомудрия — величайшее падение! Для чего же он отрекался от мира, для чего уходил в пустыню? Отцы пустынные поэтому и положили за такой грех вечное оплакивание преступления чистоты плоти. Между тем сам Бог установил первый брак. Не на пагубу Создатель учредил же связь мужа с женою и дал благословение свое первой чете супругов, изрекая: раститесь и множитесь? Брак свят и — ложе не скверно, учит опять апостол. И это воистину так. Сколько святых супругов насчитывает

церковь, мать наша, в ликах прославленных нетлением праведников? Грозный обличитель человеческих падений, апостол Господа нашего, для мирских человеков дает совет: «Лучше жениться, нежели разжигаться».

— А посто-кась, батька, и мы где ни на есчитывали: «Оженивыйся печется о мирских, а холостой, не женивыйся, о Господних печется!» — сказал Мефодию внимательно вслушивавшийся в речи его гибкий Сабуров.

— Оно, правда, есть и такое наставление попечителя о спасении нашем, но ни к тебе, боярин, нажившему беремя детей, ни ко мне, иерею, в миру живущему, неприменим этот указ, прямо и подходящий к *земным ангелам* — как величают себя монахи. Мы, мирские люди, мирское и творим. Только бы не зазирала нас совесть в братоненавидении да в лихоимстве да в прибытке всяком ином нечистом; а нам-то, людям простым, и вменена в обязанность забота о поставке будущих жильцов земли. Что бы было, коли мы бы забыли об этой первой-то и самой главной заповеди, общей обязанности членов человеческой земли? Земные ангелы отговорятся на суде. Мы,

скажут, все стяжания земные отвергли и все связи с миром покончили, не виновны поэтому в небрежении о заселении вселенной; то — удел мирских человеков! Ты призвал их, Создатель, к земному труду и труд мужа облегчил созданием помощницы.

— Да, слышь, отец, моя Лукерья Антоновна мало мне помогает, — вскрикивает один гость с другого конца. — Один все тружуся в поте лица. А она знай наряжается только и о хозяйстве не брежет... Какая же она мне помощница?

— Ты сам, человече, не без вины тут оказываешься. Жена — скудельный сосуд! Зачем же ты умом своим да советом не направляешь на благое ее недостаток: суетность? Не хочу судить ваши дела, и не мне даны они: кто меня судьей поставил над ближним? А правду почему не изречь. Муж не прав, вина жену в непорядке. Своим обвинением взводит он на себя осуждение. Вспомни, чадо, оправдание Адама: принял ли Создатель от него ссылку на жену?

— Да я ведь яблочка не съедал и с змеем не вступал в беседу.

— Врешь! — резко и как-то глухо брякнул молчавший до тех пор Русалка, начинавший хмелеть от частых возлияний. — Со змеем-прелестником ты в родстве недалънем, за то и прозываешься Лесута Змеев. Так аль не так, ну-кось, молви, солгал ли Михайло Русалка?

— Да ты, боярин, на шутки пошел, а я вправь. Коль прозванье разбирать, так ты, видно, водяному внук: все русалки, бают, водянова царя дочери.

— И распрекрасное дело, парень, что ты меня надоумил теперь. Заутра же настрочу челобитье государю и пропишу в нем: подай, мол, мне, слуге своему, Иван Васильевич, хоть одно озеро рыбное, что отовладал ты из дедушкиного наследства моего. Я, мол, водяного внук. А послух про то про все Лесута Змеев. И он сам при том бывал и слыхал, как дедушка, не тем будь помянут, в далекий путь собирался и мне, внуку своему, всю область отказал во владенье! Вот тя и приволокут к ответу!

— Мы-ста и не отопремся, да прямо и скажем: воистину, батюшка государь, Русалке

следует не землю топтать в твоём царстве, а сидеть в областях своего дедушки, на самом доньшке. Коль повелишь, его, государь, спусти в самую середку большого, какого ни на есть, озера, хоть Клешина аль Плещеева-Переяславского, — тамо-тко будет он на всей на своей волюшке! А на Москве что проку его держать да на водяного земельны достатки иждивать?

— Молодец! Ай да Лесута! Вот так отсмеял тебе, Михайло Яковлевич, свою змеевину.

— На то Змей Змеевич и есть, что из воды сух выдет, — сострил, не обидевшись на бесцеремонность шутки, умный Русалка.

— Нетто, дядюшка, — опять подхватил Лесута, — тогда ты еще больше в том убедишься, как в омуте очутишься!

Общий смех покрыл поединок остряков. Князь Василий Данилыч в громком говоре вельея никак не мог поговорить по душе со старым своим учителем. А высказаться или хоть спросить его мнения об одном вопросе, сильно теперь начинавшем щекотать его совесть, в эту минуту чувствовал он крайнюю надобность. Поэтому он взял Мефодия за руку

и вывел через ложницу Зои да ее крестовую в свой дом. Заперли двери за собой. Молодой князь присел подле старого грека и голосом, в котором слышалось кое-что большее, чем удовлетворение любопытства, спросил его:

— Отче, тебе не дали договорить эти окоемы одно важное, кажется: что делать человеку, коли полюбит он, да жену мужатую?

— Перестать любить, отстать от мужатой, не думать о ней! Мало ли дев?.. Приглянуться может и свободная девушка... К чему класть на душу тяжкий грех, вызывать, чего доброго, мщение мужа? А укору-то совести?! А несчастье-то для самой жены?.. Ведь ее убить могут, и на тебя ляжет грех — вина ее смерти!..

— Но, видишь ли, отец... опасность, может быть... миновала такая... муж ревновал аль нет, да перестал, и — уже нет ево... А любовь, она... все питает... А тот, кого любит она, сам чувствует свою вину перед Богом и человеки и... крепится уже... Бежит от искушения... Страшится подумать о виновнице своего грехопадения... Боится себе признаться, что она мила ему... может быть... ащо пуще...

— Да ведь свободна она, говоришь ты, в

толк не возьму... какая же тут боязнь? Какое искушение, когда было падение?! Уж больше того, что было, по твоим же словам, ничего не будет? И коли совесть зазрит в человеке, долго ево — наверстать ущерб: принести покаяние! А знаком покаяния да будет союз разрешенный, благословенный уже, а неблагословенный тем самым изгладит свою неправду.

— Да, отец мой, но... покаяние!.. Покаяние истинное... должно повлечь за собою новую жизнь... новые подвиги... новые условия жизни чистого, целомудренного... Без того кара небесная разразится над нечестивцем... Суд Божий накажет... Не так ли, отец?

— И так, и — нет. Коли не исправляется грешник — над ним тяготеет проклятие, налагаемое на грех, но коли есть охота исправиться... Отстать от грехов непозволенных... добыть разрешение... тогда вдвойне совершается подвиг: грешник от греха престал и погубление отнял. Что не честно было — в честных место вместил; оскверненная — очистил; окончательно поборол змея адского!

— Так и в брак вступит... с тою...

— С которой грешил? Можно и должно!

— И тягость осуждения за оскверне... за вину... против... мужа... умершего...

— Все падет новым союзом, новым таинством!

— Не может быть!

— Чего?

— Чтоб так было!

— Чего же не веришь ты мне?

— Тогда бы все, нарушившие девство, взяли бы... да и — поженились.

— И слава тебе Господи!

— И только?

— А то что же?

— А кара-то за грех непростимый?

— Я не сказал — непростимый. Нет греха, учит церковь, который не изгладило бы за покаяние милосердие Божие.

— Да!.. За покаяние, однако... А тут?

— И тут покаяние... Мало того... восстановление помраченного грехами...

— Ну, да это у вас, может, так? — отвечал нерешительно Вася, уничтоженный последними словами Мефодия. — Мне отшельник наш, постник великий... не то баял. Бежать... совсем бежать... В сделку не вступать с пад-

шей... А коли в брак вступать, то с отроковицею чистою... А греховное дело... отложить совсем... Век свой плакать да кручиниться о грехе своем... Милостыню давать. Обитель устроить и... посхимиться в ней... в довершение всего.

— Ну, не говорил ли я тебе, что отшельников о мирских падениях не довлеет спрашивать?.. Не понимают они, в чем суть дела тут... Мирской человек — слуга родины и государя своего. Из-за того, что заходила блажь у него в голове и без разбору кинулся он на красоту женскую, отдался похоти, — к тому еще сделаться тунеядцем... будет двойная вина! Спасти душу может он, не отказывая в услугах земле и главе ее, а заглаживая стремления похоти победением страстей да подвигами братолюбия и смирения. Сделать не бывшим совершенное — нельзя... Можно только заглаживать добром содеянное зло. Ведь сам Спаситель сказал о жене, которой прощено много, что эта милость праведным судьбою оказана ей за то, что она «возлюбила много; кому же мало прощается — мало любит»! А где же меньшая любовь, как не в

устранении себя от общих дел и от посильного труда для братии? Тогда как «больше тоя любви несть, как положити душу за други» — как бывает с воинами, охраняющими целость державы и мир земской. Стало быть, для человека, делающего свое дело, служа в палате либо в воинстве, и при падении греховном — есть ли человек не согрешивший? — нечего малодушно бежать под ничтожным предлогом от прямых своих обязанностей. Здесь вижу я не заслугу и не высшую мудрость, а невежество и трусость, по-русски сказать, дурь, которую умный человек напускать хочет на себя. Так рассуждать и грешно, и стыдно человеку, наделенному от Господа способностями. Да и неблагодарность это перед небесным наделителем, который, давая здоровье и рассудок, внушая чувства человеколюбия, имеет в виду побудить свое создание к полезной деятельности не ему одному, а всем вообще. И вдруг, потому что ты или другой молодец в юности не совладал с собою, то тебе после вины своей этой отказом от мира и служения людям приходилось бы довести свою неправду до неисправимости? Обратиться самому в

бесплодную смоковницу, которая годна только на сожжение. Нет!.. Я вижу для всякого человека, а для христианина православного тем паче, другие пути к поправлению вреда греховного! Василий, — позволь называть и теперь тебя так же, как в академии моей, бывало, — ты, друг мой, высказывая мне это, приводишь меня в краску... Заставляешь невольно подумать, что я даром тратил время на развитие природных даров ума и чувства в тебе, если через восемь лет после школьной скамьи слышу я непонятные для меня суждения... Нет, не так нужно делать... не то!..

И старик под впечатлением овладевшего им неудовольствия заходил из стороны в сторону, замолчав.

— Не кайся, отец Мефодий, я... ученик твой, не опозорил покуда ничем твоего возвышенного учения. Положения премудрого Аристотеля Стагириты пред моими очами умственными не заволкло облако недоверия или непониманья смысла их... Но... тут вещал мне устами веры... служитель вечной истины... и робкий дух мой в сознании скверны содеянного... упал от грозы непрощаемого

осуждения... Я охотно отрекался от сладостей в мире, но служить всем и каждому... подвергаться всякого рода опасностям... идти даже навстречу смерти радостно, в сознании долга... службы, я не медлил. Свидетельством тебе, учитель мой, исполнение велений державного... Наказ давал государь в общих словах, не зная сам, как будет и что на месте. И я, кажется, не утерял пользы: ни государственной, ни земских людей, ни в Татарщине, ни в Угорщине, ни в Литве, ни... у божьих дворян! Государь сам засвидетельствовал, что — чуть не от младенца по опытности — от меня не ожидал даже он... такова исполненья.

— Ну и добро! А дальше?

— Дальше?! И теперь еду в эту же ночь справлять новую, нелегкую опять... службу... Может, и головы не пожалеть придется...

И князь Василий в смущении вертел ширинку в руках, не смея поднять глаз на обличителя. Разуверенья отца Мефодия пролили теперь в душу его новый луч света и озарили с другой стороны предмет его горьких сердечных томлений... Оказывалось, что бедняк неволил свои неугасшие чувства напрасно,

бесцельно... А теперь привязанность к нему великой княжны поражала сердце Холмского новыми мучительными ударами. «Совладаю ли с собою я? — думает бедняк. — Найду ли в сердце столько теплоты для ответа на горячее чувство доброй Фени, чтобы не дать ей понять мою борьбу с собою... мои мучения?»

Мефодий уже перестал ходить и обратился на своего прежнего ученика проницательный взгляд, желая объяснить теперешнее его волнение. Смотрел-смотрел. Потер лоб, как бы что припоминая, и вдруг спросил:

— Скажи по душе: давно полюбил ты княжну великую?

Если бы загрохотал страшный гром среди полнейшего спокойствия в природе, при ясном лазурном небе, или бы вдруг тихие струи мелкой реки вздулись горами и опрокинулись на берег, грозя разрушением, — паника беспечных слушателей и зрителей такого чуда не сравнялась бы с поражением князя Василия при неожиданном вопросе учителя.

— Мы росли и... неприметно... неведомо, братски стали любить, — отвечал он, почти не владея собою.

— Я не о том спрашиваю, как братская любовь зачалась, тут не требуется объяснений. Самому мне известно ваше детство. Давно ли... горячо, как подругу, стал любить ты княжну Федосью Ивановну?

— Да... давно... нет! Как бы тебе сказать.

— Понимаю!.. Не говори больше. Отношения твои старые к Зое... также мне известны.

Холмский затрепетал. Не обращая на это внимания, Мефодий продолжает сам, как бы раздумывая про себя:

— Вижу теперь, что гибельная случайность... подвернулся какой-то отшельник с неумелым советом... перевернул теперь счастье пары, без того... не страдавшей бы.

И опять, пройдясь несколько раз, теперь уже сочувственно скорбный и сосредоточенный, отец Мефодий, вздохнув, сказал:

— Ну, Василий, выйдем на пир... неравно заметят наше отсутствие.

Исчезновение их действительно заметили, но появление вновь не возбудило ни в ком интереса. Все слушали с напряженным вниманием беседу хозяйки со старшим Ласкирем, как видно, уже довольно выяснившую

взаимные отношения Зои к Дмитрию Ласкирю, казавшемуся грустным.

— Так-то ты, деспина, и лишаешь нас всякой надежды на родство?.. Жаль!.. А таково бы славно пожить нам в дружбе да в согласии... Я, признаться, лелеял в душе надежду... что ты будешь наша...

— К сожалению... не могу, — чуть слышно отвечает Зоя, смотря в пол.

Холмский порывается что-то сказать ей, но Мефодий сжимает ему руку и на ухо говорит, предупреждая возражения: «Ты не должен!»

— Я хочу проститься с нею, — вполголоса отвечает ему Вася.

— Это — можно! Но дай ей кончить.

— Она уже кончила... К нам идет.

— Досадно!.. — глухо пробурчал Мефодий себе под нос и более явственно вымолвил: — Вечно опаздывает...

Сел и погрузился в мрачную сосредоточенность.

— Я еду, Зоя, прощай! — молвил Холмский, взяв за руку хозяйку, когда она проходила мимо него.

Она остановилась. Обратила на него глаза,

полные слез, и — промолчала.

Он исчез. Все стали подниматься. Зоя просит побыть у ней.

— Гости мои дорогие, — начинает она голосом, полным волнения. — Я понимаю сама, что слова мои и отказ сделаться женою Дмитриевой вас изумили своею неожиданностью. С моей стороны безумство даже — готовы сказать вы, и совершенно в праве, — отказываться мне, вдове, от предлагаемого лестного союза с семьею, к которой питала всегда я самые дружеские чувства. Но... Это-то дружество больше всего и заставляет меня сознаться, что мне не должно разрушать счастье молодого красавца! Без меня найдет он достойную подругу, которая принесет ему любовь и преданность. Живя за двумя уже мужьями, я совершила бы преступление, если бы неразумно приняла великодушное предложение — не скажу вам, чтобы нелюбимого, напротив — любимого Дмитрия. Я не могу ему отплатить тою горячностью чувства, какую он мне дает беззаветно... Я стара уже для него!.. Не летами одними — хотя разница двух лет все же в супружеской жизни многое значит... Но не ле-

та, не то, что я старее, должно удерживать и остановить меня. На Руси браки, где невеста старше жениха, — не редкость, как и между нами, греками и гречанками... Нет... останавливает меня и не то, что молодой муж может скоро разлюбить старую жену. Забвение мужьями жен еще не столько великой бедою мне кажется, если бы я могла забыть... свой обет! Я обещалась уже... не выходить... когда судьба обманула... уничтожила мои надежды!.. Прошлое не возвратно... и оно запрещает мне заключать... новый союз... Не могу! — и зарыдала неутешно. Облегчив слезами овладевшее ею волнение, Зоя просит присутствующих не отказать ей в последней милости и — уходит.

На лицах гостей выражается полнейшее непонимание: что это такое?

Одна вдова Ряполовская, со свойственной ей находчивостью и бесцеремонностью, выкрикивает заключение свое: «Известно, баба дурит... только и всего! Зазноба женится не в ее высоту... вот сердце и срывает... непутная... незнамо што мелет!»

Мефодий встал и, не говоря ни слова,

устремил на язву-болтуню такой суровый взгляд, что она стала теребить ширинку свою, шитую золотом, приговаривая скороговоркою: «Право же, так... вот сами увидите... хоть наплюйте мне!» И потупилась, не договорив, увидя бледную Зою со свитком в руке, подходящую к столу, поддерживаемую Василисою.

— Друзья! — сделав над собою, видимо, страшное усилие, молвила деспина, ослабевшая, обессиленная. — Вот мое последнее решение. «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, се яз вдова, раба Божья Зоя, деспотова жена Ондреева, пишу сию грамоту духовную целым умом и в своем смысле. Велит мне Бог исполнити мое обещанье — постричься, и яз, Зоя, жонке Василисе, Ондреевой дочери, что была допрежь за князем за Иваном, за Юрьевым сыном Патрикеева, даю еси ей, Василисе, все мои животы и дом слободской, мою куплю на Москве, со всем скарбом и со всем, что довелось бы мне, Зое, наперед взята от моих заемщиков и рублями, и добром всяким. И тем всем володети ей, жонке Василисе, бесповоротно, а послу си у сея грамоты моей душевной...» Подпишешь, друг Юрий Семено-

вич? — обратилась она к Ласкирю, подавая калам. — И вас всех прошу, гости мои любезные... и тебя, отец мой духовный, Мефодий.

— Я!.. Никогда не приложу руки к такому писанью... Ты, Зоя, сама не ведаешь, что творишь, — молвил величественно Мефодий и, возвысив голос, прибавил: — И тебе, Юрий Ласкирь, запрещаю, как отец твой духовный, подписывать теперь эту грамоту... И вам всем... не советую, — обратился он к прочим гостям.

— За что такая немилость, отче, на меня грешную? — отозвалась в слезах Зоя.

— За то... что ты, как сказал я, сама не знаешь, что говоришь... в чаду в каком-то!

— И не хочешь ты поверить, отче, что такова моя воля... неизменная?..

— Не хочу и не могу... Чтобы судить, не изменна ли она... нужно время. А русская пословица говорит... у бабы волос долог, да ум короткий... Все ей сейчас чтобы... сделалось.

— И это еще унижение?.. Не ожидала я! — молвила Зоя, зарыдав, и ушла.

— Спасибо тебе, отец Мефодий, что удержал обезумевшую, — подойдя к священнику,

сказал молодой Ласкирь.

— Не за что благодарить тебе-то меня... Для тебя изо всего этого нет ни крошки выгоды... Твое дело, во всяком случае, потеряно.

Молодой человек склонил голову с полной преданностью.

— Но... для нее самой!.. За нее спасибо, — однако нашелся закончить он надорванным каким-то голосом.

Все разошлись как потерянные.

Садясь в сани свои с дочерью боярина Сабурова, только Марья Ивановна Ряполовская еще затараторила:

— Эти проказы на сем свете деются... Бабы-вдовы... с ума сходят... А что все причиною?.. Красота проклятая — прелесть бесовская на уловленья очам мужеским. Я... вдова... тоже... да...

— Ты, ластушка Марья Ивановна... совсем не в этих баб! — добродушно ответила наивная Соломония Юрьевна, нисколько не думая, что в этом возгласе ее скрывается злая ирония на белобрысую, неблагообразную, по меньшей мере, дочь Патрикеева.

Через три дня старый Ласкирь с Мефодием

подъехали к пустынному, казалось, дому Зои. Долго шли у них переговоры о допуске к хозяйке. Наконец приняла она их. И была у них с нею долгая беседа. Но что говорено было между шести глаз, того мы, вероятно, никогда в точности не узнаем, хотя можем догадываться.

## VI В ЛИТВЕ

*Это ни для кого не тайна!*  
Ответ оракула

**И**так, князь Василий Данилович Холмский, объявленный жених княжны Федосьи Ивановны, послан, еще до брака, в Литву с секретным наказом от державного тестя. Вот князь-посол в Вильне; узнает, что дело зашло дальше, чем ожидали в Москве. Не так легко будет ему дойти до заключенной в замке уже княгини великой литовской Елены Ивановны, нудимой мужем отступить от православия, ею свято сохраняемого.

Умом-разумом молодой жених, как выразилась будущая теща его, от Бога не обижен и

теперь, слава Создателю, приискал лазейку выполнить поручение. Недаром и возлагали на него такие надежды венценосные родители страждущей заключенницы. Помогло князю Васе его беззаветное ухарство да отвага, а главное, красота, перед которою трудно устоять страстной женщине.

А княгиня Позенельская — давняя любовница Александра — была страстная женщина.

Вот она по Вильне мчится в расписных санных из замка к своему главному костелу, пышно одетая и окруженная знатными развратницами, кивая направо и налево знакомым.

Взгляд ее пронизателен. Особенно не пропустит она ни одного из мужчин, чтобы не сделать замечаний, более или менее остроумных и резких, но в приговорах ее слышится чаще всего открытая животная чувственность. Стыдливостью — первую добродетелью женщины — княгиня никогда не отличалась. А с тех пор, как заменила при великом князе развратную жидовку Ривку, она еще превзошла и эту предшественницу в бесстыд-

ном обращении с панами. Александр чуть не младенцем попал в сети нечестивой Ривки и юношею уже приучился хвалиться мнимыми победами над наемными жрицами кумира Пафосского. Мария Похленбска, шляхтенка, одаренная обольстительною красотою, рано сделалась добычею старого сластолюбца князя Позенельского, но была им за неверность брошена. Рыская и ища любовников, прискакала она в Вильну в то именно время, когда против нечестивой Ривки разом восстали доведенные до высшей степени унижения окружающие князя Александра и духовенство, до того смотревшие сквозь пальцы на затеи юноши властителя, систематически развращаемого партией, желавшей властвовать. Хитрый архиепископ раздражен был нахальною жидовкой, объявившей ему прямо: сколько бы она, нечестивая дочь Вельзевула, желала получить от него, — князя церкви, чистой и святой, — за одну богатую бенефицию, на которую архиепископ имел в то время виды. Такой поступок, согласитесь, уже был верхом нахальства, и прелат после этого, ни минуты не колеблясь, присоединился к

противникам княжеской любовницы. Подыскать кучу обвинений против бесстыдной развратницы не представляло трудности, но... кем заменить ее?.. Александр уже находил сласть в разврате и, как все юноши, рано испорченные, выше всего ценил цинизм в любовнице, ни перед чем не отступавшей бы. А порочные желания пресыщенного уже юноши мало ли чего в состоянии были изобрести для разнообразия греховной утехи? Сыскать на смену изгоняемой такую именно фаворитку, которая сама бы даже способна была изобретать для потехи высокого обожателя какие-нибудь хитрые штуки, где соединялся бы чудовищный цинизм с какою-нибудь удобностью или возможностью усилить наслаждение, — сделался вопросом жизни для врагов Ривки, долго не находивших подходящего орудия. Наконец архиепископу удалось разузнать досконально, что за птичка, называемая пани Марией Похленбской, залетела, ища достойной ее деятельности, в богоспасаемый град Вильну.

— Давайте же скорее эту жрицу Веельфегорову... и — нечестивая Ривка уничтожена! —

воскликнул просветленный прелат, верно сообразив, как и где завязать надежный узел новой сети, в которой уже он мысленно запутывал князя Александра.

Жрица Веельфегорова немедленно была представлена пред очи пекшегося о нравственной чистоте своего стада духовного пастыря. Конференция же с нею привела к обоюдному соглашению в деле запроса и рачительного выполнения. Так что не прошло трех дней, как пьяная Ривка была выброшена из дворца Александра и пропала совсем (говорят, будто для лучшего успеха новой операции патриоты утопили развратницу молодого принца). Воцарилась новая наперсница, пани Мария, — и не прошло месяца, как получила титул княгини. Небольшого труда да острастки потребовалось, чтоб обезумевшего уже от вина старого грешника князя Позенельского заставить повенчаться с отставной его любовницею, теперь куртизанкою высшего полета. За увенчанием же этим путем честолюбивых стремлений прекрасной, беззастенчивой Марии судьба послала ей неведомо-негаданно и наследство после номиналь-

ного супруга. Тут скоро скончался он, всласть накушавшись грибков. Истинно, кому уж повезет, тому самые вкусные галушки сами в рот лезут: знай успевай жевать да глотать! Такими-то судьбами новая княгиня — всего в двадцать с годом вдова и первое лицо при дворе князя Александра — забрала юношу в свои руки, угождая его уже испорченному вкусу и крайней неумеренности в наслаждениях, дорого продаваемых, разумеется, да растлевающих вконец и без того уже слабые способности этого принца. Почувствовав себя в силе, благородная пани вдова Позенельская в свою очередь показала когти и зубы первому виновнику своего возвышения. Еще бы он вздумал перед нею сыграть роль резкого обличителя людских падений, находя в поведении бывшей своей протезе непростительную распущенность и унижение будто бы человеческого достоинства?! Со своей же точки зрения, считая себя вне упрека в деле профессии, на которую призвана самим служителем церкви, княгиня Позенельская соглашалась только, что сердце у нее не может быть алмантовой твердости. А оно должно ее приво-

дить и к маленьким изменам — из-за самой готовности отвечать на нежность тою же монетою. Однако и в этом она виновною особенно себя не признавала, ссылаясь на слова самого же пастыря, так сладко и убедительно доказывающего, что любовь — чувство, вселенное в сердце Создателем, и противиться природе явное безумие! Пастырь должен был замолчать, но в душе сознавал уже, что сделанный им ложный маневр мало того что потерпел фиаско, да еще сделается источником и гонений на него со стороны им же созданного орудия прельщения ветреного, бесхарактерного Александра. А тут последовала скоро смерть короля Казимира и новая комбинация в уме государственных советников Литвы.

Они не ожидали ничего доброго от продолжения позорящей связи молодого владыки их с женщиною, совсем не приготовленной да и не способной для роли явного пребывания при дворе холостого принца. Сторонники порядка и государственного значения не ослепляли себя химерами. Предложение нескольких честолюбцев сделать законною супругою куртизанку — отвергнуто ими прямо. И тут-то

затянули сватовство дочери Иоанна III за великого князя литовского под покровом глубочайшей тайны. Для Позенельской тайна эта не оказалась, впрочем, недоступною. Она узнала вовремя, что готовят для нее враги, и стала принимать свои меры, действуя на бесхарактерного любовника непосредственно, боясь кому бы то ни было доверяться в этом вопросе жизни и смерти... быть или не быть! И действительно, ей удалось на два года оттянуть исполнение горячих стремлений да дружных усилий верховных правителей и советников слабого духом Александра. Но, в конце концов бросаясь в объятия отвергаемой рассудком любовницы и падая не раз в обморок с опухшими глазами от слез, этот же самый Александр дал себя везти непреклонным магнатам навстречу невесте, великой княжне московской. И не отменил он указа о насильном вывозе из Вильны княгини Позенельской в ее маетности вслед за отправлением своим к Смоленску. Мария, правда, употребляла энергические усилия удержать до конца царственного пленника. И в то еще время, когда он бросался к ней в объятия в

слезах, начинала питать надежду, что не все потеряно, а возможна победа. Но тут уже чувство самосохранения зашедших далеко придворных и сановников разрешило все колебания их.

В ту минуту, когда Позенельская, понятно расстроив нервы свои и чувственностью и неподсильною борьбою, однажды на несколько минут лишилась чувств, — противники ее увели слабого своего владыку. Они, не спрашивая уже его более, поспешно вынесли в возок бесчувственную куртизанку да с эскортом отправили в противную сторону — в глубь великой Польши, с тем чтобы жила она там под охранением. У всех от сердца отлегло, когда удался этот маневр и пришлось только, усилить внимательность к самому избалованному ребенку, сперва заплакавшему, потом же развеселенному ловкими угодниками: когда начали они язвительно острить над неразборчивостью вкуса проходимки-княгини, для которой чудовищное развитие страсти обратилось в болезненную потребность. Комически выставляя одновременно и жадность к приобретению и эту разнузданность стра-

стей, давно уже обратившихся в животные, да при этом еще нестерпимое высокомерие куртизанки, между тем бросавшейся на шею чуть не первому встречному красавцу, сплетники, конечно, не жалели ярких красок и цинического красноречия самого зажигательно-го свойства. Вино лилось при этом в опоражниваемые быстро кубки, и слабевший язык князя лепетал нелестные эпитеты недавнему предмету до того сильной его, хотя и грязной, привязанности, что он унижался до слез при одной мысли о разлуке с нею. Сон закончил действие первого акта этой разлуки, а наутро вестники дали знать о близости невесты.

Тут повествования бывших в Москве и видевших княжну Елену разогрели опять чувство издержавшегося безрезультатно молодого государя, но уже с другою целью, казалось, достигнутою. Александр стал представлять себе будущую супругу — деву чистую, украшенную всеми прелестями юности и целомудрия, — существом, способным оживить его духовную деятельность. И мысль о недостойном поведении да о неумелости и неохоте узнать, как следует править народом, до-

ставшимся ему по наследству, в первый раз в жизни пришла теперь в голову беспечного венценосца. Он раздумался о прямых своих обязанностях, и тихая грусть осенила чело его, носившее видимые знаки утомления жизнью, если не разочарования. В таком виде предстал он перед будущею своею добродетельною и достойною подругою. Красота ее на глаза Александра произвела сразу сильное даже действие, больше чем предполагал он найти, составив заключение по рассказам вельмож своих. И он сам очень неловко почувствовал себя в первую минуту, ослепленный трогательною красотою и пораженный симпатичностью общего облика лица Елены. Сев на коня, поехал Александр очень несмело подле ее экипажа да вступил в разговор через переводчика, при каждом вопросе впиваясь глазами в нареченную. Он, однако, чувствовал на душе так хорошо в эти минуты, что, если бы какой-нибудь благоприятель Позенельской или даже она сама теперь явились перед ним лично — мгновенно очарованный Еленою Александр, пожалуй, дал бы жестокий приказ против Марии за покушение ее нару-

шить его благополучие.

В этом настроении прошли первые дни. Наступил и час брака. Александр считал себя счастливейшим из смертных. На ласки его, боясь довериться чарующей действительности, старалась отвечать и кроткая супруга, как умела. Паписты хмурились, видя подле великой княгини московского попа, схизматика, по их словам, торопившего распоряжениями об устройстве православной церкви в палатах княгини, супруги государя. Об этом просила Александра и сама Елена, но, неопытная, — робко и нерешительно, в то время когда резкое заявление «Я хочу сейчас!» произвело бы магическое действие и разом поворотило бы дело на немедленное исполнение. Противники веры великой княгини мгновенно сообразили, что она за человек. А решив этот вопрос, только исподтишка улыбались, отнюдь не злобно и не язвительно, при повторениях просьб Елены о греческой церкви. Александр раза три давал и более категорические приказы об устройстве церкви, но каждый раз за поклоном кастеляна, выражавшим немедленное повиновение,

забывал о сказанном. Кастелян же, разумеется, был в руках приближенных к князю поляков и, донося им о полученном от государя приказе, не получал от своих патронов никакого ответа; следовательно, ничего и не делал. Надеялся он в случае беды на их же поддержку и страшился мщения, если бы поступил против их желания. Протопопа же Савву проводил ловкий поляк медоточивыми обещаниями, всегда подыскивая благовидный предлог для замедления дела.

Так и прошла вся зима. К Пасхе особенно настаивала на этом Елена, и изворотливый кастелян просто не знал, что ему делать, когда патроны хранят упорное, еще более возбуждающее его страхи молчание. С весной же начались разъезды Александра по окрестностям. Этим вздумали польские паны расшатать и ослабить связь супруга с молодой женою, делавшейся для них подозрительною по силе влияния на мужа и совсем неподатливой в самом важном пункте для папистов: в вопросе о переходе в католицизм Александр по-прежнему питает к жене нежность, разумеется, но уже без прежнего пыла. В душе

узнавшего утехи сладострастия и кроткий образ любящей жены недолго может полновластно царить, затемняемый находящими облаками прежних воспоминаний. От мрачности их и неприглядной внутренней грязи сперва с неудовольствием отвертывался молодой супруг, перед которым, как на облачном небе луч солнца, образ чистой жены мгновенно роняет всю цену старых привычек. Но эти привычки начинают приходить ему на память чаще и чаще после удовлетворения чувственных, инстинктивных стремлений похоти. Адским искусством привлекать таинственностью обладает один порок глубокий; юность же и неопытность сами отвертываются от цинизма. Тогда как цинизм один любезен глубоко развращенному вкусу и способен только выводить его из апатии, неразлучной с пресыщением. Любовь чистая, перейдя за апогей, не может удержать порочно-го от новых падений, на которые смотрит он без страха. Очень естественно было испытывать это и воспитаннику Ривки да Позенельской, мысль о которой уже не так пугает супруга Елены. Он, впрочем, чаще теперь заста-

вая в слезах жену, напрасно добивается разъяснения причины, которую бедняжке и не хотелось даже — да и трудно было — высказывать ему, когда причина эта — он сам. К нему же — не чувствуя и сама не понимая, как это случилось, — Елена привязалась вполне. Привязавшись же, любящая жена хотела бы видеть подле себя постоянно мужа и намекала ему это, да он не понимает или дает другое толкование, незнакомый с чистою взаимностью ощущений. А слезы да слезы вечные способны охладить и нечувственного мужчину! Тут же подвертываются еще советы людей, в представлениях своих преувеличивающих влияние жены, способное умалить и ослабить их собственное. Опять на сцену является архиепископ, пососоветовавший только отклонять требования ненавистного ему схизматика. Подбитые и подстрекаемые с этой стороны шпорами страха пособники закусили удила и в ревности своей наделали бездну глупостей. Самую главною было открытие нечистой игры да интриг архиепископа. Тот грозит мщением изменившим ему друзьям и, рассчитывая на бессилие в борьбе

с плотью слабого духом, на свой страх увозит в столицу Позенельскую, заключившую с хитрым прелатом теперь полную мировую и дружеский союз о взаимной поддержке, пока сил хватит. Да из чего, скажите, и расходиться-то было союзникам, друг друга так превосходно знающим?

Были сумерки. Предметы легко стушевывались на густом фоне полумрака в воздухе. В Вильне, лежавшей нестройною кучею деревянных построек у подножия замковой горы, яркими точками засветились огоньки в узких оконницах. В замке сумрачно было. Только брезжил свет, как бы проходя сквозь густую ткань, в одном крайнем окне, выходявшем на большой двор со стороны сада. Это были каморы великого князя Александра, к которому прошел недавно архиепископ в сопровождении, должно быть, молодого монаха. И вот с архиепископом да с этим, никому, казалось, не знакомым, лицом идет теперь у Александра горячий разговор.

— Я совсем не хочу тебя видеть, Мария. Напрасно его эминенция, не уважив моего личного запрета, доставил мне настоящий слу-

чай еще раз убедиться, что для тебя нет ничего ни святого, ни не подлежащего нападкам. Моя жена выше осуждений! А наветы твои способны меня только оскорбить и заставить сожалеть, что я слишком слаб да не способен привести к повиновению употребляющих во зло терпение мое. Я приказал тебе жить в твоих маетностях, не выезжая оттуда, а ты... опять являешься меня мучить?

— И без меня тебя мучат, Олеся... Мы заставили тебя мрачным, готовым плакать.

— Неправда! Никто меня не мучит... Я... я раздумался, поняв, что для меня мало радостей, где на каждом шагу готовят ковы... придумывают, как бы обмануть меня.

— Вот я и хочу быть подле тебя, чтобы отвести все эти скрытые удары! Чтобы прогнать от тебя тоску... чтобы...

— Не продолжай!.. Оставь меня. Я не должен слушать тебя — сирены — с твоими опасными внушениями! Я люблю Елену и поэтому запрещаю тебе говорить о ней... Молчи...

— Олеся! О ней буду молчать... Но нет еще такой силы и власти в мире, чтобы заставить меня не говорить о тебе! Я должна бы мстить

тебе за вероломство, а вместо мщения я же спешу утешать тебя! Если это не любовь бы меня заставляла, то что же? Отвечай-ка?!

— Да хоть и любовь, но... я... не хочу о ней слышать.

— Ты напускаешь на себя только вид какого-то зверства и упорства... противостоять здравому смыслу, своим душевным влечениям, своему... я. Но... Это помрачение светлого ума на минуту. Ты... одумаешься... Ты должен же одуматься?

— Никогда!.. Я выбрал себе путь и... иду.

— Не ты вовсе выбрал этот путь, а твои советники... твои пестуны.

— Враждебники истинной веры, — прибавил смиренно архиепископ со своей стороны, поклонившись.

— Полно, Мария... Не говори, святой отец... иначе я подумаю, что вы общими силами пришли меня мучить.

— Государь, видя душевную муку твою, долг мой поспешить со словом утешения... Видя, как стараются тайно волки войти во двор овчий, а ты, правитель народа, наблюдатель за его безопасностью телесною, не ви-

дишь близкого зла... мой долг пастыря душ обратить твое внимание на опасность. Благо тебе, когда слова веры тронут твое сердце и... горе, если не захочешь ты внимать истинам, предписанным земным главою святой церкви нашей, которому я предан и ты бы должен быть.

— Я не хочу, отец, слушать хитрых изворотов, посредством которых думают напустить на меня страхи, ожидая какой-то гибели... И понимаю я, куда метят речи твоей эминенции, но еще раз говорю, что мнимые волки, о которых изволит с таким ужасом вещать твоя святость, — один московский поп моей жены?! Поверь мне, этому — по словам твоим, опасному волку, на мои же глаза простяку — Савве и в голову не может прийти никакая пропаганда по самой простой причине: он не умеет высказать самое обыкновенное требование по-нашему. Московские попы не нашим чета! Все стадо Саввы — одна жена моя! А в дела ее прошу не вмешиваться, если не желаешь иметь во мне врага.

— Великий князь Александр был всегда почтенным чадом матери нашей церкви, но если

он теперь говорит таким языком, титулуя врагом себе пастыря той самой церкви, которая восприняла его в свое матернее лоно при рождении, воспитала в своих несомненно непогрешимых канонах и взрастила для примерного служения вверенным ею же ему братьям, то что иное, как не яд враждебного вероучения, способно было пременить настолько превратно целомудрую мысль его? Что иное это, спрашиваю, кроме яда пропаганды, не явной — и потому легко отвратимой убеждением, — а тайной, домашней: посредством жены — схизматички — уловило задремавший в сласти ум владыки нашего? Как же не следует верным сынам церкви сокрушаться о таком настроении ума католического государя, при венчании своем обязывающегося ополчаться против всех мыслящих противников чистоте веры, о чем денно и ночью печется наместник Христа на земле...

— Перестань, отец архиепископ, не преувеличивай мнимой вины моей... Я готов сам написать святейшему отцу свое исповедание, чтобы не верил он заведомо враждебным мне внушениям слуг своих.

— Посмотрим... Кому больше поверит святейший отец? Нам, очевидцам совершаемого, или тебе, государь милостивый, слабому в своей греховной немощи и возлюбившему тварь. Тварь, — оговоримся в смысле земного существа, — хотя и с добрыми по наружности побуждениями, но направленными по дурной дороге, которую зовут богословы греческою схизмою. О! Колико бед нанесла схизма эта кроткому правителю душ человеческих и земному его наместнику?

С притворным болезненным ощущением и с криком, как бы вырванным болью, произнес искусный лицедей-архиепископ, смотря в глаза невольно потупившемуся Александру. Далее продолжает он, все возвышая голос:

— Кто изочтет тьмы погубленных душ схизматиков обоего пола, вышедших из мира сего без всякой надежды на стяжание светлого рая! Хотя ключи его имеет в руках своих чадолюбивый отец наш, святейший папа, и отверзает врата эти всем желающим, но эти несчастные сами мчатся в погибель, стремительно убегая от ищущих их и идущих к ним на помощь, нас, верных и добрых рабов, при-

ставников стада Христова. И то величайшее и горшее зло, что сами помраченные, зажимая глаза, чтобы не видеть истинного света, источником и средоточием которого распространения на земле есть только Рим и святейший владыка его, эти несчастные, говорю, по общему свойству зараженных неисцельными недугами, сами стоная от боли язвы сердца своего, силятся вовлечь с собою в бездну и непричастных их ослеплению, но неосторожных. Сперва поселяют они в уловляемых сожаление к себе и своей бесприютности. Таково положение у нас великой княгини Елены, упорной в содержании своего вредоносного вероучения. Ангельское сердце супруга, — государя доброго, с душою, способною находить привлекательность по своей детской чистоте и невинности, — сердце супруга, говорю, не может, конечно, оставаться безучастным к душевным стремлениям подруги, обильно наделенной всеми добродетелями женщины. Для совершенства ее недостает одного только: той степени пыла любви истинной, которая не знает середины между полным подчинением мысли любимого и его решительною

волею, изрекаемую голосом любви.

— Эту мучительную любовью, по несчастью, одержима я только, бедная! — с притворным, искусно сыгранным отчаянием отозвалась будто про себя (но так, что могли слышать присутствующие) княгиня Позенельская, вдруг зарыдав истерически и грохнувшись на пол.

Александр не совладал с собою. Он бросился к притворщице и при помощи прелата поднял на постель свою мнимо бесчувственную Марию, захопотал, приискивая крепкий спиртной экстракт, нахваленное ему универсальное средство для приведения в чувство терявших сознание.

Вот это чудодейное лекарство найдено. Александр начинает смачивать драгоценную влагою виски и затылок Позенельской.

— Грудь бы надобно тоже потереть! — вскрикивает сердобольный архиепископ, усердно принявшись освобождать понемногу пояс, которым крепко стянут был гибкий стан Марии. Легкий трепет пробегает по лебединой шейке красавицы, лишенной туго накрахмаленной фрезы. Вот не без большого

труда расстегнут корсаж, и пышный торс начинает понемногу волноваться, как бы не вдруг возобновляется процесс дыхания, случайно остановленный, признаки, однако, показывают возбуждение жизни из застоя.

Александр приник головою к груди прежней любимицы. Он прислушивается не без трепета к затаиваемому ею дыханию. И — о чудо! Навек, казалось, улетевшая, в чувственном мужчине пробуждается страсть: щеки его, до того бледные, разгораются. На лице архиепископа полное удовольствие и уверенность, что все будет так, как задумано и рассчитано ими. Очи Позенельской, немного разомкнутые, из-под длинных ресниц уже наблюдают и подметили перемену в наружности старого любовника, очевидно не дающего себе отчета еще в том, что с ним происходит. Вдруг лежавшие до того пластом вдоль тела руки Марии мгновенно делают ловкий маневр и мягким, но крепким узлом обхватывают стан великого князя литовского. Из сомкнутых уст сирены раздаются слова: «О боже! Не сон ли... в объятиях моих, милый?!»

И горячие поцелуи посыпались на оше-

ломленного Александра, врасплох захваченного. Через минуту он уже отвечает сам на них со всем жаром страсти, проснувшейся после продолжительного воздержания.

Архиепископ исчез как-то незаметно. Выйдя в переднюю палату, где дежурили очередные придворные кавалеры, его эминенция отдал лаконичский приказ — не беспокоить и никого не пропускать к государю!

Наутро воротилась княгиня Позенельская в свой палац торжествующею. Всю ночь в этом палаце архиепископ распорядился спешными работами целой сотни мастеров и слуг, роскошно украшая чертоги фаворитки, приобретающей прежнюю силу. Утром послал он за нею в замок свой лучший экипаж и дождался возвращения владелицы в палац, где условлено ими видеться ежедневно. Мария должна посещать его эминенцию, отправляясь на утреннюю прогулку. В это время решался образ действий: по ходу обращения Александра с дерзкою фавориткою.

И вот в один такой визит к его эминенции, на переезде до палаца архиепископа, проницательный взгляд Позенельской подметил

новое лицо — князя Холмского.

— Наведите справки, ваша эминенция, через доверенных ваших о молодом человеке, что мне теперь попался. Он одет по-нашему, но по лицу — не наш! Кто он такой и зачем? — отдала приказ Позенельская, войдя к архиепископу прежде обычных совещаний с ним. Со слов ее его эминенция записал, что требуется разузнать, и позвонил.

На звонок из потаенной двери за спинкою кресла архиепископского, как из земли, вырос молодой, бледный францисканец, брат Бартош. В руки его молча передал патрон записку. Тот исчез так же мгновенно, как явился.

Начался разговор серьезный на тему: что заставить сделать Александра с женою?

— Послать к отцу! — настаивает фаворитка.

— Нельзя: война будет! Здесь мы ее примем под надзор наш и бережную охрану... И прилично, и безопасно.

— Только бы Олесь не попал ни под каким видом к схизматке этой... Беда горшая последует для матери нашей церкви.

— Для панны Марии... еще больше опасно! — язвительно отозвался архиепископ.

— Для меня? Нисколько! Вам это нужно... с вашим папою... Трусливы, как я не знаю что... все им опасно!.. Все вредно делу!.. Во всем неминуемая гибель!..

— Пани Мария, не вашей чести о том рассуждать! Лучше обсудите, где лучше жить: в маёнтках аль в Вильне?

— А кто привез меня сюда?

— Привезли вас, конечно, не для критики действий дела, в котором своя доля интереса есть и у вельможной пани.

— Но большая доля, отец мой, у кого?

— Скажите, Мария, что пользы во взаимных колкостях? Для общего блага нашего нужен союз... и взаимная поддержка, а не вражда.

— Да кто же начал ее?

— Уж, конечно, не я...

— Ну... и не я, сколько помнится.

— Оставим же... не время...

— Зато мне пора ехать... Так разузнайте... сегодня же.

— Что так скоро?

— Чтобы было, я хочу!.. — И фаворитка сделала мину и угрожающую и вместе обольстительно вкрадчивую.

— Будет, — отозвался прелат, засмеявшись.

На возвратном пути Мария кивнула ласково пану Пршиленжному — фискалу архиепископа, уже следившему издалека за Холмским. А тот занят был разговором с пожилым поляком, круглое лицо которого отмечено продольным шрамом наискось. Это был эконом князя Очатовского, известный нам пан Мацей, случайно попавшийся навстречу нашему герою, не желавшему лично являться знакомым панам, чтобы скрыть свое пребывание в литовской столице. Пан Мацей был горячо предан своему князю и уже доказал Холмскому свою верность в деле выпровождения Алмаза с донесением о Лукомском. Теперь герой наш просил старого служаку сослужить ему новую службу:

— Выдай меня, пан Мацей, за отставного эконома да познакомь с каким-нибудь паном или панною, близким ко двору!..

— Постараюсь, но обещать не могу вдруг: нужно разузнать, чем заручиться. Где пан

остановился?

— На фольварке, под гродем, у хлопа Коржика, где, помнишь, были мы с тобою раз, проездом.

— Знаю... уведомялю...

И сам пошел по своим делам. Навстречу ему московский старинный фактор Схариин Мовша. И с тем разговорился пан Мацей, не заметивший, как близко уже стоял от него пан Пршиленжний, вслушиваясь в речи достойного маршалка и не проронив ни слова из беседы его с Холмским. Мовша был тоже агентом архиепископа, поэтому Пршиленжний смело подошел теперь к группе старых знакомцев и без дальних околичностей просил Мовшу отрекомендовать его достоуважаемому панови Мацею, о котором он будто много слышал. На этом и завязался разговор у них. Мацей, слабую сторону которого составляла любовь к каляканью, скоро пришел в восторг от сведений, любезности и неистоцимости остроумия пана Пршиленжнего. Достойный маршалок забыл даже, зачем шел к купцу-кожевнику, и, миновав его лавку, повернул домой, пригласив к себе Пршиленжне-

го с Мовшею. К вечеру пан Пршиленжний, отдав пану Бартошу рапорт об исполнении порученного, был по приказу архиепископа послан лично к вельможной пани княгине Позенельской для сообщения ей всего, что угодно будет спросить ей о приезде москвиче. Мацей, сам того не замечая, открыл новому знакомцу, мастеру наводить вопросами на то, что ему узнать хотелось, все, что знал он о титулованном теперь паном Хлупским — Холмском. Проницательный Пршиленжний остальное сам сообразил, очень метко определив и вероятную цель теперешней поездки Мацеева старого знакомого. Остроумный фискал только был не по профессии сентиментален, и это качество его характера привело к нелогичному выводу о цели стремлений Холмского. Получив обстоятельное сообщение о его болезни в Очатовском замке, во время которой, по словам Мацея, герой наш, выходя из беспамятства, горячо рыдал, часто произнося имя Елены, Пршиленжний вывел заключение, что предметом оплакиванья была теперешняя великая княгиня литовская. А цель поездки — явное безумие: жертвование

собою, чтобы увидеть милую, страждущую, но, может быть, и не забывшую его.

Такой результат своих мечтаний Пршиленжний смело высказал Позенельской, по мере донесений его переходившей от одного удивления к другому. Ну, посудите сами: вдруг столько открытий! Фискал вырос в глазах интриганки, ум которой способен был, пожалуй, ближе всего хвататься за эксцентричности, где любовь — главный двигатель. Конечно, любовь у такого создания, как она, могла только ограничиваться чувственностью, но, судя по себе, Позенельская и представляла, что высшая степень страстного увлечения одного из актеров в драме любви необходимо должна заставить потерять голову и другую сторону. Стоит только доставить случай для свидания!

На этом достойная союзница прелата построила весь план будущих действий против ненавистной ей жены Александра, все еще казавшейся опасною жрице порока и в самом заключении своем.

Дальновидный Пршиленжний уже в разговоре с Мацеєм обещал ему приискать пану

Хлупскому такое именно амплуа, какого тот добивался, а получив от милостивой панны Марии разрешение немедленно приступить к осуществлению плана, рано утром уже уведомил Мацея, что место отыскано для его протеже. Сам в жизнь свою ничего не любивший откладывать в долгий ящик, Мацей не встретил ничего подозрительного и в сообщении Пршиленжного о поставке Хлупского на место теперь же. Разыскать князя трудностей больших не представило и обрадовало его несказанно. Мацей красноречиво изложил перед героем нашим блестящую перспективу, открывавшуюся с поступлением прямо в дом княгини. Холмский его не прерывал, но, в свою очередь, находил несколько подозрительною эту быстроту выполнения желания своего и давал себе обещание: смотреть в оба за тем, что дальше выйдет, однако принял предложение с радостью. Оно, это предложение, все же давало возможность всего ближе разузнать положение дела Елены.

С такими мыслями в сопровождении Мацея и Пршиленжного вступил герой наш в дом фаворитки. «Ее мосць еще не встала-

ла!» — сказал здешний пан эконо́м рекоменда́телям новобранца; но не прошло и четверти часа, как кандидат, приведенный Пршиленжним, потребован перед светлые очи милостивой панны княгини.

Княгиня покоилась еще на пышном ложе своем и на введенного нового слугу долго смотрела, не говоря с ним ни слова. Она была поражена мужественной красотой князя Васи́и, любуясь его красивою фигурой, старалась прочесть в глазах героя впечатление, произведенное на него ею, полновластною госпожою в столице великого княжества Литовского. Она напрасно силилась, однако, подсмотреть не существовавшее волнение в душе Васи́и, обманутая в ожиданиях, постаралась объяснить кажущееся (как думала она) бесстрашие красавца полнейшим поражением его. «Дай заговорю с ним, — решила великодушно сирена, — надо придать ему сколько-нибудь бодрости сначала».

— Мне сказали, что пан шляхтич из панцирных? Не верю! Одного взгляда достаточно, чтобы побиться об заклад, что пану судила судьба не пресмыкаться, принимая приказа-

ния в качестве эконома либо маршалка, а самому повелевать другими!

Вася был поражен этою речью. Она ему показалась допросом для проформы, когда уже все открыто: кто он и что он такое. Смертная бледность сменила мгновенно румянец, но, готовый упасть от прилива крови к сердцу, Холмский мгновенно совладал с собою и голосом, не выказавшим нисколько волнения, ответил:

— Во всех сословиях можно встретить лица, как бы ошибкою туда попавшие, ясневельможная панна!

«Как он умен», — подумала про себя Позенельская, затронутая за живое тонким ответом. Она сделала движение, как бы почувствовав томленье от зноя, и бросилась головою на подушку, рассыпав каскадом волнистые кудри длинной косы своей. Движение это, очевидно кокетливое, обрисовало обольстительно форму шеи и верхней части торса красавицы. Князь Вася невольно попятился, и жар хлынул в лицо его. Позенельская улыбнулась с чувством удовлетворенного самолюбия и величественно спустила руку с

кровати, указывая на уроненный, будто случайно, платок. Холмский ловко склонил стан свой и, подняв платок, подал его княгине. Она взяла руку его и, смотря в глаза ему, медленно произнесла, что находит пана ловким и благовоспитанным кавалером и считает для него более приличною роль гофмейстера при своей особе.

— Имя ваше?

— Василий!

— Хорошее имя; у греков это значит — круль, говорят ученые. К сожалению, не имею в виду престола вакантного и... в ожидании прошу пана поставить в муштру наших пажей да шляхту надворную. Для совещаний — я к вашим услугам во всякое время, когда дома мы! — заключила она, примерно налегая на последние слова. — Так это дело конченное, если вы принимаете!

Вася поклонился. Она указала стул против кровати — сесть. Он сел с поклоном.

— Поговорим еще о чем-нибудь: я скучаю. Не знаешь ли, пан, средства прогнать хандру? С некоторого времени гостья эта часто посещает меня, несчастную.

— Развлеченье предписывают врачи от такого недуга, — спокойно отозвался Холмский.

— А ты испытывал это средство? — так же спокойно, казалось, спрашивает новая патронесса героя.

— Испытывал — довольно!

— И проходит хандра?

— Проходит, когда займется ум чем-нибудь важным, когда его охватит необходимость во что бы то ни стало вырваться из затруднений...

— Ты счастлив, если испытывал и находил достаточным такое лечение от хандры. Нужно, может быть, для этого еще что-нибудь... страх, может быть... Ты испытывал уже, конечно, страх?

— Я не поддавался ему, и страх всего меньше может изменить, я думаю, скуку. Я знаю другие средства: дело и долг.

— А страсть бывала для тебя долгом?

— Она ставила меня на край гибели, но... долг пересиливал и... спасал меня.

Княгиня Позенельская поднялась с подушки, отбросила назад хлестнувшие ее по шее волосы и провела рукой по лбу, будто что

припоминая. А сама все глядела в глаза своему новому гофмейстеру: так ты, пан, из таких?.. Поздравляю! Сделаем опыт... со временем.

Подали письмецо, надушенное венецианскими благовониями, с гербом под короною. Позенельская быстро пробежала и бросила письмо на пол.

— Вечно меня беспокоят глупостями! — вспыхнула она так, что на нежном румянце щек выступили белые пятна. — Как будто очень нужно мне знать, что Александр едет со своим великим ловчим на полеванье?!

— Ответа ждет посыльный.

— Пусть скажет, что радуюсь удовольствию пана круля и желаю ему затравить побольше заек.

Пауза. Холмский встал. Ему дан знак сесть снова.

— Так ты испытал, говоришь, пан, многое уже? Дай руку, я посмотрю на ладонь твою.

Позенельская обратилась в воплощенное внимание. Долго смотрела она перекрестные линии черточек на ладони Холмского и наконец засмеялась приветливо.

— Я вижу, что пан счастлив: разом три вздыхательницы!..

Яркая краска выступила на лице князя, и смущение, которого он теперь не в состоянии был пересилить, овладело им всецело.

— В качестве гофмейстера тебе, пан, должно заведовать поправками в замке князя Александра. Теперь он уезжает на неделю и больше... на полеванье. Завтра нужно будет без него осмотреть все и распорядиться поправками, где следует. Это твоя прямая обязанность. Даже нужно проникнуть и в помещение жены князя. Я не хочу, чтобы считали меня враждебницею этой бедняжки, чтобы она, заключенная, нуждалась в чем-либо, терпела бы неудобства. Ты, пан, возьми переводчика с кастеляном, сходи и спроси у ней, не нужно ли чего.

Тут доложили о прибытии архиепископа. Позенельская подала руку Холмскому, указывая ему выйти в потаенную дверь за альковом и сказав:

— До видзенья!

Наутро, чуть свет, усердный гофмейстер пан Хлупский явился с кастеляном в королев-

ские каморы и приступил к осмотру зданий. Кастеляном был тот самый ловкий поляк, который провел так тонко простяка Савву, попа московского. Мнимому Хлупскому считал он теперь святою своею обязанностью подслуживаться, расточая любезности, но не слыша ничего на свое репортование, кроме односложных «да» и «нет»! Вот обошли они все этажи необширного замка, и кастелян, выведя на двор нового начальника, поведал ему, что теперь принесут ключ от входа в помещение великой княгини, но что он, кастелян, туда не хотел бы проходить, а думает, что достаточно явиться одному гофмейстеру с переводчиком.

— Я тоже не располагаю говорить ни с кем, ни о чем, потому оставляю с вами, пан кастелян, и переводчика! — заметил Холмский строго, принимая ключ от заветного отделения.

Кастелян поклонился и засвистал какую-то песенку. Холмский указал, чтобы отворили входную дверь, и сам прислонился к стене. С ним мгновенно совершилась приметная перемена. Он сделался страшно мрачен и

бледен как мертвец.

Кастелян объяснил себе эту перемену ожиданием грозы от царственной заключенницы для нового начальника, очевидно почувствовавшего себя нехорошо. Холмскому сделалось даже страшно. Сердце сжалось, и легкая дрожь пробежала по всему телу мнимого пана Хлупского. Холмский боялся, что Елена изменит тайне своей и его, увидев неожиданно перед собою друга детства. Вот причина и оставленья им переводчика. Кастелян несколько не подозревал в мнимом пане Хлупском москвитянина. С этой стороны не входило ему и в мысль никакое подозрение.

Князь Холмский не долго поддавался, однако, раздумью, когда замок сняли с двери. Он как-то машинально отворил ее и вступил на лестницу, начинавшуюся от самого входа. Лестница была не длинна, всего пятнадцать-шестнадцать ступеней, и — площадка с дверью, обитая зеленым сукном. Дверь подавалась без усилия со стороны отворявшего, и за нею оказалась камора, где сидели три польки — горничные великой княгини, немало изумившиеся при появлении нового челове-

ка. Они невольно вскочили с мест своих и в один голос крикнули:

— Что пану тржеба?

Мнимый пан Хлупский мягко ответил чистейшим польским языком, рассыпавшись в любезностях, и строгие, казалось, аргусы[32] растворили перед ним дверь в комнату Елены, по обыкновению молившейся по харатейному правилу — напутственному подарку отца. Прошло несколько мгновений, пока княгиня великая, углубленная в свое душеспасительное упражнение, обернулась, слыша, что кто-то вошел, и приготовившись к встрече, не обещавшей ничего приятного по ее мнению. Обернулась она, взглянула — так, как смотрят на предмет, внушающий отвращение, но который должно увидеть, и — остолбенела на месте.

— Вася! — прошептала она так слабо, что слышал один пришедший, и протерла глаза, словно пригрезилось ей что наяву.

— Успокойся, государыня Елена Ивановна. Это я, несомненно я... Только не выдавай меня испугом, — так же тихо отозвался мнимый Хлупский, усмотрев, что женские аргусы оста-

лись через комнату в передней.

Елена все еще не пришла в себя как следует и молчала.

— Я под видом гофмейстера должен осмотреть твоё жилище... Напиши, государыня, что нельзя высказать мне!.. Я говорить буду вслух по-польски, — таким же слышным ей шепотом, скороговоркою передал Холмский и произнес вслух, по-польски, приветствие. За фразами приветия изложил новый гофмейстер в пышных словах причину своего появления и заключил просьбою: дозволить осмотреть ему помещение её мосци. В том же тоне, официально холодном, ответила с расстановкою Елена, мало-помалу входя в новую роль, созданную неожиданностью посещения мнимого Хлупского. Она даже сочла долгом просить внимательно осмотреть место её заключения и найти место, где проникает холод да ветер в её унылое жилище.

Высказав это вслух и знаком давая заметить Холмскому, чтобы он медленнее делал осмотр, королева удалилась в свою спальню и там спешно начала писать, вырвав листок из харатейного правила.

Холмский принялся отыскивать пункты проникания холода. Он медленно водил по стене сжатою рукою и пристукивал время от времени до тех пор, пока снова показалась Елена и более приветливым голосом, чем вначале, сама стала рассказывать, где, по ее мнению, проникает ветер. Во время этого двойного осмотра стены исписанный листок перешел из-за рукава княгини в карман кунтуша мнимого Хлупского.

И этой махинации не заметили ошеломленные вначале, а потом рачительно прислушивавшиеся женские аргусы. Особенного ничего они не выслушали и так же, как кастелян, не получили ни малейшего подозрения о личности осматривавшего стены жилища высокой заключенницы. Так все бы и осталось опять шитым да крытым, если бы не излишняя предусмотрительность Холмского, вздумавшего изложить в письме Елене, как он очутился у ней и для чего. Передать он успел это очень ловко и тем, без сомнения, объяснил ей что следует, вполне успокоив великую княгиню. Но успокоенная заключенница не так была осторожна. Запрятанное поспешно

писание Холмского случайно попало потом в руки одной из аргусов-камерьер. Нужно ли прибавлять, что оно было доставлено немедленно архиепископу.

Это открытие бросило прелата чуть не в отчаяние. Он послал разом приглашение Позенельской и ордер явиться немедленно Пршиленжнему.

К счастью для Холмского, усердного фиска-ла никак не могли отыскать в этот день. Позенельская явилась, ничего не предчувствуя.

Не дав сесть вошедшей княгине, прелат озадачи ее вопросом:

— Кого вы, княгиня, приняли к себе в гофмейстеры?

— Милейшего пана Хлупского... что за человек, если бы вы знали только... Просто душака... Умен, красив, молод и предан...

— Что он молод и даже очень умен, я в том не сомневаюсь... Тем хуже для нас. Красота его заставила вас сделать непростительное дурачество: поручить ему же видеть Елену Ивановну, которой он действительно предан... Да нам-то это вред...

— Елене он предан, говорите? Что же за бе-

да?

— Что за беда, вы еще говорите? А знаете ли, что оставил у вашей соперницы хваленый ваш?

— Уж, наверно, не то, чтобы возбудить боязнь с вашей стороны, что последует рождение принца крови.

— Вы вечно смеетесь и там даже, где нет ничего смешного. Как бы вы дослушали, то, наверно, почувствовали бы отнюдь не радость, а другое что-нибудь.

— Хлупский, шляхтич... очень милый, прибавлю.

— Не о достоинствах его, а о вреде тут вопрос, вследствие вашего непростительного легкомыслия. Показали мужчине красивого, и... княгиня растаяла... Куда тут узнавать ей, до того ли.

— И незачем! Прекрасный молодой человек, шляхтич чистой крови: стоит только взглянуть на него, чтобы понять, что он не простых родителей... Что ж дурного тут?

— Что тут дурного, что он московский ксенж Холмский? — загремел, не владея собою более, осторожный прелат.

— А для вас это тайна, что ли? Ведь ваш же Пршиленжний мне разъяснил, что пан — ксенж Холмский, пылая страстью с детства к Ивановой дочери, явился сюда, жертвуя жизнью, чтобы только видеть ее. Пусть их видят: любовное воркованье безопаснее для нас позывов добродетели.

— Хорошо воркованье! Знайте, писанье его у Елены найдено, где он ей объясняет, как вы на него располагаетесь и как вы ему поручили, ни с того ни с сего, осмотреть замок весь королевский, даже вменив в непрременную обязанность проникнуть в место заключения ненавистной нам москвитянки. А его прислал отец ее именно затем, чтобы получить удостоверение в наших враждебных мерах против нее!

Затем прелат развил свой план, что следует немедленно сделать для захвата мнимого Хлупского, не ожидая, разумеется, встретить противницы в особе княгини. Она между тем горячо опровергала намерение его эминенции: убить мнимого агента, по ее словам, и действительного любовника Елены (все еще не убежденная в том, что далась так легко на

удочку москалю). Хлупский все еще рисовался в ее воображении ароматным цветком, сулившим море новых, не испытанных ею еще наслаждений. Сама не зная как, она оказывалась влюбленною уже в своего гофмейстера, с которым мечтала разделять досуги от наскучивших уже ей ласк царственного обожателя. Историю, рассказанную ей прелатом, она сочла ни больше ни меньше как одною из тех непростительных уловок, к которым и на глазах ее не раз уже прибегал прелат для удаления людей, мешавших его планам. Как знать, не думает ли его эминенция окружить и ее, до сих пор самостоятельную повелительницу собственных влечений, заботливым наблюдением своего нравственного контроля? Она на это сама, конечно, не согласится, и этому преданный ей и разделявший с нею утехы Хлупский, естественно, должен быть первым препятствием. Вот и причина выдумки прелата.

С той самой минуты, как подобная комбинация мелькнула в мозгу упорной фаворитки, гнев ее на архиепископа запылал с ужасающею быстротою разгара. Через полчаса княгиня выходила от прелата чуть не врагом его.

И он, раньше времени спасовавший, старался теперь бесполезно умилоствить раздраженную союзницу, такая и дакая на ее опровержения мнимой, как ей казалось, измены дорогого Хлупского. Оставшись же один и не имея при себе Пршиленжного, прелат впал в тяжелое раздумье и в уме уже соглашался на отмену до времени враждебностей против московского агента, за которого так упорно стояла Позенельская. Она же дорогою к себе при одной мысли о потере красивого гофмейстера начинала чувствовать возбуждение к нему большой нежности. При таком же настроении своем, видя гофмейстера своего, вышедшего навстречу ей на лестницу, Позенельская оперлась на плечо его, поднимаясь по ступеням и говоря с ним ласково, дошла до своей опочивальни.

Дав затем знак притворить двери, она прямо высказала мнимому Хлупскому все, что сообщил ей прелат, уверяя оробевшего вначале молодого человека, что она ничему не поверит до его признания. Нужно ли прибавлять, что в душе Васи происходила в эту минуту страшная борьба? Речь Позенельской лилась

рекою, и нежные объятия красавицы красноречивее слов ее доказывали могучесть поддержки мнимо оклеветанному. Были мгновения, когда рассудок отказывался в нем от противодействия искреннему порыву признания, но мысли о долге, о родине, о заглаждении нравственных падений пересилили неблагоприятное решение, гибельное не ему одному. И эта-то мысль — не губить других из-за себя — дала ему твердость устоять до конца и выслушивать вполне всю повесть новой страсти фаворитки. Она делала его, жениха Федосьи Ивановны, нечувствительного по наружности на призывы чувства к Зое, — жертвою пресыщенной похоти польки. Он содрогнулся, но выдержал и эту пытку, не вырываясь из ее объятий. Только упал на колени и зарыдал, но эти рыдания истолкованы Позенельскою как обращение к ее защите оклеветанного. Она поднимает его и уверяет, что враги дойдут до него... только по ее трупу!

Страсть Позенельской, конечно, не встречала настолько же живого ответа со стороны так горячо отстаиваемого ею клиента, но недостаток живости его относилась она к рабо-

сти, неразлучной с новостью положения, в которое он поставлен внезапно. Поручкою же в его невиновности в шпионстве служила для нее бестрепетность, с которою выслушал он наветы прелата. Слепленная страстью своей фаворитка Александра, конечно, при этом оказывалась в ослеплении, очень естественном в ее положении, но мнимо застенчивый князь Вася, принимая ласки сирены с покорностью — из боязни предать интересы других, дорогих ему, — сам в это время обдумывал уже план немедленного бегства из Вильны.

Казна и кони Позенельской были в его распоряжении, да и своих денег у него было достаточно, чтобы не откладывать из недостатка в средствах свой отъезд. Он только ждал минуты отпуска от княгини, в перспективе сулившей ему новые испытания, где гибель грозила всему, что берег он и ревниво охранял как святыню, для которой малейшее облако неверия было уже полною профанацией.

И он и Позенельская, однако, во время этого разговора так долго находились в положении тяжелой напряженности чувства и нерв-

ного раздражения, что ослабление — верный признак физического и нравственного утомления — неминуемо положило конец аудиенции.

Страстная княгиня, отпуская для отдыха загадочного гофмейстера-любимца, вполне высказывает мечтания о наслаждении, уже близком, на следующее утро.

— До завтра — тебе необходимо подкрепиться сном! — заботливо наказывала она ему, подавая руку, сама уже осиливаемая полудремотою.

Холмский, целуя протянутую ему красивую руку, не мог удержать невольного вздоха — про себя он уже повторял — *навсегда!*

Действительно, едва тихий сон принял в свои ласкающие объятия страстную женщину, рисуя ей изображение прерванного разговора в самых обольстительных формах полнейшего достижения стремлений ее, как предмет грез этих на лучшем коне уже мчался из Вильны, грозившей ему сделаться Капудей.

С его стороны достигнута вполне цель поручения и даже добыто собственноручное

письмо несчастной Елены.

Улики преступному мужу все налицо. Кара тестя не могла уже медлить.

Через два дня князь наш был уже за московским рубежом, вне преследований.

## VII ВОЙНА

*Ай же вы, русские птицы!  
Там ведь вы не бывали,  
Горя-нужды не знавали.*

Из песни «Каково птицам жить на Руси»

**В** Москве горе и опасности забыты радостным женихом княжны Федосьи Ивановны. Свадьба с нею князя Василия Даниловича Холмского теперь уже не откладывалась царственными родителями невесты, и день 13 февраля 7008 года от создания мира сделал добрую княжну Феню счастливейшим созданием на свете. Она видела в своем муже воплощенное собрание всех совершенств, и, отвечая на горячее чувство любящей жены, князь Вася совсем было разнежился. Для му-

жа и жены слово «поход» было первым роковым ударом. Горько заплакала молодая княгиня, бросившись к отцу умолять его оставить с нею ненаглядного Васю.

— Да ты не рехнулась ли, Феня, коли просишь меня о такой неподобной вещи? — шутиливо, но решительно ответил на ее просьбу суровый родитель. — Что же скажут другие вожди мои, коли я оставлю с тобой князя Василия? Как посмотрят они потом и на него, сама посуди? Я не решусь обижать твоего мужа малейшим сомнением в готовности его делить труды с соратниками.

Разговор Фени с матерью привел к такому же результату, только отказ вмешиваться в дела мужские великая княгиня-матушка облекла в более мягкую форму и сочувствие горю любимой дочери.

Пришлось покориться горечи разлуки и даже самой торопить мужа по совету матери. Князю Василию, конечно, было не меньше грустно расставаться с женою, но он, как умный человек, успел скрыть все признаки внутренней борьбы долга с чувством, уже привыкнув подчиняться непреложности во-

ли государевой.

Сборы, впрочем, задлились больше, чем хотел Иван Васильевич, не в характере которого было откладывать решенные им удары противникам. В деле же необходимости прочить коварного зятя государь был затронут за живое двуличностью политики своего родственника и хотел накрыть его, не дав времени приготовить ему достаточный отпор. В этом было и больше поруки за получение результата, соответственного желаниям государя.

Силы с севера сбирались, однако, медленно. Тверь, назначенная сборным местом для выступления к Смоленску, в течение трех слишком месяцев была свидетельницею бесплодных усилий и забот князя Даниила Васильевича Щени устроить скорее войска. Наконец, в половине июня послал он в столицу нарочного, вызывая немедленно князя Холмского, до того не потревоженного снисходительным начальником.

Государев сын, князь Василий, великая княгиня Софья Фоминишна и жена проводили молодого воеводу за город до первой под-

ставы. Почти беспамятную уложили в колымагу княгиню Федосью Ивановну.

Вырвавшись из объятий жены, Холмский дал волю коню своему и на следующий день явился в ставке князя Данилы Васильевича, уже готового выступить со всеми силами.

Наутро опять был молебен. Преосвященный окропил святою водою все стяги, ходя по рядам спешенных дружин. Вожди прикладывались к кресту, яркие стяги развевались над полками, полоскаясь прорезными углами прапоров. Князь Данила сел на коня. К нему подсаkali вожди отдельных частей для получения последних приказаний. Вороной жеребец князя Василия Холмского, красуясь могучим всадником, скоро выделился из кучки воевод. Холмскому вверен передовой полк, и он повел его первым, открывая шествие по Гжавиской дороге. Полки были многочисленные и кони добрые, не терявшие бодрости в зной. Пора была страдная и дни светлые. Травы достигли в это лето замечательного роста на водоразделе, с которого стекают наши самые большие русские реки. До Днепра не встречали наши ратники ни малейшего сле-

да воинских приготовлений по литовской окраине. Холмский, пуская далеко вперед партии для разведки неприятеля, впадал просто в отчаяние. Он боялся: не скрывается ли где, по сторонам, в лесах, которыми покрыта была эта местность почти сплошь, вражья сила в засаде? Но проходили дни за днями, следа врагов не оказывалось в окрестностях Дорогобужа. А не взяв этого города, князь Данила Щеня не хотел идти дальше. К тому же государь над сторожевым полком повелел принять начальство боярину Юрию Захарьичу, добившемуся успеха в Северной области, вызвавшего отступление князей православных от литовского подданства. Эта заслуга казалась боярину Юрию достаточною, чтобы верить ему и честь начальствованья большим полком. Государь же поставил туда Щеню, как будто для того поздно и выступившего, чтобы взять верх над заслуженным старцем. Юрий Захарьич, получив приказ подчиниться Щене, отважился написать государю о своих заслугах, «што ему позадь князь Данилы никоими делы быти не довелось», но Иван Васильич был сам упрям и не любил возраже-

ний: что сделано — так пусть и останется? Написал обиженному прямо: «Гораздо ли так чинишь? Говоришь, непригоже тебе стеречи князь Данила: меня и дела моево? Каковы воеводы в большому полку, тако чинят и в сторожевом, и то все не сором тебе. Бывал витязь отменной, первый боярин Федор Данилович, не тебе чета, да не соромился сторожи разводит! Ино и побита враги пришлось вдосталь... и честь прия».

Мало утешала настолько незавидная, казалось, роль честолюбивого Юрия, да плеть обуха не перешибет. Покорился. На князя Данилу только хмурился он да от него отшатывался, язвительно отмалчиваясь или отделяваясь незнанием на спросы: что делать? Впрочем, свой сторожевой полк Юрий держал во всей исправности и с Холмским был больше чем ласков, даже заискивал в нем. Понятно, что при таком положении князь Вася мог действовать совершенно самостоятельно и пускал в ход всю свою природную сметливость, до сих пор выручавшую его из самых величайших затруднений. Случай представился скоро выказать нашему герою в полном блес-

ке свои богатые способности и в роли воеводы.

С наступлением июля ночи стали довольно темны, и в приднепровских лесах, где расположены были передовые отряды, — такая темь, хоть глаз выколи. Редкая ночь не проходила без дождя, смачивавшего до нитки бедных дружинников, заливая огоньки, вокруг которых располагались храбрецы наши. Князь Василий Холмский уже другую неделю не был и в главном стане воеводском. Все подаваясь понемногу вперед, расширял он круг разъездов своих летучих отрядов, получив поручение отыскать движение неприятеля.

Сотник в княжеском полку Гаврило Коршун-Незамай справлял на лужайке в дубнячке свои именины и собрал под вечер ближайших знакомцев. Князю Васе нельзя было отказать от участия в братине зелена вина, предложенной попросту хлебосолом-имениником. Подпили храбрецы в меру и располагали уже сесть на коней да ехать каждому в свою закуту, когда с истомленного коня прыгнул новик Угадай и весело крикнул:

— Нашли литовцев!

— Где, когда? — разом крикнули десятки голосов собеседников, но вестник, утирая пот, просил испытать, обещаясь поведать все по ряду.

Ковш пенистого меда поднес сообщителю радостной вести сам хозяин Коршун. Угадай, осушив его, не долго оставил в неведении честную компанию.

— Едем мы, братцы мои, по краю овражка длинною тропкой, узенькой; где-то, слышим, не то шум, не то гул отдается... Слышнее да слышнее все. Поглядываем по сторонам — нет ничего. Вот выбрались до самой опушки — все ничего! Да Сенька Налет глянул взад, а за речкою через поле штой-то пестреет. Насторожили мы уши, пялим глазичи — пестреет это да словно движется помаленьку. «Братцы, — крикнул Сенька, — никак, вороги евто?»

Они и есть, подхватили мы. Да как были, с горки в речку — и высыпали на поляну. Овсом ну скакать — не видно ведь нас. Чем ближе — тем яснее, што Литва. Таково смиренхонько пробираются хрестьянской тропкой, проселком. Насчитали мы в обозе телег ста с

три, а конных дружин видимо-невидимо. Пустились это наперерез. Налетели как снег на голову — вырвали троих... да, покуда опешила Литва — мы и были таковы. Сенька справил к боярину Юрию Захарьичу языков. А я к вашей милости, князь Василий Данилыч, — заключил Угадай донесение.

— Кто же это идет? — спросил его Холмский. — Как говорили языки?

— Самой старшой, говорят, гетман литовский, Константин Острожской-князь. Правда ли бают, будто он самой и был это: худенькой да мозглявенькой. Моложав уж больно: бородка клином только обросла.

— На конь, братцы, — крикнул Холмский. — Сомкнемся в цепь, и Угадай поведет нас поближе к князю Острожскому!

Братины, выпитые у Коршуна, оказались подкреплением впору перед подвигом. Через полчаса поляна опустела, а бледный рассвет дня 14 июля обрисовал в параллели с двигавшимися литовскими силами русский полк. Русские готовы были ежеминутно пересечь длинную вереницу подвод с хлебом, двигавшихся между хвостом и головою неприятель-

ского корпуса. Силы, предводимые молодым князем Острожским, оказались довольно значительными, но не большими, чем полки московские. Передовые полки боярина Юрья Захарьича следовали близко, нагнав Холмского еще ночью. Воевода главный благодарил князя Васю за его распоряжения, по милости которых движение врагов не утаилось и открыто вовремя. Опытный стратег в свое время, боярин Юрий послал князя Василия Данилыча, как рассвело только, вперед по берегу Тросны-Ведроши, присоединив к нему еще силы, вверенные Дмитрию Васильевичу Шеину, горевшему, как и наш герой, желанием помериться с литовцами.

Обоим молодым воеводам велено заскакать подальше вперед, переправиться через Ведрошу и взять во фланг передовые дружины литовские. Когда же число врагов начнет прибавляться — героям нашим наказал боярин не стоять упорно, а опять постараться уйти за реку, заманив туда бегством своим горячего неприятеля.

Все исполнено ими в точности. Взошло солнышко в тучках, показало на миг красный

щит свой и опять скрылось, когда из-за кустов на узкую тропку, занятую передними ротами литовцев, стремительно ударили Холмский с Шеиным. Внезапность удара произвела смятение в рядах врагов. Повалив с коней десяток-другой, заработали проворно мечи схватившихся за руки витязей.

Число врагов между тем расти стало. Из-за заднего ряда голов выступать стали новые ряды железных шапок, снизываясь как монисты в новые нити пышного ожерелья бога войны. Лес копий частым тыном начал развиваться все шире и шире, захватить стараясь с обоих краев мужественный строй нападавших.

— Князь Василий Данилыч, ты в плечо ранен! — раздается голос Шеина, рубясь, заметившего, что капли крови сочатся из-под разрубленной кольчуги нашего героя.

— Ничего, немного! — отвечает Вася и сваливает с коня противника. Одним ударом по голове ошеломил его, другим раскроил он надвое дебелий череп краснолицего толстяка, не моргнувшего при виде смерти.

— Сам смотри... Летит в тебя дротик! —

крикнул Шеину Холмский, нанося новый удар на скакавшему на него поляку, отрубив ему кисть с саблею.

В это время зачастил дождь стрел татарских наездников заходившему от реки литовскому полку в тыл.

Татарские стрелы заставили неприятеля встать да невольно податься направо. А русские бойцы с гиком сделали вдруг отчаянный натиск и прорвали левый фланг наступавших. Затем последовал оборот наших к реке. Мгновение... и — герои вплавь перенеслись назад через Ведрошу, никого не потеряв в сшибке, делавшейся уже борьбою неравною. Литовцы опять остановились на минуту, пораженные маневром этим, неожиданным для них. Затем погнались они за утекавшими бойцами за реку, в чашу леса.

Был уже час одиннадцатый утра, и солнце, освободившись от савана белых туч, величественно выплыло на яркую безбрежную синь чистого неба.

Князь Данила Щеня успел в полных силах занять слегка всхолмленный берег Ведроши. Он заменил свежими полками своими ото-

шедшие в глубь леса дружины Юрия Захарьича. Храбрецов литовских, доскакавших до холмов заречных, приняли тут, с правой руки равнины, небольшие покуда ряды московской конницы, пропустив своих, заманивших врага. Обманутое ожидание и сознание неразумной отваги изобразилось на лицах литовских латников, потребовавших подкрепления. Стойко приняли они первый натиск приготавливавшихся неприятелей. Но те бодро боролись, выжидая двигавшиеся медленно подкрепления. Прошел час и другой, пока князь Константин Острожский сосредоточил силы свои за Ведрошею и потеснил наш центр — большой полк князя Щени.

Минута была критическая. На правой руке Юрий Захарьич торжествовал, но не мог скоро прорвать главную массу противников, чтобы подать руку помощи товарищу. Знавшие их обоюдные чувства говорили даже, что Захарьич умышленно медлил, смотря по ходу боя, чья одолевает. Разбить своих он допустить не думал совсем, но обессилить князя Данилу и одним ударом решить победу, увенчавшись славою только на свой пай, входило,

несомненно, в расчеты честолюбивого старика. Впоследствии, опровергая такое, ставимое ему в обвинение, говорил он, казалось, очень разумно: «А кто же послал разрушить мост в тылу Острожского, если не я? Да кто же и Холмскому дал приказ отрезать литовские силы от обоза? Спросите Василья Данилыча, как это было?»

Действительно, вовремя ускакав из сечи, Холмский, наскоро перевязанный и не чувствуя упадка сил от потерянной крови, через час уже был на коне снова. Шеин, от засевшего глубоко в руку ему дротика, оказался в худшем положении и увезен в стан. Получив в начальство затем оба отряда, наш удалой князь Вася на спрос у боярина Юрья, что теперь делать, получил в ответ: ступай опять за Ведрошу!

Лаконический приказ этот, поставивший бы другого, менее предприимчивого вождя в явное затруднение, для Васи сделался поводом новых отличий.

Он построил свои две тысячи пятью линиями и, объехав с севера сражающихся верстах в двух ниже, нашел на Ведроше мост. По нему

переходили теперь последние сотни литовцев. Напасть на них и разнести в прах отставшие отряды численностью меньше его было делом нескольких мгновений. Конечно, этим своим действием он произвел смятение, скоро достигшее до слуха главного вождя. А им отряжена была известная часть главных сил, теснивших Щеню. Но пока направлялись куда следует оттянутые литовские силы на подкрепление своего тыла, князь Василий Данилыч успел перескакать мост через реку и зажечь его, чтобы замедлить на себя наступление. Очутившись же за рекою, герой наш прямо попал в обоз, скрытый за кустами и почти никем не охраняемый. В обозе этом были пушки тогдашние — затинные пищали. Герой наш тотчас же вывез их на берег Ведроши и стал угощать врагов их гостинцами, таким образом поставив одерживавших верх между двух огней. Тут-то Захарыч и свои усилия для разгрома Острожского соединил с бесплодными до того попытками Щени прорвать центр нападавших. Враги, теснимые с трех сторон, бились отчаянно, но, наконец, при вести, что москвитяне овладели обозом,

поражены были паникой. Сперва поворотили коней, разумеется, поражаемые Юрьем. А затем и сам раненый князь Острожский бросил поводья коня своего, обессилев от потери крови. Добрый конь, раненный стрелою, ринулся в Ведрошу и вывез своего господина невредимо из сечи. Будущий победитель русских, а теперь разбитый наголову, с потерей всех сил своих, Острожский отдался добровольно нашему знакомцу Угадаю, назвавшись шляхтичем Слубским. Мнимого шляхтича привез пленитель его, возмев сильное подозрение, прямо к Холмскому.

— Это и есть князь Константин Иванович! — при виде обессиленного гетмана вырвалось у князя Васи, лично его знавшего. — Добро пожаловать, княже, ты гость мой, не пленник! — поспешил отозваться молодой воевода. Несчастный вождь взглядом благодарности почтил великодушного врага, принявшего в нем такое участие.

Не такой прием ждал других знатных пленников. Князь Тювешь — татарин смышленный — был ограблен до нитки в отряде Стригина. Ивана Муника — старосту купцов

смоленских — готовились повесить уже и на-  
бросили петлю на шею ему, как переметчику,  
когда случайно очутился близко и увидел эти  
приготовления сам боярин Юрий, признав-  
ший его за знаконца. Князя Юрий Михайло-  
вич, Богдан Одинцов и Богдан Горинский,  
Дрютские взяты все покрытые ранами, исте-  
кая кровью. Олехно Масланский, прислонясь  
спиною к дубу, отбивался, пока не вышибли у  
него отломок меча из рук. А князь Михайло  
Глушонок-Глазынич чуть не погребен был за-  
живо, найденный на другой день со слабыми  
признаками жизни. Литовцы устлали 8 тысяч  
трупов волнистые берега Ведроши. Никогда  
еще победа москвитян над Литвою не бывала  
настолько полною и купленною так недорого,  
хотя и после шестичасового жаркого боя.

Иван Васильевич был несказанно рад та-  
кой блистательной победе, а еще более дово-  
лен, что зять его взял в плен единственного  
защитника дряхлой Литвы князя Острожско-  
го. Грамотка великодушного Холмского к го-  
сударю расположила державного к ласковому  
приему гетмана, получившего обильное жа-  
лованье от Ивана Васильевича: враждебника

по политике, но покровителя православия, горячо любимого князем Константином. Государь послал сказать свое милостивое слово победителям: князю Даниле и князю Иосифу Дорогобужскому, удержавшим за собою поле, отбив все нападения литовцев, и князю Васе Холмскому за его подвиги, начавшие и увенчавшие успехом родное дело. Боярин Юрий получил только заверение, что государь его службу сам знает. При этом повелено было вождям заняться осадой Смоленска, не теряя времени. А князь Холмский с титулом наместника смоленского должен был управлять занятым нами краем, снабжая воевод продовольствием и заботясь об улучшении дорог от Москвы для подвозки стенобитных орудий.

Молодому наместнику хлопот полон рот, особенно с наступлением осени. Тогда осада, вызвавшая всю бездну забот о доставке тяжелой артиллерии, за ранним наступлением морозов и большими снегами обманула коварно все расчеты воевод царских. Осаду они отложили наконец до вскрытия рек, только такое решение пришло уже поздно. Обозы с хлебом и снарядами давно были в пути, куда

назначено. Так что и это обстоятельство оказалось опять только прибавкою хлопот и дела без того по горло обремененному воеводе.

С раннего утра до поздней ночи почти не стояла на петлях утлая дверь в избу, единственную из уцелевших во всем сожженном замке литовского воеводы Литавора Хребтовича, где помещался со своею съезжею (канцелярией) князь Холмский. Сам он занимал две дальние каморы на конце восточного крыла здания, лучше сохранившегося, чем остальные помещения. Истома Лукич Удача — и писец, и письмоводитель, и правитель наместнического приказа — помещался в своей письменной палате. Он на ночь забирался на печь, заставляя ее с вечера топить до того, что еще и закладывали вьюшки в трубу с красными углями в горниле. За всем тем к утру сосульки висели на верхнем тулупе, которым покрывался сверх шуб работающий делец-исполнитель. Как только раскалится печь — с потолка начнется капель. Капли в ночи образуют потоки, а к утру с быстрым охлаждением дьячьего чертога становятся они вроде сталактитов, рядами ледяных тру-

бок спускаясь на стены и на печь с потолка.

И в такой-то тяжелой жизни пришлось бедняку жить да целые дни работать не разгибая спины. Неудивительно, если с наступлением сумерек дрожь — неразлучный спутник ослабления сил физических — рано заставляла беспритязательного Истома скрываться под хранительную сень овчин. Жарко истопленная печь в сырой атмосфере такой адской избы распространяла быстро благоухание воздуха наподобие летнего. Благодаря эта сама собою располагала ко сну даже более крепкого и менее привыкшего к неподвижности субъекта, чем благодухный Истома. Он же, всласть отводя душу крепким медом после сытного обеда, со своего просиженного полавочника как-то неприметно переходил на сырое ложе под шубы.

Сказали уже мы, что осень 1500 года, следовавшая за победою нашей при Ведроше, была страшно обильна снегами. С приближением к зиме снежные пороши перешли просто в сибирские пурги. И день и ночь валит себе да валит крупными хлопьями снег, засыпая в лесу чуть приметные просеки дорог, со-

всем заносимых на полянах. Выбиваются из сил истомленные обозные лошадки, попав в вязкую кашу, в какую в эту зиму обращался чуть не ежедневно снег сыпучий.

Представьте же себе в такую пору в замке Хребтовича невольных обитателей развалин — воеводу да дьяка, — боровшихся со всякого рода лишениями. Вечно за делом выносят они убийственную сырость с резкими переходами от жара к холоду.

Только железное здоровье тогдашних людей выносило эту пытку терпеливо и счастливо, навек не расстраивая мощного организма, пожалуй, среди передряг больше закалявшегося. Положение стражников, детей боярских, — на посылках и для охраны сюда присылаемых по очереди, — было еще хуже, конечно, чем для постоянных обитателей: самого начальства местного. Воеводу согреет и русская печка-матушка; напитает он себя хорошим вдосталь; оденется в три-четыре кафтана — его и пушкой не прошибешь! А каково дрогнуть на дневанье новику-бедняку, в лапотках да в понитном[33] чекмене? Шапочка ветхая, с выеденным крысами меховым око-

льшком; кожаные рукавицы без варег да чекмень, хотя бы и поверх полушубка, на ветру сквозном, пронзительном, под воротами расшатанными в целый-то день насквозь дадут пронизать человека морозу зубастому! Дрожь такую можно научиться разыгрывать, колотя зуб об зуб, что только больно будет ныть челюсть от этой музыки. А стоять надо — велят! И послушаться нельзя — на то служба, говорят, государь недаром вам, вахлакам, сверх земельных участков рублевый оклад отпускает! Ну и стоят сердечные. Голодают и недосыпают в разгоне, зато дремлют на простое. Да и важно дремлетя как! Притулишься под стенку, ножку на ножку заложишь, ручницу обнимешь дружески и под свист да под песню приятеля, ветра буйного, всхрапнешь, пока не видит десятник. В воскресный день особенно удобно дремать стражнику: никто уж и не взыскивает! Да что от скуки и делать беднякам, как не спать? Вдали от своей семьи да от теплого угла, в чужбине неприглядной, где довелось коротать эту зиму русским людям по воле державного. Об Рождестве дни короткие. Не успели в дальнем городе прогудеть за-

унывно звуки колоколов к вечерне — как уже тьма непроглядная. Каким-то черным богатырским остовом представляется впотьмах замок Хребтовича, погруженный во мглу, сыпавшую пухлые комья снега...

Подобие зрячего глаза во лбу великана представляла яркая точка света из прорванного пузыря оконницы в избе Истомы Удачи. А на глаз — уже ничего не видевший, только напоминавший о себе тусклым пятном сияния во мраке — походил огонек за цельным пузырем в светлице князя Холмского.

Все в его временной резиденции погружено было в мирное безмолвие. Стражники двое тоже дремали под воротами. Вдруг неведомо откуда вывернулся конник на статной лошади, спрашивает, где воевода. Вместо ответа стражники только кивком головы указали ему машинально в сторону тусклой точки света.

Прибывший, видно, вполне удовлетворился и этим, потому что больше ни о чем не спрашивал. Подъехал на дворе к крылечку и исчез во мраке сеней. Видно, загадочный посетитель очень уж был догадлив, потому что

отыскал затем утлую дверь в жилище Холмского. И прежде чем поднялся с полавочника князь-хозяин, лежа читавший по харатье притчу на смущение помыслов, перед ним стоял уже странный посетитель. Он приветливо смеялся и называл воеводу по имени (только без отчества).

— И все не узнаешь, князь Василий? — с новым порывом веселья спрашивает по-польски прибывший.

— Нет!.. Быть не может?!

— Возьми же мою руку, и если по ее трепету ты не отгадаешь, кто я, то...

— Отгадал — даже и в переодетой! — по-польски же спешит заявить хозяин. — Зачем, однако, княгиня, Бог занес твою честь к нам?

— Затем, что верный гофмейстер мой бежал так поспешно и меня не уведомил... Заставил горько оплакивать опасности, которым он четыре тяжелых дня подвергал себя...

— Напрасно изволила честь твоя принимать на себя такие заботы о неключимом рабе... до нашего рубежа долетел я без всяких приключений. После уже стало известно, что на другой только день как Пршиленжний за-

гнал — как оповещал он — пять добрых коней и мог наскákat беглого холопа княгини Позенельской. Обворовал, вишь, ее мосць: увез тысячу коп карбованцев злотых. Сказке такой порубежные власти наши, конечно, не поверили и погони не сделали. А пан в погоне за мною всего опоздал только на полторы сутки.

— Счастлив ты, князь, что так счастливо отделался... от этого Пршиленжнего. Это, как тебе, может быть, известно, фискал пана архиепископа, завзятый рубака и висельник... Нагнал бы он тебя, так Богу известно, кто из вас двоих остался б в барышах? Я полагаю — он! И при одной мысли, на что способны архиепископ и слуга его, у меня болезненно сжималось сердце... Я начинала бессознательно читать Аве Мария...

— Благодарю за память и ласку, а все недоумеваю, что бы доставило мне честь теперешнего посещения? И где же? Здесь, чуть не среди стана неприятельского. Это для княгини, хотя и очень храброй, больше чем безрассудство. Могли бы признать и схватить, а не то — убить твою честь?!

— Да разве приметно, что не мужчина едет? — отважно спрашивает Позенельская. — Твои стражники, князь-воевода, не заметили же меня? А я еще к ним сама обратилась с вопросом: где воевода?

Холмский пожал плечами.

— Однако что же заставило благородную княгиню пуститься на такую опасную шутку? Не верю я, чтобы то забота была о твоём сбежавшем слуге, о котором вспознали, что близко он, стало можно, пожалуй, и схватить его, што ли?

— Нет, конечно. Я не настолько глупа, чтобы пускаться для этого на опасность, як ты, пан, мувишь... Есть более важное дело и более достойное воеводы, доверенного царя московского. Я являюсь уполномоченною от короля Александра предложить мир его тестю на условиях, которые будут выгодны для Москвы... только с одним условием.

— А с каким, нельзя ль узнать?

— Да ты и должен первый знать об этом, когда к тебе я прямо обращаюсь, зная твою привязанность к пани Елене. Если ты, чтобы увидеться с нею, принял роль слуги моего,

значит, она дорога тебе? От тебя и будет зависеть: предложить, теперь Ивану Васильевичу взять свою дочь обратно. Я ей не желаю зла и не могу относиться холодно к страданиям молодой женщины. Под таким условием я уговорю Александра отдать Смоленск тестю! Неужели же вам всего этого мало?

— Не мало, не спорю — важная уступка! Да как же государю дочь-то к себе потребовать? Жена от мужа не берется. Он во всякое время назад ее взять пожелает.

— Не пожелает, коли подпишется обоюдно договор. С нашей стороны измены не будет — вы только не начинайте.

— Что же, Смоленскую-то область за вено Елене уступает сожитель?

— Как хотите почитайте, уж там ваше дело. Мы предлагаем сделку, и сам ты мувишь, князь, выгодную... Не теряй же времени — пиши своему государю.

— Изволишь видеть, княгиня, то, что честь твоя высказать изволила, писать не приходится нашему брату: на смех подымут и своя братья... Не токмо государь! Ты, скажет, плохой слуга, коли бабья разума слушаешь!

— Так ты не словам верь, а грамоте! Читай! — И княгиня вынула из-под охабня втрое сложенную грамоту, запечатанную восковою печатью.

Холмский, приметно взволнованный, пробежал содержание — то же самое, что говорила отважная посланница. Подпись была, несомненно, собственноручная короля Александра, даже скрепленная и канцлером-архиепископом.

— Все в порядке. Почему не послать к государю? Можно будет. Только как же я уведомя вас и на чье имя пошлю уведомление? — спросил воевода передатчицу королевской грамоты.

— На мое имя, известно, — ответила она величественно.

— Это невозможно, княгиня. С какой стати я, воевода государя московского, решительную волю самодержца сообщать буду неслужилому лицу — твоей чести?

— Пани Позенельской можно получать даже репорты от ее гофмейстера, пана Хлупского...

— Да это было, пожалуй, в порядке вещей,

ТОЛЬКО.

— Не теперь, ты скажешь? Разумеется, тогда пан Хлупский склонялся на колени перед пани вельможной, а она... так милостиво слушала его рассказы и не требовала от него ни клятв, ни подтверждений.

— За это вечная благодарность милостивой пани.

— И только?

— Преданность, хотел сказать я...

— Отчего не прибавишь ты — любовь?

— Я оказался бы лжецом.

— Неблагодарный! Это ли награда за...

— Вечная признательность.

— Не она нужна мне.

— Больше ничего не могу уже прибавить.

— И сердце есть у пана князя?.. Оно.

— Занято, пани княгиня, прежде, чем узнал я, что честь твоя живет на сем свете.

— И в том не вижу я беды! Пан князь смотрит уж чересчур возвышенно на причуды сердца. Поверь мне, оно тем живучее, чем способнее шалить. Сердце, мой коханный, — не китайский идол, для того только и уст роенный, чтобы во имя его проделывать фиг-

лярство, уверяя, что это — египетское таинство какое-то. Для любви, как понимают ее люди, знающие сладость в жизни, не существует такого обширного горизонта. Любовь смотрит совсем не так высоко на связи и обязанности, куда входит как главный двигатель и заключатель условия. Недаром ведь премудрые римляне в старину представляли любовь дитятею с повязкою на глазах! Дай только завязать эту повязку надежнее, а там уж — и никакие трудности не будешь ты в состоянии усматривать. Исчезнут всякие рогатки и преграды, и... счастлив, кто так смотрит на это.

— Так я... не из числа этих счастливицев. Для меня долг...

— Ну, что с тобой спорить... за долг, что увел моего коня лучшего, поцелуемся хоть... на прощанье, пан нелюдим! Другой бы на твоём месте не отпустил искательницу приключений так скоро... Вероятнее всего, пустился бы досматривать, что у ней под кунтушем и под поясом...

— Княгиня, мы, русские, послов с грамотами не досматриваем...

Фаворитка засмеялась как-то двусмысленно и ущипнула за руку молодого воеводу, садясь на его походное ложе.

— А что будет, как прекрасную княгиню застанет у меня кто-нибудь из наших?

— Что будет? Князь Холмский во второй раз в жизни принужден будет солгать: называть свою гостью пажом короля, в службу которого вступил гофмейстером.

— Не поверят, княгиня, мне. Пажа этого схватят и туда упрячут, откуда не воротится уже он... предлагать московскому государю вторично взять дочь его домой!

— Я явилась к благородному рыцарю — не к пану Хлупскому, а к князю Холмскому. А у него, если не знаешь, пан, я скажу тебе — золотое сердце! Князь Острожский засвидетельствовал это королю Александру в письме. Так, видишь ли, отдаваясь ему, слабая панна должна прогнать всякую боязнь за свою безопасность. В словах пана князя, как ни горько разочарование в том, что желала бы я и надеялась было встретить в тебе, усмотреть я должна только заботливость: прогнать от себя скорее искусительницу, перед которой бо-

ится не устоять его постническое целомудрие? Этим только и объясняю я себе мнимую боязнь за меня и мою безопасность! — И еще громче захохотала сама таким хватающим за сердце смехом, в котором звучали и страсть, и дерзость, и цинизм, пожалуй.

И этот приступ выдержал искушаемый. Сделался только грустнее и серьезнее.

— Княгиня! — сказал он сдержанно. — С детства заставляли нас учить наизусть притчи Спасителя. Текст «не мечите бисера перед свиньями» вполне применяется к напрасному расточению тобой нежности недостойному такой благосклонности. Я знаю очень хорошо, кто и что такое честь твоя. Ты находишься в полном заблуждении обо мне. Ответить на поставленный мною вопрос тебе ничего не приходится. Но прежде чем окончательно разувериться и увидеть полное противоречие во всех частях представления меня не таким, каков я есть, — расстанемся друзьями!

— Если ты хочешь оставаться камнем — никто, конечно, не помешает тебе, но ведь и камень трескается. Я все же лучше о тебе ду-

маю, чем ты о себе говоришь.

— Может быть! Но я знаю ведь себя. Поэтому мои слова точнее.

— Ну, поцелуй, один — на прощанье!

— Простимся, княгиня!

И Холмский, обняв свою гостью, приложил уста к устам ее. Она схватила его голову и впилась горячим поцелуем, словно хотела перелить в этот лед часть огня, пылавшего в ней, вероятно, вулканом.

Воеводу сковала какая-то неведомая сила, лишая его возможности сделать малейшее усилие оторвать уста свои от очаровательницы.

Уж она сама отпрянула от него, прослышав шорох множества шагов в сенях.

Вошли объездные десятники и сотник с доносением, что захвачены невдалеке двое подозрительных людей на конях с третьим иноходцем без седока.

— Это слуги мои! Они меня дожидались, — высказалась Позенельская.

— Так проводите княгиню и ее доезжачих за наш рубеж! — лаконически отдал приказ князь Холмский и величаво указал княгине

путь.

Она смерила его с ног до головы взглядом, полным злости и мщения, и — вышла, не сказав ни слова, вслед за провожатыми.

Холмский упал перед иконою и горячо стал молиться, благодаря Создателя за ниспослание твердости в нашедшем искушении.

Потом он принялся писать к государю. Положив в досканец грамоту Александра, воевода сам перевязал накрест шелковою нитью посылку и приложил шесть печатей на шнурок, прикрепляя его ими к досканцу.

Прошло две недели, и он совсем успокоился, отправив ответ тестя зятю.

Довольный успехом удачной выдумки своей, чтобы выпроводить Позенельскую так скоро и ни с чем, молодой Холмский ждет только смены своей с исполнением заявленного государем-тестем срока, чтобы лететь в Москву, в объятия жены. Самый час сладкого с нею свиданья уже рассчитывает мысленно... «Десять дней всего по 20♦й день февраля, и — прощай тревога и томления: забуду я вас! Разве как сон, когда-то виденный, представитесь вы, мои напасти, благодушно выне-

сенные? Будущее, несомненно, лучше прошедшего. Но отчего же начинает все больше и больше теперь томиться душа моя? Неужели, судьба, готовишь ты мне новые испытания? За что ко мне будешь ты, провидение, суровее, чем к братьям моим? И сотую долю того не испытали они, что я», — спрашивает невольно, предаваясь грустному раздумью, молодой наместник смоленский.

Но и такое успокоение себя, однако, не удастся ему. Мысль о грядущем, призрачно мрачном, не дает покоя и высокому уму, невольно поддающемуся неотвязному предчувствию.

Является человек от Федосьи Ивановны и подает письмо князю-мужу.

«Радость моя, князь Василий Данилович, — пишет нежная супруга, — заждалась я тебя, государя моего ласкового, и жданки все поела. А весточки ты, голубчик мой белой, Феньке своей не шлешь две седмицы. Грех тебе, Василий Данилович, забывать нас, сожительницу твою, рабу верную. Прискучила, видно, тебе Феня своим неразумным упрямством али докукою и вздохами по тебе, ненаглядном моем. Ин, помилуй, государь Васи-

лий Данилович, как же мне, жене твоей, не докучать своему милому, коли ты дороже всего! Не ровен час, все мы под Богом ходим: тоска на меня, бесталанную, нападает такая, что не знаю, как и жить. И тебе бы, государю, уведомить нас попещитись, коли любишь по-прежнему. А коли разлюбил и того ради небрежешь почтить ответом, как ты пребываешь здрав, — и тебе, государю, да будет ведомо: не переживу я, раба твоя, твоя остуды к себе. Жизнь моя без тебя не мила, и, на леты мои ранние не смотря, не жалеючи, положу я конец сама себе».

— Что за горе сделалось с Феней? Пишет она так странно мне. Разве не получила трех моих грамот, что послал я передо прошлой и на прошлой седмице? Где это они запропались? Разыскать, непременно разыскать надо!

И сам, бедный муж, едва ноги таскает от бессонницы да от тоски-печали. Сердце у него ноет так, что не находит он покоя себе.

Но вот, наконец, наступил и радостный для Холмского день отъезда в столицу. Сдача дел преемнику была совсем не такая, как на

городском воеводстве. Явившийся на смену принял деньги счетом и дал расписку. Дьяк Холмского сдал столбцы дел, ожидающих окончательного решения. Оконченные же взять должен был с собой вместе с переписными книгами всей области. Стало быть, вся приемка кончена часа в три. Закусили затем вместе приемщик с отъезжающим, и в тот же день к вечеру уехал князь Холмский. А на другой день к вечеру он — в столице.

Вот он входит в дом к себе и замечает что-то необыкновенное. Прислуга не спит, и все грустны. О чем-то шушукаются.

Спрашивает про жену. Отвечают — в Кремле.

Холмский — во дворец. Встречает его сам Иоанн, плача:

— Нет Фени у нас: в родах замучилась на вчерашний день!

— Бог дал, Бог и взял! — нашел еще силы сказать бедный муж и уже не помнил, что с ним было дальше.

## VIII

# КАЗЕННЫЙ ДВОР

Напротив Кремля, за Неглинною, возвышается род замка с теремами высокими, казенками, навесами, только без стрельниц. Да вместо стен — обширное пространство разнообразных застроек занесено частым тыном. У единственных ворот в этот городок стоит бесменно достаточная стража из двух десятков пицальников с ручницами. Ночью раза три делается обход дневальным урядником вокруг всего тына: изнутри и снаружи. Что же так бережно охраняется? Это — казенный двор. Сюда поступают все доходы великокняжеские. Здесь несчетные богатства в пушном товаре заключены в надежных деревянных клетях, в два ряда обрамляющих весь неправильный четырехугольник внутреннего двора. За тыном, отделяясь от него линией кирпичных казенок, связанных сенцами, стоят кладовые серебра да золота с камнями самоцветными. Тут же и тьма судов вальяжных, являющихся в большие пиры на столах тере-

мов государевых.

Не все казенки заняты, впрочем, добром. Самые обширные и лучше построенные теперь вмещают многолюдство: княгиню Елену Степановну с ее прислужницами под охранением стольника Ивана Максимова. Вошел он, бают, в милость к державному усердным розыском вин казенного князя Семена Ряполовского да уличеньем Ивана Юрьевича Патрикеева с сыном в злых воровствах и умыслах этих бояр родовитых. Они обманывали государя ради корысти проклятой да своего неумеренного честолюбия. Да хотели они, вороги, потомство государево от великой княгини Софьи Фоминишны обратить в служилых князей при сынке своей покровительницы великом князе Дмитрие Иваныче. Вот державный смекнул, что неладно так учинить против супружницы, ведущей род не из каких княжон захудалых, а от владык Цареграда и «всея подсолнечная», как гласят греческие книги, «почитаемая мужами думскими». Тут и свернули головы патрикеевцам. Отца с сыном посадили в монастыри на смиренье, там они и скончали бурное житие, в

пристани мирной от треволнений и сует мира сего. В те поры Иван Максимыч, стольник, всем патрикеевцам допросы чинил и так уж для боярина Якова Захарьича усердствовал, что, когда вывели на свет Божий всю черноту помыслов опальных князей, главный-от судья, боярин Яков, и побил челом за своего усердного сыщика. Что того ли Ивана Максимова не изволит ли державный пожаловать: повесить Ивана в окольныхчи?

Государь ничего не молвил, изрек только на вторичное напоминанье Захарьича.

— Ин, мы сами ведаем что за птица твой Ванька...

— Усерден?!

— Что ево усердые — на пакости! Посмотрим еще, чем он, умник твой, напредки покажется.

Вот немало прошло времени, опалился государь на невестку свою, на Алену Степановну, что дерзость взяла, укорила свекра смертью экова слуги отменного, Сеньки Ряполовского. Иван Васильевич горькие речи ее высказал. Как она, княгиня, со смердом валялась, память честную, ясного сокола, Ивана

Иваныча, опозорила слабостью непростимою. И велел государь, на смиренье, свести княгиню-вдову на казенный двор, под крепкую охрану надежных дворян.

В те поры речь зашла, кому поручить будет блюсти стражу при вдове. Яков Захарьич и назвал своего подхалима, Ваньку Максимова.

Опять государь задумался. Стал боярин высчитывать ловкость, проворство, находчивость, зоркость Иванову.

— Боюсь я, штобы твой Ивашко на стороже невестки нашей не своровал, себе на пагубу?! Нам кой-што известно на сей счет непутнее! Ивашка вот на стороже штоб не учинил вдругорядь похлебство Сеньки казенного.

— Я, государь, беруся ответ держать за Ивана Максимова: излечился он от старой дури вконец и очистился...

— Ну, ин быть по-твоему; только... смотри, штобы Ванька на службе на той не сломил себе голову. Коли пакость учинит, не спасет ево ничья заступа!

С тем и назначен Иван на казенный двор сторожить знатную пташку, княгиню Алену

Степановну.

Помещение княгини убрано так же, как в кремлевских чертогах ее. Еству отпускают с приспешни ихней же, и наряд не убавлен: ни судов, ни напитков, ни квасу медвянова. А с дворца хлебного отпускают — по тайному наказу государеву — что ни есть самого лучшего ей да князю Димитрию. Столом и погребом неча гневить Бога. Одно: ни к ней, ни к сынку ее ни птица, ни зверь — не токмо человек — не найдет ни тропки, ни доступа.

Весну красную так прожила бедняжка и лето, все в четырех стенах. Супротив окошек княгининых как-то Бог уродил малиничек. И в том в самом малиничке пел-заливался соловей-душа. Сгрустнется княгине — соловьиною песнью разгонит грусть-тоску. Но лето миновало — соловей замолк. Малинник обезлиствел, помертвел и побелел под ненастями. Встоскнулось сиделице в расписной палатушке. Вот шлет она звать своего лютого приставника:

— Иван Максимыч, пожалуйста!

— И до нас, непутевых, дошла, знать, очередь! И мы-ста теперя — хоша не в князей Се-

менов дородством — авось пригодимся... коротать долготу тюремнова времени?

Вот нарядился господин стражник в свой заморский наряд праздничный, закрутил ус тощий молодецким кольцом и явился рассыпаться мелким бесом пред своею тюремною сиделицей.

Елена Степановна, конечно, много переменялась. Яркий румянец исчез с ее лица, заменившись млечною белизною. Сильная воля и уверенность, что порывы гнева свекра легко и неожиданно сменяются милостью, поддерживали в ней бодрость на лучшие еще времена с предоставлением не только свободы, но и самой власти ее сыну. За ним все же оставалось преимущество торжественного венчания! Князь Василий пользовался титулом только великого князя новгородского. А этот титул, новая вспышка каприза и столкновение с женою — с возвратом власти, оказывающейся с прежними, если еще не с большими, побуждениями вмешиваться в государственные дела — могли обратить в ничто. Так легко привести перемену ролей?

Не теряя же ни надежды на перемену, ни

бодрости, при сидячей жизни княгиня приметно полнела и, следовательно, по понятиям и вкусам Московской Руси, выигрывала в привлекательности. Наш век имеет свои понятия о красоте, но мы не вправе порицать предков за их мнимое безвкусие и непонимание грации. Всякое время имеет свою моду. Для русского человека-москвича, как для обитателя Востока, да, пожалуй, и Запада, в старину дородство возводилось в добродетель именно ради знаванья красоты в круглоте форм.

В своем невольном уединении Елена Степановна от нечего делать спала, пела — для разогнания скуки — песни (а голосок ее был звонкий такой, серебристый) да переодевалась. Нашила она себе ферязей и сарафанов из самых ярких и ценных материй. А уверенность в возврате прежнего величия делала ее, как мы уже заметили, спокойною. Это, пожалуй, шло бы в разлад, казалось, с чувствами материнской любви к Дмитрию. Но, как мы выше видели, еще в годы вырастания сына внешние побуждения и потом страсть к красавцу Семену, расплатившемуся жизнью за

опасную интригу с царственной вдовой, ослабили силу любви Елены к Дмитрию. Смерть Семена произвела в опальной княгине на первое время горькую печаль. Но чем горше было это чувство, тем скорее прошло оно, сменившись жаждою мести к виновникам гибели предмета страсти, прибавим, давно уже сделавшейся чисто животною у молодой, скупавшей принцессы. Максимов был хитер, хотя и неумен, но к близкой разгадке ощущений Елены Степановны, — слышав о ней многое и поверяя слышанное с делом, — пришел он без большого труда. Эта возможность представлялась и Ивану Васильевичу, когда он заявлял неохоту назначить Максимова в главные сторожа к невестке. Но ни Иван Васильевич, ни уверенный в себе Иван Максимов не приняли одного в соображение. Елена Степановна знала усердие Ваньки Максимова в выведении всех кляуз на свет Божий по производству процесса Патрикеевых и Ряполовского. Она знала, что он вымучивал у жертв своих, с утонченностью злости ренегата или отверженного ревнивца, самые мелкие и ненужные для обвинения, но зазорные по су-

ществу своему подробности сношений ее с обвиненным красавцем. А такое сознание посе- лило не просто желание отомстить ему, но от- вращение даже, какое мы чувствуем от при- косновения с мерзостью, будь то вещество или существо самой низшей степени разви- тия. Питая же подобное чувство к своему тю- ремщику, Елена сочла себя вправе обманыв- ать его, в душе между тем сохраняя понятие о чести и честности, так же как о долге и обя- занности. Но Максимов, каким он рисовался перед мыслью княгини-заключенницы, был, во-первых, тюремщик, сам — как ей было из- вестно — выпросившийся на эту должность. Следовательно — вдвойне мерзок и низок! А стало быть, против него всякие меры позволе- ны невестке на отместку. Во-вторых, выска- занные нами известные обстоятельства мог- ли только усилить все побуждения вредить ему, пользуясь его средствами. Заметить, на- конец, дальнейшую его дерзость — виды на свою царственную пленницу после сделанно- го ей признания в первые дни вдовства — ей было тоже нетрудно, видя его неуместное ще- гольство и изысканность в одежде, когда по

призыву являлся он к ней. Знала княгиня-пленница и то еще, что державный свекор строго наказывал: никого не допускать к ней.

И вот с нарушения этого главнейшего пункта государевой инструкции задумала княгиня начать свое утонченное мщение ненавистному тюремщику, а для того велела позвать его. Цель позова, как и цель выказанного на последней аудиенции, для Максимова остались неразгаданною им тайною.

Смотрите. Вот он входит в палату пленницы.

— Здрава буди, государыня княгиня, чем изволит милость твоя почтить нижайшего раба?

— Мне сгрустнулось... Иван Максимыч!

— Если бы мог я, государыня, рассеять сколько-нибудь твою кручину?! — ответил он с видимым одушевлением. Слова своей пленницы представил себе он за сознавание ею необходимости видеть его подле себя для удаления скуки. — Чем могу служить... вся жизнь моя в жертву тебе, государыня.

— К чему, Иван Максимыч, жизнь твоя нужна мне, и я не решусь потребовать от тебя

такой жертвы. Я просто хочу, чтобы ты отыскал и привел ко мне гадалку Василису: пусть пораскинет раз-другой бобы... Все этим, глядишь, и посократится время.

— Государыня! Коли не изволишь ведать, считаю долгом довести до сведения, что, введи я лишнего человека... хоша и бабу даже... мне... коли узнают — беда!

— Кто узнает? Да, наконец, што же ты распинался сейчас еще, что готов жизнью мне пожертвовать, и... отказываешь в таком пустяке? Как понять тогда слова твои? Насмешкою над моим легковерием?!

— Ни-ни! Боже избави. Повелела твоя честь и — будет. Нужды нет, что я, Иван, пострадаю! Будет — непременно... Но, государыня, моя покорность тебе вытекает из другого источника. Не насмехаться думаю я, а пожертвовать собою... Задуматься даже не могу... Потому... потому что...

— Вижу, вижу, как трудно тебе прибрать слова... и понимаю, что ты не можешь придумать, как солгать!

— Солгать?! Могу ли я лгать перед тобой, когда ты для меня — жизнь и радость... И ес-

ли бы... соизволила поверить слову раба твоего... гадалщица бы не так развеселила тебя — как... я...

— Как ты? Ты — сам... собою? Посмотрим! — и она окинула его взглядом, в котором ослепленный прочел неуверенность и робость, неразлучные с нежным сочувствием. На самом же деле взгляд, брошенный княгинею, был испуг, что, находясь во власти чудовища, подобного Максимову, еще возымевшему такие побуждения, ей грозит даже насилие. Мысль эта кольнула в сердце княгиню-пленницу, и, сделав над собою невероятное усилие воли, она скрыла начинавшуюся бледность. Даже вызвала что-то похожее на улыбку на трепетные уста свои.

— Таков ли ты, как говоришь... укажет время, — закончила княгиня, чувствуя, что силы оставляют ее.

— И опыт, государыня, и опыт! — повторял он, нахально засмеявшись.

— Для опыта я и желаю... видеть у себя сегодня же... Василису... Няня! Посвети Ивану Максимовичу... в сенях.

Максимов не ожидал такого крутого пово-

рота, но делать нечего: выкатился из светлицы своей сиделицы, отвешивая поклоны. Выйдя на воздух, он стал соображать, и ему представилось даже, что самое требование Василисы не иное что доказывает, как опять же обращение княгинею внимания на его личность!

«А мы постараемся еще помочь делу кое-чем!.. Василиса мне преданна: прикажу ей, чтобы приворожила Аленушку к имяреку! Да показался бы он ей слаще меду и сахару, светлей и приглядней ясна солнышка! И чтоб она, раба Божья Алена, по рабу Ивану сохла да чахла, ево и во дни, и в ночи представляючи да горячие слезы проливаючи! Вот как у нас. Тут и великачество и гордость свою отложишь, княгинюшка?! Чары-то не свой брат! Схария эки, бывало, чудеса производил! А теперь, где ни послышишь, про мою Василиску еще почище бают. Да как хошь, верь не верь, а ведает баба кислу шерсть исправно, коли и князя великова обошла?! Велел разыскать и повесить. А потом — сам позвал, да и княгиня великая подарки шлет. Так шепнуть Василисе — и склонится княгиня Елена. А какая же,

братец мой, стала она теперя-тко краля! Что в терему была: оборотлива да румяна! Теперя-тко поглядь: кругла, белолица! Румянец вызвать не какое чудо, а здоровье да дородство не так легко приобрести».

И полный шаловливых представлений разыгравшейся похоти Максимов велел подать сани и помчался за Василисою.

Вызвать чародейку из круга ее почитательниц в доме, оставленном ей Зоею в полное владение, да примчать на казенный двор не потребовало много времени.

За скорое представление гадальщицы попросил Максимов, уходя и оставляя княгиню с Василисою, ручку княгини. А целуя руку, думал, что эта милость — предвестница щедрот грядущих. Как он ошибся и как скоро!

Объяснение Елены с Василисою, а не гада-нье, в силу которого она не верила, представило княгине еще чернее Максимова. И сама гадальщица по мере раскрытия ей плана — как обойти пленницу? — почувствовала гнев к недавнему предмету своей страсти. Она поняла, что ее самое хочет злодей сделать орудием для победы над другою! В любви же к

княгине она теперь убедилась.

В пылу негодования на открытие княгинею истинных чувств ее к низкому слуге порока Василиса не выдержала и рассказала ей, от слова до слова, как подготавливал Максимов ее, свою любовницу, к участию в замысле, теперь занимавшем его неразборчивую на средства совесть.

Ужас и отвращение, а отнюдь не что-либо другое, могли внушить эти обоюдные открытия. И тут-то мнимые соперницы, а на самом деле союзницы решили, как им действовать в борьбе со зверем, настолько изворотливым, как тюремщик княгини.

— Государыня, я ношу на всякий случай под передником надежный клинок, заточенный иголкою. Иван — известный трус! Вот тебе, коли понадобится оборониться: владай моим охранителем до времени. А сдастся мне, что приступить к тебе дерзкий лукавец не замедлит, коли стал высказываться да меня наущать на свое непотребство. Совесть его была всегда черна, а казался он мне светлым и красным, пуще ангела!

Тяжелый, продолжительный вздох заклю-

чил искреннюю исповедь Василисы, которую обстоятельства поставили в положение, далеко не подходившее к ее душевной неисторченности.

Верность соображений гадальщицы оправдалась скорее, чем предполагали они с княгиней.

Наступили Святки. По чьему-то распоряжению две трети дворян, державших стражу на казенном дворе, посланы в ночной объезд по Москве. Остальные стражники за таким назначением должны были все выйти в ночную к наружным воротам острога. Под предлогом соединения надзора — за малостью наличных охранителей — Максимов перевел всю прислугу княгини в одну избу, где готовилась для них пища и куда ходили они в застольную. Вот пошли сенные девушки да нянька с ключницей ужинать в общую людскую, уложив княгиню опочивать. От безделья ложилась Алена Степановна, как только прозвонят к вечерне в соседнем приходе.

Максимов не дремал. Зная, что стражники за воротами, а бабье в общей приспешной за столованьем, он — будто бы пройдя для внут-

ренного обхода по двору — припер здоровою жердью дверь из стряпущей избы, а сам направился к помещению княгини, твердо уверенный в достижении успеха своей преступной затее. Дверь оказалась незапертою, но долго впотьмах шарил Максимов, пока ощупал скобку. Он потихоньку старался одним разом распахнуть дверь, однако изменила она все-таки скрипом.

— Кто вошел? — раздался голос княгини из запертой повалуши...

— Я, Иван...

— Зачем в такую пору?

— Узнаешь сама, государыня, — и он силится отворить дверь в повалушу, изнутри задвинутую задвижкой.

— Отвори! — крикнул Максимов. — Не то сломаю!

Но угрозу легче было высказать, чем выполнить. За всем тем от третьего удара ногою с разбега дверь слетела с петель. Максимов ворвался в ложницу и бросился к постели, но она оказалась пуста.

— Княгиня Елена Степановна, где ты ухоронилась?.. Выдь... Право, лучше будет, — го-

ворит он, продолжая вокруг шарить. Мертвое молчание. Он прислушивается: отдается только дыхание его. — Эка притча? Дай огня зажжем! — И он идет к божнице.

Со свечкою исканья удаются.

— Зачем ты пришел: разбойничать? — спрашивает трепещущая от гнева, но не от страха вдова-княгиня.

— Жить без тебя не могу. Не захочешь покориться мне — убью! И оправдаюсь: скажу, отбивал от твоих сторонников да невзначай смерть нанес.

— Кто же поверит?

— Державный свекор твой... Да к чему тебе, подумай, сопротивляться, ведь былое дело... с князем Семеном!

Звонкая пощечина сильной руки разъяренной княгини сбила с ног нахала, на все готового. А когда упал он, княгиня наступила на грудь, одною рукою сдавила шею поверженного и в другой руке ее блеснул стилет Василисин.

— Смерть твоя, только тронься попробуй!

Нахал струсил и, трепеща перед железом, закрыл глаза, умоляя о пощаде.

В этом положении застали героическую княгиню прибежавшие женщины, начавшие стучать и кричать из волокового окна. Криком своим привлекли они внимание стражей. Всем показалась умыслом припертая снаружи дверь стряпущей избы, и первым делом по освобождении их было броситься к княгининой связи: нет ли там чего?

Вбежали... и — каково чудо, таково диво! — лежит сам начальник острога, едва дышащий. Княгина отпустила свою жертву и всем рассказала преступный замысел Максимова, упавшего духом и как бы онемевшего под гнетом обвинений, беззастенчиво высказываемых.

Десятник, выслушав все и по самому ходу дела видя явные улики против своего начальника, сел на коня и поскакал в Кремль к государю.

Иван Васильевич был в думе, на соборе.

Святители и бояре обсуждали возникшее в клире бесчиние: митрополит прямо заявил, что недопустимо чернецам со черницы во единых обителях жить — нечистота бывает. Попове же наложниц водят, полупопадаьями

их нарицают. И то горшая беда — на глазах людей благоговейных, все это зрящих и осуждающих.

Единодушно решили прекратить эти неурядицы, пресечь соблазн пастырей народных. Привести положили в известность средства содержания обителей и составить правила для владения населенными имениями. Все эти рассуждения заняли много времени. Открылась к тому же новая попытка сплотить воедино, казалось, рассеянных последователей Схарии. Виноватые, прежде скрывавшиеся или неоткрытые, осуждены на смерть. Решение это, казалось, превышало меру виновности впадших в ересь, но, уступая большинству, князь великий согласился, наконец, на эту кару — в пример другим!

Выйдя из думы уже за полночь, государь принял донесение о случившемся на казенном дворе и, ни мгновения не медля, сам туда поехал.

Выслушав речи невестки и показания свидетелей — стражей, государь, запыхавший гневом, велел привести к себе виновного.

— Раб лукавый! Не прав ли я был, когда не

допускал тебя, как волка в овчарню? На службе этой коварство твое давало возможность учинить воровство даже без наказания. Моли Бога, что Он показал на тебе Свое святое провидение, не допустив увенчаться злему делу. Ступай к своим братьям, бывшим схариянцам, от которых ты отступил и являлся якобы усердным соглядатаем темного дела. Свести его да приобщить к приговоренным на соборе. Пусть огонь очистит злые дела, выраставшие в потемненной совести!

Наутро предостережение судьбы в виде отрывка приговора мистера Леона, брошенного под ноги коня Максимова, буквально исполнилось. Огонь пожрал свою жертву вместе с заблужденными, без сомнения, меньше виновными, чем этот отверженец.

# IX СУДЬБА

*Суженого и конем не объедешь.*  
Пословица

**И**ван Васильевич пережил смерть первой жены своей, погоревав два-три месяца. Теряя сына, слег в постель и промаялся целую весну. Теряя недавно дочь, выдержал этот удар судьбы, казалось, мужественно. Но весть об опасности, в которой находилась Софья Фоминишна, вторая жена его, не раз подвергавшаяся и опалам и гневу державного, наконец сломила железное здоровье неутомимого царственного труженика. По смерти Федосьи Ивановны государь, сам ходивший за отчаянно больным зятем — Холмским, с выздоровлением его должен был предоставить Васе нежные заботы и о себе, и о теще, страждущей неисцельною болезнью. Целые дни, сам едва двигаясь от бессилия, князь Василий Холмский проводит, ухаживая за Иваном Васильевичем да за Софьею Фоминишною. Она в долгую болезнь свою узнала вполне прекрасную

душу сына своей незабвенной пестуницы. Как, бывало, мать не спит целые ночи, сидя у постели государыни в болезни ее, при частой бессоннице, так и князь Вася с наступлением сумерек, уложив тестя и дав ему своею рукою лекарство, переходит к одру великой княгини и садится читать ей харатьи. А задремлет она — он удалится в соседний терем подремать.

Вот в один вечер к государыне приходит князь Вася, обыкновенно находивший уже постельниц дневальных, и видит только монахиню, беседующую с больною.

— Не знаешь ты, Вася, эту мать преподобную? — спрашивает Софья Фоминишна, усаживая зятя и указывая на свою новую посетительницу.

— Нет.

— Посмотри поближе да попристальнее.

Смотрит князь Холмский и опять качает головой отрицательно.

— Так не знаешь?

— Нет, государыня матушка.

— Заговори с ним, мать Зизилия!

— Князь Василий Данилыч, видно, я изме-

нилась взаправду, когда ты не признаешь грешной Зою в монахиня.

Холмский вздохнул тяжело.

— Я знаю, что ты несчастлив! Знаю, как мужественно переносишь ты испытание, даваемое Богом для нашей же пользы. Не верю я, чтобы все воспоминания прошлого подавлены в тебе гнетущею сердце последнею печалью.

Вася затрепетал, но не отвечал.

Видя трепет его, монахиня не стала продолжать, погрузившись в чтение своей греческой книги.

Долго сидели они; княгиня, больная, дремала. Вдовец испытывал странное ощущение. Ему казалось, что он освобождается от какой-то тяжелой болезни, но не от той, которая свалила его после смерти жены. И не такой это недуг, который истомил его в палате Очатовского. Этот начинающийся теперь у него недуг, правда, бросает его в жар и в холод. Но каждый переход от холода к жару так отраден, что он готов бы чувствовать эти припадки во весь остаток своей жизни, которую он считал, впрочем, почему-то непродолжитель-

ною. Странный, в самом деле, недуг овладел недавно выздоровевшим воеводою. В бескровное лицо его вступает нежный румянец, руки разогреваются, и кровообращение, недавно еще такое медленное, получает быстроту почти горячечную. Больная теща заглядывает почасту на превращение, совершающееся у ее кровати, и улыбается едва приметным растягиваньем губ. Она поняла очень хорошо, что ощущение, в котором упорно не хочет сознаться зять ее, для него должно быть только живительно.

— Мать Зизилия! — спрашивает снова больная. — Святость твоя приняла все обеты или рясу только?..

— Рясу только, — подняв глаза от книги, отвечает монахиня.

— Так тебе, по плоти моя близкая, не следует окончательно разрывать связь с миром. Ты еще в таких летах, что можешь оживлять умирающих. Вася, дай-ко мне твою ручку и послушай, что я буду говорить тебе. Поклянись мне, что ты исполнишь мою волю, или, — что я говорю, — волю твоей матери? Знай, что по завету ее должна представлять

я тебе ее лицо. Скоро и для меня наступит страшный час, смертный. Сбираясь умирать, не лгут, дитя мое! Мать твоя поручила мне заботиться о твоём счастье и заменить тебе ее любовь и заботливость. Исполни же, что я тебе устами матери твоей повелеваю выполнить непременно!

— Волю твою, матушка, и приказания исполнит свято сын твой! — ответил с чувством Вася, склонившись на колени, чтобы принять благословение.

— Слушай же: мать Зизилия — та же Зоя! К ней все питаешь ты, самому тебе неведомо, может, не дружбу, а чистую любовь! Не иди же наперекор своему чувству, нет надобности. Кроме вреда, ничего не выйдет из этой борьбы. Мы не властны в себе! Я радовалась, отдавая тебе руку дочери моей. Бог взял ее — прими от меня теперь другую руку. Зоя тоже мне близка теперь. И любит, как дочь, меня. Повинуйся же и исполни! — И соединила сама руки их.

Скоро затем не стало Софьи Фоминишны. Жила она, враждуя с невесткою, и умерла, не простившись с ней. Иван Васильевич, вдовец,

о невестке стал часто поминать. Да сделался сам каким-то слабым и немощным вдруг. Бывало, полегчает ему немного — приободрится он и станет располагать: завтра к невестке будет ехать. Давно не видал ее!

А утром, смотришь, опять державного прихватит: либо трясовица, либо слабость нападет. Он опять отложит посещение Елены Степановны. А не то забудет завтра за хлопотами, что сделать хотел, коли и чувствует в себе прибавку силы. Жадный он такой до дела-то правительственного. Все бы сам справил; сына не больно-то допускает везде нос совать.

Конечно, коли отыскался бы благоприятель какой Елены Степановны да напомнил бы кстати свекру, когда недомогал он: не послать ли будет за невесткой? Уж он, видимо, не гневался на нее. Да благоприятеля-то не отыскалось для вдовицы опальной, во времени державшейся высокомерно, чествовавшей одних патрикеевцев. Оттого и приходилось ей все жить да жить на казенном дворе.

А тут слышно стало — разболелась тяжело и лебедь белая, княгиня Алена Степановна. Попросила сама уж тестя к себе — больше не

могу! — велела доложить.

Иван Васильевич из горницы не выходил, но, получив такой доклад, собрался таково скорехонько ночью и — прикатил на казенный двор.

Когда вошел он в опочивальную казенку невестушки, она, сердечная, металась уже на постели в предсмертной муке.

— Батюшка!.. Недолго жить мне: попомни неправду твою ко внуку... Я за вину свою раньше времени призываюсь дать отчет Создателю... И... тебе... государь... скоро... тот же... путь предстоит...

Иван Васильевич горько зарыдал.

— Прости меня, Аленушка, не столько вина твоя, сколько гнев мой, неумеренный... нанес несчастья... всем... нам... Сделал тебя страдальцей... Не виновата ты... столько, как я... грешный... в паденье в твоём... Я больше виновен: зная, что ты огневая, и... не позаботиться дать тебе сожителя!

— У вас не принято, батюшка, вдов-княгинь замуж отдавать... В этом не кладу на тебя укора... и гнева не держу... Одну себя виню... Знаю вину свою... непростительную...

Из-за меня... виновной... страждет... ни в чем не повинный Митя мой... Останется он... тяжким обвинителем и тебе, батюшка, и мне... грешной жене... униженной... опальной, но все же недостаточно караемой за грех... Тяжко мне... тяжело умирать... с греховным гнетом на совести. Душит... жжет... Ох! Сына... Сына! Не могу...

И распахнув руки, словно ловя улетающее в пространство, вдова Ивана молодого перестала страдать.

— Меня так и затрясло! — передавая князю Васе Холмскому эти подробности, сказала свидетельница сцены Василиса, ходившая за Аленой Степановной в последней болезни ее и скрывшаяся за полог ложа при входе великого князя.

Иван Васильевич стонал и рыдал как ребенок. Велел привести внука к телу матери, бросился к нему на шею; нежно обнимал, целовал его, просил прощенья и от силы нервного потрясения упал вдруг в обморок. Все перепугались, разумеется, и тотчас дали знать во дворец князю Василию Ивановичу.

Он приехал, распорядился отсылкой пле-

мянника в место его заключения и перевез бесчувственного отца в Кремль, сам вступив в управление.

Наутро государь очуствовался, но был так слаб, что ничего не помнил: что с ним было и где он был накануне. Княгиню Елену Степановну похоронили без особенных церемоний и даже без обычного перезвона. Чтобы этими грустными звуками не потревожить тонкий сон изнемогавшего самодержца, лежавшего словно в забытьи.

Поправившись, Иван Васильевич совсем забыл про внука, но дела снова потребовал к себе от сына, как почувствовал себя в силах.

Так и потекли опять дни за днями до осени.

# ЭПИЛОГ

**27 октября 1505 года**

**П**окрытый грязью, сошел с коня перед дворцом в Кремле сеунч от воевод государевых, стоящих в Муроме.

Вестника допустили к государю, давно уже недомогавшему, но все еще занимавшемуся делами правления. Мысль гениального старца была свежа и глубока по-прежнему. Он принял вестника сидя с боярами в своей рабочей палате, слабый и изможденный недугом, но не жалуясь на озноб, как накануне. Сегодня спальнику своему, поздравившему его с добрым утром, сказал Иван Васильевич приветно:

— Истинно, Андрюша, доброе сегодня утро! Мне таково хорошо и... отрадно. Какой, бишь, день-от сегодня в месяце?

— Двадцать седьмой день октоврия, государь, память святых мучеников Нестора и Марка, — отвечал с поклоном спальник.

— Славный день поэтому! Помни же: не забудь сего утра, друг, да пошли сказать дворецкому, что мы, великий государь, по Божьей

благодати, знатно в силах своих познаем крепость и хотим на сей день обедать со всеми: пусть Василий Иванович с молодой женой ести к нам придет. И за зятем, за Васей, послать, пусть и сожительницу ведет! Он у меня не хуже сыновей родных почтителен и любовен. Попируем, детки! На свадьбе у Васи не удалось мне быти за недугами. Сегодня справим... А ты что, сеунч, скажешь?

— Воеводы прислали меня с грамотою, что счастием твоим, государь, хищные татарове ушли совсем и не уязвились!

— Значит, твои воеводы прозевали. Да еще радуются, что сами целы?! Ино, им отпишем, ротозеям, что так им служить нам, великому государю, негоже!.. Дьяк, изготовь к утру отповедь. Сегодня хочу веселиться, пусть готовят столованье скорее!

Поздно уже передано было веление государя готовить пир. Тут-то поднялась беготня, суетня: ключники, приспешники, повара — все сбились с ног, усердствуя изготовить стол первого наряда. Яств будет не один десяток. Угощать должно на золоте. И в кривом столе на серебре подавать. Стерляди чуть не саже-

ньи несут на поварню. Разливать начали старую мальвазию. Хлопот, шуму, беготни — вволю, все с ног сбились. Однако, слава богу, поспели.

К государю подошел дворецкий, легонько побудил державного. «Все готово!» — молвил.

Тем временем, пока готовили обед, Иван Васильевич вздремнул, сидя на креслах своих. И видит он, будто гуляет в пустом поле, где травка, словно в глубокую осень, помертвела и прижалась к сырой земле. Вдали кое-где виднеются кустики обглоданные. Под ногами державного хрустит пересохший лист, безо всякой уж цветности. Дороги аль тропки в поле этом все заросли словно. Идти приходится по полому месту. Идет Иван Васильевич давно уже, ему кажется, и приуставать начинает. Где бы, думает, присесть отдохнуть мне? Видит в сторонке забор какой-то: тын не тын, да и не стена. Подходит ближе.

— Никак, это казенный двор мой? Куда же это его перенесли, меня не спросили. Не спрашивали, верно, не спрашивали. Уж не забыл бы я, что вывел его в поле так далеко... — Вот дошел до ворот державный, увидел лавочку

и — обрадовался. Присел. Слышит, зовут его: «Батюшка!» Поглядел по сторонам — никого не видать. Оглянулся: в воротах, полуотворенных, стоит невестка Елена.

— И ты, — молвит, — батюшка, к нам норовишь? Погоди... Неладно внука оставлять взаперти: ведь сам же ты венчал его на царство русское!

— Помню, помню, Аленушка... Ох, помню! Митя не виновен, конечно, в наших прошибностях... его я всегда любил...

+Виноват я перед им, сердешным моим... Поставлю... все ворочу... Непременно... С тобой у нас счеты... Ох, счеты не кончены...

— Торопись, батюшка... Скоро уж сумерки будут... Ничего не увидишь... и не послушают тебя... Со мной же тебе придется встать на одну, может, доску перед Праведным Судьею... Ты коришь меня моим паденьем!.. И в том во всем не ты ли виной: зачем бабу молодую, сам говоришь, замуж не благословил?.. Слабы мы, грешные... враг силен.

— И то правда... прости, Аленушка...

— Не забудь же, батюшка, Митрея моево. Все простится... Мне недосуг.

И все смолкло.

Будит дворецкий легонько.

Проснулся Иван Васильевич весь в поту в холодном, на сердце невесело.

— Чего тебе? — спрашивает дворецкого.

— Готов стол...

— Веди же его скорей, а то матка все корит меня.

— Кого, государь?

— Как кого? Митрея, известно!.. Внука моего.

— Державство твое не указал о Дмитрие Ивановиче ничего покуда.

— Ничего?! Ладно же. — И замолчал или выговорил будто что — не понял дворецкий.

Велел государь подавать себе одежду лучшую, праздничную. А сам — все охорашивается.

Вот князь великий облачиться изволил в лучшую ферязь большого выхода. На голову думную возложил шапку золотую и всякую утварь драгоценную — как давно не вздевал и для больших праздников. Вот он шествует во всем своем сани в Грановитую. Там по велению державного изготовлен почестный

пир.

За государем следует князь Василий Иванович со своей Соломонией Юрьевной, за ним — братья, холостые, а позадь их князь Василий Данилыч Холмский с Зоей, всех затмевавшею красой своей. За ними расселись члены думы. А в кривой стол посажены власти да служилые дворяне не ниже окольниковых.

Сели за стол. Государь князь великий поднял первую здравицу за новобрачных, двоих. Василий Иванович и князь Василий Холмский встали, поклонились и чмокнулись с сожительницами.

— Теперь, друзья, выпьем за князя великого, Дмитрия Ивановича. Да нет еще его, видно?.. Привести моего несчастного внука! Пождите, гости: придет он — и выпьем. А я отдохну мало-малю.

И державный склонил голову на стол.

Он так часто делал это в последние годы, за столом иногда замолкая и дремля несколько времени.

Вот прошло с полчаса, пока сходили на казенный двор: привели великого князя Дмитрия. Вступил он в Грановитую во всей свет-

лой утвари.

— Разбудить будет государя? — сказал вслух боярин Яков Захарьич. Князь Василий Иванович поглядел гневно на старца. Князь Вася приподнялся и хотел легонько тронуть державного, но вдруг вскочил, кинулся к поникшему головой тестю и, коснувшись холодного уже лица его, не мог удержать рыдания.

Не помня себя, возопил он:

— Отлетел наш ангел, скончался наш великий Иоанн, собиратель земли Русской!

Князь Дмитрий бросился на охладевшее тело деда, но по знаку великого князя его оторвали и увели из Грановитой.

Во дворце плач и рыдания. Среди общей тревоги тесть нового самодержца, боярин Сабуров, ввел священника и громко заявил:

— Князь и бояре! Пора есть присягнуть на верность государю, великому князю Василию Ивановичу всея Руси!

Все встали из-за стола.

# Примечания

Здесь автор допускает фактологическую ошибку: к моменту описываемых событий Афанасия Никитина (? — 1474/75), автора литературного памятника «Хождение за три моря», уже не было в живых.

[^^^]

## 2

Аргамак — рослая верховая лошадь древней азиатской породы.

[^^^]

Кастелян — род коменданта, смотритель замка.

[^^^]

# 4

Рынды — телохранители, оруженосцы.

[^^^]

## 5

Клейноды — предметы, служащие представителям державной власти, — корона, скипетр, держава.

[^^^]

## 6

Камчуга (болезнь) — подагра и красная сыпь в один струп, род проказы.

[^^^]

# 7

Парча на ферязи — длинное мужское или женское платье, праздничный сарафан.

[^^^]

# 8

Лал — драгоценный камень — рубин, яхонт, изумруд, алмаз.

[^^^]

Прихотница — прихотливая, у кого много прихотей.

[^^^]

Полавошник (полавочник) — половик или полотенце, холст, ковер для покрытия лавок.

[^^^]

Наперсник — друг и доверенное лицо, которому поверяют сокровенные мысли и тайны.

[^^^]

Приспешник — помощник, служитель, со-  
участник в чем-либо неблаговидном.

[^^^]

Кабала — средневековое религиозно-мистическое учение, получившее распространение в иудаизме; мистическое толкование Ветхого Завета, соединенное с волхвованием.

[^^^]

Камка — шелковая китайская ткань с разводами.

[^^^]

Клевреты — товарищи, собратья.

[^^^]

Гридня (гридница) — покой и строение при дворе княжеском для гридней (телохранителей княжеских), приемная.

[^^^]

Охабень — верхняя одежда с прорезами под рукавами, четырехугольным откидным воротом.

[^^^]

Гривна — род медальона, ладонки, образка (медного, серебряного, золотого), обычно створчатого, носимого на цепи на шее.

[^^^]

Скуфья — ермолка, тубетейка, фес. Ало-синяя бархатная шапочка, знак отличия для белого духовенства.

[^^^]

Учуг — сплошной частокол, тын поперек реки для улова рыбы, а также ватага или притон рыбаков, рыбацья пристань.

[^^^]

Струг — речное судно, гребное и парусное.

[^^^]

Папушки — домашний пшеничный хлеб.

[^^^]

Кунтуш — род верхней мужской одежды, польский верхний кафтан.

[^^^]

Адамант — алмаз, бриллиант.

[^^^]

Ширинка — полотенце, отрезок цельной ткани, передник.

[^^^]

Харатейное сказание (от слова харатья, хартия) — старинная рукопись, обычно на папирусе, пергаменте.

[^^^]

Романея — виноградное вино высокого качества, привозимое из-за границы в допетровской Руси.

[^^^]

Калым — поборы всякого рода, взятка.

[^^^]

Карачун — конец, гибель, неожиданная смерть.

[^^^]

Прасол — скупщик мяса и рыбы, торговец скотом, закупщик по деревням холста, пеньки, щетины.

[^^^]

Вахлак — нерасторопный, глуповатый человек.

[^^^]

Аргус — бдительный, неусыпный страж.

[^^^]

Понитный материал — полусукно, домотканина на льняной основе.

[^^^]